

Российская академия наук
Институт русского языка им. В.В. Виноградова

РУССКИЙ ЯЗЫК

в научном освещении

№1

(3)

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2002

Научный журнал

Основан в январе 2001 года

Выходит два раза в год

Редакционная коллегия:

А. М. Молдован (главный редактор), А. А. Алексеев, Х. Андерсен (США), Ю. Д. Апресян, А. Богуславский (Польша), И. М. Богуславский, Д. Вайс (Швейцария), Ж. Ж. Варбот, А. Вежбицкая (Австралия), М. Л. Гаспаров, А. А. Гиппиус, М. Ди Сальво (Италия), Д. О. Добровольский, В. М. Живов, А. Ф. Журавлев, А. А. Зализняк, Е. А. Земская, Х. Кайперт (Германия), В. В. Калугин (ответственный секретарь), Л. Л. Касаткин, Э. Кленин (США), А. Д. Кошелев, Л. П. Крысин, Р. Лясковский (Швеция), Х.-Р. Мелиг (Германия), И. Мельчук (Канада), Н. Б. Мечковская (Беларусь), Е. В. Падучева, Т. В. Рождественская, А. Тимберлейк (США), Х. Томмола (Финляндия), О. Н. Трубачев, М. Флайер (США), А. Я. Шайкевич, А. Д. Шмелев

Адрес редакции:

121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка

им. В. В. Виноградова РАН, Редакция журнала «Русский язык».

Тел.: (095) 201-79-92, факс: (095) 291-23-17, e-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru

Зав. редакцией *Н. Н. Розанова*

Редакторы номера: М.А. Осипова, Л.Л. Шестакова

Корректор: О.Н. Заикина

Издатель А. Д. Кошелев

Подписка на журнал оформляется в любом отделении связи по
Объединенному каталогу «Печать России», индекс 44088

G.E.C. Gad Booksellers, Slavic Department, Ndr. Ringgade 3, DK-8000 Aarhus C, Denmark (Fax: +54 86 209102; E-mail: slavic@gad.dk) have the exclusive right to distribute this publication in Europe and the United States.

Исключительное право на распространение журнала в Европе и США принадлежит датской книготорговой фирме G E C GAD (Fax: +54 86 209102; E-mail: slavic@gad.dk).

© Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН
© Авторы, 2001

СОДЕРЖАНИЕ

В. Н. Топоров

Слово при прощании 5

Из материалов международной конференции «Языкознание sub specie русистики: итоги и перспективы»

Ю. Д. Апресян.

Взаимодействие лексики и грамматики: лексикографический аспект 10

А. Богуславский (Варшава).

К вопросу об универсальной семантической системе 30

И. М. Богуславский.

ИмPLICITные именные группы и проблемы кореферентности 48

Г. А. Золотова.

О возможностях функционального исследования языка 65

Т. М. Николаева.

Многомерность интонационного пространства и ограниченность
его отображения 74

Е. В. Падучева.

О параметрах лексического значения глагола: таксономический
класс участника 87

С. М. Толстая.

Мотивационные семантические модели и картина мира 112

Исследования

А. Б. Пеньковский

Загадки пушкинского текста и словаря: О чердаках, врялях и метаязыке
литературного дела в пушкинскую эпоху («Евгений Онегин», 4, XVIII—XIX) 128

Т. Е. Янко.

Русские числительные как классификаторы существительных 168

Р. Ратмайр (Вена).

Лингвистические задачи изучения межкультурной коммуникации (на
материале деловых переговоров) 182

<i>Ф. Р. Минлос.</i>	
Рефлексы слав. * <i>CeIC</i> в восточнославянских языках	198
<i>А. А. Турилов.</i>	
«Ото князя от Ярѣполка»: (К истории двух древнейших русских списков Лествицы)	204

Полемика

<i>В. П. Григорьев.</i>	
Хлебников без ретуши: (К выходу в свет двух первых томов его «Собрания сочинений»)	211
<i>П. В. Петрухин.</i>	
Семантические классы предикатов: развитие вида в восточнославянском (По поводу книги: <i>N. Bermel. Context and the lexicon in the development of Russian aspect / University of California publication in linguistics. 1997. Vol. 129</i>)	244

Публикации

<i>Н. В. Перцов.</i>	
Из истории русской орфографии: письмо немецкому естествоиспытателю о пользе буквы ъ	263

Рецензии и обзоры

Международная конференция «Языкознание sub specie русистики: итоги и перспективы» в ИРЯ РАН (<i>И.Б. Левонтина</i>)	292
Отчет о диалектологических экспедициях 2001 года (<i>О.Г. Ровнова</i>)	298
Белорусский и другие славянские языки: семантика и прагматика (<i>А.А. Кожина</i>)	303
Обзор новых учебных пособий по церковнославянскому языку (1995—2001 гг.) (<i>И.А. Корнилова</i>)	309
Речь москвичей как феномен языка и культуры. (О книге: <i>М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. — М.: Изд. «Русский словарь», 1999</i>) (<i>В.Я. Труфанова</i>).	313

В. Н. Топоров

СЛОВО ПРИ ПРОЩАНИИ

Хотя о тяжелой болезни Олега Николаевича Трубачева было известно, надежда на благополучный исход не покидала тех, кто хорошо и долго знал его, его жизненную и творческую силу, удивительную внутреннюю дисциплину и организованность. Поэтому горькая весть о кончине Олега Николаевича была так остро воспринята и пережита. И первая реакция на это удар — внезапно возникшее чувство сиротства, но и гордость от сознания того, что мы были его современниками, что его научное наследие тот ресурс, который стал и нашим достоянием.

Олег Николаевич был лингвистом Божьей милостью. Но одновременно он был и превосходным историком в самом высоком смысле этого слова, сумевшим наглядно и доказательно продемонстрировать потенции языка как мощного инструмента реконструкции не только языка, но и внеязыковой картины. Классические исследования по этногенезу и ранней истории славян, их прародине, их миграциях и их контактах с другими этносами позволили нам увидеть то многое, о чем раньше не знали или в лучшем случае лишь очень приблизительно догадывались.

Более всего Олег Николаевич трудился на ниве этимологии, где он показал себя и как великий труженик, и как великий этимолог. Им он стал не только по гигантскому объему совершенной работы, но и, может быть, еще важнее, по высоте того уровня, который был достигнут им в его исследованиях, по раскрытию дополнительных средств этимологического анализа, по основательности, изобретательности, часто виртуозности его этимологической практики. нужно особо заметить, что при больших достижениях славистики в российской науке, до рубежа 50—60-х годов XX века ей фатально не везло. Этимологические опыты слишком часто носили любительский характер, напоминали случайные набег, грешившие произвольностью, приблизительностью, принципиальной неполнотой («корневая» этимология, пренебрегающая показаниями словообразования и особенно семантики). Олег Николаевич Трубачев по сути дела стал отцом предельно ответственной научной этимологии, первым, кто был высокопрофессиональным этимологом по преимуществу, исповедовавшим и осуществившим тотальный подход к этой области знания, в которой так тесно и органично сплетаются тайны человека и им познаваемого мира, в отношении которого человек выступает как ономатет, имянарицатель, автор «второго» творения, на этот раз — в духе, обнаруживающем себя в совокупном пространстве культуры и нравственности.

За последние полвека было выпущено немало капитальных этимологических словарей разных индоевропейских языков, среди которых были и словари древних языков. Все они безусловно полезны и ряд их признается образцовыми по основательности и точности. И все-таки почти все они по сравнению с главным научным детищем Олега Николаевича «Этимологическим словарем славянских языков» страдают известной «Облегченностью». Признанные и не ставящиеся под сомнение этимологии, естественно, воспроизводятся (и, как правило, без внесения дополнительных аргументов, без учета новых перспективных акцентов). В остальных случаях или перечисляются известные этимологические решения и делается из них выбор, кажущийся этимологу наиболее вероятным, или же фиксируется отказ от дальнейших поисков, и тогда появляются многочисленные столь часто повторяющиеся клише — Unklar, Dunkel, Inconnue, Obscure, Pas d'йtymologie и т. п. Количество же «решенных» авторами таких словарей этимологий обычно очень невелико. И это еще не худший вариант — хуже, когда предлагаемые «решения» оказываются легкомысленными и заслуживают еще одной пометы — неправильно. Конечно, и в «Этимологическом словаре славянских языков» далеко не все ясно и тем более бесспорно, но легкие пути и приблизительные решения почти никогда не соблазняют его авторов — ни Олега Николаевича, ни его коллег по словарю, столь многим обязанными своему руководителю. Количество же оригинальных этимологий или существенно обновленных и в «Словаре» и в многочисленных других исследованиях Олега Николаевича исчисляется едва ли не сотнями. Лишившись такого руководителя коллектив «Словаря» оказался в весьма сложном положении и нуждается в помощи, ибо доведение этого труда до конца дело чести и коллектива, и нашей науки. И одновременно это было бы достойной данью памяти Учителя. Говоря об исключительной актуальности этого труда нужно помнить, что перед нами не только этимологический словарь славянских языков, но и блистательная реконструкция праславянского лексического фонда и в этом отношении первый в этом роде опыт, точность которого приближается к безукоризненной. Воскрешение этого языкового праславянского лексического фонда есть одновременно и воскрешение в нашей памяти людей, пользовавшихся этим языком, их жизни, занятий, представлений о мире, их духовной ориентации, реальное восстановление нашего правопреемства.

Круг этимологических интересов Олега Николаевича далеко выходил за пределы славянских языков. Свежи, глубоко оригинальны и убедительны его балтийские, фракийские и иные этимологии. Классической стала известная работа Олега Николаевича об иранских заимствованиях в славянских языках, включая и праславянский, по-новому определившая пространство и объем этого

взаимодействия. Последняя книга Трубачева, посвященная реконструкции индо-арийского субстрата на Юге России, — открытие нового лингвистического материка, тех, кто заселял и представлял его, их быта и культуры, сделанное на топонимическом материале. К исследованиям этого же ряда относятся и книги Олега Николаевича «Названия рек Правобережной Украины» и «лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья».

Я имел честь и счастье работать вместе с Олегом Николаевичем над последней из указанных книг и мог оценить по заслугам его высокие научные и человеческие достоинства. В течение без малого полувека сознание того, что живет и трудится на своей широкой и глубоко вспахиваемой ниве Олег Николаевич, был для меня и прочной опорой, и подспорьем, и источником, казавшимся неисчерпаемым. Увы!

И вот Олега Николаевича уже нет с нами, но благодарная память о нем и о его трудах, которые он с такой щедростью оставил и нам, и следующим поколениям, живет и вновь и вновь соединяет нас, унося течением «реки времени» на встречи с ним. — Вечная память Олегу Николаевичу!

В. Т.

**Из материалов международной конференции
«Языкознание sub specie русистики:
итоги и перспективы»**

В этом и в следующем номере журнала публикуются статьи, написанные на материале докладов, которые были прочитаны на состоявшейся в июне 2001 г. в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН международной конференции «Языкознание *sub specie* русистики: итоги и перспективы» (см. информацию о конференции на с. 292). Содержанием конференции, для участия в которой были приглашены известные ученые из разных стран мира, было обсуждение наиболее важных и интересных проблем и тенденций развития лингвистики, имеющих непосредственное отношение к исследованию русского языка.

Ю. Д. Апресян

Взаимодействие лексики и грамматики: лексикографический аспект¹

Строй языка определяется

взаимодействием его грамматики и лексики

В.В. Виноградов

Тема взаимодействия грамматики и словаря чрезвычайно широка и в короткой статье может быть представлена только фрагментарно. Я это сделаю на примере нескольких явлений из области грамматики, имеющих лексикографический интерес.

Статья состоит из трех частей. В первой, теоретической части, обсуждается вопрос о распределении лингвистической информации между грамматикой и словарем в рамках интегрального описания языка. Во второй дается обзор некоторых типов грамматических явлений из области русского глагольного словоизменения, интересных лексикографически. В заключительной, третьей, части делается попытка показать, почему рассмотренный материал представляет интерес *sub specie* русистики.

**1. О системной лексикографии
и интегральном описании языка**

Напомню основной теоретический принцип системной лексикографии и интегрального описания языка — установку на идеально согласованное описание словаря и грамматики. При этом под грамматикой в данном контексте понимается свод всех достаточно общих правил, включая семантические, а задача согласования грамматики и словаря сводится к поиску оптимального распределения лингвистической информации между ними.

В таком описании для каждого грамматического правила тем или иным способом должна быть исчерпывающе определена область его действия в словаре. В свою очередь, каждой лексеме в словаре так или иначе должны быть приписаны все свойства, обращения к которым могут потребовать правила.

¹ Данная работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 02-04-00306а) и РФФИ (гранты № 02-06-80106 и № 00-15-98866).

Поясню два существенных для меня термина — «лексема» и «правило».

Термином «лексема» в Московской семантической школе называется слово в одном из имеющихся у него значений. Лексема имеет две группы лексикографически интересных свойств. Во-первых, это ее собственные свойства: означающее, семантика (толкование), прагматика (включая коннотации), синтактика (управление, специфичные для нее синтаксические конструкции и типы предложений, сочетаемостные особенности, правила взаимодействия ее значения со значениями граммем и других лексем в составе высказывания), коммуникативно-просодические особенности, морфологические формы и стилистические характеристики. Во-вторых, это ее парадигматические семантические связи — синонимы, антонимы, конверсивы, аналоги и разного рода дериваты, включая семантические и супплетивные.

Правилом называется такая операция получения нового языкового объекта В из исходного языкового объекта А, которая применима всегда, когда для А выполняется строго определенный и верифицируемый набор условий. Тем самым правила всегда продуктивны.

Весь языковой материал распределяется относительно правил на два больших массива — факты, которые естественно и непринужденно описываются с помощью правил, и факты, которые таким образом не описываются.

В первом массиве может быть выделено несколько групп языковых фактов в зависимости от того, насколько широка область действия правила. Я выделю два полярных типа — правила с максимально широкой областью действия, верные для практически открытых классов лексем (таково, например, правило образования сослагательного наклонения произвольного русского глагола из формы ПРОШ этого глагола и частицы *бы*), и правила с максимально замкнутой областью действия, в предельном случае содержащие несколько лексем или даже всего одну лексему.

Посмотрим с последней точки зрения на синонимичные глаголы *заставлять* 2 и *вынуждать* 2 в причинном значении, представленном в таких примерах, как *Все это время шла частая стрельба поверх голов, пугавшая и заставлявшая их уходить* (В. Маканин); *Чтобы **вынудить** "Ниссан" отозвать такое огромное количество машин, потребовалось десять случаев их возгорания* (ИТАР-ТАСС Экспресс). *X заставляет <вынуждает> Y-а сделать P = 'Фактор X является причиной того, что человек Y, который не хочет делать P, не может этого не сделать'*.

Для дальнейших рассуждений существенно, что вторая валентность обоих глаголов может замещаться не только названием человека в роли объекта, но и названием неодушевленного предмета — механизма или его части, растения, какой-то физической субстанции и т. п. Ср. *Тяжесть висящей на цепочке гири **заставляет** часы работать* (В. Пелевин); *Электрическое поле периодически меняется и --- **вынуждает** колебаться с такой же частотой электронное облако, окружающее*

атом (Упсальский корпус). Поскольку предметы и субстанции суверенной волей не наделены, в таких употреблениях снимается идея насилия над волей объекта. Иными словами, мена сочетаемости сопровождается ослаблением прототипического значения обеих лексем за счет устранения компонента 'У, который не хочет делать Р' из их словарных толкований. Этот семантический сдвиг происходит во всех случаях употребления названных лексем и, следовательно, может быть описан с помощью правила семантической модификации их прототипических значений.

Очевидно, что правила первого рода, охватывающие большие классы слов, должны включаться в грамматику. Место правил второго рода, характеризующих поведение отдельных лексем или узких классов лексем, — в словаре.

Перейду ко второму массиву явлений, т. е. фактам, которые не поддаются описанию с помощью правил, неважно, грамматических или словарных. В этой области тоже целесообразно выделять минимум два типа явлений, параллельных только что рассмотренным: а) регулярные, системные, представленные массовым лексическим материалом и семантически или формально во многом, хотя и не полностью, мотивированные; б) нерегулярные, представленные одной или несколькими лексемами и семантически плохо мотивированные или совсем немотивированные, т. е. полностью лексикализованные.

Примером первых является обширный класс русских двувидовых глаголов. В грамматиках им традиционно отводится очень много места, поскольку у них есть ряд особенностей, которые отличают их от «нормальных» глаголов. При этом делается попытка описать их с исчерпывающей полнотой именно в грамматике. Эта попытка представляется мне бесперспективной.

Я обращаю внимание лишь на одну особенность двувидовых глаголов, а именно, на то, что они отличаются сложным распределением совершенного и несовершенного видов в разных формах времени.

В большинстве случаев свою грамматическую неоднозначность они ясно обнаруживают только в формах непрошедшего времени. Ср. *Родители **велят** возвращаться не позже одиннадцати часов* [НАСТ НЕСОВ] — *Он наверняка **велит** тебе пойти на собрание* [БУД СОВ]; *В 1905 году он в очередной раз **бежит** из ссылки и возвращается в Петербург* [НАСТ НЕСОВ] — *Я уверен, что он **бежит** из тюрьмы при первой же возможности* [БУД СОВ].

В формах ПРОШ двувидовые глаголы расслаиваются на три подкласса.

1) Глаголы *арестовать, образовать, преобразовать, родить* (в основном значении 'произвести на свет из своего тела', ср. *родить сына*) и некоторые другие в прошедшем времени имеют только форму СОВ; ср., например, *Человек **преобразовал** природу*, где глагол *преобразовать* ни при каких обстоятельствах не может быть осмыслен как НЕСОВ. В непрошедшем времени, естественно, возможны оба вида. Ср. *Человек постоянно **преобразует** окружающую среду* [НАСТ НЕСОВ] — *Через год-другой Академию в корне **преобразуют*** [БУД СОВ].

2) Глаголы *бежать, велеть, казнить* и многие глаголы с суффиксом *-изова-* (*легализовать, организовать, парализовать* и т. п.) в прошедшем времени тяготеют к осмыслению в форме СОВ. Например, из 45 случаев употребления формы *велел*, найденных в результате сплошной выборки в корпусе текстов длиной в 8 000 000 словоупотреблений, нет ни одного, который бы нарушал эту тенденцию. Она настолько сильна, что часто вводит в заблуждение даже опытных лингвистов. МАС, например, считает, что у *велеть* в прошедшем времени есть только форма СОВ.

На самом деле *велеть* и другие названные выше глаголы могут употребляться в форме ПРОШ НЕСОВ, но только в узуальном и многократном значениях; в актуально-длительном и других процессных значениях они невозможны. Ср. *Каждый раз <много раз> он велел все переделывать заново*, но не **Пока он велел, кому что делать, огонь охватил все здание* при вполне допустимом *Пока он приказывал <распоряжлся>, кому что делать, огонь охватил все здание*.

3) Наконец, глаголы *заимствовать, использовать, исследовать* и большинство двувидовых глаголов с суффиксом *-ирова-* (*кодировать, пикировать, шокировать* и т. п.) в прошедшем времени употребляются в форме НЕСОВ совершенно свободно и имеют все свойственные этой граммеме значения, включая процессные. Ср. *Я вошел, когда он кодировал телеграмму; Он кодировал телеграмму с двух до пяти часов*.

Во многих случаях можно указать факты, мотивирующие попадание того или иного глагола в один из перечисленных классов. Так, глаголы с суффиксом *-ирова-* чаще других попадают в третий класс, т. е. имеют относительно полный набор видовых значений НЕСОВ в форме ПРОШ. Глаголы с суффиксом *-изова-* чаще других попадают в первый или второй классы, видимо, потому, что у многих из них есть параллельные формы НЕСОВ на *-овыва-*, которые и берут на себя соответствующую функцию. Не стану продолжать этот перечень, потому что в конечном счете ничего большего, чем тенденцию, для этого материала установить не удастся. Нельзя указать никакого общего свойства, с которым можно было бы связать нужное правило распределения.

Указанные факты непременно должны найти отражение в словаре, потому что только там они могут быть описаны с исчерпывающей полнотой. Это не значит, конечно, что в грамматике для них нет места; просто грамматика не может претендовать на полноту их описания, не превращаясь в словарь, — хотя бы потому, что число двувидовых глаголов в русском языке заведомо перевалило за несколько сотен².

² Любопытно взглянуть на динамику подсчетов числа двувидовых глаголов в русском языке, приведенную в [Мучник 1971]. В «Очерке современного русского языка» А. А. Шахматова перечислено десять исконных двувидовых глаголов, причем этот список подается как исчерпывающий [Шахматов 1941б: 185]; у С. Карцевского аналогичный список насчитывает 15 глаголов [Karcevski 1927: 114]; в «Русском языке» В. В. Виноградова этот перечень расширен до 27 глаголов, с указанием, что он не является исчерпывающим [Виноградов 1947: 498]. Сам И. П. Мучник завершил эти изыскания списком из 62 глаголов, составленным, насколько можно судить, в результате сплошного просмотра «Толкового словаря русского языка» Д. Н. Ушакова [Мучник 1971: 133]. Однако даже в списке И. П. Мучника легко обнаруживаются лакуны. Например, в нем отсутствуют исконные двувидовые глаголы *воздействовать, дооборудовать*,

Примером совершенно необъяснимого, т. е. полностью лексикализованного явления может служить отсутствие форм СТРАД у глагола *заставлять I* в модальном значении ‘воздействовать на человека Y так, чтобы Y, который не хочет делать P, не мог этого не сделать’. У этого глагола есть весь набор семантических и синтаксических свойств, необходимый для образования форм СТРАД: он достаточно акционален, у него полноценный агент в роли первого актанта и он управляет прямым дополнением в роли объекта; ср. *Смотри, врач заставляет больного встать*. Тем не менее, нельзя сказать ни **Больной заставляется (врачом) встать*, ни *??Больной, заставляемый (врачом) встать, долго сопротивлялся*, ни **Больной был заставлен (врачом) встать*.

Любопытно, что никаких фоно-морфологических ограничений на образование форм СТРАД от этого глагола не существует; ср. полный набор таких форм у омонимичного глагола *заставлять² Y X-м* = ‘ставить предметы X в пространство Y-а в таком количестве, что весь Y оказывается занят ими’: *Комната постепенно заставляется мебелью, Комната была полностью заставлена мебелью, Комната, все больше заставляемая мебелью, становилась непригодна для нормальной жизни*.

Отсутствие каких-либо форм СТРАД у *заставлять I* тем более поразительно, что у его ближайших синонимов *вынуждать, принуждать* и *понуждать (кого-л. делать что-л.)*, для которых именно он выступает в роли доминанты³, есть по крайней мере форма СТРАД ПРИЧ НЕСОВ; ср. *Вынуждаемый <принуждаемый> к отказу от сотрудничества со своим учителем, он решил вообще уйти с работы; Мулы, понуждаемые погонщиком, бежали все быстрее*.

доследовать, обжаловать, обследовать и другие. Число неисконных двувидовых глаголов (с суффиксами *-ирова, -изирова, -ицирова-* и т. п.). И. П. Мучник оценивает в 600 единиц (по словарю Д. Н. Ушакова) [там же: 140], а М. Ю. Черткова — в 460 (по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова) [Черткова 1996: 105]. Материалы позднейших разысканий М. Ю. Чертковой свидетельствуют о бурном росте числа двувидовых глаголов в последние годы, равно как и о тенденции к дифференциации видовых форм за счет перфективирующих префиксов (ср. СОВ *проанализировать*) и суффиксов имперфективации (ср. НЕСОВ *авторизовывать*).

³ В подавляющем большинстве случаев доминанта синонимического ряда — наиболее свободный его элемент: она имеет самый полный набор грамматических форм и синтаксических конструкций, самую широкую лексико-семантическую и иную сочетаемость, наименьший набор ограничений и запретов на употребление в той или иной прагматической ситуации и т. п. Парадоксальным образом в рассматриваемом случае доминанта оказывается наиболее связанным элементом синонимического ряда.

Итак, предметом лексикографирования в рамках интегрального описания языка должны быть три типа грамматических явлений: а) правила с ограниченной лексической областью действия; б) тенденции, т. е. не полностью мотивированные, но регулярные свойства больших лексических классов; в) немотивированные свойства отдельных лексем. В дальнейшем я буду заниматься явлениями всех трех типов.

2. Грамматика глагола с лексикографической точки зрения

Я рассмотрю два ряда лексикографически интересных явлений из области глагольной грамматики: некоторые особенности формальных парадигм и некоторые особенности взаимодействия лексических и грамматических значений.

2.1. Формальные парадигмы

В этой сфере лексикографической фиксации подлежат два явления — неполные парадигмы и избыточные парадигмы. Второе явление достаточно хорошо изучено, так что в дальнейшем я сосредоточусь только на формальной неполноте парадигм.

Здесь, в свою очередь, заслуживают внимания два процесса: а) сокращение парадигмы при переходе от прямых значений слов к переносным, а от них — к фразеологически, морфологически и синтаксически связанным, сопровождаемое лексикализацией грамматических форм; б) слияние неполных парадигм двух близких синонимов в единую полную супплетивную парадигму. Первый процесс, как ясно из сказанного, характерен для неосновных значений слов, а второй — для основных.

1. Сокращение парадигм

в процессе лексикализации форм

Грамматические парадигмы разных частей речи подвержены общей тенденции к сокращению числа форм при переходе от прямых значений слов к переносным, а от них — к фразеологически, морфологически и синтаксически связанным. Глагол в этом отношении наиболее показателен: при взгляде на словарные статьи глаголов «первого плана» бросается в глаза, как к концу статьи, где накапливаются именно переносные и связанные значения, полная глагольная парадигма постепенно рассыпается на осколки форм, а иногда редуцируется и до одной формы. Именно на таких участках происходит взаимопревращение различных частей речи друг в друга, особенно превращение полнозначных слов в служебные — частицы, предлоги, союзы, междометия.

В русском языке привилегированной в этом отношении является форма ПОВЕЛ. Конечный этап ее развития — частица или междометие; ср. *Дай, думаю, поспежу за ним*⁴; *Смотри, не упади*. За ней идет форма ДЕЕПР (она в конечном счете превращается в предлог, ср. *начиная с января, кончая мартом*) и ПРИЧ СТРАД СОВ (последний этап развития — именная часть безличного сказуемого, ср. *Кончено!*, *Любить им не было дано*). Однако в принципе лексикализации может подвергнуться любая форма глагола; ср. *Вышел на опушку леса — смотрю <смотрит>, заяц бежит* [1-Л НАСТ ЕД и 3-Л НАСТ ЕД]; *Вышли на опушку леса — смотрим <смотрят>, заяц бежит* [1-Л НАСТ МН и 3-Л НАСТ МН]; *Кажется, что денег надолго хватит, а через два дня смотришь — опять ничего нет* [2-Л НАСТ ЕД].

Типичную картину представляет в этом отношении глагол *давать* — *дать*. Я рассмотрю несколько его значений, помещаемых в словарях в конце словарной статьи. Толкования значений заимствуются из МАС'а, но порядок значений изменен.

а) «Употребляется для выражения удивления, восхищения и т. п. чьим-л. действием, поступком», ср. *Ну ты, брат, даешь!*; *Во дает!*. В этом значении у глагола *давать* — *дать* из 235 форм прототипической грамматической парадигмы, свойственной его основному значению, сохраняется не более десятка: *дает, дают, даешь, даете* и, может быть, *даю, даем, давал, давала и давали*, хотя последние пять форм в узусе, в сущности, не представлены. Отсутствуют все неличные формы, все формы СОВ и все формы ПРОШ НЕСОВ и БУД НЕСОВ⁵.

б) В форме ПОВЕЛ «выражает приглашение к совместному действию», ср. *Давай мириться, Давайте посидим*. В этом значении грамматическая парадигма глагола сокращается до двух форм — ПОВЕЛ ЕД и ПОВЕЛ МН, которые, однако, трактуются языком именно как формы глагола, потому что они сохраняют согласование с подлежащим в числе и лице.

в) В форме ПОВЕЛ «употребляется в значении: начал, стал, принялся энергично делать что-л.», ср. *Схватил дед скорее котел и давай бежать*. В этом значении из всей глагольной парадигмы сохраняется ровно одна форма — ПОВЕЛ ЕД, причем она уже не согласуется в подлежащим в числе и лице; ср. *А я <мы, ты, вы, он, они> давай плясать*. Иными словами, в этой своей ипостаси слово *давать* прекращает свое глагольное существование и превращается в частицу.

Другой пример, уже упоминавшийся в моих работах, — глагол *стоять* в значении, синонимичном значению союза *как только*.

⁴ Тонкий анализ этой частицы был дан в работе [Бартенсен 2001]

⁵ Ср. игровые употребления некоторых из этих форм в следующем тексте: *Стихи [Горбовского] были прекрасны, и все искренне восхищались. Особенно Горбовский. Он то и дело всплескивал руками, обводил слушателей затуманенным взором и восклицал: «Ни хрена себе! Во даю! Ничего это я дал, а? Не слабо!»* (Л. Штерн).

Оно представлено во фразах типа *Стоит ему войти, как все умолкают*; *Стоило ему войти, как все умолкали*. При этом зависимый инфинитив употребляется исключительно в форме СОВ. Ср. параллельные высказывания с союзом *как только*, при котором глагол придаточного предложения может иметь обе видовые формы: *Как только он входит, все умолкают*; *Как только он входил, все умолкали*; *Как только он вошел, все умолкли*.

В рассматриваемом значении грамматическая парадигма глагола *стоит* редуцируется до двух личных форм: НАСТ 3-Л ЕД и ПРОШ СРЕД ЕД. Ни других личных, ни каких-либо неличных форм у глагола *стоит* в данном значении нет. От превращения в полноценный союз его удерживает только наличие двух форм времени.

Интересный случай лексикализации представлен формой ПОВЕЛ СОВ глаголов *разрешать* и *позволять* в значении актов речи. Она постепенно отпочковывается от парадигмы глаголов и, по видимому, находится на пути превращения в своего рода интродуктивную частицу. В толковых словарях она часто подается под отдельным номером, т. е. как особое лексическое значение глагола. Может быть, для такого радикального вывода оснований недостаточно. Бесспорно, однако, что в ряде употреблений формы ПОВЕЛ СОВ словарное толкование глаголов *разрешать* и *позволять* модифицируется настолько, что они перестают обозначать соответствующий акт речи, т. е. акт разрешения в собственном смысле слова. Это происходит в следующих трех типах высказываний:

а) Первый тип — высказывания со значением ‘Х, который хочет сделать Р, просит адресата не препятствовать ему сделать Р и рассчитывает, что адресат как-то выразит свое согласие на это’; ср. *Разрешите <позвольте> пройти*, *Разрешите <позвольте> прикурить*, *Разрешите <позвольте> спросить*. В таких высказываниях значение обоих глаголов сдвигается в сторону лексемы *позволять* 2.1 (Х-у сделать Р), представленной во фразах типа *Она позволила ему обнять себя за плечи*.

б) Второй тип — высказывания с близким значением, но в контексте глаголов, способных к перформативному употреблению. Такие высказывания выполняют функцию вежливых перформативных актов и часто канонизируются в качестве стандартных формул светского или иного ритуализованного общения. В них сочетание глаголов *разрешать* и *позволять* в форме ПОВЕЛ СОВ с управляемым инфинитивом семантически равносильно значению самого инфинитива. Ср. *Разрешите <позвольте> представиться* [≈ ‘Представлюсь’].

в) Третий тип — высказывания, функционирующие как вежливые объявления о том, как будет дальше разворачиваться речь говорящего. В них синонимы ряда управляют глаголами речи в форме ИНФ и внешне оформляются как просьбы, хотя на самом деле говорящему для продолжения речи ничье разрешение не требуется. По аналогии с риторическими вопросами их можно было бы назвать риторическими просьбами. Ср. *Разрешите <позвольте> мне коротко рассказать о событиях*

последних дней; Пока наш уважаемый телеоператор Глазик налаживает зрительную связь, **разрешите** мне обрисовать на словах все, что здесь происходит (Н. Носов).

В этом случае в словарных статьях соответствующих лексем надо вводить особое употребление лексем, получаемое из ее словарного толкования с помощью специального правила семантической модификации, или семантической альтернатиции.

2. Слияние неполных парадигм синонимов в единую супплетивную парадигму

Глагол *желать* имеет два основных круга употреблений, с ясно выраженной стилистической, семантической и прагматической спецификой в каждом из них.

В личных формах в утвердительных и вопросительных предложениях глагол *желать* в большинстве случаев стилистически или прагматически отмечен. Он либо предпочитается в нарративном жанре, ср. *Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и делал это неумело, по-мальчишески* (И. Бунин); либо официален; ср. *Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить синедрион: Вар-раввана или Га-Ноцри?* (М. Булгаков); либо носит приметы узуса, особенно в формах 1-Л, типичного для малообразованных людей с претензией на образованность («мещанский стиль»); ср. *Господа новобранцы! Я желаю поздравить вас еще во многих других моментах и отношениях* (Б. Пастернак).

Во всех перечисленных условиях глагол *желать* сдает свои позиции доминанте соответствующего синонимического ряда — глаголу *хотеть*, который в таких условиях стилистически абсолютно нейтрален и не имеет никакой прагматической специфики.

Во втором круге употреблений, куда входят, в частности, неличные формы ПРИЧ и ДЕЕПР, а также форма ПОВЕЛ, особенно в несобственных значениях последней, глагол *желать* стилистически, семантически и прагматически нейтрален.

Неличные формы: *Радек осенью звонил ему, желая встретиться* (А. Солженицын); *Участников конференции, желающих поехать на экскурсию, просят сообщить об этом в оргкомитет.*

Форма ПОВЕЛ. В собственном значении ПОВЕЛ *желать* обычно используется в составе отрицательного императива: *Не желай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.* В несобственных значениях ПОВЕЛ *желать* используется гораздо более свободно; ср. *Пожелай он обкрадывать казну, он мог бы преспокойно класть в карман, что и сколько бы захотел, и тоже никто бы и не пикнул* (Б. Пастернак).

Глагол *хотеть* в указанных формах не употребляется. Ср. отсутствие деепричастия *хотя*, неупотребительность причастия *хотящий*, невозможность любых форм императива. При необходимости выразить соответствующие смыслы используются несобственные формы, а именно, *желающий, желая, желай, пожелай.*

Распределение личных и неличных форм глаголов *хотеть* и *желать* еще не приобрело той стройности, которая характеризует дополнительное распределение. В частности, у обоих есть нейтральный инфинитив. Тем не менее, уход на периферию личных форм глагола *желать*, твердые позиции глагола *хотеть* в этой области, отсутствие у *хотеть* неличных форм ПРИЧ и ДЕЕПР, а также формы ПОВЕЛ, которые, наоборот, хорошо выражены у *желать*, продвигают эту пару по пути дополнительного распределения. Налицо тенденция к слиянию двух неполных парадигм близко синонимичных глаголов в одну супплетивную парадигму.

Эта тенденция поддерживается и словообразовательным фактором. У глагола *хотеть* нет важных собственных производных — существительного со значением состояния типа *желание* и прилагательного типа *желательный*, которые *хотеть* в случае необходимости вынужден заимствовать у *желать*.

В результате *желать* и *хотеть* тяготеют к слиянию в один глагол с супплетивной грамматической и словообразовательной парадигмами, в которых все члены стилистически нейтральны⁶.

2.2. Взаимодействие лексических и грамматических значений

Эту тему я рассмотрю на материале, связанном с категорией залога. В последние десятилетия проблема залогов и диатез исследовалась весьма интенсивно, особенно после знаменитой статьи [Мельчук, Холодович 1970], появление которой, по справедливому замечанию В. С. Храковского, «вызвало настоящий залоговый бум» [Храковский 2000: 473]. В течение 30 лет интерес к этой теме только нарастал и сейчас, кажется, достиг своего пика. Тем не менее, вопрос о лексикографических аспектах описания залога (в отличие, например, от вида) в специальной литературе, в сущности, не затрагивался. Между тем русский пассив, в отличие от пассива ряда других языков, замечателен тем, что он в высокой степени недограмматикализован и, следовательно, представляет первостепенный лексикографический интерес.

Как известно, глагол в русском языке имеет четыре залоговые формы — синтетическую форму СТРАД НЕСОВ на *-ся* и три аналитические с причастиями СТРАД НЕСОВ НАСТ, СТРАД НЕСОВ ПРОШ и СТРАД СОВ ПРОШ. Ср. Книга **читалась** людьми всех возрастов, Книга была **читаема** людьми всех возрастов, Книга была **читана** людьми всех возрастов и Книга была **прочитана** людьми всех возрастов. Можно считать общепризнанным, что естественно ожидаемой пятой залоговой формы СТРАД СОВ на *-ся* (Книга **прочиталась** людьми всех возрастов) в русском языке нет. Эпизодически цитируемые в литературе примеры типа *Все это потом забетонируется* не выходят за пределы окказионализмов.

⁶ Подробнее об этом глаголе и его синонимах см. [Апресян 1995].

Из четырех существующих залоговых форм в данной работе речь пойдет о только о первой. Точнее, я рассмотрю ту разновидность полной пассивной конструкции, которая представлена хрестоматийными примерами типа *Мост строился иностранными рабочими*⁷.

Выбор именно этой разновидности в качестве прототипической пассивной конструкции русского языка объясняется следующими соображениями:

а) Эта конструкция полностью сохраняется в современном языке. Между тем аналитическая пассивная конструкция с причастием СТРАД НЕСОВ обоих времен безусловно устаревает. Немногочисленные глаголы в форме ПРИЧ НАСТ, которые не дают в ней эффекта архаичности, ощущаются как книжные и развивают адъективные свойства; ср. *Он был всеми любим <уважаем>*. Иногда причастие приобретает модальные значения и тоже сдвигается в сторону прилагательного; ср. *Этот ход был вполне ожидаем = Этого хода вполне можно было ожидать*. Устаревает и аналитическая пассивная конструкция с глаголом в форме ПРИЧ ПРОШ. Ср. *Руки были мыты, Лет сорок назад тропа строена, Ораторскому искусству не учен* (примеры из [Рочурин 1999: 83—86]). К тому же она синонимична аналитической конструкции с формой ПРИЧ СТРАД СОВ ПРОШ и, подобно последней, часто имеет не пассивное, а чисто результативное (стативное) значение. В нем и сама эта конструкция, и конституирующая ее форма ПРИЧ СТРАД НЕСОВ ПРОШ, теряют право на залоговый статус; см. об этом ниже, пункт б).

⁷ В понимании залога вообще и пассивного залога в частности я в целом следую той грамматической традиции, которая была заложена в уже упоминавшейся работе [Мельчук, Холодович 1970: 117] и развита в [Мельчук 1998: 163—164], а также в работах петербургской типологической школы; см., например, [Типология 1974], [Касевич 1988: 211], [Храковский 1991: 143, 148] и другие работы о залоге последнего автора. В соответствии с этой традицией под пассивным залогом понимается грамматическая категория, граммы которой указывают на изменение базовой (словарной) диатезы глагола, причем на первое синтаксическое место производной диатезы, т. е. на место подлежащего, выдвигается объект, а субъект (агенса, первый актант исходной диатезы) уходит с первого места на второе или третье. Впрочем, в интерпретации конкретного материала я иногда существенно расхожусь с некоторыми из названных авторов. Так, в отличие от [Храковский 1991: 162, 163, 175, 177, 179—180], я не усматриваю ни пассивной конструкции, ни пассивной формы глагола во фразах типа *Подошла официантка и объявила, что ресторан закрывается, пляж заполняется людьми, Белое море все красится, Дверь не запирается, велосипед складывается, Так думалось Коле со стороны* и т. п. Здесь стираются грани между прототипической пассивной конструкцией и внешне похожими на нее конструкциями, имеющими принципиально иную природу. Ср., в частности, возможность формы СОВ (*Ресторан закрылся, пляж наполнился людьми* и т. п.) для большинства перечисленных здесь глаголов и ее невозможность для прототипического пассива. Справедливости ради отмечу, что такой взгляд на пассив имеет давние традиции в нашем языкознании; см., например, [Шахматов 1941а: 478—480].

б) Конструкция *Мост строился иностранными рабочими* имеет чисто страдательное, т. е. залоговое значение. Этим она отличается от конструкций с формами СТРАД ПРИЧ СОВ, которые очень часто утрачивают страдательное значение и обозначают не действия, а состояния; ср. *Собака была привязана хозяином к дереву* (страдательное значение, невозможно обстоятельство длительности) VS. *Собака была привязана к дереву пять минут* (результативное значение, или значение состояния, невозможно агентивное дополнение в форме ТВОР; примеры из [Всеволодова 1983]; см. также Храковский 1991: 150). Более того, конструкции с формами СТРАД ПРИЧ СОВ образуются даже от непереходных глаголов, в которых от страдательного залога, как он был определен выше, не остается и следа; ср. *Рана была воспалена* (подробнее об этом см. в книге [Князев 1989]). По-видимому, именно размытостью пассива, образованного на основе форм СТРАД ПРИЧ СОВ, объясняется идущее от В. И. Даля и Н. П. Некрасова представление о том, что в русском языке настоящего пассива нет.

в) Конструкция *Мост строился иностранными рабочими* в наибольшей мере сохраняет глагольность. В частности, глагол в форме СТРАД имеет в ней более полный набор аспектуальных значений и свойств, чем в двух других пассивных конструкциях⁸. Процессное значение: *Дом строится бригадой рабочих с Украины*. Настоящее предстоящего действия: *Весь тираж завтра же направляется нами на периферию*. Узуальное значение: *Дверь открывается привратником*. Многократное значение: *Рукопись перебелилась переписчиками несколько раз*. Общефактическое двунаправленное: *Ясно, что окно кем-то открывалось*. Правда, в соответствии с общим законом редукции полисемии производных форм по сравнению с исходными, у глагола в форме СТРАД НЕСОВ отсутствуют потенциальное значение (**Пятьсот килограмм поднимается этим тяжеловесом*), значение непосредственно предшествующего действия (**Все зовутся мамой обедать*) и ряд других, а актуально-длительное значение выражается с большим трудом⁹. С другой стороны, статус перечисленных видо-временных значений в форме СТРАД НЕСОВ совсем другой, чем в активной форме. Пассивная конструкция тяготеет к употреблению в обобщенном значении;

⁸ Речь идет именно о «более полном», но ни в коем случае не о полном наборе аспектуальных значений и свойств. Утверждение, что «пассивные глагольные формы НСВ в общем обладают теми же аспектуальными свойствами, что и активные глагольные формы НСВ» [Храковский 1991: 162] (см. также [Роурун 1999: 38]), представляется мне чересчур сильным.

⁹ Для большинства примеров актуально-длительного (по другой терминологии — конкретно-процессного) значения формы СТРАД НЕСОВ глаголов на *-ся*, приведенных в книге [Роурун 1999: 39—46], нам представляется более вероятной процессная, а не актуально-длительная интерпретация. Предложенная нами систематика и в других отношениях отличается от систематики Ю.А. Пупынина.

с ее помощью формулируются предписания, правила поведения, разрешения, запреты и т. п.; ср. *В заповеднике охотиться не разрешается <запрещается>, Удить рыбу разрешается только в отведенных для этого местах.* Поэтому преобладающим употреблением формы СТРАД НЕСОВ, как это неоднократно отмечалось, является ее употребление в узуальном и многократном значениях. Однако сама принципиальная возможность употребления этой формы в других видо-временных значениях ставит ее в особое — привилегированное — положение в кругу форм страдательного залога¹⁰.

Рассматриваемая пассивная конструкция подчиняется разветвленной системе неабсолютных запретов, коротко характеризуемых ниже. Эти запреты касаются трех ключевых точек активной конструкции, от которой она образуется, — подлежащего, сказуемого и дополнения. Ниже я попытаюсь проследить сложную игру разных факторов в этих ключевых точках.

Подлежащим исходной активной конструкции должно быть название целенаправленно действующего человека, автономно работающего механизма (*Бортвой компьютер рассчитывает курс самолета — Курс самолета **рассчитывается** бортовым компьютером*), активной природной силы (ср. *солнце, река, ветер, землетрясение* и т. п.) или причины (*Падение цен на нефть вызывает кризис — Кризис **вызывается** падением цен на нефть*). При этом легкость пассивизации падает при переходе от первого семантического класса к последнему. В частности, глагол *вызывать* в причинном значении пассивизируется легко, а его синониму *производить* пассивизация противопоказана; ср. *Слухи об отставке правительства производят переполох на бирже — ??Переполох на бирже **производится** слухами об отставке правительства* (при том, что по-прежнему можно сказать *Переполох на бирже **вызывается** слухами об отставке правительства*).

Глагол должен быть акциональным¹¹. Идеальным материалом для пассивизации являются обозначения контролируемых действий, но не

¹⁰ Ср. [Веренк 1985: 289], где приведены и чисто формальные аргументы в пользу того, что ядром пассива являются возвратные глаголы, а не страдательные причастия.

¹¹ В нашей литературе эту мысль впервые высказал, по-видимому, А. М. Пешковский. Рассматривая возвратные глаголы со страдательным значением типа *посещается, арестовывается, избивается, исследуется, переделывается* и т. п., он замечает, что «в таких глаголах — не может быть и речи о состоянии, а только о действии (вся эта рубрика состоит исключительно из глаголов, обозначающих и в основе действие)» [Пешковский 2001: 117; разрядка моя]. Любопытно, что в обширной истории вопроса в книге [Виноградов 1947: 606—641] эта важная мысль не отражена. В последующих работах о залогах русского глагола, равно как и в огромной типологической литературе о залогах и диатезах условие акциональности глагола почти никем не включается в качестве обязательного в правила образования русского пассива. Исключением является давняя работа [Королев 1969: 179].

деятельностей, процессов, событий, состояний и т. п.¹² Язык чутко реагирует на малейшие различия в степени акциональности и накладывает запреты на использование в форме СТРАД НЕСОВ глаголов, которые не «дотягивают» до нужного уровня акциональности. Фраза *Мы ежедневно получаем сигналы со станции «Мир»* не преобразуется в пассивную конструкцию, между тем как синонимичная фраза с глаголом *принимать* легко допускает такое преобразование; ср. *Сигналы со станции «Мир» принимаются нами ежедневно*, но не **Сигналы со станции «Мир» получаются нами ежедневно*. Объясняется это тем, что получение требует от субъекта меньших усилий, чем прием¹³.

Степень акциональности может быть разной для разных семантических групп глаголов и для глаголов с разной формальной структурой. Например, стивы неакциональны в разной мере. Конкретные названия видов физического восприятия, т. е. глаголы типа *видеть, слышать, чухать* и т. п., в большей мере неакциональны, чем их *genus proximum*, а именно, глагол *воспринимать*. Поэтому предложение *Мы слышим свой собственный голос не так, как другие звуки* не допускает пассивизации, а аналогичное предложение с глаголом *воспринимать* пассивизируется относительно легко; ср. *Мы воспринимаем свой собственный голос не так, как другие звуки — Наш собственный голос воспринимается нами не так, как другие звуки*.

Что касается формальной структуры глаголов, то здесь, как известно, существенное значение имеет приставка. У приставочных глаголов по сравнению с бесприставочными степень акциональности повышается. Так, глагол *крыть* в значении ‘ругать’ в пассивной конструкции не употребляется, а его приставочные синонимы *охаивать* и *поносить* такое употребление допускают; ср. *Пьеса поносилаь <охаивалась> критиками всех направлений при невозможности *Начальство крылось всеми, кому не лень*. Ср. также пары *ждать* и *пережидать*, *винить* и *обвинять*, *хвалить* и *расхваливать* — с нарастанием акциональности и свободы образования пассивной конструкции при

¹² Из сказанного следует, между прочим, что семантическая классификация глаголов Маслова—Вендлера (и ее модификации в работах Т. В. Бульгиной, М. Гиро-Вебер, М. Я. Гловинской и других авторов), первоначально разработанная для целей аспектологии, релевантна и для описания залога (точнее, механизмов взаимодействия залоговых форм с лексическим значением глагола). Более того, эта классификация существенна для описания ряда других грамматических категорий глагола, например, наклонения. В частности, форма ПОВЕЛ реализует свое прототипическое значение у глаголов действия, деятельности, процесса и положения в пространстве. Глаголы со значением состояния (стивы) либо не образуют форму ПОВЕЛ, либо приобретают в ней различные семантические надбавки.

¹³ Ср. другой взгляд на этот глагол в [Храковский 1991: 144—145].

переходе от первого элемента пары ко второму: **Отстающие ждали* на опушке леса — (Обычно) дождь *переждался* в укрытии; **Вы винитесь* мной во всех моих бедах — Вы *обвиняетесь* судом в преступлениях против человечности; ?Его стихи на все лады *хвалятся* критиками — Его стихи на все лады *расхваливаются* критиками¹⁴.

Дополнение активного глагола должно иметь форму ВИН. Иногда оно может иметь форму РОД, ТВОР, ИНФ и некоторые другие, ср. *Из года в год лаборатория достигает хороших результатов* — *Из года в год лабораторией достигаются хорошие результаты*¹⁵, *Оператор управляет роботом* — *Робот управляется оператором*¹⁶, *Правительство запрещает проводить митинги и демонстрации* — *Проводить митинги и демонстрации запрещается* и т. п. Однако сформулировать общие условия пассивизации для указанных случаев невозможно, потому что глаголы одного и того же семантического класса ведут себя по-разному относительно этого преобразования. Глаголы *руководить* (чем-л.) и *заведовать* (чем-л.) принадлежат к тому же классу, что и только что упомянутый глагол *управлять*. Однако, в отличие от этого последнего, *руководить* (чем-л.) пассивизируется с трудом (хотя еще в XIX веке он мог иметь дополнение в форме ВИН, ср. *руководить жену* у Белинского), а *заведовать* (чем-л.) вообще не допускает пассивизации. Для глаголов *воспринимать* и *разрешать* пассивизация возможна в той же мере, что и для глагола *запрещать*, а для глагола *приказывать* и особенно *велеть* она совершенно исключена. При этом для ближайшего синонима *приказывать* — глагола *предписывать* — она вполне возможна; ср. *Разве эти заповеди в устах галилеянина не устраивали Пилата? Ведь это за него, оккупанта, предписывалось молиться и любить его* (Ю. Домбровский).

Дополнение активного глагола должно соответствовать семантической роли объекта. В русском языке винительным падежом в ряде случаев оформляется роль адресата (ср. *благодарить кого-л.*, *просить кого-л.*, *спрашивать кого-л.*), но тогда пассивизация невозможна. Интересно сравнить в этом отношении глаголы *ругать*, *бранить*, с одной стороны, и *поносить*, *охаивать*, с другой. Последние два глагола, как мы только что убедились, легко допускают пассивизацию.

¹⁴ О более формальных ограничениях на возможность образования пассивной конструкции, связанных со способами действия (делитимативным, пердуративным, начинательным, семельфактивным), а также стилистическими, фонетическими и синтаксическими факторами, см. [Бондарко, Буланин 1967: 158—161], [Королев 1969: 180—181], [Храковский 1991: 154, 165].

¹⁵ Подробнее об этом см. [Апресян 1967: 133].

¹⁶ А. М. Пешковский объясняет возможность пассивизации этого глагола тем, что «управляю еще совсем недавно требовало винительного падежа, а не творительного» [Пешковский 2001: 118]. О пассивизации конструкций с дополнением в форме ТВОР в действительном залоге см. также [Уорс 1962].

Между тем для *ругать* и *бранить* она невозможна, потому что при них форма ВИН в большинстве случаев синкретично выражает не только роль объекта порицания, но и роль его адресата. Иными словами, в таких случаях объект порицания совпадает с адресатом речевого акта¹⁷.

Дополнение активного глагола не должно обозначать неотчуждаемую принадлежность агенса. Это — единственное абсолютное условие, препятствующее пассивизации. Глаголы типа *вынимать*, *опускать*, *открывать*, *поднимать*, *растягивать*, *сжимать* и т. п. в сочетании с *nomina anatomica* — важнейшим классом существительных неотчуждаемой принадлежности — не пассивизируются; ср. *Мужчина опускает голову*, *Мальчик открывает рот* и т. п., но не **Голова опускается мужчиной*, **Рот открывается мальчиком*. В этом случае даже пассивная конструкция с глаголом в форме СОВ затруднена. Между тем при другом типе дополнения пассивизация в форме НЕСОВ становится допустимой, а в форме СОВ — совершенно свободной. Ср. *Гроб опускается <был опущен> рабочими в могилу*, *Дверь открывается <была открыта> привратником* и т. п. Ср. также глаголы типа *морщить*, *скалить*, *таращить*, *хмурить*, *щурить* и т. п., которые употребляются преимущественно или исключительно с *nomina anatomica* и которым пассивизация в форме НЕСОВ категорически противопоказана¹⁸.

Этот запрет не специфичен для русского языка. Даже в таком языке, как английский, где пассив грамматикализован в гораздо большей степени и может быть образован не только от переходных, но и от непереходных глаголов, в том числе от глаголов состояния, он становится невозможен при *nomina anatomica*; ср. *He knocked his fist (on the table)*, но не **His fist was knocked by him (on the table)*.

Наконец, дополнение активного глагола не должно быть названием человека. Если оно называет человека, то полная пассивная конструкция с глаголом физического действия в качестве сказуемого невозможна: не говорят *Ребенок умывается няней*, *Дети провожаются в школу*

¹⁷ Тот факт, что у глаголов *ругать* и *бранить* имеется роль адресата, отдельная от роли объекта, подтверждается употреблениями типа *Вот и вчера он ругал <бранил> мне своего младшего брата*, где эти роли выражаются раздельно. Тем же свойством обладает и антонимичный глагол *хвалять*: — *Молодец*, — *похвалил его отец* [объект и адресат похвалы совпадают] — *Он хвалил мне своего сына* [объект и адресат выражаются раздельно].

¹⁸ Последний факт отмечен в [Королев 1969:180]: «Пассив не образуется у глаголов, обозначающих физическое действие, объектом которого может быть только часть субъекта: *хмурить (брови)*, *морщить (нос, лоб)*, *горбить (спину)*, *прищуривать (глаза)*, *понуричь (голову)*». Мы бы, однако, хотели подчеркнуть, что запрет, как показывает наш материал, носит гораздо более общий характер и коренится в значении неотчуждаемой принадлежности, выражаемой существительным, а не в значении глагола, как полагает Э.И. Королев.

*отцом*¹⁹. Этот запрет фигурирует во многих авторитетных грамматических описаниях, в частности, в Грамматике-60. Однако и он не является абсолютным. Сильно акциональные глаголы легко его преодолевают. Таковы, в частности, глаголы со значением проверки, осмотра и т. п.; ср. *Все вновь прибывающие больные осматриваются опытными врачами, На экзамене будущие певцы прослушивались примами Большого театра*.

Как показывает этот обзор, взаимодействие лексических и грамматических значений носит весьма причудливый, далеко не всегда предсказуемый характер и, следовательно, должно быть предметом лексикографического описания в большей мере, чем грамматического.

3. Выводы

3.1. В современных теориях синтаксиса есть раздел, трактующий явления так называемого «малого синтаксиса» (minor type sentences). Пояснить это понятие можно следующим образом.

В синтаксисе каждого естественного языка можно обнаружить центр и периферию. Центр состоит из небольшого числа высокочастотных синтаксических конструкций, а периферия — из большого числа низкочастотных синтаксических конструкций. Примером первых являются конструкции типа *Дети гуляют, белая береза, слушать музыку*. Примером вторых являются инфинитивные конструкции типа *Мне нечего читать, Быть грозе великой, Теперь-то себя и показать, Еще одну минуту видеть ее* или конструкции с формой ПОВЕЛ, не согласованной по числу и лицу с подлежащим: *И меч нас рассуди!, А он ногой за порожек и зацепись!, Мы работай, а он отдыхать будет?, Православные, навались!, Да будь я и негром преклонных годов* и т. п. Конструкции этого второго типа и были названы явлениями «малого синтаксиса».

Представляется, что наряду с явлениями малого синтаксиса следует выделять явления малой морфологии, малого словообразования (ср., например, диминутивные суффиксы в составе прилагательных и наречий типа *толстенький, тихонечко, тихохонько, остороженько*) и малой просодии (ср. эмфатические ИК по Е. А. Брызгуновой).

Помимо частотных свойств, указанных выше, «малым» явлениям присущ следующий комплекс взаимосвязанных особенностей:

а) По сравнению с «большими» явлениями «малые» явления имеют более сложную структуру; ср. синтаксическую структуру конструкций типа *Он пришел* или *большая оса*, с одной стороны, и

¹⁹ Именно этим общим условием объясняется и неупотребительность форм 1-Л и 2-Л, отмеченная еще А. А. Шахматовым ([Шахматов 1941а: 189]); см. также [Виноградов 1947: 639], [Храковский 1991: 157—158].

синтаксическую структуру конструкций типа *Мне нечего читать*²⁰, *Мы работай, а он отдыхать будет?*, с другой.

б) Единицы «большого» синтаксиса, «большой» морфологии и т. п. выражают объективные значения и обладают, в той или иной мере, свойством универсальности, т. е. являются общими для многих человеческих языков. Единицы «малого» синтаксиса, «малой» морфологии и т. п. идиоматичны, выражают субъективно-модальные значения (возможности, необходимости, желательности, нежелательности, включения в мир говорящего и исключения из него и т. п.) и специфичны для разных национальных языков.

в) В центре грамматические категории одной и той же части речи относительно независимы друг от друга, от других грамматических категорий, от синтаксических конструкций и просодий. Между тем на периферии они сплетаются в такой тесный клубок взаимосвязанных явлений, что выражаемые ими модальные значения оказывается трудно локализовать в какой-то одной языковой единице, будь то лексема, граммема, словообразовательный аффикс, синтаксическая конструкция или просодия. Очень часто носителем данного модального значения оказывается целый пучок коррелирующих друг с другом явлений.

г) Центральные явления неидиоматичны и хорошо описываются правилами. Между тем явления малого синтаксиса, малой морфологии, малого словообразования и малой просодии характеризуются лексикализацией, т. е. не описываются правилами, пусть с предельно ограниченной областью действия (что иногда не мешает им быть достаточно хорошо мотивированными семантически).

3.2. Русский язык демонстрирует поразительное семантическое и формальное разнообразие явлений малого синтаксиса, малой морфологии, малого словообразования и малой просодии и в этом смысле является языком, широко и глубоко лексикализированным. Когда-то было принято подчеркивать автономность лексики и грамматики. В частности, в этом заключался пафос «автономного синтаксиса» в духе Н. Хомского. Материал русского языка позволяет усомниться в универсальности этой модели, потому что его грамматика в высокой степени лексикализована.

3.3. Лексикализация является важной типологической характеристикой языков, по которой их можно классифицировать на более или менее лексикализованные (или, соответственно, на более или менее грамматикализованные).

3.4. Русский язык как язык весьма лексикализованный представляет особый и первостепенный интерес для общей теории языка, потому что позволяет рассмотреть старые проблемы общей лингвистики под новым углом зрения — *sub specie* русистики.

²⁰ Об этой конструкции см. работу [Апресян, Иомдин 1989].

Литература

Апресян 1967 — Ю. Д. Апресян. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.

Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. *Хотеть* и его синонимы: заметки о словах // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова). М., 1995. С. 16—33.

Апресян, Иомдин 1989 — Ю. Д. Апресян, Л. Л. Иомдин. Конструкции типа *негде спать*: синтаксис, семантика, лексикография // Семиотика и информатика. 1989. Вып. 29. С. 34—92.

Барентсен 2001 — А. Барентсен. К вопросу о видовой оппозиции в конструкциях типа *дай помогу — давай помогу*: Доклад, прочитанный на международной конференции «Славянский вид и лексикография» (Гамбург, 27 июня — 1 июля 2001 г.).

Бондарко, Буланин 1967 — А. В. Бондарко, Л. Л. Буланин. Русский глагол. Л., 1967.

Веренк 1985 — Жак Веренк. Диатеза и конструкция с глаголами на *-ся* // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. Современная зарубежная русистика. М., 1985. С. 286—302.

Виноградов 1947 — В. В. Виноградов. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.

Всеволодова 1983 — М. В. Всеволодова. Категория именной темпоральности и закономерности ее речевой реализации. М., 1983.

Касевич 1988 — В. Б. Касевич. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.

Князев 1989 — Ю. П. Князев. Акциональность и стательность. München, 1989.

Королев 1969 — Э. И. Королев. Использование пассива при автоматическом синтезе русского предложения // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 11. М., 1969. С. 177—192.

МАС – «Малый академический словарь» = Словарь русского языка: В. 4 т. М., 1985-1988

Мельчук 1998 — И. А. Мельчук. Курс общей морфологии. Т. 2. М.; Вена, 1998.

Мельчук, Холодович 1970 — И. А. Мельчук, А. А. Холодович. К теории грамматического залога // Народы Азии и Африки. 1970. № 4. С. 111—124.

Мучник 1971 — И. П. Мучник. Грамматические категории глагола и имени в современном русском языке. М., 1971.

Пешковский 2001 — А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М., 2001.

Типология 1974 — Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого. Л., 1974.

Уорс 1962 — Д. С. У о р с. Трансформационный анализ конструкций с творительным падежом в русском языке // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962. С. 637—683.

Храковский 1991 – В. С. Х р а к о в с к и й. Пассивные конструкции // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991. С. 141—239.

Храковский 2000 – В. С. Х р а к о в с к и й. Диатезы и залого (тридцать лет спустя) // Слово в тексте и в словаре: Сб. статей к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна / Ред. Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. М., 2000. С. 466—474.

Черткова 1996 — М. Ю. Ч е р т к о в а. Грамматическая категория вида в современном русском языке. М., 1996.

Шахматов 1941а — А. А. Ш а х м а т о в. Синтаксис русского языка. Л., 1941.

Шахматов 1941б — А. А. Ш а х м а т о в. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.

Karcevski 1927 — S. K a r c e v s k i. Système du verbe russe: Essai de linguistique synchronique. Prague, 1927.

Poupynin 1999 — Youri A. P o u p y n i n. Interaction between Aspect and Voice in Russian // Lincom Studies in Slavic Linguistics. München, 1999.

К вопросу об универсальной семантической системе

В своем выступлении я сделаю лишь несколько беглых замечаний по вопросам общего характера; некоторое обогащение этих замечаний можно усмотреть в привезенном мною хэндауте к нашему с Магдаленой Данелевичовой совместному толкованию глагола *верить, что*, которое может также выполнять определенную иллюстративную роль (более пространная характеристика этого выражения станет предметом нашей статьи для сборника докладов «глагольной» конференции, проведенной ИЛИ РАН (Санкт-Петербург) в мае 2001 г., ср. [Богуславский, Данелевичова, в печати]).

Мои замечания будут связаны с задачей, поставленной передо мною организаторами конференции, которые почти тут же до ее начала сформулировали за меня название доклада; я понял, что мне придется приехать и подвергнуться своего рода интервьюированию по поводу «универсальной семантической системы». Раньше (в сентябре прошлого года) мне представлялось возможным (хотя окончательного решения я тогда — и вплоть до начала июня — не принял) изложить что-то, относящееся к «методологическому статусу семантических исследований». Думается, что в конце концов можно будет как-то сочетать обе темы.

Я сделаю три комментария по некоторым, немного разрозненным, кускам моего «Верую», касающегося работы над (познавательными-) *смысловыми соотношениями* выражений. Мои высказывания будут носить отчасти догматический характер (для полной аргументации места мало). Мне нужно также оговориться, что я считаю по крайней мере многое из того, что я скажу, тривиальным, даже если это отнюдь не означает, что соответствующие положения маловажны. Вот толкование слова *верить, что* — дело совсем не тривиальное. Но ему место в отдельной работе.

*Статья А. Богуславского представляет собой авторизованную запись выступления на конференции «Языкознание sub specie русистики: итоги и перспективы» в ИРЯ РАН.

Комментарий 1. No entity without identity ... of differences

Я начну со сверхтривиального положения, которое, однако, как это ни странно, приходится все время повторять — ввиду какого-то непонятого весьма распространенного упрямого пренебрежения к нему (наверное, не во всех случаях и не в большинстве их, но во многих или по крайней мере некоторых случаях — несмотря на то, что допустимость такой вольности в *любом* конкретном случае не выше позволительности сбрасывания со счетов арифметической теоремы $2 \times 2 = 4$).

Вот оно, мое сверхтривиальное положение: во-первых, неотъемлемой частью адекватного описания смысловых отношений между выражениями является *правильное выделение* самих подлежащих описанию двусторонних выражений, т. е. выражений, обладающих не только чисто смыслоразличительной функцией (каковая свойственна, скажем, фонемам); во-вторых, такое правильное выделение должно опираться на неукоснительно проводимый принцип пропорции. Для обсуждения деталей применения этого принципа здесь, конечно, нет места (а надо сказать, что есть некоторые детали этого применения, имеющие менее тривиальный характер, чем сам принцип).

Возьмем теперь в качестве примера упоминавшийся выше глагол *верить*. Это бесспорно определенная морфологическая величина. Но обсуждение ее *смысла* беспредметно. По-настоящему выделяются только *верить, что*; *верить в*; *верить* + дат. п. и, пожалуй, другие единицы (я отвлекаюсь от возможных продуктов эллипсиса в виде чистого *верить*, например, *верю* вместо *верю тебе*).

Чтобы помочь размышлениям по этому поводу, я укажу лишь на один мелкий факт. Обратите внимание на следующее сопоставление:

(1) — Он убил своего брата.

— Я тебе верю.

(2) — Он убил своего брата.

— *Я верю, что он убил своего брата.

В то время как диалог (1) безупречен, вторая реплика диалога (2) семантически аномальна (т. е. она аномальна в условиях обычных оценок; если же описываемое лицо считает положение дел, выраженное после *что*, хорошим, что, конечно, вполне возможно, (2) никак не аномально).

По таким приметам можно и нужно устанавливать в определенных случаях самостоятельность и неделимость *не* того, что *кажется* самостоятельной смысловой величиной, а как раз того, что *кажется* скорее всего *сочетанием* смысловых величин. На самом деле такое мнимое сочетание может представлять собой неделимую единицу языка, сосноровскую *entité concrète* (в таких случаях *какая-то* делимость, даже другая, чем фонологическая, не обязательно исключается, например,

частичка *что* в *верить*, *что* может отделяться другими словами, а также повторяться; важно, что нет *двусторонней* делимости). Глагол *верить*, конечно, представляет собой, повторю это еще раз, морфологическую величину. Но реальной *смысловой* величиной он, я осмеливаюсь сказать, является только в той мере, в какой кентавр является реальным живым существом.

В дополнение к сказанному упомяну о том, что затронутая здесь тема соотносится непосредственно с заботой об осуществлении непреложного фрегевского принципа композициональности, а также об обеспечении взаимного отображения семантики и синтаксиса (на которое делает особый упор, и по праву, формальная семантика).

Теперь хочу добавить, что сделанное важное, на мой взгляд, хотя и страшно элементарное, замечание соответствует, по-видимому, славному принципу Куайна: «no entity without identity» — «нет объекта без тождества» (это надо понимать следующим образом: нет объекта там, где он не отождествлен определенным и недвусмысленным способом). Я взял этот принцип как основу заголовка настоящего комментария. Положение, которое скрывается за упомянутым *dictum*, мне кажется столь же незыблемым, что и закон непротиворечия. Мало того: думается, что в сущности мы и сталкиваемся здесь именно с законом непротиворечия. Дело в следующем: Куайн обращается в своем афоризме к закону тождества, а этот закон, наряду с законом непротиворечия и законом исключенного третьего (все эти законы являются производными друг по отношению к другу), является лишь одной из *ипостасей* того, что я охотно называю *одним-единственным* «законом знания».

Однако ныне рассматриваемую ипостась закона знания — в виде закона тождества — следует понимать правильно. Вслед за Витгенштейном я отклоняю его обычный вид: $a = a$; эту формулу Витгенштейн называл очень метко «дегенерированным тождеством», ср. [Wittgenstein 1984: 315-318]. От себя добавлю: если a действительно *одно* и то же, « $a = a$ » превращается в « $a =$ », поскольку « a » в его единичности нельзя повторить; но « $a =$ » просто не предложение и не формула, а всего лишь вычурная пустая графическая форма (валентные места символа « $=$ » не заполнены). Обычное же, скажем, *Нина это Нина* никакая не тавтология (и, соответственно, *Нина это не Нина* никакая не контравтология, а, наоборот, вполне нормальное, синтетическое, даже, возможно, истинное предложение); это не тавтология в силу того, что каждое вхождение слова *Нина* в процитированном предложении имеет свое, *нетождественное*, «окружение», свою особую среду употребления. На место закона тождества в указанном «вырожденном виде» я ставлю — опять вслед за Витгенштейном, но прежде всего как выученик де Соссюра — пропорцию, т. е. закон *тождества различий*. Куайновское *dictum* «no entity without identity» я уточняю, получая именно то, что дано в заголовке настоящего комментария, т. е. «no entity without identity of differences

Теперь я перейду к применению того, что я предложил вашему вниманию, к некоторым более конкретным установкам в области изучения смысловых отношений, в частности к тому, что можно наблюдать в высказываниях нынешних сопредседателей, Ани и Юры.

Итак, я отказываюсь принять как реальные смысловые *entities* твои, Юра <Ю. Д. Апресян. — *Ред.*>, кварки или «пересекающиеся части значений», «остаточные части значений», ср. [Апресян 1994], а также, твое, Аня <А. Вежбицка. — *Ред.*>, английское якобы одинарное *know* и русское якобы не менее одинарное *знать* (с сопутствующим им объединением, скажем, немецкого *wissen, kennen* или польского *wiedzieć, znać* в качестве двух соответствующих *вариантов*, или, в терминологии Вежбицкой и Годдарда, «аллолексов», представляющих один и тот же смысл, т. е., например, с трактовкой *wissen* и *kennen* как немецких «аллолексов» единого ‘знать/know’).

В отношении затронутых таким образом глаголов «знания» замечу, что необходимо во всяком случае отличать два предиката. Один из них — это «примитив» *знать, что*, точнее, *знать о __, что* (с его стилистическим вариантом без *что* и с таким же *синтаксическим* вариантом — огрубленно говоря, при местоимениях [в вин. п.; ср. двузначное *А знает что-то*: например, как следствие предложения *А знает, что Москва столица России* и как следствие предложения *А знает Москву*]; ср. также сходные явления в английском языке). Второй из них — это предикат *знать* с объектным дополнением. Я оставляю в стороне глагол *знать* в составе ряда других единиц.

Для того чтобы отдать себе отчет в правильности намеченного различия, достаточно противопоставить следующие предложения, первое из которых вполне нормально, в то время как второе противоречиво и, как таковое, решительно аномально:

(3) Иван знает предположение о том, что Петр совершил самоубийство, и предположение о том, что Петр не совершил самоубийства.

(4) * Иван знает, что Петр совершил самоубийство и что Петр не совершил самоубийства.

Про все это я писал давно, ср. [Bogusławski 1989]. Мнимое русское или английское «слияние» или, как говорит Арутюнова в [Арутюнова 2000: 22], «унификация», скажем, немецкого *weiß, daß* и *kennt* в одном понятии — не более чем миф: реальны лишь выражения *знает, что* и *знает* с вин. п. (другим, чем упомянутый выше местоименный вин. п.), а они столь же отличны друг от друга, что и *weiß, daß* и *kennt* (в необычайно важном смысле: *и те и те* просто *отличаются друг от друга*). И все же нам приходится опять и опять слушать и читать про какое-то *знать* или *know* — *tout court*, ср. (кроме многочисленных работ Вежбицкой) не только [Ахманова 1957: 47-48], но и [Ziff 1983; Апресян 1995; Шатуновский 1996; Арутюнова 2000; Laskowski 2000] (правда, Лясковский *признает* полисемию *знать*, связанную с только что указанным различием; но в действительности мы имеем

здесь дело лишь с амфиболией, проявляющейся в двух р а з н ы х полнокровных выражениях; только в особых случаях — когда налицо синтаксические или стилистические варианты, ср. вышеуказанный случай *знает что-то* — амфиболия приводит к чему-то вроде настоящей, хотя и сугубо локальной, полисемии или, лучше сказать, омонимии, в данном случае и именно благодаря указанным обстоятельствам абсолютно неоспоримой, в отличие от сотен и тысяч безалаберно принимаемых воплощений мнимой полисемии, т. е. на самом деле «лжеполисемии»).

Что касается упомянутых выше Юриных «кварков» и его рассуждений вокруг этой темы, то особое внимание обращает на себя тот факт, что он сначала говорит о внутреннем семантическом усложнении семантически родственных слов, таких, как его излюбленная пара *хотеть* — *хотеться*, а затем заявляет, что соответствующие смысловые «надбавки» (по сравнению с интуитивно более простыми по смыслу выражениями), надбавки, существование которых он недвусмысленно признает (ведь сказать, как это делает Юра, что что-то «не вполне просто», ср. [Апресян 1994: 38], все равно что сказать, что оно сложно) и на которые он намекает описательным путем, не подлежат вербализации средствами ни данного, ни другого, скажем, английского, языка (потому что там, например в английском языке, есть свои надбавки), ср. [Апресян 1994: 36—38]. Тут хочется спросить Юру, во-первых: where, then, is the *identity* of those «surplus» entities (which you obviously *do claim to exist*)? Не лучше ли прямо сказать, что члены таких пар, как *хотеть*, *хотеться*, описывают *некоторые* (не все) тождественные ситуации, но что они это делают, соответственно, по-разному, причем каждый раз своим *простым* способом (или: *быть может*, простым способом — пока мы по-настоящему не произвели соответствующее разложение)? Но есть и другой, с ныне отстаиваемой точки зрения более существенный вопрос: как показать, что постулируемые «надбавки» реально отделяются от чего-то общего, если они «разовые», если они в каждой паре (как эти пары показывает Юра) свои, при *одном* «общем» в членах каждой такой пары по отдельности (скажем, одном общем для области «знания», другом — для области «воли» и т. д.)?

Для того, чтобы представить свои только что высказанные критические мысли и точнее и осторожнее, я должен был бы, пожалуй, прибегнуть к другой, более мягкой, формулировке, а именно вот какой: я отказываюсь принять ваши, Аня и Юра, затронутые мною положения до тех пор, пока вы мне не покажете смысловую делимость соответствующих величин *по принципу пропорции*. Покажете, сдамся.

Но такой показ, замечу, потребовал бы, скажем, со стороны Ани либо отклонения различия по приемлемости между (3) и (4), либо какого-то особого, детального объяснения этого различия, которое полностью раскрывало бы то, как здесь реализуется принцип композициональности (при постулируемом одинарном и в то же время якобы имеющем везде полный смысл глаголе *знать*, т. е.

при этом глаголе, взятом без каких бы то ни было пополнений морфологической оболочки *знать*). Такого объяснения ни Аня, ни кто-либо другой до сих пор не дали. Заметим в этой связи, что сказать, будто за различие между (3) и (4) отвечает словечко *что*, недостаточно, потому что оно «производит» такое волшебство, как противоречие в (4), противопоставленное непротиворечивости предложения (3), **только** при *знать*, и оно для этого глаголу *знать* абсолютно необходимо; его правильное выделение как особой двусторонней единицы по принципу пропорции само по себе невыполнимо, что, впрочем, является обратной стороной той же медали. Да еще можно спросить: почему **Он знает Москву и что Москва столица России*, **Он знает Москва столица России и Москву* снабжены столь несомненными звездочками?

Подобное отрицательное мнение я должен высказать и по отношению к идее светлой памяти Татьяны Булыгиной насчет смысла, прикрепленного к части речи (ср. [Апресян 1994: 39]). Нет, такого в качестве *составной части* смысла (*слагаемого* смысла), например, слова *стол* признать нельзя (а если речь идет о «смысле» в другом смысле, не в смысле слагаемых, то это следовало бы тщательно оговорить и разъяснить, что, к сожалению, не было сделано). Почему такого в качестве составной части смысла быть не может? Потому что эта мнимая часть не противопоставляется в том же окружении, скажем, «прилагательности» (нет партнеров «стола» и «стула», которые отличались бы от них только природой имени прилагательного).

Вполне понятно, что то же самое *mutatis mutandis* относится и к твоему, Юра, «кварку» стативности. Никто не спорит: есть *класс* стативных выражений, и ты прекрасно показал их свойства. Но нет *слагаемого* ‘стативность’. Потому что нет, например, «динамического знания» в отличие от «стативного знания» (причем я употребил здесь «эссенциальное» *нет*: Бог перестал бы быть Богом, если бы такое, т. е. «динамическое знание» допустил; ибо именно Он — источник и законодатель знания вместе с неотъемлемым от последнего непротиворечием, «динамическое же знание» есть *contradictio in adjecto*). Называй знание «стативным знанием»: ты изменишь лишь кличку; или хуже того: ты до конца жизни будешь развешивать цепочку «стативное стативное стативное ...», и даже досказать: «знание»! — придется кому-то другому (если найдется желающий).

В заключение этого первого комментария разрешите сознаться, что правильное выделение двусторонней единицы языка является подчас крайне трудным делом (на этом тоже настаивал де Соссюр). Точное доказательство того, что известные элементы смысла распределяются именно данным образом по составным частям звуковой или графической последовательности, может иногда показаться вправду непосильной задачей. И тем не менее *стремиться* к ее решению необходимо («стремиться к этому надо!»). «Назначать» от своего имени те или иные слоги, группы фонем и т. д.

самостоятельными носителями смысла, так сказать, по щучьему велению, недопустимо: **это** дело в ведении Бога. Не трожь!

И еще привесок к настоящему комментарию. Коль скоро уж речь пошла о тождестве, стоит напомнить, что строгое, подчеркиваю, строгое, не осуществляемое лишь с помощью каких-то намеков, например, в виде указательных местоимений, отождествление является сердцем языка и языковой деятельности. В соответствии с установкой, предлагаемой Давидом Юмом, т. е. без отождествлений, живут, пожалуй, животные, но не люди.

Первое стопроцентное отождествление — отождествление самих выражений. Как метко сказал Хенрик Хиж, основным семантическим отношением является *повторение*. Немыслимо, правда, доказать без регресса, что слово *сел* в начале, середине и конце рассказа — одно и то же слово (это факт, к которому мы так привыкли, что почти лишились возможности ощущать его волшебную таинственность). Но отказаться от такого отождествления все равно что заявить: «я перестаю говорить». Ну и что сделает вслед за этим автор заявления? Конечно, он будет говорить: ведь наша-то с вами жизнь — одно сплошное говорение (да, да, даже когда мы (внешне) молчим).

Поэтому не надо скупиться — при изучении смысловых соотношений — на средства обозначения строгого, подчеркиваю еще раз, строгого, тождества, на средства в виде субскриптов и других индексов. Есть две догмы: догма строгого тождества и Анина догма «в семантических представлениях допустимы только обычные слова: что сверх того, то от лукавого». Я полагаю, что Анина догма должна уступить место догме тождества: язык вкупе с тождеством — от Бога, стало быть, не может тождество быть от Сатаны.

В заключение этого привеска к комментарию только один очень простой пример, чтобы несколько прояснить высказанную мысль. Взгляните на нижеследующие очень простые предложения:

(5) Петя вернул Ване книгу.

(6) После того, как Петя одолжил у Вани книгу, Петя доставил Ване эту книгу.

(7) После того, как Петя одолжил у Вани книгу_i, Петя доставил Ване книгу_i.

Отрицать *строгое* тождество книги в примере (5) можно только кривя душой. В плане выражения оно дано просто единством слова *вернул*. Расщепляя — совершенно разумно, ср. (6) — (7) — содержание этого слова, мы рискуем потерять строгое тождество книги. Словосочетание *эту книгу* в примере (6) как-то спасает **в практическом смысле**, с этим можно согласиться. Но названное словосочетание с указательным местоимением *может* обозначать и другую книгу. Гарантии тождества оно не дает. А между тем в (5) гарантия тождества книги есть. Поэтому индекс, субскрипт или другое подобное средство передачи **строкого** тождества в семантическом представлении

(как, к примеру, в (7)) абсолютно необходимы.

Все это еще не значит, что я хочу целиком отказаться от Аниной догмы. Суть этой догмы в том, что нельзя представлять понятное с помощью непонятного. Кто не примет такую норму умственного здоровья? До гробовой доски будем благодарны Ане за ее проповедь понятности. Но иногда к понятности ведет выучка, а также старание. Обязательно ли изучение формальной семантики ведет от непонятного к еще менее понятному? Я не думаю. То есть: я думаю, что необязательно.

Комментарий 2. Судно и якорь

Здесь пойдет речь непосредственно на заданную тему.

Существует ли одна «универсальная семантическая система»?

«Поздний» Витгенштейн отрицал ее существование (такой же, по-видимому, является и позиция нынешних постмодернистов и деконструктивистов). Витгенштейн (не говоря уже о деконструктивистах) делал это крайне туманным образом. Непонятно даже, как следовало бы спорить с ним. Пожалуй, стоило бы обратить внимание, во всяком случае, на одно обстоятельство: он отвергал единственность трансцендентного, он провозглашал изначальную и абсолютную разнородность «семиотических форм жизни» или «языковых игр», но он пользовался при этом все-таки тем же общим нам и ему (и всем) языком. Мой совет: не будем отказываться от наследия «Трактата».

Юра Апресян признает *усс* (как я сейчас стану говорить, ради экономии времени), но считает, что элементы *усс* представляют собой трудноуловимые, скорее всего конструируемые величины «логического» свойства. Он явно не увлекается ими (ср. [Апресян 1994]).

Напротив, Аня не только всячески ратует за *усс* (хотя увлекается, как и Юра, сильнее всего тем, что в отдельных языках специфично). Она, более того, полагает, что ей самой удалось существенно приблизиться к весьма ошутимому изображению *усс*.

Что я мог бы обо всем об этом сказать?

Вместе с Аней и, по-видимому, Юрой я уверен, что от реально *одной* действительности нам не уйти (что, кстати, никак не означает, что я отрицаю другие возможные миры или вселенные (и не «наивные»!)); наоборот, я возможность их принимаю всерьез, причем отнюдь не в качестве технических конструктов философии; действительность, вопреки тому, что утверждает Аня, не очень сложное понятие — это просто все то, что кто-либо знает, причем знающим является и Бог — Кто-то, кто знает все — а Бог может создавать и знать сколько угодно миров и вселенных). Соответственно,

нам не уйти и от содержательно *одного* Языка (я имею в виду Язык через большое Я).

Но в то же время я думаю, что если Анино изображение *усс* истинно, то оно к ней пришло по воле какого-то единственного в своем роде, чудодейственного случая.

Надо уточнить. В *отрицательном* смысле Аня, конечно, приблизилась к *усс*, да еще как: она отсекала миллиарды *заведомо* неуниверсальных выражений вроде «карбюратора», который она обсуждала в одном высказывании о Хомском. Но такое делают одним махом. Мои сомнения касаются *положительной* стороны проекта, т. е. предложенных Аней (разных) подборок в пределах все же большого множества *мыслимых* кандидатов в орденосцы. Эти сомнения сохраняются, даже если допустить, что все орденосцы Ани действительно члены надежных переводных пар во *всех* языках (а ведь надо учитывать и тот факт, что эмпирическая база у Ани и ее коллег хотя и великолепная, ср. [Goddard, Wierzbicka 1994], но, конечно, неполная — есть еще тысячи необследованных языков).

В чем тут дело? Откуда берутся мои сомнения? Дело прежде всего в том, что элементы *усс* — это элементы «семсистемы», которая *не только универсальна* (хотя вполне достоверное установление даже самой по себе универсальности выражений — задача для многих тысяч исследователей). Как на это совершенно правильно указывала сама Аня, универсальные понятия могут представлять собой комбинации простых понятий; по всей вероятности, таким сложным, хотя и универсальным понятием является понятие ‘мать’ (пример взят из [Wierzbicka 1987]). Универсальностью дело не кончается. Составляющие *усс* являются *также*, не будем об этом забывать, элементарными единицами (универсальной) *семантической системы* (в отличие от ее продуктов). Т. е. они по предположению не должны включать никаких выделяемых по закону пропорции и аналитически имплицитных смысловых слагаемых. И вот для того, чтобы установить, какие выражения действительно отличаются *этим* отрицательным свойством, необходимо было бы произвести неслыханное количество контролируемых и успешных импликационных тестов по отношению ко многим тысячам выражений. Так кто же произвел все эти совершенно необходимые, но одновременно иногда умопомрачительно тонкие и сложные, подчас приводящие к неоднозначным результатам, операции? Надеюсь, всем ясно, что я поставил риторический вопрос.

Вы уже видите, что я «уэсэсоскептик». И все-таки, при всем недоумении относительно того, что предлагает Аня, **если ее картину понимать** — совсем невероятным образом — **как почти слепок с *усс***, мое отношение к вопросу о **реальном *усс*** чуть оптимистичнее Юриного.

В чем состоит это зерно оптимизма?

Образно говоря, в том, что я увидел надежный якорь, который вроде бы не может вести ни к

чему другому, кроме как к могучему судну одной единственной *усс*. Оно, очевидно, служит одному лишь хозяину: Знанию; как на это указывал Платон, немислимо заговорить, тут же не затрагивая истину, т. е. то, что кто-то знает (даже если оно как раз противоположно сказанному, оно все-таки затрагивается говорящим).

Так вот, якорь, который я увидел, состоит во всяком случае из трех элементов: во-первых, это именно обсуждавшийся уже раньше и только что ставший предметом намека (в связи с вопросом о реальности *усс*) предикат *знает, что*, во-вторых, это Анины блестящие находки 1972 года (ср. [Wierzbicka 1972]): *кто-то, что-то* (которые я истолковываю — вместе с позициями их вхождений в конкретном тексте того или иного говорящего — как потенциально разнореферентные и благодаря этому участвующие в необходимых пропорциях выражения с субскриптами: *кто-то_i, кто-то_j, ..., кто-то_k, кто-то_l ...*). Быть может, позволительно было бы добавить еще что-нибудь (в частности, действие в необходимой пропорции со знанием), но из осторожности я ограничиваюсь тремя названными единицами. Они, по-видимому, повторяются во всех языках мира с точно такими же свойствами (если не считать сугубо прагматических особенностей употребления, которые не могут опровергать чисто семантических решений; я готов всячески поддержать мысли Ани по этому поводу).

Мало того, из наших единиц можно построить абсолютно полные, самодовлеющие и строго универсальные предложения, по степени защищаемой Аней понятности чуть ли не имеющие себе равных и, главное, воплощающие исходные, априорные истины, причем синтетические! (Таким образом, эти предложения должны были бы быть кантовскими любимцами; ведь это «синтетические суждения *a priori*», являющиеся логическими следствиями не только самих себя, но и своих отрицаний.) Что это за предложения? Вот они: *Кто-то знает что-то о ком-то. / Jemand weiß etwas über jemanden.; Кто-то знает что-то о чем-то. / Jemand weiß etwas über etwas.* Они представляют истины, которым свойственна необходимость: если допустить, что неверно, что кто-то знает что-то о ком-то (или о чем-то), мы обязаны признать, что *кто-то знает именно это* (т. е. знает, что неверно, что *и т. д.*); стало быть, *все равно* кто-то знает что-то о ком-то и о чем-то.

Определенную трудность в отношении двух упомянутых *референциальных* слов представляет литовский язык со своим как будто бы единичным *kàs*. Однако она преодолевается, наденюсь, если учесть выражения *vienas daljikas* и *kažkàs* (я не углубляюсь в подробности). О том, как истолковать в пользу семантической первичности *кто-то, что-то* немного затруднительную русскую ситуацию с реальными конкурентами в виде местоимений, заканчивающихся частицей *-нибудь*, я писал в [Bogusławski 1997] (где я, кстати, сделал и маленький экскурс насчет литовского языка); я не буду воспроизводить здесь свою аргументацию.

В общей сложности несводимость двух основных референциальных слов ни к каким другим выражениям или друг к другу, а также их включенность в десятки тысяч толкований и частей толкований можно показать без особого труда (это лишь заверение; с трудом или без труда — это надо сделать!; только не в пределах настоящего краткого высказывания).

Что касается узлового понятия *знает, что*, которое необходимо для истолкования вообще любого предложения, то его неопределимость я принимаю на основании достаточно надежного логического рассуждения (в дополнение к ряду других существенных примет), ср., в частности, рассуждение в [Bogusławski 1999]. Опять не хватает места для воспроизведения всех соответствующих аргументов.

Зато я скажу, используя нынешнее рассуждение насчет предиката *знает, что*, что в основе выше провозглашенного нерушимым единства действительности — и Языка (через большое Я) — лежит именно предлагаемый вашему вниманию абсолютно исходный характер отношения *знает, что* — с неотъемлемым свойством **переходности** (*transitivity*), присущим этому отношению. Про какой бы мир или про какую бы вселенную или про какой бы их элемент кто-либо ни знал что-нибудь, никто другой (логически!) не может *знать* противоположное (если Иван знает, что Петр знает, что *p*, Иван знает, что *p*; будем помнить, что совсем иначе обстоит дело с суждениями и волей). К тому же все куски знания неминуемо соотносятся друг с другом — именно как части одного всеобъемлющего *знания*. Добавим, что мы с несомненностью *знаем* про очень многое, что другие тоже знают это; да, да, именно знают (хоть и не докажешь: на то он — предикат *знает, что* — неопределяем). Мало того, прав был, по-видимому, Витгенштейн, когда он сказал: was [nur] einer weiß, weiß keiner (т. е.: мы все в спайке). И, наконец: не ясно ли, что все языки, как бы они ни отличались друг от друга, - возможные предметы выучки для всех, причем выучки, ведущей в конечном счете к взаимопониманию!

Правда, по какому-то странному стечению обстоятельств большинство философов и лингвистов — включая Лейбница — считали предикат *знает, что* подлежащим определению, т. е. не исходным (несмотря на то, что он всегда так или иначе скрывался в якобы исходной «истине»). Это не меняет, однако, того факта, что то мелкое меньшинство исследователей, к которому я примкнул (ср., в частности, [Cook Wilson 1926; Prichard 1950; Hintikka 1962; Gettier 1963; Lenzen 1978; Bogusławski 1981; Bogusławski 1994]), располагает обстоятельной и никем до сих пор не опровергнутой аргументацией в пользу элементарности предиката *знает, что* (больше об этом см. в [Bogusławski 1998]).

Теперь от короткого рассказа о якоре я перейду к вопросу о судне.

Кто-то может спросить: допустим, что якорь судна *усс* в самом деле обнаружен; отлично; но все же как перейти к самому судну и увидеть его во всей его красоте, причем не как продукт более

или менее свободной догадки, а как что-то строжайшим образом и во всех деталях обоснованное?

Мой ответ на этот раз решительно далек от оптимизма. Для того, чтобы убедиться, что перед нами ожидаемое судно, а не эскизный макет чего-то, что лишь предстает воображению, требуется, чтобы с помощью построенной системы были объяснены, т. е. логически получены, все детали выражений и, с учетом прагматических факторов, дискурса. Таких деталей, часто необычайно сложных, мягко говоря, миллиарды. Практически, а может быть, и теоретически (более или менее в гегелевском смысле) разумно предположить, что увидеть судно как целое (причем так, чтобы мы знали, что мы видим именно его) ни нам, ни нашим потомкам не доведется никогда.

Комментарий 3. Водительские права

Судна не видно, но мы на нем все равно прекрасно плаваем. Судно существует: про него все знает Бог; да и мы практически знаем (на основании некоторого умозаключения) по крайней мере, то, что оно существует, и что мы на нем плаваем.

Судно большое-большое, словно гигантский авианосец. На нем много дорог. Среди них есть и первоклассные шоссе. Будем думать об этих шоссе как представляющих науку.

К чему мы по ним стремимся? Конечно, к знанию. Точнее, к «знанию, что (так-то и так-то)». Но в науке мы стремимся к «знанию, что» не как-нибудь, и мы стремимся не к какому бы то ни было знанию. Во-первых, мы это делаем систематически, т. е., с одной стороны, в постоянном взаимодействии с другими людьми и в порядке постоянной проверки *всего* сказанного кем-либо, с другой стороны, так, чтобы охватить *все*. Во-вторых, в науке мы стремимся к знанию, избегая всего того, что общественно безразлично; в частности, мы избегаем всего того, что имеет чисто эгоцентрический характер, что относится к нашим личным, автобиографическим ремаркам, признаниям, излияниям. Последние, кстати, необязательно сводятся просто к высказываниям в 1-ом или 2-ом лице. Вот пример из одной философской книги: «когда открывается само “теперь”, открывается чистый приход и чистое будущее»; это нельзя понять иначе, чем как заявление: «мне, думающему о “текущем моменте”, как он выражается с помощью слова *теперь*, он ассоциируется со следующим: “когда открывается само «теперь»...” (что бы это ни обозначало)».

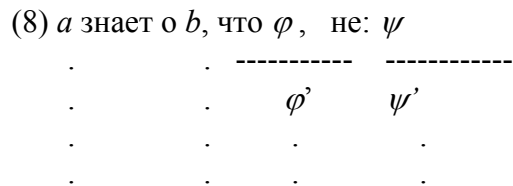
Можно ли сказать, какие у нас именно «шоссе» науки? Да, можно. Причем это можно сказать вполне определенно — если только мы цепко ухватимся за наш якорь. Напомним: наш якорь это предикат ‘знать, что’.

Однако, чтобы ответить на вопрос о том, какие перед нами «шоссе», мы должны полностью раскрыть свойства функтора ‘знать, что’. Дело в том, что то, что ему присуще в функциональном плане, требует представления с помощью более полной внешней формы.

Примем, что она имеет следующий вид: ***a* знает о *b*, что φ , не: ψ**

Как вы видите, я рассматриваю то, что ради краткости называют предикатом ‘знать, что’, как четырехаргументный функтор, который включает отрицание в качестве неотъемлемой части, противопоставляющей взаимно противоречивые наполнения аскриптивных валентных мест.

Такая форма основополагающего предиката науки делает вполне прозрачным внутреннее, чисто логическое строение науки. Этот предикат задает, при участии отрицания, ровно 4 части науки, т. е. наших метафорических «шоссе». Ради наглядности удобно в этом разбираться, следя за нижеприведенной схемой (8):



Мы можем, во-первых, обращать внимание на положительное отношение чего-то, занимающего место φ к тому или иному b . Самое обширное понятие, соответствующее этой ситуации, — это понятие существования. На этом основании выделяются положительно-экзистенциальные фрагменты науки. Из узуальных названий с этой частью науки соотносится рубрика «идеографических наук».

Во-вторых, мы можем искать противоположную ситуацию, т. е. мы можем говорить о чем-то, занимающем место φ' в нашей схеме (под линией, противопоставляющей этот символ символу φ). Здесь имеется в виду отсутствие знания данного φ' о каком бы то ни было b со стороны какого бы то ни было a (естественно, утверждения такого рода могут быть исключительно гипотезами). На этом основании выделяются отрицательно-экзистенциальные фрагменты науки. Из узуальных названий с этой частью науки соотносится рубрика «номологических наук».

В-третьих, мы можем сделать предметом своего интереса отношение между тем, что занимает место φ в нашей схеме, и тем, что занимает место ψ в той же схеме, даже независимо от того, знает ли кто-нибудь соответствия этих символов о каком бы то ни было b, b', b'', \dots . Это отношение несовместимости или противоречивости. Производным по отношению к нему является понятие необходимости. На основании этих понятий выделяется часть аналитических фрагментов науки (в смысле аналитических суждений). Из узуальных названий с этой частью науки соотносится рубрика «формальных наук».

В-четвертых, мы можем сделать предметом своего интереса отношение противоположное по сравнению с отношением противоречивости; в нашей схеме оно символизируется сопоставлением φ и ψ' под линией, отделяющей ψ' от ψ ; это отношение можно, конечно, тоже рассматривать независимо

от того, знает ли кто-нибудь соответствия этих символов о каком бы то ни было b, b', b'', \dots . Назвать его можно совместимостью или непротиворечивостью. Производным по отношению к нему является понятие возможности. На основании этих понятий выделяется другая (остальная) часть аналитических фрагментов науки. Я привык называть их «конструктивистскими». К ним относятся техника (инженерные науки), этика (не: метаэтика), законодательство, языковедческий генеративизм и другие мероприятия.

Вернемся теперь к нашей метафоре «шоссе». Для маршрутов по каждому из 4-х «шоссе» выдаются водительские права. Почему стоит их выдавать? Потому что на каждом из них взвешиваются познавательные достоинства высказываний или иных обозначений определенного содержания; все это делается в соответствии с нашей схемой, целиком опирающейся на свойства краеугольного функтора ‘знает, что’, причем принципиально важно, что предметы этого взвешивания и само взвешивание не имеют эгоцентрического характера. Особо подчеркну, что изучение непротиворечивости *как таковое* нельзя обвинить в общественном безразличии или эгоцентричности. Однако будь водитель на *любом* из 4-х шоссе уличен в названных грехах или «нарушениях», водительские права отнимаются у него немедленно. (Есть еще один грех или грешок: сказать то, что всем хорошо известно, например, что предложение *Эта бумажка квадратная и зеленая* непротиворечиво; но этот грех наказывается смехом.)

Обратимся же теперь к той части науки, которую представляют семантические исследования. Куда с ними деваться? Ясно, что они не имеют ничего общего с установлением или отрицанием *существования* каких бы то ни было категорий лиц, предметов, событий или выражений. Стало быть, их надо развести по 3-ему и 4-ому отделениям науки: либо мы в конечном счете показываем противоречивость каких-то выражений (хотя, возможно, на нашем пути учитываем и непротиворечивость чего-то), либо мы в конечном счете показываем непротиворечивость каких-то выражений (быть может, как-то учитывая при этом и определенные противоречия).

Усилия по установлению противоречивости (и, вслед за этим, необходимости и эквивалентности) никак не должны ограничиваться сопоставлением с семантическими примитивами и их цепочками, все равно: с действительными ли, мнимыми ли или просто возможными примитивами. Я полностью поддерживаю тут точку зрения Юры. Я высоко ценю также его настроенность на установление необходимых и достаточных условий истинности, т. е. аналитической эквивалентности выражений (которая, добавим, последнее время часто становится предметом порицания или высмеивания). Установление таких эквивалентностей — это, разумеется, вождельный финиш изучения противоречий. Одновременно это задача не из легких. Только Господь может ниспослать удачу.

Изумительными по объему и качеству достижениями на поприще установления непротиворечивых партнеров выражений мы обязаны Ане. Ее элитный легковой автомобиль мчится по 4-ому шоссе и оставляет возню с противоречиями в основном другим (более тяжеловесным) видам машин. Стоит, однако, обратить внимание, что он подготавливает почву и для установления эквивалентностей. Не надо только думать, что сопоставление взаимно непротиворечивых выражений в состоянии подменить показ (а тем более доказательство) аналитической эквивалентности.

Возьмем пример. Аня в своем докладе на этой конференции приводит следующий пучок высказываний:

(9) многие люди думают о многих вещах: эти вещи хорошие
это неправда
эти вещи нехорошие
эти вещи похожи на другие вещи
эти другие вещи хорошие
эти люди не знают этого
это плохо

и сопоставляет этот пучок с русским словом *пошлость*. На самом деле она, несомненно, имеет в виду прежде всего соответствующее имя прилагательное и наречие (об этом свидетельствует и употребленный ею же пример из Чехова). Соотнесем (9) с каким-нибудь конкретным предметом (в (9) говорится лишь о вещах, что, быть может, является каким-то упущением, поскольку о людях тоже говорят иногда, что они пошлые, ср. *И что-то [...] шептало ей, что она мелкая, пошлая [...] женщина...* [Чехов, «Дуэль»], несмотря на то, что аналитически люди — не вещи; но будем придерживаться формулировки, предусматривающей возможную пошлость некоторых *вещей*). Итак, про дрянные садики жителей провинциального городка, которые никогда не видели других садов и восхищаются своими садиками, можно сказать (9) (применяя к этим садикам определенные качественные критерии). Про те же садики можно сказать, что они пошлые (*Ван Ваныч вышел в свой пошлый садик*; ср. пример из Чехова, приводимый Аней: *Дачи и дачники — это так пошло*). Противоречия между (9) и предикатом ‘пошлый’ не возникает; и не только если (9) читается, так сказать, *at its face value*, где ни про какие садики или какие бы то ни было другие определенные объекты не говорится (и уже поэтому о противоречии не приходится даже думать), но и при неформальном, мысленном соотнесении (9) с упомянутыми садиками. Ясно, однако, что из (9) **не вытекает** (даже при указанной «примысленной» референции), что наши садики пошлые. Они, конечно, могут и быть пошлыми с чьей-то точки зрения, но по другим причинам, *не* просто *потому*, что по отношению к ним верно то, что сказано в (9). Кто-то другой может ведь поспорить и сказать (пожалуй, на основании других критериев), не допуская абсолютно никакого противоречия: «про эти садики верно все то, что говорится в (9), но пошлость тут не при чем». С другой стороны,

справедливо во всяком случае то, что в чем бы ни состояло качество ‘пошлости’, оно оценивается употребляющим слово *пошлый* как нечто плохое, в полном согласии с (9). Без чего-то, соответствующего последней строке в (9), выражение, аналитически эквивалентное слову *пошлый*, построить нельзя. Это просто другая сторона того исходного факта, что

- (10) * кто-то (i) знает о *b* что-то;
(ii) знает, что не плохо, что что-то известное о *b* — что-то;
(iii) знает о *b*, что *b* пошло

противоречиво, если только *что-то_i* в (10) относится к качеству ‘пошлый’ (кроме оценки), а все предложение (10) в целом должно отражать установку и точку зрения говорящего, ассертивно употребляющего слово *пошлый*.

Но не будем в то же время закрывать глаза на тот факт, что установив это важное обстоятельство, мы все же очень далеки от выявления *полного* вида эквивалентности, членом которой является слово *пошлый* (если, кстати, это слово не просто эквивалентно лишь самому себе, во что трудно поверить, но что все-таки остается одной из теоретических возможностей).

Только бы нам не слишком огорчаться тем, что мы не нашли искомую эквивалентность: мы же на 4-ом, не на 3-ем шоссе, не надо путать и не надо пугать! Если запись (9) указывает на что-либо неэгоцентрическое, так это на вышеупомянутую непротиворечивость (потому что соответствующей эквивалентности здесь нет). Стало быть, в высказывании Ани необходимо прочитать именно такое указание. И указание это — правильное. (Добавлю в дополнение к сказанному, что подробный анализ так называемых экспликаций Вежбицкой, их методологического статуса и внутренних свойств я представил в [Bogusławski 1998, 2001].)

В заключение скажу еще, что авторам привезенного мною хэндаута, в котором говорится о глаголе *верить, что*, т. е. госпоже Данелевичовой и мне, хотелось достичь того, чтобы у правой стороны толкования были все те же логические последствия, что и у левой. Т. е. мы пытались продвигаться по 3-ему шоссе, по шоссе установления противоречивости и неотступно следующей за ней аналитической необходимости. В данном случае попытка оказалась настоящей пыткой; она вдобавок усугублялась постоянным сознанием того, что даже самая изошренная пытка на этом пути совсем необязательно награждается успехом.

Однако, везя наш хэндаут, я желал не только проиллюстрировать кое-что в подходе авторов. Я хотел также как-то угодить любимым сопредседателям — Ане и Юре. Они оба маститые теоретики, но в то же время страстные враги общих мест и столь же страстные ревнители конкретных разработок живого текста («живого» как «живая пища» последнего времени). Им подавай сочные словесные или грамматические растения — не какие-то вялые препараты — и они тебе преподнесут прекрасные букеты, гирлянды и газоны, причем каждый из них — свои.

Литература

Апресян 1994 — Ю. Д. А п р е с я н. О языке толкований и семантических примитивах // ИАН СЛЯ. Т. 53. № 4. С. 27-40.

Апресян 1995 — Ю. Д. А п р е с я н. Проблема фактивности: «знать» и его синонимы // ВЯ. 1995. № 4. С. 43-63.

Арутюнова 2000 — Н. Д. А р у т ю н о в а. Знать себя и знать другого (по текстам Достоевского) // Слово в тексте и в словаре: Сб. статей к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна / Ред. Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. М., 2000. С. 22—42.

Ахманова 1957 — О. С. А х м а н о в а. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.

Богуславский, Данелевичова, в печати — А. Б о г у с л а в с к и й, М. Д а н е л е в и ч о в а. К вопросу о системе эпистемических предикатов с пропозициональной валентностью: 'верить, что' в его взаимоотношениях со 'знать, что' // Категории глагола: Сб. статей. [В печати].

Шатуновский 1996 — И. Б. Ш а т у н о в с к и й. Семантика предложения и нерелевантные слова. М., 1996.

Bogusławski 1981 — A. B o g u s ł a w s k i. Wissen, Wahrheit, Glauben: zur semantischen Beschaffenheit des kognitiven Vokabulars // Wissenschaftssprache. Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription. Th. Bungarten (ed.). München, 1981. S. 54—84.

Bogusławski 1989 — A. B o g u s ł a w s k i. Knowledge is the lack of lack of knowledge, but what is that lack lack of? On Ziff's coherence theory of knowledge // Quaderni di semantica. 1989. № 1. P. 15—31.

Bogusławski 1994 — A. B o g u s ł a w s k i. Savoir que *p* implique-t-il un autre état mental? // A. Bogusławski. Sprawy słowa / Word Matters. Warszawa, 1994. S. 257—275; (польский подлинник: Czy wiedza, że *p*, pociąga za sobą inny stan mentalny? // Znaczenie i prawda. J. Pelc (ed.). Warszawa, S. 391-412).

Bogusławski 1997 — A. B o g u s ł a w s k i. The semantic primitives 'someone', 'something' and the Russian contradistinction *-nibud'* vs. *-to* // Funktionswörter im Polnischen. M. Grochowski, G. Hentschel (eds.). Oldenburg, 1997. P. 33-53; (опубликовано также в: Типология, грамматика, семантика. К 65-летию Виктора Самуиловича Храковского / Ред. Н. А. Козинцева, А. К. Оглоблин. СПб., 1998. С. 293-311).

Bogusławski 1998 — A. B o g u s ł a w s k i. Science as Linguistic Activity, Linguistics as Scientific Activity. Warszawa, 1998.

Bogusławski 1999 — A. B o g u s ł a w s k i. Definability / indefinability of expressions: Provable or unprovable? // Lingua Posnaniensis. XLI. P. 29—38.

- Bogusławski 2001 — A. Bogusławski. Reflections on Wierzbicka's explications // *Lingua Posnaniensis*. XLII.
- Cook Wilson 1926 — J. Cook Wilson. *Statement and Inference*. Oxford, 1926.
- Gettier 1963 — E. L. Gettier. Is justified true belief knowledge? // *Analysis* 23. P. 121—123.
- Goddard, Wierzbicka 1994 — C. Goddard, A. Wierzbicka (eds.). *Semantic and Lexical Universals. Theory and Empirical Findings*. Amsterdam; Philadelphia, 1994.
- Hintikka 1962 — J. Hintikka. *Knowledge and Belief: An Introduction to the Logic of the Two Notions*. Ithaca, New York, 1962.
- Laskowski 2000 — R. Laskowski. Rosyjskie *znat'*, polskie *wiedzieć, znać* // Слово в тексте и в словаре: Сб. статей к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна / Ред. Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. М., 2000. С. 128—143.
- Lenzen 1978 — W. Lenzen. *Recent Work in Epistemic Logic*. Amsterdam, 1978.
- Prichard 1950 — H. A. Prichard. *Knowledge and Perception: Essays and Lectures*. Oxford, 1950.
- Wierzbicka 1972 — A. Wierzbicka. *Semantic Primitives*. Frankfurt am Main, 1972.
- Wierzbicka 1987 — A. Wierzbicka. Kinship semantics: Lexical universals as a key to psychological reality // *Anthropological Linguistics*. Vol. 29, 2. P. 131—156.
- Wittgenstein 1984 — L. Wittgenstein. *Philosophische Grammatik*. Frankfurt am Main, 1984.
- Ziff 1983 — P. Ziff. *Epistemic Analysis: A Coherence Theory of Knowledge*. Dordrecht, 1983.

Имплицитные именные группы и проблемы кореферентности¹

1. Постановка задачи

Как известно, соотношение между синтаксической и семантической структурами предложения в общем случае очень далеко от изоморфизма. В данной работе мы будем иметь дело с такими разновидностями этого неизоморфизма, при которых некоторый фрагмент синтаксической структуры предложения как бы «расщепляется» и входит в его семантическую структуру два или несколько раз. Например, синтаксическая структура предложения (1) содержит выражения *Иван* и *вставать рано* по одному разу, в то время как его семантическая структура включает их дважды — в составе пропозиций (1а) и (1б).

(1) *Иван перестал рано вставать.*

(1а) ‘до некоторого момента Иван вставал рано’

(1б) ‘после этого момента Иван не встает рано’

Для краткости мы будем в дальнейшем пропозиции типа (1) называть синтаксическими, а пропозиции типа (1а) и (1б) — семантическими.

Нас будет интересовать следующая общая проблема: что происходит со свойствами выражения, которое подвергается подобному расщеплению? Очевидно, например, что два вхождения имени *Иван* в семантические пропозиции кореферентны: в (1а) и в (1б) упоминается один и тот же Иван, а не два разных. Значит ли это, что во всех отношениях это «тот же самый Иван», то есть что все свойства семантических дубликатов, возникших при расщеплении единого элемента предложения, обязательно будут совпадать или же здесь возможны неожиданности?

Ниже мы обсудим некоторые возникающие осложнения, в первую очередь в аспекте референциальных свойств расщепленных выражений. При этом мы соберем вместе и рассмотрим с единой точки зрения иллюстративный материал, который в основном уже обсуждался нами в предыдущих публикациях в другой связи. Однако сначала остановимся на том, в каких ситуациях в принципе возникает расщепление.

¹ Работа выполнена при содействии Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 99-06-80277 и 99-06-80292).

2. Источники расщепления синтаксической пропозиции

Неизоморфизм синтаксической и семантической структур, проявляющийся в дублировании некоторого фрагмента синтаксической структуры в нескольких местах семантической структуры, может возникать из нескольких источников.

Прежде всего, это множественность вхождения одной и той же переменной в толкование слова. Толкование предикатного слова, как известно, содержит одну или несколько пропозиций, в которых валентности слова представлены переменными. Говоря несколько упрощенно, при переходе от синтаксической структуры предложения к семантической для каждого предикатного слова производятся три операции: само это слово заменяется свое толкование, в предложении отыскиваются его актаны и подставляются на место переменных толкования. Благодаря этому каждый актант имеет столько вхождений в семантическую структуру предложения, сколько раз соответствующая переменная встречается в толковании. Это и есть основной источник множественных вхождений одного и того же материала в семантическую структуру. В качестве примера достаточно вновь обратиться к разложению (1) на (1a) и (1б), приведенному выше. Толкование глагола *перестать* содержит две пропозиции и три переменных, которые выступают в обеих пропозициях: *X перестал делать P в момент t* = ‘до момента t X делал P; после момента t X не делает P’.

Второй источник возникновения в семантической структуре нескольких экземпляров одного и того же выражения связан с особым механизмом соединения значений, свойственным многим адвербиальным выражениям. Он состоит в том, что семантический вклад адвербиального выражения строится на основе остальной части предложения и добавляется к ней. Приведем несколько примеров, для наглядности упрощенных, разделяя значение каждого предложения на (а) и с х о д н у ю п р о п о з и ц и ю, соответствующую значению предложения за вычетом данного адвербиала, и (б) п р о и з в о д н у ю п р о п о з и ц и ю, которую можно считать непосредственным семантическим вкладом адвербиала в значение всего предложения.

(2) Он уехал вчера.

(а) ‘он уехал’

(б) ‘его отъезд имел место вчера’.

(3) Иван занят только работой.

(а) ‘Иван занят работой’

(б) ‘Иван не занят ничем, отличным от работы’.

- (4) Трава тоже пожелтела.
 - (а) ‘трава пожелтела’
 - (б) ‘нечто, отличное от травы, пожелтело’.
- (5) Там были еще интересные люди.
 - (а) ‘там были интересные люди’
 - (б) ‘это сообщается в добавление к тому, что там были интересные люди, отличные от этих’.
- (6) В отличие от тебя, я не бывал в Южном полушарии.
 - (а) ‘я не бывал в Южном полушарии’
 - (б) ‘ты бывал в Южном полушарии’.
- (7) Он больше не приедет.
 - (а) ‘он не приедет’
 - (б) ‘он приезжал раньше’.

Эти примеры ясно показывают, что повторение семантического материала в пропозициях (а) и (б) связано не с множественным вхождением одной переменной в толкование адвербиала, а с тем, что семантический вклад адвербиала, зафиксированный в производной пропозиции, заимствует часть материала в исходной пропозиции. В составе производной пропозиции имеются элементы двух типов: элементы, унаследованные от исходной пропозиции, и элементы, которых там не было. Например, в пропозиции (4б) значения ‘пожелтеть’ и ‘трава’ взяты из исходной пропозиции (4а), а значение ‘нечто, отличное от’ внесено непосредственно словом тоже и представляет собой часть его толкования. По существу, производная пропозиция — это толкование адвербиала с заполненными валентностями, а материал для заполнения валентностей может быть взят только в исходной пропозиции.

Следует иметь в виду, что этот механизм не универсален. Некоторые адвербиалы не добавляют к значению предложения новую пропозицию, а модифицируют старую. Например,

(8) Он вряд ли придет \approx ‘я сомневаюсь, что он придет’ \neq ‘он придет; я в этом сомневаюсь’.

(9) По его мнению, она не приедет \approx ‘он считает, что она не приедет’ \neq ‘она не приедет; он так считает’.

Примеры, которые мы приводили выше, иллюстрировали явления, относящиеся к области лексической семантики. Появление нескольких экземпляров одного и того же значения в семантической структуре каждый раз было обусловлено введением в нее толкования слова с заполненными валентностями. Однако аналогичный эффект могут вызывать и нелексические языковые единицы, такие как граммы, синтаксические конструкции или единицы коммуникативной природы. Так, благодаря значению суперлатива смысл ‘аккуратность’ занимает две позиции в семантической структуре предложения (10), в то время как в самом предложении он выражен только один раз:

(10) Маша самая аккуратная = ‘степень аккуратности Маши превосходит степень аккуратности всех остальных’.

Еще большее повторение значений вызывает сравнительная конструкция:

(11) Маша собирает игрушки аккуратнее, чем Коля = ‘степень аккуратности, с которой собирает игрушки Маша, превосходит степень аккуратности, с которой собирает игрушки Коля’.

Среди единиц коммуникативной природы отметим контрастную тему, маркируемую восходящей интонацией и паузой:

(12) ↑Маша — девочка аккуратная = ‘говорящий рассматривает Машу на фоне других лиц, релевантных в данной ситуации; про Машу сообщается, что она — девочка аккуратная; относительно других лиц говорящий ничего не сообщает’.

Значение контрастной темы способно к нетривиальному взаимодействию с другими единицами предложения (см. об этом [Богуславский 1996: 124—126]). Для нас сейчас интересен тот компонент значения, который непосредственно в толкование контрастной темы, по-видимому, не входит, но безусловно возникает в сознании каждого, кто слышит предложение (12): другие релевантные в данной ситуации лица, скорее всего, не являются аккуратными. Это слабый компонент значения (импликатура), который может быть легко отменен противоречащим ему более сильным контекстом. Тем не менее, при отсутствии явных свидетельств обратного этот смысловой компонент в значение предложения, очевидно, входит и, как мы увидим ниже, проявляет себя в тех процессах, которые интересуют нас в данной работе, точно так же, как и полноценные значения, выраженные лексическими средствами.

3. Соотношение исходной и производной пропозиции

Как говорилось выше, многие единицы адвербиального типа (наречия, частицы, союзы, предлоги) вводят в значение предложения дополнительную, производную, пропозицию (ПП), которая строится на базе исходной (ИП).

3.1. Прототипическое соотношение ИП и ПП

Здесь следует различать два случая:

1. ИП в целом заполняет некоторую валентность данной единицы:

(13) *К моему удивлению, ее не оказалось на месте.*

(а) ‘ее не оказалось на месте’

(б) ‘я был удивлен тем, что ее не оказалось на месте’.

2. Внутри ИП заполняется сразу две валентности. Распространенный случай — так называемые фокусные единицы, такие как *даже, также, тоже, только, исключительно, по крайней мере, особенно, в частности, не говоря о* и некоторые другие. Рассмотрим этот случай на примере слова *тоже*, выступающего в предложении (4).

Слово *тоже* имеет две валентности — Р и Q: *Трава [Q] тоже пожелтела [P]*. Значение, которое вносит слово *тоже* в исходную пропозицию *Трава пожелтела*, говоря упрощенно, состоит в том, что существует нечто, отличное от травы (Q), обладающее тем же свойством «пожелтеть» (P), что и трава.

Для того чтобы построить ПП (4б), необходимо прежде всего выделить в ИП две части — *трава* и *пожелтела*.

Первую из них в западной семантической традиции часто называют *фокус*. Это та часть предложения, на которую непосредственно воздействует фокусное наречие и которая обычно маркируется просодически. Функция фокуса при построении ПП состоит в том, что он изымается из ИП и заменяется чем-то другим. В примере (4) в той позиции, в которой в ИП находилось значение ‘трава’, в ПП находится значение ‘нечто, отличное от травы’. Такую позицию ИП мы будем в дальнейшем называть РАСЩЕПЛЯЕМОЙ ПОЗИЦИЕЙ, а тот компонент ИП, который в ней находится, — РАСЩЕПЛЯЕМЫМ КОМПОНЕНТОМ.

Вторая часть ИП, заполняющая в нашем примере валентность Р, — это тот фрагмент ИП, который остается после вычета из нее расщепляемого компонента. Эту часть предложения в западной семантической традиции часто называют *scope*. Это то, что переходит в ПП в неизменном виде.

В прототипической ситуации ИП целиком делится на расщепляемый и нерасщепляемый компонент. Это можно схематически изобразить формулой (14):

$$(14) \quad \text{ИП} = \text{P}(\text{Q}), \text{ПП} = \text{P}(\text{Q}'),$$

где Q' — это элемент, на который заменяется Q в производной пропозиции.

3.2 Непрототипическое соотношение ИП и ПП

Представляют особый интерес непрототипические случаи. Коротко проиллюстрируем два из них.

3.2.1 ИП = расщепляемый компонент + нерасщепляемый компонент + что-то еще (см. [Богуславский 1985: 108]).

Предложение (15) имеет две интерпретации.

(15) *Этот принцип допускает существование в магнитном поле только заряженных частиц.*

Первая интерпретация: ‘этот принцип не допускает, чтобы в магнитном поле существовало что-то кроме заряженных частиц’. Вторая: ‘этот принцип допускает, чтобы в магнитном поле не существовало ничего кроме заряженных частиц’. Исходная пропозиция в обоих случаях одна и та же — ‘этот принцип допускает существование в магнитном поле заряженных частиц’. Расщепляемый компонент, на который непосредственно воздействует слово *только*, тоже неизменен — ‘заряженные частицы’. А производная пропозиция может быть образована двумя способами. Первой интерпретации соответствует прототипический нерасщепляемый компонент — исходная пропозиция минус расщепляемый компонент (‘принцип допускает, чтобы в магнитном поле существовало (нечто)’). Вторая интерпретация получается за счет того, что нерасщепляемый компонент составляет лишь часть прототипического: ‘в магнитном поле существует (нечто)’.

3.2.2 Рефлексы нерасщепляемого компонента в ИП и ПП не вполне тождественны (подробнее см. [Богуславский 1996: 314]).

Слово *даже* вносит в предложение (16)

(16) *Даже женщины были в нее влюблены*

представление о том, что в нее были влюблены и другие люди, от которых этого можно было ожидать с большим основанием, чем от женщин. Иначе говоря, слово *даже* предполагает, что свойство Р (‘быть влюбленным’), приписываемое в ИП объекту Q (‘женщины’), распространяется и на другие объекты Q’. Однако контекст (17) показывает, что тождество свойств, приписанных объектам Q и Q’, может быть неполным:

(17) *Все мужчины были в нее влюблены, и даже женщины относились к ней снисходительно.*

4. Анафорическая связь между исходной и производной пропозицией²

Перейдем теперь к рассмотрению проблем, связанных с кореферентностью. Пусть имеется ИП, в которой выделена расщепляемая часть Q и нерасщепляемая часть Р. Что происходит, когда в составе Р имеется именная группа, кореферентная Q? Должна ли она при расщеплении Q тоже заменяться на что-то другое (Q’) или она остается неизменной? То, что это вопрос не праздный, поясним на примере.

Начнем с того, что возьмем предложение простейшей структуры (18) и введем в него слово *только* в позицию перед именной группой. Это можно сделать двумя способами — (19) и (20).

(18) *Иван любит Машу.*

(19) *Иван любит только Машу.*

² В этом разделе мы разовьем и обобщим некоторые наблюдения, сделанные в [Падучева 1979] и [Богуславский 1993].

(20) *Только Иван любит Машу.*

Как показывают эксплицирующие перифразы, значения предложений (19) и (20) симметричны: (19) = *Единственный человек, которого любит Иван, это Маша*; (20) = *Единственный человек, который любит Машу, это Иван*. Сделаем теперь в предложении (18) субъект и объект кореферентными и снова введем слово *только*:

(21) *Иван любит себя.*

(22) *Иван любит только себя.*

(23) *Только Иван любит себя.*

Варианты (22) и (23) уже существенно несимметричны. Предложение (22) имеет вполне ожидаемую перифразу, аналогичную перифразе (19) — *Единственный человек, которого любит Иван, — это он сам*. Однако предложение (23), вопреки ожиданию, вовсе не означает, что единственный человек, который любит Ивана, — это сам Иван. Это значение следует выразить иначе — *Ивана любит только он сам*. Предложение (23) выражает совершенно другую мысль: Иван — единственный самовлюбленный человек.

Таким образом, как видно из сопоставления пар (19) — (20) и (22) — (23), простое наличие анафорической связи между именными группами может оказать существенное воздействие на семантическую интерпретацию адвербиала. Посмотрим детальнее, в чем оно состоит. Выпишем семантические структуры (исходные и производные пропозиции) для предложений (22) и (23).

(22') 'Иван любит себя (=Ивана), и не существует x , отличного от Ивана, такого, что Иван любит x '

(23') 'Иван любит себя (=Ивана), и не существует x , отличного от Ивана, такого, что x любит x '

Эти структуры показывают, что ответ на вопрос, поставленный в начале настоящего раздела, может быть двояким: из двух кореферентных вхождений имени *Иван* в исходную пропозицию, в предложении (22) заменяется на переменную только одно — то, которое непосредственно заполняет валентность Q , в то время как в предложении (23) это происходит с обоими кореферентными вхождениями.

Это легко объяснить. Переменная может попасть в семантическую структуру рассматриваемых предложений одним из двух способов. Во-первых, она заменяет именную группу, находящуюся в расщепляемой позиции. В результате этого семантическая структура предложения (23) — до замены местоимений их субститутами! — выглядит так: 'Иван любит себя, и не существует x , отличного от Ивана, такого, что x любит себя'. Во-вторых, переменная заменяет анафорическое местоимение, для которого она является антецедентом. В результате этого фрагмент ' x любит себя' в

только что приведенной семантической структуре принимает вид ‘ x любит x ’. В предложении (22) возможен только первый из этих двух шагов — введение переменной в расщепляемую позицию. Для второго шага нет никаких оснований, поскольку, как видно из (22’), в производной пропозиции нет местоимения, для которого переменная могла бы служить антецедентом.

Сопоставим теперь поведение рефлексивного местоимения (*себя, свой*) и нерефлексивных личных и притяжательных местоимений (*мой, его...*). Хорошо известно, что при близости значений они имеют разные условия употребления (см. подробнее [Падучева 1985: 180—208]). Для целей нашего сопоставления будет достаточно, не вдаваясь в сложную проблему употребления возвратных местоимений, руководствоваться простейшим правилом, требующим для возвратных местоимений кореферентности с подлежащим. На основании этого правила предложения, образованные на базе (квази)конверсивных глаголов типа *любить* и *нравиться*, допускают разные анафорические местоимения:

(24) *Иван любит свою (*его) работу.*

(25) *Ивану нравится его (*своя) работа.*

Если мы введем в эти (квази)синонимичные предложения слово *только* в одну и ту же позицию — перед неместоименной именной группой, то мы обнаружим, что эффект этой операции будет различным. Предложение (26) с возвратным местоимением имеет всего одну интерпретацию — (27).

(26) *Только Иван любит свою работу.*

(27) (а) ‘Иван любит работу Ивана’

(б) ‘не существует x , отличного от Ивана, такого, что x любит работу x -а’

В отличие от этого, предложение (28), содержащее личное местоимение, может интерпретироваться двумя существенно разными способами:

(28) *Только Ивану нравится его работа.*

(29) (а) ‘Ивану нравится работа Ивана’

(б) ‘не существует x , отличного от Ивана, такого, что x -у нравится работа x -а’

(30) (а) ‘Ивану нравится работа Ивана’

(б) ‘не существует x , отличного от Ивана, такого, что x -у нравится работа Ивана’

В предложениях (26) и (28) использованы разные глаголы, но то же самое различие можно продемонстрировать и при одном глаголе, обеспечив, конечно, разные синтаксические позиции для возвратных и невозвратных местоимений. Ср. предложение (31) с глаголом *любить*, которое обнаруживает такую же неоднозначность, как и предложение (28).

(31) *Только Иван любит работу, которую он выполняет.*

Различия, которые мы обнаружили, можно описать двумя способами — динамически и статически.

Динамический взгляд на наблюдаемую картину состоит в следующем. При построении семантической структуры предложений (26) и (28) в какой-то момент должны быть проведены два преобразования: лексическая декомпозиция слова *только* (замена слова его толкованием) и замена анафорического местоимения его субститутом. Возможность двух осмыслений предложения (28) обусловлена тем, что эти два преобразования осуществляются в разном порядке. В самом деле, значение (29) возникает в результате осуществления Стратегии 1, а значение (30) — в результате Стратегии 2.

Стратегия 1

Шаг 1: декомпозиция адвербиала

- (а) ‘Ивану нравится его работа’
- (б) ‘не существует x , отличного от Ивана, такого, что x -у нравится его работа’

Шаг 2: замена местоимения субститутом (в рамках каждой пропозиции)

- (а) ‘Ивану нравится работа Ивана’
- (б) ‘не существует x , отличного от Ивана, такого, что x -у нравится работа x -а’

Стратегия 2

Шаг 1: замена местоимения субститутом

‘только Ивану нравится работа Ивана’

Шаг 2: декомпозиция адвербиала

- (а) ‘Ивану нравится работа Ивана’
- (б) ‘не существует x , отличного от Ивана, такого, что x -у нравится работа Ивана’

Для предложения (26) возможна только Стратегия 1. Иными словами, для возвратных местоимений замена субститутом не может происходить до того, как произошла декомпозиция адвербиала.

Статический взгляд на описываемое явление, который мы считаем более предпочтительным, апеллирует не к порядку осуществления преобразований, а к ограничениям на употребление тех или иных единиц или проведение тех или иных преобразований. Что касается порядка преобразований, то допустим любой порядок, при котором соблюдены эксплицитно сформулированные ограничения.

В данном случае ограничение касается употребления возвратного местоимения: возвратное местоимение не может иметь субститутом именную группу, находящуюся в сфере действия адвербиала и стоящую в расщепляемой позиции. Невозвратные местоимения этим ограничением не связаны.

Легко видеть, что статическая формулировка приводит к тем же результатам, что и динамическая. Поскольку субститут возвратного местоимения не может находиться в расщепляемой позиции в сфере действия адвербиала, Стратегия 2 оказывается невозможной. Местоимение можно будет заменить на субститут только тогда, когда он не будет находиться в сфере действия адвербиала, то есть тогда, когда адвербиал будет представлен в виде производной пропозиции.

Здесь пора прокомментировать работу [Падучева 1979], с которой, к сожалению, мы познакомились лишь недавно. Е. В. Падучева рассматривает примеры, содержащие возвратные и невозвратные местоимения в контексте частиц *только*, *даже*, *именно* и *тоже*. В статье описывается неоднозначность предложений, аналогичных примеру (28) выше, и однозначность предложений типа (26). Обнаруживается возможность описания этих фактов в терминах упорядочения трансформации рефлексивизации и трансформации вставления частиц *только*, *даже*, *именно* и *тоже*. Все эти наблюдения практически совпадают с теми, которые мы излагали выше, но были опубликованы значительно раньше.

Между тем между нашими трактовками имеются и некоторые расхождения. Одно из них касается локализации ограничения на употребление возвратного местоимения. Е. В. Падучева накладывает это ограничение на исходную и производную пропозиции одновременно [Падучева 1979: 138], а по нашему мнению, его естественнее отнести к структуре, в которой производная пропозиция уже заменена на частицу. В этом случае связь между ограничением на местоимение и процессом рефлексивизации оказывается более прямой: ограничение блокирует рефлексивизацию именно в той пропозиции, в которой оно не выполняется.

Более существенным, однако, является другое расхождение, касающееся самой природы рассматриваемого явления. Статья Е. В. Падучевой называется «Об именных группах со сдвоенной денотативной характеристикой», и это название хорошо отражает суть предлагаемой трактовки. Корень различий между возвратными и невозвратными местоимениями автор видит в том, что возвратное местоимение в контекстах типа (26) имеет сдвоенную денотативную характеристику: в исходной пропозиции оно отражается как денотативный терм, а в производном — как переменная; соответственно, в семантической структуре «прообразы» этого местоимения входят в две кореферентных связи: одна — между денотативными термами в исходной пропозиции, другая — между переменными в производной. Между тем, в предложениях с личным местоимением типа (28) оно является, однозначным образом, денотативным термом: в семантической структуре таких предложений тоже две кореферентных связи, но обе между денотативными термами [Падучева 1979: 140].

По нашему мнению, сдвоенность денотативной характеристики возвратного местоимения (денотативный терм vs. переменная) — черта в данном случае непринципиальная. Она обусловлена

тем, что автор рассматривает интересующее нас явление лишь в контексте частиц *только*, *даже*, *именно* и *тоже*, значение которых включает квантор существования и тем самым непременно вводит в производную пропозицию переменную по этому квантору. Между тем круг единиц, ведущих себя интересующим нас образом, далеко не исчерпывается перечисленными частицами. Выражения типа *в отличие от* и *так же, как и*, а также сравнительный оборот обнаруживают те же самые свойства, но не вводят никакой переменной. Сравним предложения (32) и (34), полностью параллельные предложениям (26) и (28):

- (32) *В отличие от Маши, Иван любит свою работу.*
- (33) (а) 'Иван любит работу Ивана'
(б) 'Маша не любит работу Маши'
- (34) *В отличие от Маши, Ивану нравится его работа.*
- (35) (а) 'Ивану нравится работа Ивана'
(б) 'Маше не нравится работа Маши'
- (36) (а) 'Ивану нравится работа Ивана'
(б) 'Маше не нравится работа Ивана'

Аналогичным образом ведут себя пары (37) — (38) и (39) — (40).

- (37) *Так же, как и Маша, Иван удовлетворен своей зарплатой.*
- (38) *Так же, как и Машу, Ивана устраивает его зарплата.*
- (39) *Иван лучше понимает свои стихи, чем Маша.*
- (40) *Иван лучше понимает стихи, которые он пишет, чем Маша.*

Во всех этих случаях роль, которую в предложениях (26) и (28) играла переменная, выполняется именной группой *Маша*, имеющей в точности такую же денотативную характеристику, что и *Иван*. Отсюда вытекает, что сдвоенность денотативной характеристики не может рассматриваться как конституирующее свойство различий между возвратными и невозвратными местоимениями. Все предъявленные факты хорошо описываются ограничением на употребление возвратных местоимений, сформулированным выше.

Впрочем, это ограничение носит не абсолютный характер: существуют примеры, которые допускают двоякое понимание и в случае с возвратным местоимением, по крайней мере для некоторых носителей языка [Падучева 1985: 206].

Сделаем в заключение этого раздела три замечания.

1. Задача обнаружения субститутов анафорических местоимений и, соответственно, замена местоимений на их субституты не может быть решена в полном объеме на уровне какой бы то ни было синтаксической структуры. В ряде случаев обнаружение субститута местоимения возможно лишь в производной пропозиции, являющейся элементом семантической структуры предложения.

2. Анафорические связи, появляющиеся в производной пропозиции, обладают определенной спецификой по сравнению с анафорическими связями, в которых antecedent эксплицитно

присутствует в синтаксической структуре. В частности, в производной пропозиции снимается требование согласования между местоимением и антецедентом. Так, в предложении (34) в значении (35) анафорическое местоимение имеет разные антецеденты в исходной и производной пропозиции. При этом в исходной пропозиции антецедент согласован с имеющимся в предложении местоимением, а в производной — нет: Ивану нравится его работа, а Маше нравится ее работа.

3. Производные пропозиции, предоставляющие дополнительные возможности для осмысления анафорических местоимений, могут вводиться широким кругом языковых единиц, включая контрастную тему. Если произнести предложение *Ивану нравится его работа* с восходящей интонацией на начальной именной группе и фразовым ударением на глаголе, то оно будет допускать два типа продолжений: ...*а мне его работа не нравится* и ...*а мне моя не нравится*.

5. Рефлексы родовой именной группы в ИП и ПП: один квантор или два?

В этом разделе мы рассмотрим другое явление, имеющее отношение к анафорическим связям в исходной и производной пропозициях, на первый взгляд не имеющее ничего общего с явлением, обсуждавшимся в предыдущем разделе. Связь между этими явлениями будет прослежена в разделе 6. Материал, который нас сейчас интересует, был подробно описан в [Богуславский 1996: 129-137]. Поэтому здесь мы лишь конспективно воспроизведем основные положения.

Речь идет о группе предикатов изменения и сохранения состояния, в которую входят такие единицы, как *переставать, прекращать, кончать, утрачивать, бросать...*; *начинать, возобновлять, заинтересовываться...*; *продолжать...*; *еще, уже, больше не ...* и другие.

Как видно из примера (1), приведенного в самом начале этой статьи, предикаты этого класса содержат в своем значении две пропозиции, описывающие положение дел в разные моменты времени. Будем называть их начальная и конечная пропозиции.

- (1) *Иван перестал рано вставать.*
- (1а) ‘до некоторого момента Иван вставал рано’
- (1б) ‘после этого момента Иван не встает рано’

Выше мы отмечали также и то, что именные группы, входящие в состав обеих пропозиций, должны быть кореферентны (например, *Иван* в (1а) и (1б)). В этом отношении представляет интерес поведение родовых (генеричных) именных групп, которые обозначают потенциально открытый класс объектов. Предложение (41)

- (41) *Ученики больше ему не подражают* –

может интерпретироваться двояко. С одной стороны, речь может идти о лицах, которые сначала подражали своему учителю, а потом перестали это делать. В этом случае вхождения именной группы *ученики* в семантическую структуру кореферентны в том же смысле, в каком кореферентны два вхождения именной группы *Иван* в (1) — они обозначают одних и тех лиц. Будем называть такую интерпретацию кореферентности *дистрибутивной*.

С другой стороны, предложение (41) может пониматься таким образом, что лица, которые были его учениками раньше, ему подражали, а нынешние ученики этого не делают. При таком понимании, очевидно, рефлексы именной группы *ученики* в начальной и конечной пропозиции не обязательно обозначают одних и тех же лиц. Это, конечно, не значит, что вхождения именной группы *ученики* в начальную и конечную пропозицию не кореферентны. Просто тождество открытых классов трактуется языком не так, как тождество индивидуальных объектов. Класс может оставаться самим собой, даже если в нем сменились все элементы:

(42) *Мандарины сейчас не такие, какими они были в нашем детстве.*

Такую интерпретацию кореферентности, при которой не требуется тождества элементов кореферентных классов, мы будем называть *обобщенной*. Поскольку обобщенная кореферентность тождества элементов не исключает, а лишь не требует, дистрибутивная кореферентность является частным случаем обобщенной. Предложение (43)

(43) *Американские девушки перестали курить*

легко интерпретируется в обобщенном смысле, который не исключает и дистрибутивного: когда-то для американских девушек было типично курить, а теперь это не так. (43) вовсе не предполагает, что речь идет о людях, которые сначала курили, а потом перестали, хотя это и не исключается.

Оказывается, что существуют предикаты, требующие в начальной и конечной пропозициях более сильной — дистрибутивной — кореферентности. Таков, например, глагол *бросать*, (квази)синонимичный глаголу *переставать*:

(44) *Американские девушки бросили курить.*

Предложение (44) категорически не допускает обобщенного понимания, естественного для (43). В нем речь может идти только о таких людях, в жизни которых было два последовательных этапа — этап курения и этап некурения.

Имеются и другие предикаты, которые, подобно *бросать*, требуют дистрибутивной интерпретации кореферентности. Это *вырасти* (в отличие от *стать выше*), *забыть* (в отличие от *уже не помнить*) и некоторые другие.

Чтобы выявить семантический источник различия между дистрибутивной и обобщенной

кореферентностью, необходимо остановиться на значении родовых именных групп. Можно показать, что генеричность — это единица кванторного типа, занимающая промежуточное положение между квантором общности (*все, каждый*) и числовой граммемой («ед», «мн»).

С семантической точки зрения, квантор генеричности сближается с квантором общности, хотя, конечно, не совпадает с ним. Его можно приближенно истолковать как ‘все типичные’. Различие между предложениями (45) и (46) в значительной степени сводится к тому, что (46) говорит не о всех без изъятия, а лишь о типичных детях. Поэтому (46) менее категорично, чем (45).

(45) *Все дети любят мороженое.*

(46) *Дети любят мороженое.*

С формальной точки зрения, квантор генеричности близок к числовым граммемам — в том смысле, что он тоже не выражается отдельным словом, а впаян внутрь именной словоформы.

В силу этой двойственности квантор генеричности имеет два типа поведения. Его сфера действия, с одной стороны, может ограничиваться рамками именной группы (как сфера действия числовой граммемы), а с другой стороны, может охватывать глагольную группу (как сфера действия квантора общности). Эта особенность квантора генеричности и различает обобщенную и дистрибутивную кореферентность. Семантический источник различия между этими интерпретациями состоит в соотношении сфер действия квантора генеричности и глагола.

Конкретнее, различие между предложениями (43) и (44) обусловлено тем, какой элемент имеет более широкую сферу действия — квантор генеричности или глагол. В предложении (44) семантической вершиной является квантор. Это значит, что, строя семантическую структуру предложения, следует сначала эксплицитировать значение квантора:

(44а) ‘для всех типичных *x* из класса американских девушек верно: *x* бросил курить’

После экспликации квантора можно воспользоваться толкованием глагола (для наглядности несколько упрощенным) и ввести начальную и конечную пропозиции:

(44б) ‘для всех типичных *x* из класса американских девушек верно:

(а) до некоторого момента *x* курил;

(б) после этого момента *x* не курит’

В предложении (43), напротив, семантической вершиной является глагол. Поэтому первый шаг экспликации значения (43) состоит в истолковании глагола, не затрагивающем квантор генеричности:

(43а) ‘(а) до некоторого момента американские девушки курили;

(б) после этого момента американские девушки не курят’.

В (43а) в обеих пропозициях участвуют родовые именные группы *американские девушки*. Поэтому здесь речь идет о кореферентности открытых классов, что, как мы видели, не требует тождества элементов этих классов. Экспликация квантора генеричности осуществляется в начальной и конечной пропозиции независимо:

(43б) ‘(а) до некоторого момента для всех типичных x из класса американских девушек было верно: x курил;

(б) после этого момента для всех типичных x из класса американских девушек верно: x не курит’

Семантические структуры (43б) и (44б) наглядно отражают интересующее нас различие, которое заключается в том, утверждается или нет, что курят и не курят одни и те же люди. Оказалось, что это различие обусловлено соотношением сфер действия квантора генеричности и глагола. В (43) квантор входит в сферу действия глагола, а в (44) наоборот. Имеется еще одно убедительное подтверждение того, что в (43) и (44) квантор генеричности имеет разную сферу действия. Если ввести в эти предложения эксплицитный квантор общности, то результат получится существенно разный.

(47) *Все американские девушки бросили курить.*

(48) *Все американские девушки перестали курить.*

Значение (47) очень близко к значению (44) и отличается от него лишь в той мере, в какой различаются квантор общности и квантор генеричности (ср. (45)—(46)). Следовательно, сфера действия этих кванторов в (47) и (44) тождественна. Предложение (48) резко отличается по значению от (43): (48) не может пониматься в значении ‘прежние курили, а нынешние не курят’. Причина этого — разные сферы действия кванторов в этих предложениях. В (43) сфера действия квантора генеричности не распространяется на глагол в целом. А слово *все*, введенное в предложение, по необходимости включает в свою сферу действия глагол, что резко меняет значение предложения. Кореферентность классов становится невозможной.

6. Что общего между явлениями из разделов 4 и 5?

В разделах 4 и 5 мы рассмотрели два явления — возможность разных интерпретаций анафорических местоимений в исходной и производной пропозиции и возможность дистрибутивной и обобщенной интерпретации родовых именных групп — которые, на первый взгляд, не имеют между собой ничего общего. Несвязанность их между собой проявляется, в частности, в том, что эти оппозиции не зависят друг от друга и могут совмещаться в одном предложении. Это происходит в следующих условиях:

(а) предложение содержит предикат, порождающий производную пропозицию, причем допускающий как дистрибутивную, так и обобщенную интерпретацию родовой именной группы (например, *переставать*);

(б) в предложении имеется адвербиал, порождающий производную пропозицию (например, *в отличие от*); тем самым, семантическая структура предложения содержит четыре предикации: две, появляющиеся за счет разложения глагола, и две — за счет адвербиала;

(в) в исходной (для адвербиала) пропозиции имеется невозвратное местоимение в нерасщепляемой позиции.

Если условия (а) — (в) выполнены одновременно, предложение получает четыре интерпретации за счет независимого варьирования обеих оппозиций:

(49) *В отличие от женщин, мужчинам перестала нравиться их зарплата.*

(а) ‘прежним мужчинам нравилась их зарплата, а нынешним не нравится; прежним женщинам нравилась зарплата, которую получают мужчины, и нынешним тоже нравится’.

(б) ‘прежним мужчинам нравилась их зарплата, а нынешним не нравится; прежним женщинам нравилась зарплата, которую они (женщины) получали, и нынешним тоже нравится’.

(в) ‘раньше мужчинам нравилась их зарплата, а потом разонравилась (тем же самым мужчинам); раньше женщинам нравилась зарплата, которую получают мужчины, и теперь продолжает нравиться (тем же самым женщинам)’.

(г) ‘раньше мужчинам нравилась их зарплата, а потом разонравилась (тем же самым мужчинам); раньше женщинам нравилась зарплата, которую они получают, и теперь продолжает нравиться (тем же самым женщинам)’.

При ближайшем рассмотрении, однако, между явлениями, описанными в разделах 4 и 5, можно обнаружить серьезные аналогии. Их можно сформулировать следующим образом.

(i) Имеются лексические единицы, порождающие в семантической структуре две пропозиции. Это адвербиальные выражения типа *только, даже, в отличие от* и др. в первом случае и глаголы изменения и сохранения состояния типа *перестать, бросить, продолжать* и т. п. во втором случае.

(ii) Имеются языковые единицы, никак не связанные с лексемами группы (i), которые при определенных условиях можно ввести в пропозицию. Это возвратные и личные местоимения в первом случае и родовой квантор во втором.

(iii) Оказывается, что введение в предложение единиц группы (i) и группы (ii) не является независимым. Выбор единицы класса (i) может заблокировать выбор единицы класса (ii), и наоборот.

(iv) Эта взаимозависимость может быть представлена как статически, так и динамически. Статическое описание предполагает формулировку ограничений на употребление единицы одного класса в сфере действия единицы второго класса. Динамическое описание говорит о том, что единицы одного класса должны вводиться в предложение до (или после) того, как введены единицы второго класса. Это — типичная двойственность, возникающая при описании соотношения сфер действия разных единиц.

Рассмотренные явления — красноречивая иллюстрация необходимости интегрального подхода к описанию языка, уже давно развиваемого в работах Ю. Д. Апресяна. Мы очередной раз убеждаемся в простой истине: глядя даже на такие различные вещи, как семантика адвербиальных оборотов и прономинализация или глаголы изменения состояния и родовые именные группы, надо быть готовыми к тому, что они окажутся связанными друг с другом множеством малозаметных нитей и могут быть описаны только в едином комплексе.

Литература

Богуславский 1985 — И. М. Богуславский. Исследования по синтаксической семантике: сферы действия логических слов. М., 1985.

Богуславский 1993 — И. М. Богуславский. О соотношении исходной и производной пропозиции // Категория сказуемого в славянских языках: модальность и актуализация. München, 1993. С. 41—53. (Slavistische Beitrage. Bd 305).

Богуславский 1996 — И. М. Богуславский. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.

Падучева 1979 — Е. В. Падучева. Об именных группах со сдвоенной денотативной характеристикой // Семиотика и информатика. Вып. 11. М., 1979. С. 134—141.

Падучева 1985 — Е. В. Падучева. Высказывание и его соотношенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.

О возможностях функционального исследования языка

1. Известный деятель культуры как-то говорил, что в мире множество идей, постигнуть которые все невозможно. Для меня, сказал он, важно то, что я люблю и что я делаю.

В лингвистическом мире тоже множество идей, но каждый из нас находит то, во что он верит, что для него значимо, об этом мы пишем, это и сообщаем на конференциях. Отношение к другим идеям зависит, наверное, от объема памяти, как у компьютеров. Но, в отличие от компьютеров, мы сами выбираем свои программы, свои предпочтения. Мотивы нашего выбора могут быть разными: это и привлекательность новизны, и эффектность построений, и эффективность.

Многие, наверно, согласятся с тем, что эффективность, результативность наших научных занятий — самая весомая мотивация. Считается, что если знание о предмете результативно, оно становится орудием получения нового знания, высвечивая зоны незнания, решая не только дискуссионные вопросы, но и не поставленные раньше. Тогда знание становится все более системным и объяснительным.

2. Идея функциональной лингвистики уже не блещет новизной. Она казалась даже «модной» (в науке тоже бывает мода) в середине прошлого полувека, когда специалисты устремлялись под ее флаги на конференции и в сборники.

Чем же объяснить, что проторенные под этими флагами дороги дали значительно меньше ожидаемого?

Объяснить это можно с собственно лингвистической точки зрения. Слово «функциональный» в широком употреблении не мотивировано словом «функция», которое должно было терминологически определять исходное понятие теории. Употребляли слово *функция* как дублет «значения», фигурирует даже *семантическая функция* как дублет дублета (профессор В. Дресслер [Дресслер 1990] писал, что термин *семантическая функция* тавтологичен, см. также [Николаева 1995]) либо в смысле, выходящем за рамки грамматической системы в области стилистики, социолингвистики, прагматики и т. п. Была такая шутка: *Медики нашли новое лекарство, прекрасно*

помогает. Осталось выяснить, от чего именно. Похоже на ситуацию с функцией.

Между тем есть возможность и необходимость рассматривать функцию как имманентное свойство каждой языковой единицы, как идентифицирующий ее третий, наряду с формой и значением, дифференциальный признак. В этом тройственном критерии получает отражение неразрывное взаимодействие морфологии, семантики и синтаксиса: способность языковой единицы реализовать свое оформленное значение в определенных конструктивных условиях, в определенной грамматической позиции.

Как ни парадоксально, но в стратификационной схеме Э. Бенвениста [Бенвенист 1974] функциональная идея не сработала на границе между словом и предложением именно из-за отсутствия критерия функции: слово представляло единицу лексики.

За синтаксическую единицу часто принимается понятие *формы слова* (производное от лексики и морфологии).

Но ведь словоформы, допустим, имен существительных в одном и том же падеже, даже одного типа склонения (например, *учеником* и *напильником*, *дорогой* и *книгой*) располагают разными возможностями участвовать в построении предложения: *Он был учеником*, *Помню его учеником*, *Это стихотворение написал еще учеником*, также *Пошел в ученики* — эти позиции основного предиката и вторичного предиката *напильнику* не свойственны; *Шел лесной дорогой* (не *книгой*) — позиция компонента со значением пути движения и *Как я пела обратной дорогой* (А. Ахматова) — пути вместе со временем не может быть замещена *книгой*. Однако *Сидел за книгой*, *Застал его за книгой*: *за книгой* становится компонентом с темпоральным значением, а *ельник за дорогой* — *за дорогой* — локативным. Ср. еще пары: *от кости* — *от злости*, *по капризу* — *по карнизу* и под.

Понятно, что формы слова и лексического значения недостаточно для идентификации синтаксической единицы, что синтаксический компонент характеризуется не двумя, а тремя признаками: категориально-семантическим значением слова (более высокой абстракции, чем индивидуально-лексическое), морфологической формой и набором синтаксических позиций, определяющим функциональный тип данной словоформы. Семантический признак показывает, что названо, какой род явлений, формальный — *как?*, функциональный — *зачем?*

Поскольку синтаксические средства оформляют высказывание, *коммуникативный акт*, а синтаксические единицы участвуют в процессе коммуникации качественно *различными способами*, *функция* была определена [Золотова 1973] как отношение синтаксической единицы к коммуникативной. Дальше задача состояла в том, чтобы выявить типы этих отношений как основание для классификации синтаксических единиц, для выявления роли каждой в построении коммуниката.

Разграничены единицы (позже названные *синтаксемами*):

во-первых, как конструктивные компоненты предложения, создающие его предикативную основу, вступающие в предикативную связь через категории времени, модальности и лица;

во-вторых, распространяющие предикативную основу, выражая таксисные значения времени, модальности и лица;

в-третьих, единицы, функционирующие в присловной связи.

Роли субъекта (подлежащего) и предиката (сказуемого) в предикативной основе и роли разного ранга предопределены принадлежностью синтаксем к предметным (функции субъекта и объекта) или признаковым (функции предиката, определения).

Репертуар синтаксем русского синтаксиса — и типов, и манифестирующих их конкретных словоформ — даже с перечнем числовых коэффициентов всех синтаксических позиций (от 1 до 10—12) — в систематизированном и обильно иллюстрированном виде представлен в «Синтаксическом словаре» [Золотова 1988].

Это как бы пройденный этап, на котором осуществлены следующие возможности функциональной концепции:

а) Терминологически определено и концептуально использовано понятие синтаксической *функции*. Функция языкового элемента становится составляющим его фундамента.

Выявлена элементарная синтаксическая единица как исходное понятие и неперемное условие существования научной теории синтаксиса. Показана роль этого первоэлемента, далее неделимого на синтаксическом уровне, в построении всех прочих, разной сложности конструкций.

Проследить все многообразие потенций и реализаций синтаксем на единой теоретической основе — перспективная и долговременная задача. При этом почти нетронутой остается сложная и активно развивающаяся территория синтаксем с производными предлогами.

б) Всеобщий поворот к семантике, не всеми сразу принятый, породил паллиативные методы двухэтажного грамматического анализа, разделения, а то и противопоставления синтаксиса и семантики. Не все, но многие так работали. Думаю, что это были шаги в движении лингвистической мысли, которые для своего времени способствовали укреплению системных представлений. Но развитие науки не может не привести к осознанию искусственности, механистичности такого подхода, поскольку семантика и синтаксис слиты в языке органично, неотделимо. Каждое слово, вовлекаясь в коммуникативный процесс, уже несет в него свое категориально-семантическое значение, оно и есть материя (отраженная разумом структурированная реальность), ей, как глине, морфология придает форму, соответствующую назначению, то есть функции, поэтому элементарная единица синтаксиса неизбежно является структурно-смысловой.

Сделанное на функциональном направлении убеждает, что не анатомическое расчленение

«уровней», но изучение языка в живом, естественном взаимодействии значения, формы и функции продвинет наше познание дальше.

в) Разработанная на этой основе в «Синтаксическом словаре» система информации становится источником материала и аргументации для обсуждения ряда дискуссионных проблем современной грамматической науки.

Вопрос о синтаксической функции для многих связан со школьным учением о членах предложения или с учением об актантах. Концепция синтаксем как разного ранга компонентов предложения, естественно, в чем-то совпадает со взглядами предшественников, но вносит в них существенные коррективы, уточняющие характер различительных признаков и вовлекающие в круг объектов изучения разнообразные наглагольные модели.

Уравновешивание отношений между разделами грамматики позволяет преодолеть давление на синтаксический анализ морфологических предрассудков, против которых выступали прогрессивные лингвисты и педагоги еще полтора века назад, об этом см. [Виноградов 1958]. И еще через сто лет сам В. В. Виноградов призывал избавиться от засилья в синтаксисе морфологизма и предвзятых схем [Виноградов 1954: 78, 111]. Здесь речь пойдет о способности имен в косвенных падежах выступать в позиции субъекта (подлежащего) в определенных моделях русского синтаксиса.

В предложениях типа *Татьяне не спится, Татьяне грустно, У нее жар, У нее бессонница, Ее лихорадит, С ней обморок* и т. п. предметные синтаксемы в косвенных падежах именуют субъект — носителя состояния (подлежащее), а признаковые синтаксемы — глагольные либо выраженные категорией состояния, а также именительным падежом отвлеченных существительных — называют приписываемый лицу предикативный признак (сказуемое).

Нет никакой надобности усложнять анализ, оперируя двойными ярлыками («по форме дополнение, по значению субъект»). В полной гармонии находятся здесь и двукомпонентность речемыслительного акта, и типовое значение предложений «Личный субъект и его состояние», и предикативные отношения между компонентами (наличие парадигм по времени, модальности и лицу), и исторически сложившиеся способы оформления субъекта в моделях со значением его непроизвольного, инволютивного состояния, и порядок слов, с нормальной препозицией субъекта, но не объекта.

Очевидной становится и несообразность именования, по морфологическому же признаку, подобных предложений, сообщающих о состоянии *личного субъекта* безличными или односоставными.

3. Вместо сложной и противоречивой классификации русских предложений найдена компактная и прозрачная схема синтаксических моделей, в которой синтаксемы знаменательных частей речи, соответственно своему категориально-семантическому значению, выступают предикатами, обозначая основные виды отношений действительности, структурированных человеком через систему частей речи:

Татьяна пишет — сообщение о действии субъекта (глагол)

Татьяне страшно — о состоянии (категория состояния)

Татьяна молчалива — о качестве (прилагательное)

Братьев семеро — о количестве (числительное)

Татьяна — именинница — квалификативный признак (существительное признаковое).

А где же все многообразие русских предложений? Оно располагается в схемах синтаксического поля основных моделей как их регулярные грамматические, структурно-семантические, экспрессивно-коммуникативные модификации и синонимические преобразования. И классификация предложений, таким образом, следует тем же требованиям комплекса дифференциальных признаков, с обоснованной точкой отсчета.

И здесь, разумеется, остается широкий простор для изучения всей конкретики смысловых, формальных, выразительных возможностей модификаций и вариаций в рамках предложенной иерархической системы синтаксических моделей, а также с точки зрения закономерных связей их системных свойств с условиями их функционирования в тексте.

4. Разработанная концепция типов предложения подготавливает и решение вопроса об односоставности / двусоставности предложений — решение непривычное, но последовательное и убеждающее.

Профессор Пражского Карлова университета Олдржих Лешка говорил, что наше профессиональное дело — всю жизнь преодолевать в себе школьную грамматику.

Преодолевая в себе привычное, приходится признать, что односоставных предложений нет, потому что природа речемыслительного акта — в приписывании предикативного признака его носителю. Признак сам по себе, не соотнесенный с носителем, сообщением служить не может. Другое дело, что в речи нередки предложения с неназванным субъектом, но условием существования такого предложения является известность говорящему и слушающему и смысла субъектного компонента, и формы его, взаимосвязанной с формой предиката, и позиции в предложении (ср., например: *Нездоровится* — это обычно о себе, I лице, а если о другом, оно должно быть названо именем в дательном падеже: — *Маме нездоровится*), но попробуем убрать дат. субъекта, без которого будто бы можно обойтись, из строки Лермонтова: *Мне грустно... потому, что весело тебе* — получится бессмыслица;

— *Знобит* (либо о себе, либо — *Больного знобит*);

— *Кашель, температура* (либо о себе, либо — *У ребенка кашель, температура*);

— *Светает* (здесь субъект не личный, а локативный, признак приписывается месту, пространству, ср. *За окном, на дворе светает*);

— *Тихо. Тишина. (На улице, во дворе, за стеной...)*;

— *Стучат (Кто-то стучит)*;

— *Идешь и поёшь... (Ты идешь и поешь...)*.

Таким образом, предложения с неназванным субъектом занимают свое место в системе, представляя двусоставную модель, но либо в ее неполной речевой реализации, либо как ее структурно-смысловую модификацию со значением признака, относящегося к локативному субъекту или неопределенно-личному, обобщенно-личному.

5. Всё знание о языке извлечено лингвистикой из звучащей или записанной речи в процессе человеческого общения. Из потребности в общении возник и язык.

К концу XX столетия лингвистика все увереннее признает своим основным объектом текст, или иначе речь, и говорящее лицо, человека, порождающего тексты разнообразного социально-коммуникативного назначения.

К тексту как объекту исследования лингвисты пришли от неудовлетворенности изучением «чистых» моделей предложения, словосочетания, словоформы, либо составленных исследователем, либо вынутых из текста и лишенных тем самым жизненно важных признаков. Стремление выйти за рамки предложения вело к пониманию текста как чего-то большего, может быть, объединения нескольких предложений. Но критерии и границы объединений, а также их текстообразующая роль оставались неясными.

Функциональный подход к проблеме, заложенный в трудах В.В. Виноградова 30-х годов [Виноградов 1980а; 1980б; ср. позднейшее Виноградов 1947], предопределил развитие лингвистики, и шире – филологии, в плодотворном направлении. Следуя идеям В. В. Виноградова, «Функциональный синтаксис» [Золотова 1973], а затем «Коммуникативная грамматика» [Золотова 1982; Золотова и др. 1998] предложили критерии разграничения коммуникативных типов речи (регистров), с опорой на позицию говорящего-перцептора; реализации регистровых моделей признаны композитивами, соединение, чередование которых организует текст. Выявленные В. В. Виноградовым текстовые функции видо-временных форм глагола служат основным средством композиционного структурирования текста любого назначения.

Выяснилось, что и модели предложений и семантико-грамматические подклассы глаголов располагают своими функционально-синтаксическими, композиционно-текстовыми парадигмами, иначе говоря — способностью/неспособностью участвовать в тех или иных коммуникативных регистрах.

Дальнейшие наблюдения над видо-временными функциями глаголов в тексте дали основания сделать ряд уточнений к пониманию категорий вида и времени. Установлено, что в большей части текстов формы времени ориентированы не на «момент речи», а на таксисные отношения соседствующих предикатов в рамках текстового времени. Предложено разграничение 3-х временных

планов: физического (хронологического) времени, текстового (событийного) и авторского (перцептивного). Показано, что категория вида означает не изменение характера действия (*говорил — поговорил — заговорил*: действие и при указании границы остается длительным; *ударил — ударял* — остается одномоментным и при повторяемости), но изменение способа восприятия говорящим: взгляд говорящего как бы пересекает, либо пересекает линию процесса. Выявлены те же составляющие вида: семантика глагола как объективно-содержательная база (*значение*) и авторская, субъективная интерпретация процесса в интересах данного высказывания, в интересах организации текстового времени (*функция*) словоизменительными и словообразовательными средствами СВ и НСВ (*форма*).

6. Наблюдения над таксисными отношениями между предикатами текста поставили на более прочную грамматическую основу анализ и квалификацию разнообразных так называемых полупредикативных конструкций. «Полупредикативные» конструкты (причастные, деепричастные, инфинитивные, девербативные и др., однословные и распространенные), выражая таксисные значения времени, лица и модальности, служат и носителями коммуникативно-текстовых функций. В инофункциональном окружении они оказываются минимальными текстовыми единицами.

Например:

1) *Буянов, братец мой задорный, К герою нашему подвел Татьяну с Ольгою* (Пушкин) — в предложении репродуктивного регистра с аористивным предикатом включено полупредикативное приложение, представляющее информативный регистр.

2) *От работы и черной и трудной Отцветешь, не успевши расцвести* (Некрасов). Здесь три текстовых единицы в рамках информативного регистра: противопоставленные глагольный предикат и деепричастный с перфективной функцией, каузативный оборот — с имперфективной.

Таким образом, единицы текста вычленяются не по количественному признаку («больше, чем предложение»), а по функциональному. Как в жизни, так и в тексте актуальные, единичные действия, изменения, события происходят на фоне и в условиях длящихся, обычных обстоятельств, признаков, включаются в связи «прежде» и «после». Видо-временные формы предикатов, вступая в таксисные отношения в текстовом времени, реализуют свои функциональные потенции, создавая по воле автора объемную ткань временных планов.

7. Выявление функционального параллелизма роли синтаксем — компонентов простого предложения и роли придаточных (фразовых номинаций) в сложноподчиненном, позволило найти решение ряда спорных вопросов этой области и упорядочить классификацию сложного предложения, подтвердив изофункциональность единиц разного ранга в синтаксическом строе языка и внутреннее единство синтаксиса как науки.

8. Функциональная грамматика не предполагает противопоставленности так называемой традиционной грамматике, это не антитеза, не замена ей. У грамматики один объект — русский язык и бесценные накопления познаний о нем. Функциональная грамматика выросла на базе традиционной, это та же грамматика, но обновляющаяся, не застывшая, а в развитии, в динамике, не закрытая для инакомыслия, но открытая новым наблюдениям и аргументам.

Термин «функциональная» на определенном этапе акцентировал недостаточно изученный аспект грамматического учения, то звено его, в котором заключался необходимый ресурс движения.

По сути же дела не должно быть «функциональной грамматики», потому что не может быть грамматики нефункциональной, как не должно быть «семантической грамматики», потому что грамматика не может быть несемантической, не должно быть «формальной грамматики», потому что не может быть неформальной, и не должно быть «коммуникативной грамматики», потому что грамматика не может быть некоммуникативной. Все три определения составляют неотъемлемые свойства грамматического строя (форма, значение, функции), и исследование этих свойств в их соотношении — залог развития грамматического учения.

Выходя в текст, в коммуникативный процесс, в реальную сферу жизни грамматических форм, синтаксических конструкций, грамматика получает определение «коммуникативная». В этом на теперешнем этапе — ее путь, ее ресурсы и неперемное условие дальнейшего совершенствования.

9. Разработанный «Коммуникативной грамматикой» [Золотова и др. 1988] аппарат исследования текста открыл подступ к анализу структуры и художественных произведений, языковых средств авторской экспрессии, тактики и стратегии, что укрепляет лингвистическую базу филологии и отвечает антропоцентрическим тенденциям современных гуманитарных наук.

Литература

Бенвенист 1974 - Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974.

Виноградов 1947 - В. В. Виноградов. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.

Виноградов 1954 — В. В. Виноградов. Введение // Грамматика русского языка. Т. II. Ч. 1. М., 1954; (4-е изд. 2001).

Виноградов 1958 — В. В. Виноградов. Из истории изучения русского синтаксиса. М., 1958.

Виноградов 1980а — В. В. Виноградов. О художественной прозе // В. В. Виноградов. Избранные труды. М., 1980. С. 56-175.

Виноградов 1980б — В. В. Виноградов. Стиль «Пиковой дамы» // Там же. С. 176-239.

Дресслер 1990 — В. Дресслер. Против неоднозначности термина «функция» в

функциональных грамматиках // ВЯ. 1990. № 2. С. 57-64.

Золотова 1973 — Г. А. Золотова. Очерк функционального синтаксиса. М., 1973.

Золотова 1982 — Г. А. Золотова. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982; (2-е изд. 2001).

Золотова 1988 — Г. А. Золотова. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988; (2-е изд. 2001).

Золотова и др. 1988 — Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1988.

Николаева 1995 — Т. М. Николаева. Теория функциональной грамматики как представление языковой данности // ВЯ. 1995. № 1. С. 68—80.

Т. М. Николаева

Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения*

1. Широко известен тот факт, что именно область просодии, включая в нее и фразовую интонацию, есть та область языкознания, где терминологические и метаструктурные расхождения делают взаимное понимание почти невыносимым: минимальными единицами считаются разные феномены, по-разному иерархизируется план выражения, по-разному понимается план содержания, дискуссионным остается вопрос о поиске инварианта.

Широко известен (или как бы считается само собой разумеющимся) и тот факт, что рядовой носитель языка, довольно легко отвечающий на вопросы, относящиеся к сегментной языковой структуре, практически оказывается беспомощным перед просодическим анкетированием — интроспекция здесь затруднена.

Известно также, что вопросами фразовой интонации стали вплотную заниматься только в XX веке, для древнейшего прасостояния она пока никак и не реконструируется, тогда как не менее сложные проблемы реконструкции синтаксического состояния решаются с завидной отвагой, а морфологические парадигмы описываются для любой эпохи и даже с легкостью.

Можно сказать по этому поводу, что древнее состояние фразовой просодии было недоступно для нашего слуха, но также недоступны были — конец слова в старославянском, древнегерманское ударение, чередования гласных в ведийских корнях и многое другое.

И все же — нельзя сказать, что просодические факты вообще в диахроническом описании игнорировались. Все знают, что есть компенсаторное продление корня после падения редуцированных в русском языке (то есть можно предположить, что за этим стоит по-словное произношение с обязательной изохронией речевых единиц), биномы Бенвениста (если к корню C1VC2 присоединяется суффикс структуры -VC, то полная огласовка корня предполагает нулевую огласовку суффикса, и наоборот [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 225], три ступени санскритского корня,

* Данная работа выполнена при финансовой поддержке общего проекта INTAS «The Typology of Intonation, Stress and Lexical Tones in Slavic, Baltic and Germanic Languages» N 9900795.

то, что слова связывались в словосочетания, на границе которых была восходящая мелодика¹, даже, например, то, что дифтонг *oi при нисходящей интонации переходил в *i, а при восходящей — в *ǃ*. Но вопрос о том, почему же такие процессы имели место вообще — этот глобальный вопрос всегда осторожно обходился, просодическая интерпретация была всегда связана с какой-то не ставящейся на обсуждение загадкой.

2. Однако, быть может, можно попытаться решить эту загадку или хотя бы приблизиться к ее решению, проследив — по необходимости кратко — эволюцию описания языкового строя параллельно с общими проблемами человеческого отображения представляющего перед нами жизненного кадра.

Итак, для описания просодии древних языков ранее существовало по сути одно понятие — **тон**. Не обсуждая сейчас, что это значит точно, можем явственно увидеть отчетливое противоречие в трактовке этого термина даже в трудах самых известных и относительно недавних исследователей-компаративистов. Тон в этих описаниях принадлежал слову, но в то же время тон зависел также и от позиции, что почему-то никого не смущало. Точно так же безударными (лишенными тона) были то слова, то позиции, где эти слова располагались. Именно так описывает безударность (лишенность тона) известный своим законом Я. Ваккернагель: то ли безударные слова попадают во вторую позицию, то ли сама позиция безударна (ослаблена) и притягивает поэтому мелкие и не самые важные слова². Параллельно с термином *тон* существовал и термин **сила**, силовое ударение, но оставалось все-таки неясным то, как соотносились между собой эти понятия. Лучше всего эти противоречия выявляются, в частности, в известной книге А. Мейе [Мейе 1938]. См. у Мейе о том, что в индоевропейском слове может быть только один тонический слог: «Особую высоту слога мы будем называть тоном... Ударение новогреческого обычно занимает место древнегреческого тона. И общебалтийский, и общеславянский тон передается ударением» [Там же: 162]. Однако далее, глядя с позиций современной интонологии, вполне можно увидеть намек на существование именно фразовой интонации — как с сильными, так и со слабыми позициями: «Каждая глагольная форма, смотря по ее положению и роли в предложении, могла нести на себе тон или не иметь тона» [Там же: 253]. И далее: «Большинство слов в предложении могли быть либо тоническими, либо лишенными тона, смотря по обстоятельствам» [Там же: 371]. Обнаруживается у него и описание полукаденции на границе соединения главного (конечного) и придаточного (инициального): зная, что глагол занимал

¹ См. у Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова: «В синтагматическом сочетании морфем только одна морфема может выступать в нормальной ступени огласовки» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 223]; «Два связанных по смыслу слова, если стояли рядом, то одно из них могло иметь тон, а другое могло быть без тона» [Мейе 1938: 371].

² См. это отчетливое противоречие в его же текстах: [Wackernagel 1953; 1979].

финальную позицию, мы понимаем, что глагол придаточного был под восходящим ударением: «вообще тоничен глагол такого предложения, которое отсылает к другому предложению. Тон в этого рода случаях показывает, следовательно, что одно слово находится в каком-то отношении к другому слову» [Там же: 372]. Строго говоря, удивляет следующее положение А. Мейе: «Нет никакого указания на то, какова была особенность произношения, характерная для вопроса» [Там же: 74], хотя во всех работах по древнегреческому языку (и реконструируемому более древнему индоевропейскому состоянию этого слова) говорится, что местоимение τίς является вопросительным, когда оно тонично, и неопределенным — если оно атонично. То есть это все та же модель специального вопроса в оппозиции к неопределенности, которую мы имеем и сейчас в современном русском языке в неизменном виде: ср. *Кто там пришел?* и *Может, там пришел кто.*

Позволю себе предложить объяснение для этих совсем не случайных противоречий, обратившись к эволюции человеческой интроспекции, — для осознания того, что существует просодия, отдельная от слова, нужно было оторваться от зрительного (графического) отображения языкового фрагмента. Все мы как будто бы знаем, что звуковая речь первична, а письменная вторична, но как это укладывается (укладывалось) в человеческом сознании? И здесь уместно обратиться к замечательным идеям Мишеля Фуко. Так, о самой ранней «эпистеме» западной трактовки отношения мира и вещей, он пишет, что «переплетение языка и вещей в общем для них пространстве предполагает полное превосходство письменности <...> Отныне первоприрода языка — письменность. Звуки голоса создают лишь его промежуточный и ненадежный перевод. Бог вложил в мир именно писанные слова: Адам, когда он впервые наделял животных именами, лишь читал эти немые, зримые знаки; Закон был доверен Скрижалям, а не памяти людской; Слово истины нужно было находить в книге <...> Ибо вполне возможно, что еще до Библии и до всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность» [Фуко 1994: 75]. Поэтому просодические знаки были графическими, и, что более важно, ставились они над словом и приписывались слову или слогу слова. До сих пор аксиоматичной считается постанова древними писцами некоего знака именно на ударном слоге, хотя это не всегда подтверждается. Так, в ведийском языке различались три вида слогов: udātta- (высокий, то есть «ударный»), svarita- («звучный», заударный), anudātta- (как видно по форме, просто — «без-ударный»). Однако в наиболее распространенной системе деванагари «слог, несущий главное ударение — удатту, специально не маркируется, маркируется предшествующий ему безударный слог, т. е. анудатта, <...> и следующий за ним заударный слог — энклитическое ударение сварита» [Елизаренкова 1982: 105].

Как ни странно (потому что уже практически в современную эпоху), именно так трудность просодической интроспекции объясняет — через письменность — и И. А. Бодуэн де Куртенэ:

«Усвоение письма ослабляет память на акустически воспринимаемые и акустически передаваемые явления. <...> Память грамотного человека регрессирует и уже не может обойтись без помощи чтения и письма. <...> Я, например, принадлежу к числу грамотных и, когда хочу представить себе что-либо, мыслимое с помощью языка, то как бы вижу перед глазами написанные слова и фразы. Как я представлял себе то же в детстве, до того, как обучился грамоте, — я уже не могу вспомнить. По всей вероятности, я вообще не делал попыток в этом направлении» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 331]. Можно предположить, что затрудненность просодической интроспекции основывается не только или не столько на письменности, сколько на изначальной концептуальной презумпции отображения мира, в том числе и услышанного, только в графическом пространстве.

3. Но в начале XX века лингвистика уже обладала двумя совокупностями поистине революционных знаний. Прежде всего (в собственно лингвистическом плане) — это знание о том, что существуют суперсегментные сведения, явно функционирующие отдельно и имеющие право на отдельное же их метаотображение. И тут встала проблема структурной и терминологической организации этого метаотображения.

Вторая революция, гораздо более важная и, собственно, определившая первую, состояла в отчетливом отделении образа, существующего в нашем сознании, и впечатления от непосредственно данных нам в восприятии феноменов. Выражаясь языком современного психоанализа, в XX веке пошел активный процесс преобразования бессознательного в сознательное («трансцендентная функция») и именно это породило в конце концов идеи построения абстрагированной языковой системы, существующей в нашем сознании. Как кажется, именно Бодуэн де Куртенэ это понял впервые, и термин «психический» у него нужно понимать как образ сознания, так же, как «логический» целесообразно связывать не с логикой, а просто со смыслом. Таким образом, повторяя слова К. Г. Юнга, можно сказать, что: «Психическое существование — это единственная категория существования, о котором мы имеем *непосредственное* знание, так как ни о чем невозможно узнать, если это сначала не появится как психический образ. Только психическое существование непосредственно поддается проверке. В той степени, в какой мир не принимает форму психического образа, он, фактически, не существует» [Юнг 1997: 507]. Как это подробно описала в своей книге Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 1988], знания, факты располагаются в нашем сознании, и только сенсорика реагирует на актуальные события. Таким образом, можно поставить вопрос о том, какой именно образ языка предпочитает человеческое сознание на каждом этапе?

Итак, проблема метапостроения стояла следующим образом: вписываем интонацию в язык или все же ее отторгаем? И, даже признавая ее, описываем где-то отдельно или пытаемся совместить с другими языковыми феноменами в метаописании?

И вот, как можно теперь реконструировать, в межвоенный период XX века (приблизительно!) шла очень серьезная и подспудная битва двух метаподходов к языку — битва именно из-за интонации, о которой реально говорилось немного, но которая в конце концов закончилась метатеоретической секуляризацией интонации.

Гладиатором первого направления был С. И. Карцевский. В целом можно сказать, что Карцевского в первую очередь интересовало то, что в соссурианской теории именуется *le langage*, речевая деятельность. Поэтому его лингвистическую установку можно характеризовать как синтагматическую, ориентированную на последовательность речевых отрезков. По его теории, речевая деятельность начинается с фразы. Фразу создает интонация. Синтаксис интонации имеет свой план содержания и план выражения. В сущности, именно Карцевский был пионером исследования межфразовых отношений, передаваемых интонацией, поскольку его предшественники обычно ограничивались описанием интонации одной изолированной фразы. Например, он не описывал только мелодику, как это было традиционно принято, а понимал интонацию как многопараметрическое единство акустических составляющих (мелодики, тембра, интенсивности и длительности). Так, он выделяет четыре смысловые категории, семантемы, передаваемые интонацией, и сопоставляет с ними формальные интонационные средства, для того времени очень точно. Эти четыре категории — симметрия, асимметрия, тождество и градация.

Итак, для Карцевского язык состоит из: 1) слов, 2) грамматики, 3) интонации. Для него: «L'intonation semble ignorer l'existence de la grammaire, tandis que celle-ci tient à comter avec l'intonation». Только в пределах фразы он различал слова, которые были для него вовсе не основой основ, как, например, для А. А. Потебни, а всего лишь частицей фразы («слово есть частица, выпавшая из фразы» [Карцевский 2000: 44]) и связующие фразу компоненты. Несомненно, что в последние годы, женевские, Карцевского все больше и больше интересовало именно возникновение фразы как единицы языка у человека, хотя он и продолжал считать себя синхронистом. В начале естественного языка он видел синтаксис, рождающийся из междометий, экспрессивных восклицаний; впоследствии они становились «внешними» союзами, иницирующими высказывание-фразу, а затем интериоризировались, превращаясь во внутренние союзы. Итак, звуковой сегментный строй, фонетику и фонологию, Карцевский считал последним этапом освоения языковой структуры.

Как ни удивительно, в этом приоритетном отношении к высказыванию как основе языкового существования Карцевский сходился с марристами, о которых он никогда не упоминал и которые ему были, вероятно, внутренне чужды. Вся теория сторонников «нового учения о языке» опиралась на синтагматику, центральным пунктом системы эволюции являлся синтаксис. Синтаксис был краеугольным камнем в «новом учении о языке» и отправной точкой для диахронических разработок.

Для самого Марра синтаксис был в начале языковой истории некоей диффузной зоной, в пространстве которой функционировали почти асемантические звуковые комплексы. В этом пространстве было много нерасчлененного и неосознанного в полном параллелизме с мышлением первобытного общества. «Таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н. Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием» [Кацнельсон 1949: 36]. Иначе говоря, центром теории является не слово, а предложение. «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» [Там же: 41]. Как пишет С. Д. Кацнельсон: «Не слова составлялись из готовых звуков, а, напротив, отдельные звуки вырабатывались в ходе развития отдельных языков и их словарного состава» [Там же: 16].

Где-то близким к этому направлению, отталкивающимся концептуально от синтагматики, был и Л. В. Щерба, и, возможно, отмечаемый рядом ученых некоторый эклектизм его металингвистического подхода был логическим здравомыслием. С одной стороны, он писал: «мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека, <...> эта речевая организация человека может быть только физиологической или, лучше сказать, психофизиологической.<...> В результате подобных умозаключений создавались словари и грамматики языков, которые могли бы называться просто «языками», но которые будем называть «языковыми системами»» [Щерба 1974: 25]. Более важным является, на наш взгляд, его следующее утверждение: «Однако при этом прежде всего забывали то, что все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами [! — *Т. Н.*], в непосредственном [выделено Л. В. Щербой. — *Т. Н.*] опыте <...> нам вовсе не даны» [Там же: 26].

Параллельно с этим развивалось все более побеждающее направление, которое господствует и сейчас — оно начинается с фонемы и идет далее «по уровням» и, конечно, гораздо более удобно для метаописания. Однако в его рамках интонации никак не находилось места и найтись не могло принципиально — недаром и Трубецкой, и Якобсон с просодическими явлениями явно не справились и постепенно к ним охладели.

Какова же была этому причина?

Для Трубецкого — в теории — просодические признаки были признаками **звука**. Функций у подобных признаков, по Трубецкому, может быть три: 1) вершинообразующая, или кульминативная, 2) разграничительная, или делимитативная, 3) смысловоразличительная, или диссертивная. Тогда получается, что одно и то же просодическое явление — ударение — в польском языке выполняет одну функцию, в чешском — вторую, а в русском — третью. Выход Н. С. Трубецкой нашел все в той

же секуляризации просодии и в своих «Основах фонологии» выделил особый раздел — «Просодические признаки», где собраны откровенно в кучу и корреляции толчка, и интонация переспроса, и фразовое ударение и фразовые паузы, иначе говоря, единицы одноплановые и двуплановые — то есть то, что уже никак не могло быть привязано к звуку. Трубецкой ввел при этом новую единицу — просодему, соотношение которой с фонемой он никак не объяснял. «Под просодемой мы понимаем минимальную просодическую единицу данного языка, иными словами — слог в слогосчитающих языках и мору в моросчитающих языках» [Трубецкой 1960: 222].

Р. Jakobson практически из всей просодии занимался только ударением, то есть опять же тем, что может быть надписано над словом и стихом, также графически отражаемым. Правда, многие его просодические наблюдения (например, о просодическом принципе расположения грамматических классов слов в поэтической строке), можно сейчас считать просто прозрениями. Но просодические признаки он считал только «привязками» к фонеме, переводящими ее на ось комбинации. Это — «просодические свойства, имеющие отношение только к оси последовательности» [Jakobson 1985].

Причины подобного расхождения обеих метатеорий очень глубоки, и можно надеяться на серьезное их обсуждение. Очевидно только одно, что система, начинающаяся с фонологического уровня, как бы ориентирована на левое полушарие, а система, начинающаяся с высказывания, — на правое.

4. Именно сейчас небезынтересно осознать, что — при стремительном распространении электронной почты — филологи, русские и русисты, легко принимают латинскую оболочку русского языка при переписке, даже не запоминая выбранный тип транслитерации у коммуниканта, поскольку у лингвиста система языка уже валоризована, фонологизована и переведена в абстрактную систему. Для не-лингвиста «писать по-русски» означает, что русский — это еще и обязательно кириллическая упаковка.

Существенным и общим было в обеих обсуждаемых системах то, что валоризованную систему отделили от эмпирической и там, и там. То, что эти две системы сосуществуют, и то, что между ними должна была найтись какая-то «перемычка», почувствовал практически только Э. Бенвенист, писавший прямо в своем знаменитом докладе на Лингвистическом конгрессе 1963 года: «С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (*le discours*)» [Бенвенист 1974: 139].

В самом деле, это два различных мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность; им соответствуют две разные лингвистики, пути которых, однако, все время пересекаются. «С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по иерархическим классам, комбинирующихся в структуры и системы; с другой — проявление языка в живом общении» [Там же].

Итак, в по-уровневой системе интонации места не нашлось, во второй же системе низшие единицы тонули в тумане высказывания-фразы³. Говоря прямо, фонология как начало по-уровневой системы с интонацией в той же системе не сосуществует принципиально. Легко интерпретировать также и глобальную нелюбовь метатеоретических построений к интонологии: хочется усвоить нечто минимальное — и пройти мимо! И это не случайно. Даже в самых современных по методам исследованиях языковой семантики фразовая интонация фигурирует в некотором инвариантном, «лабораторном», виде. И исследователи, конечно, имеют на это право, но тогда нужно принять инвариантность предлагаемой интонационной формы. Много раз, выступая оппонентом на защитах диссертаций, я видела, как быстро преобразуются «подзвездочные», то есть недопустимые для диссертанта фразы, в допустимые при легком изменении контекста или в более маркированном произнесении. И в этих случаях мне обычно говорили: «Ну, это если с такой интонацией...» Однако именно интонация (пока еще не совсем понятно, при помощи какого механизма) позволяет отличить высказывания абсолютно правильные, но — виртуальные, от высказываний, имеющих право на реальность⁴. Не случайна также нелюбовь к фразовой интонации (то есть интонации высказывания) исследователей древних текстов⁵ и... акцентологов (поскольку акцентология в целом парадигматична).

Диахроническое языкознание, как и по-уровневое представление, ориентируется в основном на парадигматику. Второе направление — безусловно, синтагматическое. Безусловно также, что парадигматика как факт метаописания проще, так как минимальные единицы уже известны и определены.

Итак, интонация была отброшена на самостоятельные рельсы. Интересно обратить внимание и на сам факт того, что именно в эту межвоенную эпоху стали существовать регулярно созываемые фонетические конгрессы (первый конгресс состоялся в 1932 году в Амстердаме под руководством Й. ван Гиннекена), в то время, когда для других языковых слоев таких регулярных и секуляризованных конгрессов не существует.

³ Важно понять, что на самом деле в межвоенный период практически существовало понятие фонологии и морфонологии (грамматики). Детальная разработка системы уровней пришла позже. См. об этом в очень важной для проблемы главе Т. В. Булыгиной [Булыгина 1972]; существенно что прилагаемая в этой главе подробная библиография отражает в основном работы, начиная с 60-х годов XX века.

⁴ Например, простая фраза *Саша красивее Маши* с нейтральной, не фокусированной интонацией имеет право на существование только в контексте типа: *Это название нового спектакля* или *Так начиналась эта повесть* и т. д. В речи же здесь будет обязательно акцентное выделение на одном из этих трех слов.

⁵ Так, одна очень серьезная и добросовестная исследовательница древних славянских текстов в Институте славяноведения РАН сказала мне предельно просто: «А я в интонацию вообще не верю!»

Она, суперсегментная фонетика, начала свое автономное, но активное существование по сути в одном и том же направлении — все время раздваиваясь в свою очередь на уровень абстрактности и уровень эмпирического отображения. Сначала интонацией считалась только мелодика с обязательной привязкой к так называемому синтаксическому типу. И перечень мелодических фигур и был описанием интонации. Затем включились в систему другие параметры — темпоральные характеристики, спектральные, акцентные. У каждого из этих параметров выявился свой план содержания и свои проблемы выявления единиц. Различили акцентный фокус и нейтральное «фразовое ударение». (В основном многое было сделано именно в русской традиции, во многих же традициях и до сих пор простодушно считают, что там, где громко, там и рема, а где конец — там логическое ударение, а если громко в начале, то в конце фразовое ударение отсутствует.) Описаны и перечислены фигуры коммуникативного фокуса, функции длительности — даже для иконических показателей, важным оказалось и абсолютное начало фразы, место пиков интенсивности и мелодики, сама скорость изменения интонационного параметра и многое, многое другое. Таким образом, внутреннее пространство интонации становилось и стало **многомерным**. Сколько же именно в нем измерений — пока не определено⁶.

Разумеется, в интонационных данных есть еще много таинственного и неинтерпретированного. Так, непонятно, почему в ведущих европейских языках обязательно подчеркивается лексема, следующая за частицей *даже*, *even*, *sogar* или *только*, *only*, *nur* и под., хотя для передачи смысла сочетания с частицей вполне достаточно? Более того, явно в этих ведущих языках акцентные подчеркивания выполняют одну и ту же функцию и располагаются на тех же позициях (например, *De Gaulle ist gestorben!*, *De Gaulle died!*, *Де Голль умер!* — о неожиданном событии), хотя мелодика этих языков и другие интонационные параметры резко отличаются⁷. Напротив, подобные модели акцентного выделения не только не присутствуют в финноугорских языках, но и в русских примерах (например, финнами) не воспринимаются, хотя именно мелодические фигуры, в частности, русского общего вопроса (ИК-3, в системе Е. А. Брызгуновой) с конечным подъемом-повышением у языков — русского и контактных финноугорских — схожи⁸. Создается впечатление, что эволюция интонационных параметров создает по-разному для каждого из них свои функционально-типологические совпадения и несовпадения.

⁶ Нужно сказать прямо, российская интонологическая школа сделала очень много: достаточно назвать имена Л. В. Щербы, Л. Р. Зиндера, Е. А. Брызгуновой, М. В. Гординой, Р. Ф. Касаткиной, Н. Д. Светозаровой, И. Г. Торсуевой, Л. В. Златоустовой, О.Ф. Кривновой, С. В. Кодзасова и многих других.

⁷ Об этом см.: [Николаева 1989а]. В работе вводится специальный термин для этой категории: «экстраординарное введение события».

⁸ Эти данные см. в работе: [Николаева 1989б].

Многие достижения российской интонологии можно объяснить и самим языком анализа, то есть русским. Его интонационные фигуры отличаются широтой диапазона, временным размахом, яркостью выделения ударных (ни один славянский язык в этом отношении с русским не сопоставим). Функциональная нагрузка порядка слов, отсутствие во многих высказываниях связки, вообще бедность глагольной системы делают интонацию в русской речи одним из основных функциональных средств. Например, именно интонационно выражается нечто, близкое к категории эвиденциальности, в других языках имеющее глагольные корреляции вроде: *Гроза начинается!*; результативность: *Пришел поезд!*; определенность имени: *Поезд пришел*; контрастность: *Пришел поезд*. По мнению многих зарубежных интологов, нейтральные русские интонационные фигуры воспринимаются как эмоционально насыщенные — именно благодаря своему размаху. Русская интонология XX века обращалась не только к системе общего стандарта, но и к диалектным различиям, детальным описаниям всех акустических параметров фразы, интонации разговорной речи в ее отличии от кодифицированного произношения, вариантам театральной выразительности и многому еще другому. Смело можно сказать, что такой развернутой интонологической палитры нет в других школах, более богатых технически и более, быть может, прагматических.

Однако и до сих пор метатеоретически человечество не может выйти за пределы графических пространств в метаотображении, поэтому новые системы (программы) просодического анализа в сущности делали одно и то же: разделяли на графически воспринимаемые подразделы интонационные характеристики, представляемые двумя координатами + время. Существенно также, что для интонации пространство по сути и есть время.

В этом смысле общеобъединяющей находкой стали работы по синтезу речи. Но и самые лучшие образцы синтеза суть воспроизводство речи, но не ее метаотображения. Издавна также объединяющим средством и по сути еще никем не описанной лингвистикой стала лингвистика преподавания языка, которая обычно начинается именно с фонетики и, далее вполне находится место и просодии, включая и фразовую интонацию. По каким именно единицам идет преподавание языка, если взглянуть на это с точки зрения общей теории, я сказать не могу.

Необходимо, однако, отметить, что в самые последние годы в мировой интонологии распространяется новый принцип представления интонации высказывания: через показатели L (low), H (high), * (ударный слог), — (система движения). Эта система, быстро модифицирующаяся (ToBI, ToDi etc), восходящая к нотационной системе [Breckenbridge-Pierrehumbert 1980], снова является очередным поворотом метатеоретического представления интонации к сингулярным знакам, то есть опять-таки к графическому, алфавитному отображению.

Необходимо понять далее, что наше восприятие также ограничено. Л. В. Бондарко пишет о трех теориях отображения звука [Bondarko 2000].

По одной из них пространство восприятия идентично с фонологическим пространством. По другой «the perceptual space does not relate to the phonological system». Третья точка зрения (самой Л. В. Бондарко) — человек различает больше звуков, чем существует число фонем в системе его языка, но его отображение этой способности ограничено фонологической системой.

По поводу интонации можно сказать и еще больше. Так, например, в 70-е годы мне довелось быть на вечере Б. Окуджавы в ЦДЛ. Татьяна и Сергей Никитины пели там дуэт лисы Алисы и кота Базилио о «Стране дураков». «Антиортодоксальный подтекст» был понят залом мгновенно, трижды Никитины пели на бис и зал подхватывал единодушно-мировоззренчески «Какое небо голубое...» На следующий день я пошла в магазин и купила пластинку с песнями из того же кинофильма, но... в исполнении певца Олега Онуфриева. При прослушивании стало ясно, что — ничего из «того» нет!!! Так как? где? и в каких компонентах речевого потока таилась эта всеми одинаково воспринимаемая семантика интонации? Популярное одно время «Старые песни о главном», особенно времен Отечественной войны, теперь кажутся чем-то не тем, что-то потерявшими. Но что же именно? Кое-что можно понять: уменьшилась в исполнении длительность ударных слогов и протяженность слов в целом, усилилась динамическая компонента ударения⁹. Но какими метаединицами мы располагаем, чтобы описать эту утерянную семантику, передававшуюся темпоральной структурой, например, у Марка Бернеса? Трудно описать и особенность интонации даже простого анекдота, например: *Человек обращается к Золотой рыбке и просит: «Рыбка, рыбка, сделай так, чтобы у меня все было». А рыбка отвечает: «Мужик, у тебя все было».* Не *все* и не *было*, а некоторая протяженность монотонного *было*.

Интерес к интонации сейчас растет. Как кажется, он неотделим от вновь возникающего интереса к происхождению языка, его истокам и самым ранним ступеням эволюции (конференции и симпозиумы по темам «Language origins» и «Language evolution» и под.). Неотделим он и от вопроса, на какие же, собственно, единицы членилось высказывание у самых древних наших предков.

Таким образом, ключевой проблемой языкознания являлось и является постепенное преодоление разрыва между восприятием и отображением воспринятого. Так, например, человек

⁹ Несомненно усиление роли динамического компонента (ударности) в нашем эстрадном пении за счет ослабления количественной структуры во многом объясняется влиянием западных языков (английского, немецкого). В этом отношении очень интересным оказалось прослушанное мною 30 ноября 1997 года по радио «Эхо Москвы» интервью с нашим певцом Валерием Барыкиным. Он сказал, что, выезжая за границу, старается переводить старые песни вроде «Катюши» на немецкий язык, поскольку европейцы «без сильных ударений ничего не воспринимают».

широко употребляет неопределенные местоимения и другие конструкции для описания воспринятых ощущений: *Я сразу почувствовал что-то неприятное в атмосфере*, но не обладает способами описания этого точно и адекватно, или это умеют только гениальные писатели. Разрыв же между отображением и метаописанием — это еще один эпистемологический уровень эволюции. Очевидно, идеи того же Карцевского об асимметрии языкового знака (то есть знака вообще) стали забываться слишком рано. Возможно, существуют определенные, не описанные лингвистами, кванты корреляции речи и смысла, не соотносящиеся с известной и традиционной «системой языка».

Закончить хочется некоторой игрой слов. Безусловно, в языкознании назревает новая парадигма (в терминах Т. Куна: [Кун 1975]). Почему-то кажется, что эта парадигма может быть синтагматической.

Литература

Арутюнова 1988 — Н. Д. Арутюнова. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Бенвенист 1974 — Э. Бенвенист. Уровни лингвистического анализа // Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974. С. 129-140.

Бодуэн де Куртенэ 1963 — И. А. Бодуэн де Куртенэ. Влияние языка на мировоззрение и настроение // И. А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 2. М., 1963. С. 331-336.

Булыгина 1972 — Т. В. Булыгина. Уровни языковой структуры // Общее языкознание. Внутренняя структура языка: Сб. статей. М., 1972. С. 92-119.

Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 2. Тбилиси, 1984.

Елизаренкова 1982 — Т. Я. Елизаренкова. Грамматика ведийского языка. М., 1982.

Карцевский 2000 — С. И. Карцевский. О формально-грамматическом направлении // С. И. Карцевский. Из лингвистического наследия. М., 2000. С. 25—45.

Кацнельсон 1949 — С. Д. Кацнельсон. Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949.

Кун 1975 — Т. Кун. Структура научных революций. М., 1975.

Мейе 1938 — А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

Николаева 1989а — Т. М. Николаева. Типология интонации и акцентное выделение // Экспериментально-фонетический анализ речи 2. Л., 1989. С. 113-122.

Николаева 1989б — Т. М. Николаева. Об одном сходстве славянской и финно-угорской фразовой интонации // Славянское и балканское языкознание: Просодия. М., 1989. С. 3-16.

Трубецкой 1960 — Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., 1960.

Фуко 1994 — М. Фуко. Слова и вещи. СПб., 1994.

Щерба 1974 — Л. В. Щерба. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Л. В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность: Сб. статей. Л., 1974. С. 24—39.

Юнг 1997 — К. Г. Юнг. Различие между восточным и западным мышлением // К. Г. Юнг. Сознание и бессознательное: Сб. статей. СПб.; М., 1997. С. 500-522.

Якобсон 1985 — Р. О. Якобсон. Принципы исторической фонологии // Р. О. Якобсон. Избранные работы. М., 1985. С. 116-132.

Bondarko 2000 — L. V. Bondarko. Language contacts: phonetic aspects // Languages in contact. Studies in Slavic and General linguistics. Vol. 28. Amsterdam, 2000. P. 55-65.

Breckenbridge-Pierrehumbert 1980 — J. Breckenbridge-Pierrehumbert. The Phonology and Phonetics of English Intonation: D. of Ph. dissertation. MIT, Cambridge, Mass., 1980.

Wackernagel 1953 — J. Wackernagel. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // J. Wackernagel. Kleine Schriften. Bd. 1. Göttingen, 1953.

Wackernagel 1979 — J. Wackernagel. Zwei Gesetze der indogermanischen Wortstellung // J. Wackernagel. Kleine Schriften. Bd. 3. Göttingen, 1979.

**О ПАРАМЕТРАХ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА:
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС УЧАСТНИКА***

В основе лексической системы языка лежат параметры лексического значения, которые носят глобальный характер, т. е. принимают то или иное значение на любом слове. Для глагола к таким параметрам относятся (см. [Падучева 2000]):

— тематический класс (например, *идти, ехать* — глаголы движения, а *знать, считать* — ментальные);

— аспектуальный класс, или таксономическая категория (*есть* — действие, *голодать* — состояние, *течь* — процесс, и т. д.);

— диатеза (например, глагол *выбрать* имеет две диатезы — прямую, как в *выбрали председателем Петра*, и косвенную, как в *выбрали председателя*; а *предпочесть* — только прямую);

— таксономический класс участника.

Последний параметр принадлежит к числу наименее изученных. Ему и посвящена данная работа.

§ 1. Таксономический класс

Семантика глагола, как правило, накладывает определенные ограничения на тип участника обозначаемой глаголом ситуации. Например, *смеяться, плакать* может — в исходном, неметафорическом употреблении этих глаголов — только человек; *литься* — только жидкость или вязкая масса, и т. д. Поэтому описание семантики глагола обычно включает семантическую характеристику имен, которые могут заполнять его валентности. Прежде всего, это таксономический класс (Т-класс) участника.

Чуть более подробно. Глагольная лексема, при употреблении в предложении, описывает ситуацию с определенным набором конкретных участников

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант 01-06-80419 и Российского гуманитарного научного фонда, грант 99-04-00262а.

(в ситуации *Петя разбил окно* участники *Петя* и *окно*). В толковании глагола каждому участнику ситуации соответствует переменная — как бы собственное имя участника. Кроме того, участник может быть обозначен своей семантической ролью — например, Агенса, Инструмента; и синтаксической позицией — например, Субъект, Объект. При употреблении глагола в предложении участнику (с данной ролью) обычно соответствует синтаксический актанта. Слегка упрощая, можно сказать, что Т-класс участника с данной ролью — это Т-класс имен, которые могут быть его синтаксическим актантами. Например, Т-класс Агенса глагола *решить* — ЧЕЛОВЕК, поскольку возможно *мама решила, Петя решил*, но не **камень решил, *дерево решило*.

Значение глагольной лексемы существенно зависит от таксономического класса участника. Так, *входить в комиссию* = ‘быть членом’, не то же, что *входить в чемодан* = ‘вмещаться’, и различие значений определяется, в частности, таксономическим классом участника, оформляемого предлогом *в*: в одном случае это МНОЖЕСТВО (состоящее из элементов), в другом — ВМЕСТИЛИЩЕ.

Между участниками возможно своего рода согласование по Т-классу; например, допустимо *вся вода вошла в бочку*, но не *вся вода вошла в вагон* (ср. известный анаколуп *сорок бочек арестантов*); осмысленно *Венгрия входит в НАТО*, но не *Венгрия входит в Ученый совет ВИНТИ*. Но постольку, поскольку Т-классы имен используются только для различения значений глаголов, не требуется, чтобы все элементы данного класса (например, ВМЕСТИЛИЩЕ) были допустимы во всех контекстах, апеллирующих к этому классу.

Замена одного класса участника на другой может изменить значение глагола. Так, в контексте *назначить* <больному> *хвойные ванны* <в качестве лечебного средства> глагол *назначить* имеет иное значение, чем в *назначить свиданье* или *консультацию*. Словарь языка Пушкина различает у глагола *грозить* два не собственно агентивных значения: 1) ‘обнаруживать враждебные намерения’ (*Отсель грозить мы будем шведу*) и 2) ‘предстоять как бедствие’ (*И старость в отдаленьи Красавице грозит*). В одном случае субъект — лицо, в другом — событие: наступление старости.

Или возьмем глагол *разбить*. Значения, выделяемые у этого глагола в МАС, различаются, прежде всего, таксономическим классом участника:

разбить 1 = ‘ударив, расколоть, разломать, раздробить’ (о материальных объектах определенной физической природы) [это значение складывается из значения ‘бить’ и приставки *раз-*];

разбить 2 = ‘повредить ударом’ (о части тела), например, *разбить нос*;

разбить 3 = ‘привести в негодность’ (об артефактах с определенным назначением), например, *разбить дорогу*;

разбить 4 = ‘нанести поражение’ (о боевой единице), например, *разбил вражеский флот*;

разбить 5 = ‘опровергнуть’, например, *разбить аргументы*.

При описании семантики глаголов оказались полезными такие таксономические классы как ЧЕЛОВЕК (ЛИЦО), ОДУШЕВЛЕННОЕ СУЩЕСТВО, МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ, ВЕЩЕСТВО, МАССА, СОБЫТИЕ, ДЕЙСТВИЕ и многие другие.

Один из таксономических классов имен — УСТРОЙСТВО, предназначенное для выполнения какой-то функции; так, *звенеть* в *звонит звонок* (*звонок* — устройство) имеет иное значение, чем в *звенят цикады*. И дериваты этих значений тоже разные, ср. *прозвенел звонок*, но **прозвенели цикады*. Разновидность устройств — ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (*поезд, машина, телега* и под.): будучи вполне неодушевленными, они перемещаются подобно людям (разве что не способны пользоваться транспортным средством), ср. *машина ехала, повернула, замедлила ход, остановилась*, и т. д. Кроме того, они подобны людям в том, что как бы сами контролируют время своего прибытия в определенную точку, т. е. в каком-то смысле агентивны. Этим объясняется то, что, скажем, для слова *автобус* маловероятно участие в генитивной конструкции (о роли агентивности в генитивной конструкции см. [Падучева 1997: 217]): *?Автобуса не пришло* почти так же плохо, как *?Пети не пришло*, пример из [Борщев, Парти 2002].

В [Муравенко 1998: 76] рассматривается сочетание глаголов прибытия (таких, как *прийти, приехать, зайти, попасть*, в том числе — переходных: *привезти, отвести*) с обстоятельствами типа *на концерт, на лекцию*; обращено внимание на то, что эти обстоятельства обозначают не место, а мероприятие, которое обычно проводится в определенном месте. Так что МЕРОПРИЯТИЕ — это лингвистически релевантный таксономический класс имен. Он фигурирует не только в семантике глаголов движения, но и в стативах, таких, как *присутствовать, быть*.

Другой интересный таксономический класс — ЧАСТЬ ТЕЛА, см. [Iordanskaja, Raperno 1996; Вежбицкая 1999: 526]. Упоминание о части тела входит в семантику огромного числа глаголов. Это, например, глаголы движения — *дать, взять, принести*; физиологические глаголы, типа *кусать, жевать*; глаголы, обозначающие языковые жесты, — *махать, кланяться, кивать*, и т. д., не говоря о глаголах, у которых часть тела — инкорпорированный участник, как у *моргать, жмуриться*. В [Апресян 1995: 541] идет речь о значениях слова *греть* в сочетаниях *греть руки* и *греть кофе*; можно думать, что особенность сочетания *греть руки* порождена участником ЧАСТЬ ТЕЛА.

Один из малоизученных таксономических классов имен — ПАРАМЕТР (см., однако, [Падучева 1980; Апресян 1987; Семенова 1991]). Именно к этому классу чаще всего принадлежит субъект при глаголе *измениться*: изменяются, в исходном значении слова, параметры, а не конкретные вещи или люди, ср. [Mel'čuk 1992]. Понятно, что значит *изменился адрес, изменился фасон*; а что такое *изменился дом*? Сказав *Как изменилась Татьяна!*. Пушкин тут же должен пояснить, в чем состояло изменение. Тот же таксономический класс — ПАРАМЕТР — фигурирует в контексте многих других

глаголов, таких, как *узнать* (время), *проверить* (состояние чего-либо), *угадать* (ответ).

Если какое-то данное значение глагола требует определенного таксономического класса участников, то неудивительно, что изменение таксономического класса участника может дать изменение значения глагола. Замена класса участника, исходного для данного глагола, на несвойственный является одним из видов семантической деривации¹.

Действительно, во многих случаях изменение значения глагола естественно охарактеризовать именно как изменение таксономического класса участника: изменения в наборе семантических компонентов толкования глагола являются как бы производными от изменения класса. Так, первое значение глагола *плыть* МАС определяет как ‘передвигаться в воде с помощью определенных движений тела (о человеке и животных)’; если же речь идет о корабле, лодке (второе значение), то компонент, характеризующий способ перемещения, отпадает.

Есть связи между таксономией участников и компонентами толкования, которые носят регулярный характер. Например, значения глагола, у которых Пациенс — ЧЕЛОВЕК (или даже шире, ОДУШЕВЛЕННОЕ СУЩЕСТВО), отличаются от значений, где Пациенс МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ, поскольку человек (и животное) могут реагировать на воздействие, например, испытывать болевые ощущения [Кустова 2001], ср. *колотить палкой по забору* и *колотить собаку палкой*.

В применении к определенному объекту некоторое действие может дать эффект, который в других случаях этого последствия не имеет. Например, *высохнуть* для Т-класса РАСТЕНИЕ значит ‘перестать существовать’.

Как правило, «воздействие» идет от Т-класса имени к компонентам толкования глагола. Однако возможно и обратное. Так, глагол *изменить*, в силу примитивности своего значения, практически однозначен и может воздействовать на Т-класс имени. Например, пытаюсь осмыслить сочетание *дом изменился*, мы склонны параметризовать слово *дом* — может возникнуть понимание ‘атмосфера в доме изменилась’ или что-то в этом роде.

Таксономические предпосылки глагола, т. е. требования, которые предъявляет глагол к таксономическому классу своих актантов, смазываются из-за разного рода метонимических переносов, ср.:

(1) а. заработал торговлей компьютерами; б. заработал на компьютерах.

Глагол *заработать* предполагает в качестве источника заработка деятельность; но подчиненное слово может быть соотнесено с деятельностью лишь метонимически, что и имеет место в (1б).

¹ См. о деривации, обусловленной сдвигом Т-класса, у глаголов с участником ЛИЦО в [Розина 2002].

Еще пример. На семантическом уровне 1-м актантом глагола *вызвать* и других предикатов каузации является ситуация [Wierzbicka 1980]. Однако на синтаксическом уровне подлежащим может быть именная группа, обозначающая человека или предмет:

(2) а. **Короткое замыкание** вызвало пожар;

б. **Ваня** опять вызвал всеобщее беспокойство.

Примеры типа (2б) можно трактовать как метонимический сдвиг: предмет метонимически замещает ситуацию с его участием, ср. [Levin, Rapoport 1995].

Важную роль играет Т-класс у глаголов каузированного психического состояния (*огорчить, обрадовать, испугать, расстроить, разгневать, угнетать* и под.). Это мощный класс каузативных глаголов, у которых подлежащее не лицо, а СИТУАЦИЯ, т. е. СОБЫТИЕ, СОСТОЯНИЕ, ПРОЦЕСС (*отъезд, вялость, шум*) или ИНФОРМАЦИЯ о ситуации (*известие, замечание*). Эти глаголы входят в псевдопассивную конструкцию, ср.:

Эта новость меня огорчила. — Я был огорчен этой новостью;

Шум в коридоре меня испугал. — Я был испуган шумом в коридоре.

В настоящей пассивной конструкции в русском языке субъект должен относиться к классу ЛИЦО.

Как и другие параметры глагольного значения (категория, диатеза, тематический класс), таксономический класс участника может различать, с одной стороны, разные значения слова, а с другой — разные слова. Пример пары слов, различающихся таксономическим классом участника, — *лить* и *сыпать*: *лить* отличается от *сыпать* тем, что первый описывает перемещение жидкой массы, а второй — сыпучей. Одно из различий между *раздражать* и *сердить* — в том, что *раздражать* могут самые разные вещи, а *сердит*, прежде всего, человек.

Таксономический класс имени обычно может быть использован как *genus proximum*, родовая категория, в словарном определении его значения (ср. [Кнорина 1988]). Например:

молоток (по МАС) — ‘инструмент в виде ... служащий для ...’;

вино (по СЯП) — ‘алкогольный виноградный НАПИТОК’, и т. д.

В ТКС толкование слова *вина* начинается словами *тот факт, что* — как если бы родовая категория для этого слова была ФАКТ. Значение факта, действительно, может возникнуть у слова *вина*, но только в специальном фактивном контексте, и под влиянием этого контекста — *установить, доказать вину X-а* = ‘установить, доказать тот факт, что вина X-а имеет место’. ФАКТ в качестве родовой категории можно признать разве что у слова *отцовство* [Арутюнова 1976], для которого в МАС в качестве исходного дается употребление именно в фактивном контексте *установить отцовство*.

Принадлежность имени к таксономическому классу часто не predetermined однозначно. Например, одна и та же сущность может быть вместилищем (*залить бензин в бак*) и просто материальным предметом, который изменил функциональное состояние — стал годным к употреблению (*залить бак бензином*). Интересно слово *снег*. Оно принадлежит к разным таксономическим классам в контекстах *идет снег*, *зарыть в снег* и *земля покрыта снегом*.

Однако в каждом данном контексте слово, как правило, выступает в каком-то одном из в принципе имеющихся у него классов. Исключения иногда возможны — для метонимически связанных друг с другом классов (см. [Шмелев 1973]), но в строчках Мандельштама

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок

у слова *звонок* — совмещение (описанное в [Успенский 1996: 323]) классов ЗВУК и УСТРОЙСТВО, которое все-таки невозможно в обыденном языке.

Обращение к таксономическому классу позволяет выразить важные различия в семантике глаголов разных языков, которые в словарях считаются переводными эквивалентами друг друга. Например, для англ. *destroy* основной перевод на русский язык — ‘разрушать’; однако русское слово *разрушать* не употребляется в ситуации, где речь идет об одушевленных существах, а англ. *destroy* уместно в контексте *destroyed the animals infected by foot-and-mouth disease* ‘убивали животных, зараженных ящуром’.

Для семантики каузативного глагола таксономический класс объекта более существен, чем субъекта, см. [Levin, Rapoport 1995]. Таксономические классы субъектов, упоминаемые в толкованиях каузативных глаголов, очень немногочисленны: человек, природные силы, ситуация, инструмент² — не сравнить с той сложной системой таксономических противопоставлений, которые нужны для выявления допустимых объектов.

Изменение таксономического класса участника-Объекта каузативного глагола обычно приводит к изменению тематического класса глагола. Между тем мена таксономического класса Субъекта каузативного глагола чаще приводит к изменению не тематического класса, а таксономической категории. Так, глаголы *стучать*, *разрушать*, *разбудить* в контексте Субъекта-лица обозначают действие, направленное на достижение определенной цели; а если Субъект — природная сила или событие, эти глаголы обозначают процесс/событие:

Человек стучит в окно [действие]; дождь стучит в окно [процесс];

Рабочие разрушают мост [действие]; Река разрушает мост [процесс];

Отец разбудил ребенка [действие]; Шум в коридоре разбудил ребенка [событие].

² В [DeLancey 1984] обращено внимание на один неизученный класс каузаторов БОЛЕЗНЬ.

Таксономические классы образуют иерархию. Например, если класс ВМЕСТИЛИЩЕ трактовать в узком смысле — как то, куда человек помещает нечто с той или иной целью, прежде всего — для хранения (см. [Борщев, Парти 1999]), то ВМЕСТИЛИЩЕ и ПОМЕЩЕНИЕ будут подклассами класса МЕСТО (третьим подклассом будет УЧАСТОК ПРОСТРАНСТВА — куда входят слова *лес*, *море* и т. д.).

Другие примеры иерархии классов. Т-классы СОБЫТИЕ, СОСТОЯНИЕ, ПРОЦЕСС являются подклассами класса СИТУАЦИЯ; Т-классы ВЕЩЕСТВО (как *вода*) и МНОЖЕСТВО (как *люди*) являются подклассами класса МАССА, который полезен для выражения однотипности сочетаний *много воды* и *много людей*; *бассейн заполнен водой* и *перрон заполнен пассажирами*; ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО — подкласс класса УСТРОЙСТВО; УСТРОЙСТВО — подкласс класса МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ.

Особая проблема — соотношение между индивидом и множеством. У глаголов физического действия классы ЧЕЛОВЕК и КОЛЛЕКТИВ, т. е. множество людей (обычно структурированное), часто взаимозаменяемы — в том смысле, что замена одного класса на другой не влияет на лексическое значение глагола (например, возможно в равной мере *Террорист взорвал склад* и *Террористы взорвали склад*). Но для глаголов речи, эмоции или волитивного состояния это не столь очевидно; многие внутренние состояния свойственны индивиду, а не множеству лиц, ср. известное соображение Фреге о сочетании *воля народа*.

Существенным с точки зрения участия в данной ситуации может оказаться не только таксономический класс, но и какие-то специфические признаки объекта. Например, инструментом при глаголе *резать* должен быть предмет, имеющий острый край; объектом при *разрубить* — нечто твердое, не вязкое, см. [Апресян 1974: 63]; то же для *разбить*. В семантическом описании глагола *обещать* в качестве содержания обещания фигурирует не просто действие, а действие, относящееся к будущему. У глагола *выйти* участник Отправная точка, которая характеризуется таксономически как УЧАСТОК ПРОСТРАНСТВА, в [Апресян 1995: 490] специфицируется как замкнутый (участок). В семантике глаголов контакта с поверхностью [Падучева, Розина 1993] важную роль играет признак неподвижный /подвижный /самодвижущийся (self-movable). Так, в (а), где словоформа *камни* может быть понята как обозначающая самодвижущийся объект, *заваливают* имеет два значения — статальное и процессное, а в (б) тот же глагол допускает только статальное понимание:

а. **Камни** заваливают вход в ущелье;

б. **Камень** заваливает вход в ущелье.

Соответственно, спецификация участника должна быть отнесена к механизмам семантической деривации. Предельная спецификация участника — до единственной лексемы. Так, фразеологически связанное значение *выбирать* в контексте *выбирайте выражения* получается спецификацией

участника Критерий; в результате возникает значение: ‘выбирайте более приличные выражения’.

Для семантики глагольной лексемы могут быть существенны и другие семантические характеристики актанта — например, референциальный статус, в частности, определенность имени. Так, в (1) референциальное противопоставление отражает различие в лексическом значении глагола *найти*:

(1) а. *Где бабушка нашла свои очки?* [+ Определенность; презумпция — искала];

б. *Ваня нашел на дороге кошелек* [- Определенность; случайно].

В [Апресян 1974] (см., например, с. 62) проводится строгое разграничение между семантикой и сочетаемостью, и сочетаемость может не считаться частью значения. Последующее развитие лингвистики стало, однако, ориентироваться на предсказание сочетаемости из семантики, и теперь задача ставится по-иному. Возьмем, например, глаголы *начаться* и *наступить*. Они различаются таксономическим классом субъекта (начинаются процессы, а наступают состояния), т. е. сочетаемостью. Но эти глаголы различаются также и толкованием, см. [Падучева 2001]. Например, то, что началось, имеет начальную фазу, а возможно также срединную фазу и конец; а состояние не имеет таких фаз; оно наступает всё целиком. Но в таком случае можно сказать, что и различие в Т-классе субъекта этих глаголов вытекает из их толкований — как и многие другие сочетаемостные различия: например, *наступить* — генитивный глагол, а *начаться* — нет [Падучева 1997].

Лексические функции, которые, согласно [Мельчук 1974], описывают сочетаемость³, при динамическом подходе к семантике (который имеет целью показать, как значение слова изменяется под влиянием контекста; как одно значение слова вытекает из другого и т. д.) могут оказаться одним из значений слова, выветренным под влиянием контекста. Так, значение глагола *произвести* в контексте *произвести впечатление* — явный семантический дериват от *произвести* в контексте *Завод произвел за год 10 тыс. тонн стали*; см. в [Падучева 1991] о том, что значение лексической функции, например, *Орег 1*, зависит от таксономического класса имени, и если *Орег 1 (беспокойство) = испытывать*, а *Орег 1 (давление) = оказывать*, то это объясняется тем, что *беспокойство* — это эмоция, а *давление* — воздействие.

В первых работах Филлмора о семантическом падеже роль участника не была отличена от таксономической характеристики и других составляющих глубинного падежа. Между тем отделение ролевой информации от таксономической дает ряд преимуществ. Так, отличив семантическую роль

³ Имеются в виду, прежде всего, лексические функции типа *Орег*; например, *Орег 1* — это глагол, связывающий имя ситуации с ее 1-м участником [Мельчук 1974: 94].

участника от таксономической характеристики, мы можем исключить различие по одушевленности из числа тех, которые должна отразить роль. В [Dik 1978] предлагается отождествить роли подлежащего в предложениях *The man died* ‘человек умер’ и *The snow melted* ‘снег растаял’, хотя Филлмор считал, что это разные глубинные падежи.

Таксономическая проблема возникает тогда, когда одно и то же действие можно осуществить инструментом и частью тела человека, ср. *ударить кулаком* и *ударить палкой*: обозначает ли синтаксический актант в творительном падеже участников с разными ролями, или же роль одна, и участники различаются только таксономически? Мы считаем предпочтительным второе решение⁴ (ср. аргументы в пользу первого в [Апресян 1974: 129]); оно позволяет иметь единую роль, оставляя возможность различить, например, глаголы *ударить* и *рубить*: у *рубить* участник с ролью Инструмент не может быть, при непереносном употреблении, частью тела Агенса. Так что одна и та же роль может быть у участников с разными Т-классами.

Верно и обратное: один и тот же Т-класс может быть у участников с разной ролью. Например, участник-ЧЕЛОВЕК может быть Агеном, Экспериментом и Пациентом, так что Т-класс ЧЕЛОВЕК заведомо не гарантирует участнику роли Агенса — не только в позиции Объекта (*ударить женщину*), но и Субъекта: в *Петя упал* Субъект не Агенс. Еще пример: МЕСТО (участок пространства, имеющий более или менее четкие границы) может быть Т-классом для участников Точка отправления и Точка прибытия у глагола движения (*взять, приехать*), равно как и для участника Место у глагола местонахождения (*лежать, находиться*).

У существительного таксономия и роль имеют отдельное формальное выражение: одно и то же слово *дом*, оставаясь в одном и том же Т-классе ПОМЕЩЕНИЕ, может выступать в разных ролях, ср. *в доме, в дом, из дома*. У наречия роль может быть однозначно предопределена формой, ср. *там, туда, оттуда*; но наречие не прототипический актант.

Настаивая на различении роли и Т-класса участника, нельзя, конечно, отрицать, что между ролью и Т-классом есть тесные связи. Для каждой роли есть Т-класс объектов, которые являются первыми претендентами на исполнение этой роли. Но множество потенциальных исполнителей гораздо шире. Так, участник с ролью Инструмент — это, прежде всего, топор, молоток, нож и т. д. Но при необходимости в качестве инструмента в ходе какой-то деятельности можно использовать камень (как известно, булыжник — орудие пролетариата), который является природным объектом и не создан для того, чтобы быть орудием чего бы то ни было. Аналогично, Средство — очень часто ВЕЩЕСТВО, как *стиральный порошок, соль, яд*; однако *стрела*, которая не ВЕЩЕСТВО, тоже может, согласно

⁴ Анна Вежбицка явно отождествляет инструмент и часть тела: «... “instrument” (i.e. either a part of X’s body, coming in contact with Y’s body, or something that comes in contact both with X’s and Y’s bodies)» [Wierzbicka 1980: 171].

определению из [Апресян 1974], быть Средством. Участник Лишнее (у глаголов *прополоть*, *тряхнуть*, *выбить*, *очистить*, *стереть*, [Кустова 2001]) часто ВЕЩЕСТВО /МАССА; однако у глагола *вылечить* Лишнее — БОЛЕЗнь.

Мы не располагаем сколько-нибудь полным списком Т-классов имен: их число будет расти по мере расширения объема семантически обработанного словаря глаголов. Можно, однако, продемонстрировать на примере общих критерий, обосновывающий тот или иной Т-класс, т. е. доказывающий его право на существование. Чтобы обосновать Т-класс, например, ВМЕСТИЛИЩЕ, достаточно предъявить по крайней мере два глагола, таких, что у каждого из них есть ощутимо разные значения, и различие сводится к тому, что одно значение требует участника из класса ВМЕСТИЛИЩЕ, а другое — из какого-то другого. Такой парой глаголов в данном случае могут быть *входить* (*в чемодан /в НАТО*) и *быть* (*в зале /в отчаянии*).

Требование о том, чтобы глаголов было „по крайней мере два«, вытекает из определения регулярной многозначности [Апресян 1974: 187]. На самом деле, если есть два глагола, то, скорее всего, найдется и больше.

Из сказанного не следует, что если слово допускает участников разных Т-классов, то оно всегда имеет в контексте этих Т-классов разные значения. Например, у глагола *видеть* Перцепт может относиться к категории МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ (*вижу на горизонте корабль*) и СИТУАЦИЯ (*видел, как он вышел из зала*). Но все словари дают для этих контекстов одно и то же значение *видеть*⁵. Другой пример. Слово *опять* может маркировать повторное наступление события (*опять запил*) и состояния (*опять пьет*); но значение *опять* одно и то же. В конечном итоге тождество значения определяется возможностью построить единое толкование, см. выше пример с глаголом *плыть*.

Толкование позволяет иногда раскрыть природу ограничения сочетаемости. Так, для большой группы глаголов типа *наполнить* (бассейн водой), *усыпать* (могилу цветами), *залить* (бак бензином) существен компонент контакта с внутренней поверхностью и полноты охвата поверхности, см. [Падучева, Розина 1993]. Это идентифицирует для данной группы глаголов участника с таксономическим классом МАССА.

§ 2. Онтологическая метафора и ее значение для семантики лексикона

Из всех органов чувств у него одна интуиция.
А. Генис. «Трикотаж»

В [Мельчук 1974] и [Апресян 1974] таксономии не отводилось сколько-нибудь существенного места. Внимание к таксономии было привлечено в [Wierzbicka 1980] и [Dowty 1979], где была намечена связь между таксономической характеристикой глагола и его форматом толкования.

⁵ Несмотря на то, что *видеть* в контексте как может приобретать, при определенной интонации, контрфактическое значение (— *Я стараюсь*. — *Я вижу, как ты стараешься* = ‘вижу, что НЕ стараешься’), невозможное в контексте имени.

С другой стороны, таксономический бум произвела книга [Lakoff, Johnson 1980], обратившая внимание лингвистов на тот (впрочем известный, но забытый) факт, что категории играют важную роль в метафорических, а также и в метонимических переносах. На этих переносах стоит вся динамика лексической семантики.

В [Lakoff, Johnson 1980] было заявлено, что онтологические категории (например, ОБЪЕКТ и СУБСТАНЦИЯ; СОБЫТИЕ, ПРОЦЕСС, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ), т. е. то, что мы называем таксономическими классами, — это метафоры: концепты соответствующих классов основаны на метафорическом переносе свойств одних объектов на другие.

Характерный пример метафорического концепта — ВМЕСТИЛИЩЕ (CONTAINER). Центр этого класса составляют прототипические вместилища — *дом, чашка, лес*; денотаты этих имен — объекты, которые имеют ограничивающую поверхность (или по крайней мере видимые границы) и, соответственно, внутреннюю и внешнюю область. Но кроме того, к той же категории относятся *вода* и *воздух*; а на периферии находятся чувства и состояния, которые язык тоже мыслит как вместилища (*Он в ярости; Я в тревоге*). При таком расширительном понимании таксономического класса получается, что принадлежность слов к одной и той же категории опирается в существенной степени на сходство сочетаемости — которая, по крайней мере частично, основана на стершихся, и уже семантически не полностью мотивированных метафорах.

Тем не менее, возможность применения метафорических концептов в лексикографии нельзя считать исключенной. В работах [Апресян 1995; Урысон 1995] было привлечено внимание к словам типа *память, ум, сознание, интуиция, воображение, слух, воля*. Словари последовательно указывают для таких слов ближайшую родовую категорию СПОСОБНОСТЬ. Между тем сочетаемость и контекстные изменения смысла скорее роднят их с такими словами, как *рука, желудок*, что дает основание сопоставить им метафорический концепт ОРГАН (в своем исходном конкретном значении — обособленная часть тела, способная производить определенные действия, выдавать адекватные реакции и под.), ср. *органы речи; дыхания; пищеварительные органы* (обоснование концепта ‘орган’ было дано в [Щеглов 1964])⁶.

В самом деле, слово *способность* определяется в словаре как ‘свойство мочь’ (*лишил его способности*); но в соответствующем контексте *способность* может также быть именем факта (*обнаружил, доказал способность*); параметрическим именем (*покупательная способность понизилась*), именем количественно измеряемой субстанции (*способность велика*) и даже

⁶ Ср. в [Иванов 1980] о том, что др.-греч. φρένες употребляется в гомеровских текстах в значениях: а) ‘внутренности’; б) ‘орган, отвечающий за внутреннюю жизнь человека’.

названием органа (*умственные способности напряжены*). Для слова *память* все эти употребления (кроме последнего!) исключены.

С другой стороны, только метафорический концепт ОРГАН оправдывает такие употребления слова *память*, как: *напрягать память; развивать память; память воскресила; изменила, отказала; отшибло память* (как *палец*), *потерял память* (как *потерял почку*). *Память слабеет* — значит, что орган памяти функционирует хуже.

По аналогии с другими именами органов (например, *сердце, легкие*) «орган памяти» представляется как имеющий границы; поэтому он может мыслиться и как ВМЕСТИЛИЩЕ. В этом таксономическом классе слово *память* выступает, в частности, в сочетаниях с глаголами *врезаться в ~, изгладиться из ~и; память сохранила/хранит; храни в ~и; поройся в ~и*.

Можно было бы подумать, что в сочетании *вернулась память* родовая категория для слова *память* — способность: *вернулась способность* — нормальное сочетание. Однако поскольку *вернуться* здесь не имеет своего прямого значения глагола движения, можно считать, что речь идет об органе памяти, который перестал и вновь начал нормально функционировать. В сочетаниях *хорошие глаза, слабые мозги* речь идет об органах, хорошо или плохо выполняющих свою функцию. В сочетании *(не) хватило ума* количественно измеряемая субстанция — это мощность ума, сила его активности (а не способность!). Такой же метонимический перенос — от органа к его мощности — допускают имена «настоящих» органов: *мозгов не хватает; насколько хватает глаз*.

В [Урысон 1995] к числу органов причисляется «метафизический орган» — *душа*.

§ 3. Таксономический класс и семантическая роль:

пример соотношения

Итак, таксономический класс имени — это мощный инструмент в распоряжении динамической семантики. Обратим внимание на таксономический класс ВИДИМЫЙ ОБРАЗ — в него входят такие слова, как *контур, пейзаж, образ, очертания, тень, световой луч, солнечный зайчик, силуэт, профиль, зрелище, панорама* и др.: в толкование существительных этого класса входит Наблюдатель⁷. Этот класс имен заслуживает внимания, в частности, по следующей причине. У глаголов с регулярной многозначностью ‘возникновение в мире’ / ‘появление в поле зрения Наблюдателя’ [Кустова 1999],

⁷ Сходным свойством обладает класс локализаторов, в значении которых присутствует Наблюдатель. Это слова, обозначающие место, которое составляет поле зрения субъекта: *на горизонте, на экране, на картине, в тумане, в облаках, вдали, в лазоревой дали, на фоне*. См. о присутствии Наблюдателя в значении слова *лужайка* в [Урысон 1996].

как у глаголов *появиться, исчезнуть*, в контексте объекта, обозначающего видимый образ, данное семантическое противопоставление лишается смысла; так, для изображения перестать быть видимым — значит перестать существовать.

Другой любопытный таксономический класс образуют слова типа *картина, рисунок, акварель, иллюстрация, портрет, символ, знак, натюрморт, этюд, эскиз, диаграмма, график, эмблема, звездочка, стрелка, квадрат, кружочек, линия, кривая* (ср. [Апресян 1991]): это ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Этим таксономическим классам соответствуют определенные роли в семантике глаголов, причем исполнителями роли могут быть не слова соответствующих Т-классов.

Роль (или, возможно, гиперроль) Образ может быть приписана участникам глаголов из нескольких разных тематических классов.

1. Прежде всего, это, конечно, глаголы восприятия. Различив в актантажной структуре глагола *видеть* участников Стимул и Образ, мы можем выявить связи между исходным значением глагола *видеть* и его производными значениями. В исходном значении глагола *видеть* прямое дополнение выражает сразу и Стимул, и Образ (*вижу Маиу*). В производных значениях, например, когда *видеть* употребляется в значении мнения, Стимул и Образ могут разойтись — для каждого из этих участников есть своя синтаксическая позиция при глаголе:

- (1) всегда *видел* во мне [Стимул] своего соперника [Образ];
- (2) он *увидел* в этом [Стимул] оскорбление [Образ];
- (3) в эту минуту она в нем *видела* [Стимул] мученика, героя [Образ].

Другой глагол восприятия, у которого есть такого рода «близнечная» пара участников, — *узнать* (в ком — кого):

- (4) Он *узнал* в бродяге [Стимул] родного брата [Образ];
- (5) Он меня не *узнал* = ‘не узнал во мне [Стимул] меня [Образ]’.

Отношение между Стимулом и Образом в одних случаях — идентификация, как в (4), в других — предикация; так, *видела в нем героя* = ‘считала, что он герой’.

Интересно, что у глагола *заметить*, в отличие от *увидеть*, нет таких употреблений, где бы эти два участника — Стимул и Образ — различались синтаксически. И семантический источник этого различия между *увидеть* и *заметить* можно указать: компонент «создание зрительного Образа» у *заметить* не в фокусе, не акцентирован [Падучева 2001] — участника зрительный Образ в концепте ситуации ‘заметить’ как бы нет.

Участник Образ играет важную роль в семантике глаголов *показаться, послышаться*, в семантике которых имеется семантический компонент, фиксирующий необязательное совпадение Образа с каким-либо Стимулом: *мне показалось* — значит, я не уверен, что Стимул для его Образа был. А при определенном фразовом акценте (*Тебе показалось*↓) возникает даже

контрфактическая презумпция: ‘образ был создан, но Говорящий знает, что стимула не было’.

2. Участник Образ позволяет установить семантическую близость глагола *видеть* к глаголам создания изображения, таким, как *нарисовать* (см. про *рисовать* в [Fillmore 1977; Апресян 1991]), а также *напечатать*, *сфотографировать*, *подделать*, и др.: Изображение — частная разновидность Образа. В контексте глагола, где участник Образ переходит в Изображение, участник Стимул переходит в Оригинал.

У глаголов создания изображения синтаксический Объект может пониматься как обозначающий либо Изображение, либо Оригинал:

(6) а. *нарисовал Машу* [Оригинал /Изображение];

б. *нарисовал портрет* [Изображение] *Маше* [Оригинал].

Та же неоднозначность в (7) — неясно, какой документ обозначает глагольное дополнение, подделанный или исходный:

(7) *Он подделал документ.*

Образ запечатлен в сознании, а Изображение — на материальных носителях, обычно на поверхностях разного рода; тогда участник Изображение «требуется» участника Место.

Между предметом и его изображением имеется естественная метонимическая связь, так что изображение (и отражение) дальше может становиться Стимулом само по себе, со своим Местом: *видел Николая II на портрете* = ‘изображение Николая II’; *видел себя в зеркале* = ‘свое отражение’. Тогда участник Оригинал уже не выражается при глаголе.

В [Levin 1993: 152] рассматриваются три класса английских глаголов создания Изображения, различные с точки зрения проекции участников Изображение и Место в позицию объекта.

(а) Глаголы типа *inscribe* ‘надписать’: оба участника — Изображение и Место — могут быть выражены в предложении прямым дополнением: *inscribe the dedication / inscribe the book*. Сюда могли бы быть отнесены русские глаголы *надписать*, *подписать*, *вышить*, *выгравировать*, *отметить*, *татуировать*, *проштамповать*, но русский язык, из-за продуктивности приставочного словообразования, обладает меньшим диатетическим потенциалом; ср. однако:

вышил узор на подушке — *вышил подушку*.

(б) Глаголы типа *scribble* ‘нацарапать’ (ср. русские *скопировать*, *подделать*, *сфотографировать*, *затранскрибировать*, *застенографировать*, *запротоколировать*, *сканировать* и др.). Прямое дополнение может обозначать только созданное Изображение:

нацарапать имя на стене — **нацарапать стену*.

(в) Глаголы типа *illustrate* ‘иллюстрировать’ (сюда могли бы быть отнесены русские глаголы *украсить*, *иллюстрировать*, *декорировать*, *датировать*, *монограммировать*).

Объект может обозначать только Место, куда нанесено Изображение: художник иллюстрирует книгу, хотя реально он создает иллюстрации. Участник Изображение иногда тоже может быть выражен, но только периферийным падежом:

ювелир украсил ложку [Место] инициалами [Изображение] владельца.

3. Еще один класс глаголов, где можно выявить участника Образ, — это глаголы мнения. Мнение можно рассматривать как возникший в сознании ментальный образ какого-то фрагмента действительности (о мнении как созданном его носителем образе реальности см. [Щеглов 1964])⁸. Наличие аналогичной пары участников служит обоснованием связи между глаголами восприятия и глаголами мнения — у глагола восприятия в значении мнения, в принципе, тот же набор участников, что у глаголов восприятия, с одной стороны, и что у глаголов мнения — с другой:

(8) мне видится *в этом* [Стимул] *выход* [Образ].

4. Аналогии описанному явлению можно найти и в глаголах других классов. Так, глагол *звучать* допускает, в производных употреблениях, расщепление участника Звук на Означающее и Означаемое (из одного участника получается два, которые расходятся по разным синтаксическим позициям), т. е. нечто близкое к тому, что происходит с *видеть*:

(9) а. *Звучит* голос Марты;

б. В *голосе* Марты [Означающее] *звучит* досада [Означаемое].

Аналогично для *звенеть*:

(10) а. *Звенит* музыка;

б. *Музыка* [Означающее] *звенела* горем [Означаемое].

Близкие соотношения — между Содержанием (мнения) и его Основанием:

вижу *по его выражению лица* [Основание], *что я прав* [Содержание];

догадался *по его смущенной улыбке* [Основание], *что я прав* [Содержание].

Поскольку создание Образа — частный случай создания, возникает связь между участником Образ и участником Результат. То, что Изображение — Результат, это очевидно; но зрительный и ментальный Образы — это тоже результаты (или последствия) чего-то. Так что, быть может, участник Образ позволит в дальнейшем выявить полезные общие свойства всех глаголов, которые сейчас осмысляются как принадлежащие к разным классам.

⁸ В [Борщев, Кнорина 1990: 115] обращено внимание на концепт 'образ', который понимается в более широком смысле, включая, помимо видимого образа, изображение (*бюст* Пушкина), ментальный образ (*теория* поля), проявление (*слезы* радости, *след* тигра) и, возможно, что-то еще.

§ 4. О глаголе звучать

В заключение рассмотрим более подробно один пример зависимости значения от таксономического класса участника: глагол *звучать*.

Ниже приводится перечень значений слова *звучать*⁹. Для каждого значения указана «легенда» — модель семантической деривации, которая связывает его с каким-то другим. Это позволяет представить набор значений слова как систему.

Звучать 1а, *устар.* = ‘лицо К воздействует на <физический предмет> X таким образом, что X издает звук’:

Наш брат, звуча *цепями* <X>, ссыльный / Под ним сидит, обритый, пыльный (Некр.);

Отряды конницы летучей Браздами, *саблями* звуча, / Сшибаясь, рубятся с плеча (П.).

Легенда: *звучать* 1а — исходная лексема парадигмы¹⁰.

Звучать 1б [об источнике звука] ‘X издает звук (Z); Наблюдатель слышит звук’:

(1) Как звонко под его копытом *Земля* <X> промерзлая звучит (П.);

Звучат *ключи, замки, запоры*; звучали, перестукиваясь, *буфера*.

Легенда: *звучать* 1б — дериват *звучать* 1а, как бы декаузативация: каузатор звука, который у *звучать* 1а занимал позицию Субъекта, уходит За кадр.

Участник Z, звук, при этом значении инкорпорированный.

Лексема *звучать* 1б может употребляться в генерализованном значении, т. е. в значении свойства источника звука (то же значение есть у *звенеть* и других глаголов звука):

Рояль в этом зале *не звучит* (т. е. звучит плохо) = ‘звучание рояля плохое’;

Комплект [пластинок] *звучал* очень хорошо, но не могу сказать, что его *звучание* было выдающимся.

Звучать 2а [о звуке /процессе] ‘в момент t имеется звук Z /идет процесс, сопровождаемый издаванием звука Z; Наблюдатель слышит Z’:

⁹ Примеры взяты из словарей, но в основном — из текстов, помещенных в Интернет. Курсивом выделены релевантные свойства контекста.

¹⁰ Выбор исходного значения продиктован структурными соображениями: значение «звукоиспускания» дает для *звучать* самое стандартное соотношение между семантическими ролями участников и их синтаксическими позициями.

Старинные, знакомые *мотивы* <Z> Порой вечернею откуда-то звучат (Плещ.);

Сзади нее звучали *шаги*;

Цоканье подкованных каблучков *звучало* еще громче, чем тиканье часов.

Легенда: *звучать* 2а — дериват *звучать* 1б; категориальный сдвиг в позиции Субъекта: у *звучать* 1б Субъект обозначает источник звука, а у *звучать* 2а — сам звук.

В примере (2) *звучать* 2а, а не 1б, как в примере (1): земля (промерзлая) сама является источником звука, а в (2) таковым является дерево, которое рубят, так что *топор* понимается скорее как метонимическое обозначение звука, а не как прямое обозначение его источника.

(2) *Топор* звучал все глуше и глуше.

В контексте качественного наречия *звучать* 2а понимается как имя способа действия; например, *песня звучала глухо* = ‘звучание песни было глухое’. Это стандартное изменение значения глагола в контексте наречия.

Звучать 2б [о речевом произведении] ‘в момент t произносится текст Z; Наблюдатель слышит и понимает Z’:

Много слов взаимной благодарности звучало на торжественном вечере;

Надо ли говорить, сколько шуток, каламбуров и остроумия звучало во время пленарных заседаний;

Он вдруг стал вспоминать, что звучало по радио в то время.

Легенда: *звучать* 2б — дериват *звучать* 2а; таксономический сдвиг в позиции Субъекта: участник Z у *звучать* 2а — невербализованный звук.

Лексемы *звучать* 2а и 2б охотно сочетаются с обстоятельствами места, времени, длительности, и даже с обстоятельством исходной точки метафорического движения звука (т. е. звук идет откуда-то /где-то /когда-то):

Само *слово* «скандал» <Z> практически не звучало с экрана телевизора.

Слово *речь* входит и в класс ЗВУК /ПРОЦЕСС, и в класс РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, поэтому *звучать* в (3) может быть понято как *звучать* 2а и как *звучать* 2б:

(3) Консул жалеет, что с новосибирского телеэкрана не звучит украинская *речь*.

Звучать 3а [о речевом произведении, знаке] ‘текст /знак R (созданный лицом A)¹¹ для Наблюдателя N выражает Z’:

Его *вопрос* <R> звучал *упреком* <Z>;

Однако русские *имя и фамилия* звучали *заклинанием*;

¹¹ Слова *речевое произведение* и *текст* употребляются как синонимы.

Это *высказывание* в устах Пал Палыча звучало *как похвала*;

Колокола звучали *как напоминание*.

В *звучать* За участник Z раздваивается; возникают: R, означающее, и Z, означаемое.

Звучать Зб ‘в тексте /знаке R (созданном лицом A) (с точки зрения Наблюдателя N) выражается Z’:

В его *вопросе* <R> звучал *упрек* <Z>;

В этих *словах* звучит *недоверие*;

Сколько *сарказма* <Z> звучало в новогодних *поздравлениях* <R>!

Легенда: *звучать* Зб — конверсив от *звучать* За, ср. *В ее словах звучала угроза* и *Ее слова звучали как угроза*.

Звучать 4 ‘быть/казаться’; ‘текст /знак R (созданный лицом A) кажется Наблюдателю N (или является) Z-овым’:

Индивидуализм стал массовым явлением, как бы *парадоксально* <Z> *это* <R> ни звучало;

Звучит солидно, но не очень понятно;

Твое предложение звучит привлекательно = ‘кажется привлекательным’;

Наверно, мой вопрос звучит наивно = ‘является наивным с точки зрения N’;

Его доводы звучали убедительно.

Понимание *звучать* в значении ‘быть/казаться’ возникает в контексте таких наречий, которые выражают отношение Наблюдателя (а точнее, Субъекта сознания, см. [Падучева 1996: 280]) к сути дела — а не к тому, что может в буквальном смысле «звучать», т. е. к означаемому, а не к означателю. При этом значении возможно поверхностное выражение Наблюдателя:

(4) По его мнению, это предложение звучало бы для жителей Запада <N> более привлекательно.

В XIX веке глагол *звучать* еще мог употребляться подобно глаголам звука, таким, как *звенеть*, и иметь категорию процесс-каузация, см. [Падучева 1998]. В современном языке это употребление воспринимается как устаревшее. Сейчас *звучать* — это, прежде всего, своего рода конверсив к *слышать*; т. е. *звучать* 1б, равно как и *звучать* 2а,б ≈ ‘слышаться’. Конверсив «своего рода», потому что у *звучать* Эксперимент, т. е. слышащий, находится в позиции За кадром, как Наблюдатель:

(5) а. Я *слышу* смех, крик, соловья [Эксперимент — Субъект];

б. *Звучит* смех, крик, соловей [Эксперимент — За кадром, Наблюдатель].

Лексема *звучать* 2б все чаще используется для описания речевого действия, т. е. ситуации, в которой есть участник Субъект речи. Тем самым *звучать* покрывает не только зону ‘слышать’, но и ‘говорить’ — произносить слова и в словах выражать, т. е. делать доступным окружающим некий смысл. Весь фокус в том, что у глагола *звучать* нет синтаксической позиции для автора речи. Для восполнения этой недостачи *звучать* эксплуатирует участника Речевое произведение¹². Автор речи, т. е. тот, кто произносит слова и выражает мнение, может быть выражен Генитивом или Посессивом в составе именной группы, обозначающей Речевое произведение:

(6) Это звучало в субботу *в заявлении* <Z> *Юрия Михайловича* <Автор Z-a>;

Другой вариант выражения автора речи представлен примерами (7), (8):

(7) *Похвалы* <Z> в честь любимого издательства *из уст ребяташек* <Автор Z-a> звучали наиболее торжественно;

(8) В *Его устах* <Автор Z-a> *слово «стадо»* <Z> звучало совсем иначе, нежели в наши дни.

В контексте *звучать* 2а, где звуки неречевые, больше возможностей выразить Агенса:

Романсы звучали *в исполнении* солистки областной филармонии;

В большом читальном зале звучали песни на его стихи *в исполнении* лучших певцов;

Во второй части концерта звучали песнопения знаменного распева, *исполненные* тем же хором;

Драматично звучало *у нее* [= ‘в ее исполнении’] «Вниз по Волге-реке».

Особый парадокс — в том, что этим ущемленным и оттесненным на задний план субъектом речи может оказаться даже сам говорящий:

Это звучало и в *моем* выступлении.

Глагол *звучать* оттесняет говорящего, поскольку представляет ситуацию речи с позиции слушающего, — но и слушающий За кадром.

Участник Речевое произведение позволяет «объяснить» лексемы *звучать* 3а и *звучать* 3б, т. е. описать их место в системе значений *звучать*. А именно, эти лексемы выражают отношение между означающим и означаемым знака¹³, в частности — речевого произведения. Так, *звучать* 3а — это конверсив от *выражать*. Конверсив — особого рода, поскольку участник Эксперимент у *выразить*

¹² Участник — инкорпорированный — Речевое произведение (иначе — Текст) в семантике глагола *говорить* был выделен в работах [Зализняк 1991; 2000].

¹³ В [Зализняк 1991] это значение — соответствия между означающим и означаемым знака названо (у глагола *говорить*) семиотическим.

входит в число синтаксических актантов, а у *звучать* он За кадром. Иными словами, у *выразить* есть синтаксическая позиция для Экспериента, а у *звучать* это может быть только Наблюдатель¹⁴:

В своем вопросе <R-Периф> он <А-Сб> выразил нам <N-Дат> упрек <Z-Об> ⇒
Его вопрос <R-Сб> звучал упреком <Z-Периф>.

Лексема *звучать* Зб помещает участника R не в позицию Субъекта, как *звучать* За, а на Периферию, так что *звучать* За — это, приблизительно, ‘выражать’, а *звучать* Зб — ‘выражаться’ (так что сами *звучать* За и Зб оказываются конверсивами)¹⁵:

Он <А-Сб> выразил нам <N-Дат> в своем вопросе <R-Периф> упрек <Z-Об> ⇒
В его вопросе <R-Периф> звучал упрек <Z-Сб>.

Развитие значений, представленное лексемами *звучать* За и *звучать* Зб, полезно сопоставить с соответствующими значениями глагола *видеть*. У *звучать* 1б и *звучать* 2а,б, выражающими слуховое восприятие, и *звучать* За,б, выражающими осмысление звучащего объекта, соотношение друг с другом такое же, как между обычным *видеть* и *видеть* в контекстах типа *он видит во мне конкурента*, для которого в [Апресян 1996] дается следующее толкование:

А *видит* в У-е X = ‘Человек А имеет в сознании образ У-а, наделенный свойством X’.

Диатеза За сближает глагол *звучать* с глаголом *выглядеть*: у обоих глаголов Перцепт выражен Субъектом, а Экспериент За кадром. Не удивительно, что *звучать* 4, у которого значение именно слухового восприятия стерто, практически синонимично *выглядеть*:

Предложение *звучало* / *выглядело* следующим образом.

Значение лексемы *звучать* 2а тоже может выветриваться — до значения пассива от Oper 1; так, *звучали песни* подразумевает, что песни исполнялись, пелись, но реально значит только, что они существовали как звук (поэтому *звучать* — генитивный глагол, см. Падучева 1997):

В этих выступлениях ещё не *звучало* настоящей критики = ‘не было’.

Помимо авторских песен, *звучали* известные песни Александра Розенбаума.

¹⁴ Синтаксические позиции различаются с точностью до коммуникативных рангов: Субъект (Сб), Объект (Об), Датив (Дат), Периферия (Периф), см. [Падучева 1998].

¹⁵ Другой глагол, который тоже ставит в центральную позицию Речевое произведение, — *гласить*.

У каузативного глагола *озвучить* значение развивается примерно так же, как у *звучать*:

*Лужков **озвучил** мысли президента по поводу Чубайса.*

*Антон Носик **озвучил** свои планы по развитию Рамблера.*

*Председатель горизбиркома на заседании комиссии Городской Думы **озвучил** несколько фактов грубейшего нарушения закона.*

Категория у *звучать* 3а, 3б (в отличие от всех предыдущих лексем) — соотношение. Поэтому несовершенный вид у них не имеет актуального значения.

Итак, глагол *звучать* начинает свой семантический путь как глагол каузации звука (*звучать* 1а); потом переходит в семантическое поле восприятия (*звучать* 1б и *звучать* 2а,б — конверсивы к *слышать*); далее вторгается в сферу речи (*звучать* 3а,б) и заканчивает на выветренном значении, когда связь со звучанием утрачивается полностью, так что *звучать* приближается по смыслу к *выглядеть* и просто *быть* (о связи *выглядеть* и *быть* см. [Апресян 2000]).

Необыкновенная изысканность диатезы и таксономических предпосылок глагола *звучать* приводит к тому, что оно очень часто употребляется неправильно. Разберем несколько примеров.

Поскольку, как было сказано, у *звучать* нет синтаксической позиции для Субъекта речи, у него нет и других сочетаемостных возможностей, свойственных глаголу речи. В примерах (9), (10) управление, заимствованное у глаголов *говорить*, *говориться*, не соответствует норме:

(9) Часто в обсуждениях звучало, **что** без Тарасова не может быть качественного поединка;

(10) Есть проблемы и в самом игорном бизнесе, **о чем** звучало в выступлении Иванова.

Подчеркнем, что лексема *звучать* 2б требует в позицию Субъекта речевое произведение — но не смысл. Поэтому аномальны (11)-(13); ведь *сведение*, *заявление*, *вопрос* — это содержание, т. е. означаемое, а не означающее:

(11) Удалось в 10-дневный срок опровергнуть **сведения**, которые звучали в программе "Итоги";

(12) На нем [собрании] были сделаны **заявления**, которые еще не звучали в Москве;

(13) <...> ответить на **вопросы**, которые часто звучали в последние дни.

Наречия, которые по смыслу относятся к произнесению или слуховому восприятию текста или отрезка текста, не всегда можно перенести на *звучать*. Так, сочетания в примерах (14), (15) неправильные — *сокращенно* можно только произносить; *четко* можно говорить, а слышать можно только *отчетливо*:

(14) *Его имя сокращенно звучало как Мор или Мавр (надо — сокращенно произносилось);*

(15) Обращение «товарищ маршал» над площадью *звучало* не менее *четко* (надо — *было слышно* не менее *отчетливо*).

Впрочем, правила «наследования» сочетаемости не вполне предсказуемы:

Человек — это звучит *гордо* ≈ ‘слово *человек* произносится с гордостью’.

Итак, глагол *звучать* обнаруживает ряд уникальных свойств — особенно в контексте, где он фактически обозначает ситуацию речи.

1. В отличие от *говорить*, который выделяет создателя речи, *звучать* выводит на первый план речевое произведение, затушевывая его создателя; глагол *звучать* уместен при описании речевой ситуации в том случае, если надо поставить в центр внимания речевое произведение, а не его автора.

2. Семантика глагола *звучать* оказывается ареной борьбы между субъектом, производящим речь, и тем, кто ее воспринимает. Победитель — Слушатель: на переднем плане слуховое восприятие речи. При этом, однако, участник Слушатель занимает отнюдь не престижную позицию — он За кадром, поскольку синтаксической позиции для Слушателя у *звучать* тоже нет.

3. Глагол *звучать*, употребляясь для обозначения речевого действия, в соответствии со своим исходным значением, акцентирует в нем аспект произнесения — при том, что речь, все-таки, в норме имеет целью выражение содержания. Акцент на произносительном аспекте в ущерб смысловому становится особенно заметным, когда, в результате метонимических замен, в позицию синтаксического Субъекта попадает субъект речи (речевое произведение представлено метонимически своим автором) — субъект речи оказывается в оскорбительной ситуации какого-то неодушевленного звучащего предмета:

Кто разборчивее звучит, того и слышат;

Собеседники звучали теперь как люди, разуверившиеся в прогрессе.

Таким образом, при всей уникальности набора значений глагола *звучать*, эти значения связаны друг с другом семантическими переходами, вполне стандартными для лексической системы языка, и в этом смысле значения глагола *звучать* образуют вполне добротную систему.

Возникает вопрос: каков механизм перехода от значения издавания звука к значению речевого действия. И здесь мы возвращаемся к понятию таксономического класса. Сдвиг таксономического класса Субъекта у *звучать* происходит в два этапа: 1) от класса ИСТОЧНИК ЗВУКА в *звучать* 1б к классу ЗВУК в *звучать* 2а и, далее, 2) от класса ЗВУК в *звучать* 2а к классу РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ в *звучать* 2б.

Итак, мы заключаем, что таксономическая характеристика участника непосредственным образом влияет на значение глагола: идентификация значения глагольной лексемы существенным образом опирается на категоризацию ее актантов¹⁶.

Литература

- Апресян 1974 — Ю. Д. А п р е с я н. Лексическая семантика. М., 1974.
- Апресян 1987 — Ю. Д. А п р е с я н. Синтаксические признаки в модели языка // Вопр. кибернетики. Прикладные аспекты лингвистической теории. М., 1987. С. 47—79.
- Апресян 1991 — Ю. Д. А п р е с я н. Словарная статья глагола РИСОВАТЬ // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991. С. 16—41.
- Апресян 1995 — Ю. Д. А п р е с я н. Избранные труды. Т. 2. М., 1995.
- Апресян 1996 — Ю. Д. А п р е с я н. О толковом словаре управления и сочетаемости русского глагола // Словарь, грамматика, текст: Сб. в честь Н. Ю. Шведовой. М., 1996. С. 13—43.
- Апресян 1997 — Ю. Д. А п р е с я н и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка: Первый вып. / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 1997.
- Апресян 2000 — Ю. Д. А п р е с я н и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй вып. / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000.
- Арутюнова 1976 — Н. Д. А р у т ю н о в а. Предложение и его смысл. М., 1976.
- Борщев, Кнорина 1990 — В. Б. Б о р щ е в, Л. В. К н о р и н а. Типы реалий и их языковое восприятие // Языки логики и логика языка: Сб. статей к 60-летию В. А. Успенского. М., 1990. С. 106—134.
- Борщев, Парти 1999 — В. Б. Б о р щ е в, Б. Х. П а р т и. Семантика генитивной конструкции: разные подходы к формализации // Типология и теория языка: От описания к объяснению: К 60-летию А. Е. Кибрика. М., 1999. С. 159—172.
- Борщев, Парти 2002 — В. Б. Б о р щ е в, Б. Х. П а р т и. О семантике бытийных предложений // Семиотика и информатика. Вып. 37. М., 2002.
- Вежбицкая 1999 — А. В е ж б и ц к а я. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

¹⁶ Автор выражает благодарность В. Б. Борщеву за многочисленные и весьма существенные соображения по поводу первоначального текста, за критику и поправки; а также Р. И. Розиной за комментарии и конструктивные предложения по поводу более поздних версий.

- Зализняк 1991 — Анна А. Зализняк. Словарная статья глагола ГОВОРИТЬ // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991. С. 71—83.
- Зализняк 2000 — Анна А. Зализняк. Глагол *говорить*: три этюда к словесному портрету // Язык о языке. М., 2000. С. 381—402.
- Иванов 1980 — Вяч. Вс. Иванов. Структура гомеровских текстов, описывающих психические состояния // Структура текста. М., 1980. С. 81—117.
- Кнорина 1988 — Л. В. Кнорина. Классификация лексики и словарные дефиниции // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988. С. 60—73; (перепеч. в кн.: Л. В. Кнорина. Грамматика, семантика, стилистика. М., 1996. С. 87—90).
- Кустова 1998 — Г. И. Кустова. Производные значения с экспериенциальной составляющей // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998. С. 19—40.
- Кустова 1999 — Г. И. Кустова. Перцептивные события: участники, наблюдатели, локусы // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999. С. 229—238.
- Кустова 2001 — Г. И. Кустова. Типы производных значений и стратегии семантической деривации // Russian linguistics. 2001. Vol. 25. P. 55—71.
- МАС — Словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1985—1988.
- Мельчук 1974 — И. А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей «смысл ↔ текст». М., 1974.
- Муравенко 1998 — Е. В. Муравенко. О случаях нетривиального соответствия семантических и синтаксических валентностей слова // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998. С. 71—81.
- Падучева 1980 — Е. В. Падучева. Об атрибутивном стяжении подчиненной предикации в русском языке // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 20. М., 1980. С. 3—44.
- Падучева 1991 — Е. В. Падучева. Отпредикатные имена в лексикографическом аспекте // НТИ. Сер. 2. 1991. № 5. С. 21—31.
- Падучева 1996 — Е. В. Падучева. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева 1997 — Е. В. Падучева. Родительный субъекта в отрицательном предложении: синтаксис или семантика? // ВЯ. 1997. № 2. С. 101—116.
- Падучева 1998 — Е. В. Падучева. Парадигма регулярной многозначности глаголов звука // ВЯ. 1998. № 5. С. 3—23.
- Падучева 2000 — Е. В. Падучева. О семантической деривации: слово как парадигма лексем // Русский язык сегодня. М., 2000. С. 395—417.
- Падучева 2001 — Е. В. Падучева. Фазовые глаголы и семантика начинательности // ИЮЛЯ РАН. 2001. № 5. С. 29—39.
- Падучева, Розина 1993 — Е. В. Падучева, Р. И. Розина. Семантический класс глаголов

полного охвата: толкование и лексико-синтаксические свойства // ВЯ. 1993. № 6. С. 5—16.

Розина 2002 — Р. И. Розина. Категориальный сдвиг актантов в семантической деривации // ВЯ. 2002. № 2.

Семенова 1991 — С. Ю. Семенова. Алгоритм извлечения информации о параметрах из текстов рефератов и первичных документов // НТИ. Сер. 2. 1991. № 6. С. 22—32.

СЯП — Словарь языка Пушкина. Т. 1—4. М., 1956—1961.

ТКС — И. А. Мельчук, А. К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.

Урысон 1995 — Е. В. Урысон. Фундаментальные способности человека и «наивная анатомия» // ВЯ. 1995. № 3. С. 3—16.

Урысон 1996 — Е. В. Урысон. Аспектуальные компоненты в значении существительного // Московский лингвистический журнал. Т. 2. М., 1996. С. 380—385.

Успенский 1996 — Б. А. Успенский. Избранные труды. Т. 2. М., 1996.

Шмелев 1973 — Д. Н. Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.

Щеглов 1964 — Ю. К. Щеглов. Две группы слов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. М., 1964. С. 50—66.

DeLancey 1984 — S. De Lancey. Notes on Agentivity and Causation // Studies in Language. 1984. Vol. 8. P. 181—213.

Dik 1978 — S. Dik. Functional Grammar. Amsterdam, 1978.

Dowty 1979 — D. R. Dowty. Word Meaning and Montague Grammar. Dordrecht: Holland, 1979.

Fillmore 1977 — Ch. Fillmore. The Case for Case Reopened // Syntax and Semantics. Vol. 8. N.Y. etc. 1977. P. 59—81; (рус. пер.: Ч. Филлмор. Дело о падеже открывается вновь // Новое в зарубежной лингвистике. 1981. Вып. X. С. 496—530).

Iordanskaja, Paperno 1996 — L. Iordanskaja, S. Paperno. A Russian-English Collocational Dictionary of the Human Body. Columbus, Ohio: Slavica publishers, 1996.

Lakoff, Johnson 1980 — G. Lakoff, M. Johnson. Metaphors We Live by. Chicago; London. Univ. of Chicago press, 1980.

Levin 1993 — B. Levin. English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago, Cicago UP, 1993.

Levin, Rappaport 1995 — B. Levin, Hovav M. Rappaport. Unaccusativity: At the Syntax-Lexical Semantics Interface. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.

Mel'čuk 1992 — Igor Mel'čuk. *Changer et changement* en français contemporain (étude sйmantico-lexicographique) // Bulletin de la sociйtй de linguistique de Paris. T. LXXXVII. 1992. P. 161—223.

Wierzbicka 1980 — A. Wierzbicka. *Lingua Mentalis*. Sydney etc.: Acad. press, 1980.

Мотивационные семантические модели и картина мира

Понятия и термины «мотивация (мотивационный)», «мотивировка», «мотивированность (мотивированный)» широко употребительны в разных областях лингвистики, тем не менее они не удостоились отдельного толкования в [ЛЭС]; в словарях лингвистических терминов они также, как правило, отсутствуют. Исключение составляет словарь О. С. Ахмановой, где мы находим следующее определение: «**Мотивированный**. Такой, в котором данное содержание поддается более или менее непосредственному соотнесению с соответствующим выражением; имеющий открытую семантическую структуру, поддающийся разложению на лексические морфемы» [Ахманова 1966]. Наиболее устоявшимся и общепринятым можно считать употребление этих понятий и терминов в **словообразовании**, где, однако, они получают иную трактовку: мотивированное слово (основа) означает практически то же, что и производное слово (основа), а мотивирующее слово (основа) — то же, что производящее слово (основа)¹.

¹ Ср. «Под мотивированностью слова (в широком смысле этого термина) в языкознании понимается соответствие значения слова его звучанию: в мотивированных словах значение и звучание находятся в отношениях взаимной причинной обусловленности. Частными случаями мотивированности являются звукоподражательная мотивировка слова (ср.: *гул*, *шорох*); семантическая мотивировка, т. е. обусловленность одного из значений слова другим (ср.: *рукав* пальто и *рукав* реки, пожарный *рукав*), при которой, однако, в большинстве случаев мы имеем дело с мотивированностью значений слова, а не слов. Но наиболее распространенным, преобладающим проявлением мотивированности слова является словообразовательная мотивированность, или производность, при которой значение одного слова (мотивированного, производного, вторичного, выводимого) обусловлено значением другого однокоренного слова (мотивирующего, производящего, исходного, базового). Как и всякая мотивированность, словообразовательная мотивированность — всегда явление двустороннее, формально-семантическое. Нельзя рассматривать слово *ворона* как мотивированное словом *вор*, поскольку связь этих слов — только звуковая; но нельзя и рассматривать слово *портной* как мотивированное глаголом *шить*: связь этих слов — только семантическая.» [Лопатин 1977: 6].

Таким образом, в предлагаемых определениях обозначены две существенных стороны понятия мотивированности: одна, характеризующая внутреннюю семантическую структуру отдельного слова (внутреннюю форму слова)², другая — деривационные отношения между двумя словами, производным и производящим³. При этом оба определения так или иначе отсылают к «акту» номинации: первое подразумевает сохранение в слове «следов» производящего слова (в виде «лексической морфемы», соответствующей мотивационному признаку); второе — актуальность семантической связи производного слова с производящим. То, что в понятии мотивации (мотивированности) прорывается «динамизм», деривационные отношения, согласуется с основным

² Определение, сближающее или даже отождествляющее мотивированность с внутренней формой слова, нуждается в конкретизации и уточнении. В действительности, когда речь идет о мотивированности, имеется в виду не «соответствие значения слова его звучанию» вообще, т. е. не полный изоморфизм структуры содержания (семантической структуры слова) и структуры выражения (составляющих слово «лексических морфем»), а всего лишь присутствие в обеих структурах мотивирующего признака (мотива номинации), т. е. соответствующего семантического компонента и выражающей его «лексической морфемы». Остальные семантические компоненты, в том числе и самые главные (родовые, категориальные), могут при этом не иметь собственного лексического выражения, например, в слове *поганка* для значения 'гриб' нет соответствующей «лексической морфемы», а мотивационный признак (*поган*) и предметность (*к*) такие морфемы имеет. С другой стороны, в слове могут быть морфемы, значение которых не имеет отношения к мотиву номинации или даже вообще «не участвует» в его семантической структуре, т. е. оказывается нерелевантным (например, префикс *вы-* в слове *выключатель* в отличие от *под-* в слове *подоконник*). В случае же собственно семантической деривации (метонимии, метафоры и др.) в производном слове вообще оказывается представленным лишь мотивационный признак или «образ» (ср. *бездна* 'о множестве, большом количестве чего-либо'). Таким образом, слово имеет внутреннюю форму, если оно сохраняет в своем морфемном составе и семантической структуре указание на мотивирующий признак и производящее слово. Наконец, необходимо считаться с тем, что внутренняя форма слова со временем утрачивает свою актуальность, а метафора стирается, и «история каждого слова — это история его перехода из разряда «мотивированных» слов-описаний в разряд немотивированных слов-ярлыков» [Исаченко 1958: 340].

³ Отождествление мотивированности с производностью (выводимостью) предполагает динамический аспект репрезентации, в то время как определение словообразовательной мотивированности часто формулируется в терминах отношения, корреляции (т. е. исходит из статического, релятивного способа репрезентации). Ср. в «Русской грамматике» 1982 г.: «Словообразовательная мотивация — это отношение между двумя однокоренными словами, значение одного из которых либо а) определяется через значение другого (*дом* — *домик* 'маленький дом', *победить* — *победитель* 'тот, кто победил', либо б) тождественно значению другого во всех своих компонентах, кроме грамматического значения части речи (*бежать* — *бег*, *белый* — *белизна*, *быстрый* — *быстро*)» [РГ: 133].

общеязыковым значением слов *мотив, мотивация, мотивировка* (ср. в БАС: **Мотив** 1. Основание, причина, повод (к какому-либо действию); **Мотивация**. Совокупность доводов, мотивов в пользу чего-либо; мотивировка).

Для этимологии понятие мотивации (и в формальном, словообразовательном, и в семантическом смысле) является одним из кардинальных и внутренне связанным (как и в словообразовании) с понятием формальной и семантической деривации (производности). Семантическая мотивированность служит важнейшим (иногда главным) критерием при принятии того или иного этимологического решения.

В ономазиологии понятие мотивации обсуждается главным образом в связи с проблемой конвенциональности (произвольности) ~ неконвенциональности (мотивированности) языковых единиц и проблемой внутренней формы слова (то есть предусматривается как деривационная, так и реляционная трактовка); понятие мотивации часто совпадает с понятием способа номинации.

Семантическая мотивация, подобно словообразовательной, определяется как производность, имеющая направление: от мотивирующего слова к мотивируемому [Апресян 1995: 170], однако, в отличие от словообразования, в семантике отношение мотивации не зависит от формального (морфемного, словообразовательного) родства слов. В работах по лексической семантике (прежде всего в трудах Ю. Д. Апресяна и его школы) много раз было показано, что семантические отношения между словами, в том числе отношения мотивации, носят не индивидуальный, а системный характер, т. е. они отличаются повторяемостью, регулярностью и действуют на значительных рядах или даже массивах лексики.

Регулярность мотивационных отношений проявляет себя в существовании мотивационных моделей, охватывающих не единичные пары слов, а целые классы слов — семантические поля. Мощность этих моделей, т. е. объем покрываемой ими лексической «массы», может быть различной. Это могут быть такие обширные поля, как, например, названия деятеля, которые связаны регулярным мотивационным отношением с названиями действия (*писать* — *писатель*, *учить* — *учитель* и т. д.), или менее крупные лексические объединения, как наименования учреждений, которые могут регулярно приобретать значения ‘здание, в котором помещается учреждение’ (*школа*, *суд*, *больница* и т. д.), причем возможна и обратная мотивация (ср. значение слова *Кремль*, *Белый дом* в выражениях: планы *Кремля*, реакция *Белого дома* и т. п.), или еще менее крупные лексические группы, как, допустим, названия мифологических персонажей, мотивированных «локативами» (ср. *домовой*, *домовик*, *полевой*, *банник*, *водяной*, *леший* и т. д.). Это могут быть и «предметные» поля, как, например, названия животных, которые могут с высокой степенью регулярности «мотивировать» названия растений (ср. растения *барашки*, *блошник*, *волчье лыко*, *воробейник*, *воронец*, *вороний глаз*,

дятлина, жабовник, журавельник, заячья капуста, козляк, кошачий горох, кротовик, кукушкины слезки, курячьи очи, львиный зев, лягушечник, медвежье ухо, мышинный горох, петушки, рачки, свинорой, собачник, соколка, ужовник, утичье молоко, чижик, щучка, ястребинка и мн. др.). В первом случае семантическое единство слов в «мотивированном» поле носит категориальный характер и получает формальное выражение по большей части в общей семантике суффиксальной морфемы; во втором — семантическое единство носит предметный характер и формально выражается в общности (принадлежности к одному семантическому полю) корневой (или «ключевой») морфемы; в обоих случаях возможно и полное формальное тождество мотивирующего и мотивированного слова.

Слависты, занимавшиеся изучением отдельных тематических групп лексики в одном языке или в общеславянском масштабе, уже давно обращали внимание на регулярные мотивационные модели, связывающие между собой те или иные лексико-семантические поля⁴. Например, славянская географическая терминология (названия рельефа) обнаружила системные связи (пересечения)

⁴ Здесь необходимо сделать одно существенное пояснение. Современная лексическая семантика пользуется понятием «семантическое поле» строго применительно к одной языковой системе (и одному, условно синхронному срезу). Между тем в лексикологических (и этимологических) исследованиях, так сказать, полисистемного масштаба, имеющих дело, например, с русской диалектной лексикой или лексикой родственных (славянских) языков, с диахроническим изучением лексики, также используется понятие поля (или лексико-семантической группы), т. е. группировка слов по тематическому принципу: так же, как и в лексической семантике, изучается, например, лексика родства, лексика цветообозначений, ботаническая лексика, метеорологическая, предметная, локативная, темпоральная лексика и т. д. Очевидно, что эти два вида полей сходны только в одном отношении — в отношении тематического принципа группировки лексики, они дают примерно одинаковое разбиение лексикона на группы. Однако по второму конституирующему признаку поля, относящемуся к внутренней структуре такого рода тематических объединений слов, они принципиально различны, поскольку семантические отношения внутри одной системы (отношения синонимии, антонимии, родо-видовые и прочие семантические корреляции) имеют совершенно другое содержание, чем в случае «полисистемного» тематического поля (заметим, кстати, что последние еще очень мало изучены). Вместе с тем, если посмотреть на те и другие «поля» с ономазиологической точки зрения как на совокупность номинационных единиц, соотносительных с определенным фрагментом внешнего мира, то сходство их окажется значительно большим, причем набор мотивационных моделей (а следовательно, и культурное содержание) во втором случае (полисистемном) окажется богаче. Еще одним обстоятельством, сближающим (с точки зрения методологии) понятия моно- и полисистемного семантического поля, можно считать общую когнитивную («смысловую» в широком понимании) основу диалектов одного языка или родственных (например, славянских) языков при едином фонде используемых ими языковых знаков (лексических средств), развивающих семантические и номинационные потенциалы общего праязыка.

с анатомической лексикой (*голова, чело, лоб, нос, око, устье, хребет* и др.), с названиями посуды (*кадолб, казан, котел, крина, макотра, лонец* и др.), с терминологией ткаческих орудий (*бердо, било, лядо, гребень, прясло* и др.), с лексикой строительства (*окно, гряда, порог, гора, верх, дол* и т. п.), с обозначениями погоды (*моча*), с названиями скошенной травы (*болото, болотина, берег, гало, лядо, поплав, багна*) и др. [Толстой 1969]. Направление мотивации здесь различно (и притом не всегда очевидно), например, анатомическая лексика (вероятно, и лексика посуды) служит мотивирующей основой для географических названий, а названия скошенной травы сами мотивированы географическими терминами; возможны и «параллельные» номинации с одной мотивацией в разных семантических полях (типа *верх, дол*).

Очевидно, что каждое слово в отношении к мотивации имеет два измерения — внутреннее и внешнее (или левое и правое, пассивное и активное): оно может быть мотивированным, в нем может быть репрезентирована некая мотивационная модель (в том числе и нулевая), и — оно может быть мотивирующим, т. е. само может мотивировать другую (или другие) номинации. Например, слово *черника* «слева» связано мотивационным отношением со словом *черный*, которым оно мотивировано (это верно и в случае, если слово понимать как результат «конденсации» словосочетания *черная ягода*), а «справа» — со словом, скажем, *черничник*, которое, наоборот, мотивировано им. Оба этих показателя (внутренняя форма, мотивированность номинации и, с другой стороны, мотивационная потенция) определяют место слова в семантической системе языка и составляют одну из его парадигматических характеристик. Точно так же каждое семантическое поле (лексико-семантическая группа) характеризуется двумя показателями: присущими ему и воплощенными в его лексике мотивационными моделями (в том числе и нулевыми, т. е. наличием и долей немотивированных слов) и теми мотивационными моделями, в которых составляющие его слова участвуют в качестве мотивирующих по отношению к лексике других семантических полей (или, что то же самое, набором и типом других полей, в которые входят слова, мотивированные словами данного поля)⁵.

Отношения «левой» (внутренней) и «правой» (внешней) мотивации для одного слова, как и для целого поля, не симметричны: одни лексические поля (и отдельные слова того или иного поля)

⁵ Наряду с объединением слов в семантические поля на основе их денотативной общности возможна (и необходима) группировка слов на основе общности их мотивационной модели (мотивационного признака). Такие мотивационные поля (ряды, парадигмы и т. п.) должны объединять разнородные в семантическом и денотативном отношении слова, например, все слова, мотивированные названиями растений (животных, частей тела, цветообозначениями и т. д.). Семантическая структура таких мотивационных полей (их денотативное поле, спектр, парадигма) служит важнейшей характеристикой донорской, мотивирующей лексики, но она существенна также и для экспликации семантических свойств мотивированной лексики. Ср. [Толстая 1989: 227].

имеют развитую систему внутренних мотивационных моделей и менее развитую сеть семантической деривации (таковы, например, имена лиц, регулярно называемых по характерному действию, функции, разного рода признакам и т. п.); другие, содержащие по преимуществу немотивированную лексику или «слабо мотивированную» (т. е. не располагающие набором регулярных моделей номинации), могут, однако, активно развивать собственную семантическую деривацию (т. е. имеют сильную «правую» область, мотивационную потенцию). К последним относится прежде всего «ядерная» лексика основного словарного фонда (глагольная и именная — названия частей тела, терминология родства, базовая лексика природы, названия цвета, пространственных признаков, основных физических действий и т. п.). Разумеется, возможны частные случаи относительной «уровневости» внутренних и внешних показателей: так, названия растений в целом характеризуются достаточно обширным набором «левых» мотивационных связей, т. е. числом воплощенных в них разных номинационных моделей, но в то же время обнаруживают значительную активность в качестве мотивирующих основ в других семантических полях (при этом чаще всего «левая» мотивация характерна для одних лексем поля, а «правая» — для других); в отличие от фитонимов, названия животных обладают развитой «правой» мотивационной потенцией (т. е. они часто выступают в роли мотивирующих слов для самых разнообразных семантических полей) при относительно слабой «левой» (внутренней) мотивированности.

Обратимся теперь к понятию картины мира и посмотрим, какова связь между понятиями мотивации и картины мира.

Нет необходимости говорить о том, как популярны в современной лингвистике направления, связанные с антропологическим, когнитивным, культурологическим подходом к языку, изучающие разные аспекты проблемы соотношения языка и культуры, языка и знаний о мире. Нельзя в то же время не признать, что такие кардинальные для этого типа исследований и широко употребительные понятия, как «картина мира», «языковая картина мира», «наивная картина мира», не имеют общепринятой трактовки и слабо конкретизированы в своем содержании. Не ясно прежде всего, идет ли речь о картине внешнего мира, существующего отдельно от человека и независимо от него, или о картине ментального мира, т. е. представлений человека о мире. Думаю, что язык одновременно говорит о мире и о понимании, категоризации мира человеком, но эти два вида информации в некоторых случаях удастся различать (ср. различие «фиксации», «интерпретации» и «оценки» свойств объекта в акте номинации [Березович, Рут 2000: 36—37]). Нет также ясности в понимании границ того, что непосредственно относится к языковой компетенции (составляет собственно языковую картину мира), а что выходит за пределы языковой компетенции и принадлежит сознанию

вообще или культуре вообще (т. е. также неязыковым формам культуры) и не находит прямого отражения в языке (вероятно, следует говорить о разной степени включенности в язык тех или иных знаний о мире) [Толстая 1998].

Далее (это уже относится к методам изучения картины мира), требует осмысления и оценки соотносительная содержательность и степень адекватности реконструируемой картины мира в зависимости от направления изучения: семантического (семасиологического, т. е. от слова к денотату) или ономасиологического (от денотата к слову). Каждый из двух подходов имеет свои преимущества и ограничения: ономасиологический подход как будто более непосредственно и, может быть, более системно (более крупно) воссоздает «образ мира, в слове явленный», зато семантический подход, изучение сочетаемости и прагматических факторов, влияющих на семантику слова, вскрывают более тонкие механизмы сознания и восприятия мира. Можно было бы сравнить в этом отношении, например, диалектный словарь как продукт семантического анализа, исходящий от слова и предлагающий его толкование, его семантическую парадигму (термин В. Н. Топорова), и — ономасиологические карты диалектного лексического атласа, представляющие лексику как ответ на вопрос о том, как называется та или иная реалья, т. е. определяющие «лексическую парадигму» (лексическое поле) реалии или концепта (в принципе тот же тип информации содержит идеографический словарь)⁶.

Известно, что картина мира находит отражение уже в самом факте именованя того или иного объекта действительности отдельным языковым знаком независимо от способа номинации, от мотивированности знака (вспомним пресловутые виды снега у эскимосов). Многократное использование в номинации одного и того же знака (морфемы, слова) означает, что все реалии внешнего мира, поименованные с помощью такого знака, в сознании носителя языка оказываются семантически связанными, между ними устанавливается некоторое содержательное сходство по тому или иному признаку (свойству, функции). Отношения между членами такого этимологического (словообразовательного) гнезда подчиняются своим закономерностям, сравнимым с семантическими отношениями между отдельными значениями многозначного слова, но более регулярным, благодаря большей категориальности (и формальной закреплённости) словообразовательных моделей

⁶ Интересная попытка конкретизации ономасиологического подхода предпринята недавно екатеринбургскими диалектологами Е. Л. Березович и М. Э. Рут, обосновавшими понятие «ономасиологического портрета реалии» (по аналогии с введенным Ю. Д. Апресяном понятием «лексикографического портрета лексемы»). Создание такого «портрета» предполагает привлечение в качестве «базового материала» 1) «парадигмы исконных обозначений соответствующей реалии» (речь идет о русской диалектной лексике и семантике) и 2) «фактов семантической деривации на базе этих обозначений» [Березович, Рут 2000: 34]. Ср. понятие лексического поля реалии в работе [Толстая 1989: 219].

по сравнению с семантическими (ср. понятие этимолого-семантического поля у В. Г. Гака [Гак 1998: 691—719]). В какой мере значимы здесь мотивационные отношения? Естественно, что семантическая связь слов, связанных отношением непосредственной производности (словообразовательной мотивированности), сильнее (измеряется большим числом общих сем), чем у слов, таким отношением не связанных (например, у слова *земляничный* будет более тесная семантическая связь со словом *земляника*, чем со словом *земля* или *земляной*).

Разумеется, семантическая связь может осознаваться в большей или меньшей степени, она может и вовсе не осознаваться, а поддаваться лишь этимологической реконструкции, однако изначально, на стадии возникновения слова, она должна была быть актуальной. Значит, мотивационные связи, существующие в языке, характеризуют структуру **ментального** мира, то, как человек (язык) категоризирует мир. Сообщает ли это нам что-нибудь о самом мире? Можно сказать, что мотивированное слово через свой «мотивационный признак» (свою внутреннюю форму) способно указать на некоторое реальное свойство денотата, например, слово *черноризец* ‘монах’ указывает на то, что монахи носят (носили, так сказать, в «момент» номинации) одежду черного цвета; номинация *медведь* — что медведи едят мед (до тех пор, пока внутренняя форма сохраняла актуальность), а *осел* в значении ‘упрямый, тупой человек’ — что животное осел отличается упрямством (заметим, что в первых двух случаях на основании внутренней формы мы делаем заключение о свойствах номинируемого объекта, а в третьем — скорее о свойствах «мотивирующего» объекта).

Вместе с тем известно, что признаки денотата, используемые при номинации, не обязательно отражают существенные свойства объекта, они могут быть случайными и даже мнимыми, не соответствующими реальным свойствам (например, *летучая мышь*, *гиппопотам*), о чем свидетельствует уже сама множественность мотиваций в номинации одного и того же объекта, одной и той же реалии внешнего мира в разных диалектах одного языка или разных языках (родственных и не родственных). Разные названия, соответствующие одному денотату, способны раскрывать разные его свойства, но они не исчерпывают этих свойств и не исчерпывают всех релевантных признаков, соответствующих понятию (например, названия одного гриба *подосиновик*, *красноголовик* и *боровик* указывают на три разных признака, недостаточных в совокупности для раскрытия содержания понятия).

Информация о мире, извлекаемая из внутренней формы, по своему содержанию ограничена ответом на вопрос, **какой** мотивационный признак положен в основу номинации (тем самым — какие два объекта сближены в акте номинации). По-видимому, гораздо больше информации о мире (ментальном и реальном) может быть извлечено при обращении к собственно мотивам номинации, т. е. к вопросу о том, **почему** тот или иной признак выбран в качестве основы номинации. Ответ на

этот вопрос и является мотивацией в собственном смысле слова, соответствующем его общезыковому значению⁷.

Содержание такой мотивации (т. е. ответ на вопрос «почему?») может иметь как языковой, так и неязыковой характер. Напомню хрестоматийный пример Бенвениста с французскими глаголами *voler* ‘летать’ и *voler* ‘красть’. Отсутствие ощутимой семантической связи между выражаемыми этими словами идеями в современном языке заставляет считать их омонимами. Между тем, когда Бенвенист обращается от «смыслов» (т. е. языковой семантики) к «вещам» (т. е. внеязыковой действительности), то там, в мире «вещей» он находит недостающую в языке мотивировку (в причинном смысле). Этой мотивировкой для него служит средневековый обычай соколиной охоты, когда охотник выпускал сокола, сокол летел и похищал добычу (птицу). Наличие двух смыслов у одного языкового знака объясняется, по Бенвенисту, совмещенностью соответствующих смыслов в специальном языке соколиной охоты (и в конечном счете совмещением соответствующих реалий, т. е. действий, во внешнем мире) [Бенвенист 1974: 332—333]. Тем не менее подобные «реальные» (внеязыковые) объяснения не всегда обладают доказательной силой и, с другой стороны, не всегда необходимы. Более убедительны в подобных случаях собственно языковые «доводы», а именно наличие примеров (в том же или в другом языке), воплощающих ту же самую мотивационную модель (то же «сочетание смыслов»). Даже в этом, действительно трудно поддающемся семантической реконструкции случае (примере Бенвениста), можно найти, как кажется, чисто языковое подтверждение связи понятий «летать» и «красть»: оно представлено, в частности, в рус. словах *налет*, *налетчик*, мотивация которых (через глагол *налетать*) не требует обращения к средневековым французским обычаям и каким-то сугубо специальным контекстам.

Мотивация в этом прямом значении, т. е. **причина** выбора того или иного основания (признака) номинации и, соответственно, выбора лексической единицы как деривационной базы номинации (или мотивирующей основы в словообразовательном смысле), лежит уже вне компетенции (плоскости) языка, в сфере ментальных представлений и, следовательно, имеет более прямое отношение к тому, что называется картиной мира. Есть, конечно, простые случаи, когда причина выбора признака мотивации (семантическое основание номинации) прозрачна и не требует объяснения. Это особенно характерно для номинаций, использующих признаковые основания: например, *указатель* — ‘то, что указывает’ (одновременно «потому что указывает»), *крикливый* —

⁷ Однако следует признать, что и первый вопрос (какой признак объекта используется в качестве основы номинации) нуждается в более внимательном и глубоком рассмотрении. Пока что нет даже предварительной «типологии» мотивационных признаков, представления об их онтологическом, семиотическом, функциональном, культурном и т. д. содержании, об их иерархии и, главное, об их предпочтительном использовании в том или ином семантическом поле, в том или ином денотативном пространстве. Некоторые подступы к этой теме предлагаются авторами статей в сборнике «Признаковое пространство культуры» (в печати).

‘такой, который кричит’ (= «потому что кричит»), *умник* — ‘тот, кто умный’ (= «потому что умный») и т. д.

Однако в других случаях причина выбора именно данного признака (т. е. собственно мотивация) оказывается не столь очевидной и требует обращения к экстраязыковым сущностям — ментальным образам, мифологическим представлениям, ритуальной сфере или практическому опыту. Например, распространенная у славян номинация бабочки с использованием лексики с основным значением ‘душа’ или ‘мифическое существо, дух (демоническая душа)’ непосредственно связана с народными представлениями о бабочке как воплощении души или как о «знающей» (обладающей сверхзнанием), о демонической природе этого насекомого (ср. такие ее названия, как болг. *вещица*, укр. *відьма*, *босорка*, *стрига*, пол. *czarownica*, рус. жиздр. *ворогуша*, рус. калуж., олон. *душа*, *душечка*, ю.-слав. *мара*, *самовила*, *вампир* и т. п.) [Терновская 1989]. Лексическое поле другого насекомого — божьей коровки — содержит не только мифологически мотивированные наименования типа мак. *невеста*, с.-х. *мара*, *буба мара*, в.-слав. *солнышко*, *кукушка* и т. п. [Терновская 1995], но и названия, прямо «цитирующие» заклинательные приговоры или детские песенки, обращенные к божьей коровке: бел. *петрык*, *андрэйка*, *андрэйка-бажок*, *братка-кандратка* и т. п. [ЖС: 83—85], т. е. в них представлена особого рода мотивировка — фольклорными текстами⁸.

Примеры такого рода, демонстрирующие необходимость обращения к экстралингвистическим данным для реконструкции семантического основания (т. е. собственно мотивации) номинации можно в изобилии почерпнуть из этимологических трудов.

⁸ Понятие текстовой мотивации как одного из регулярных приемов, используемых в языковых номинациях (наряду с сакральной и оценочной), применяется, в частности, И. В. Родионовой при характеристике русских диалектных номинаций, производных от имен библейско-христианских персонажей: «Под текстовым компонентом мы понимаем фрагменты народных представлений о персонажах-носителях имен или локусах — фрагменты, текстовые по природе, т. е. имеющие структуру синтагмы, где один элемент (эксплицированный в номинативной единице) потенциально связан с определенным нарративным рядом: например, представление о копье Егория, репрезентированное в фитониме *егорьево копье*, возводится к истории о битве этого святого со змеем; употребление слова *пилат* по отношению к злому, жестокому человеку мотивировано актуализацией в сознании носителей языка сюжета о пленении, пытках и казни Христа» [Родионова 2000: 7]. При этом текстовая мотивировка, как следует из приведенной цитаты, базируется на содержательной стороне текста и предполагает в качестве мотивирующего признака «мотив» (единицу семантической структуры текста). Между тем в языковой номинации нередко используется и прямая «цитация» некоего прецедентного текста (как в приведенных народных названиях божьей коровки), т. е. элементы «плана выражения» текста, его формальной (вербальной) структуры.

В свою очередь экстралингвистическая мотивированность лексики обеспечивает исследователям возможность «культурной реконструкции», т. е. извлечения культурной информации (представлений о мире и ментальном мире) из семантических мотивировок. Так, реконструкция древнейших мифологических представлений о той же божьей коровке базируется преимущественно на языковых данных, т. е. на анализе семантических мотивационных моделей и конкретных мотивировок в ее лексическом поле [Топоров 1987]; реконструкция славянских представлений о радуге может быть осуществлена на основе анализа лексического спектра ее номинаций [Толстой 1976]. Из новых работ можно назвать опыт реконструкции древних форм подсечного земледелия на основе анализа соответствующей терминологии, принадлежащий Л. В. Куркиной [Куркина 1998].

Если изучение «внутренней» мотивации (мотивационных моделей или моделей номинации) в отдельных группах (семантических полях) русской и славянской лексики получило широкое распространение и стало привычным «жанром» (аспектом) лексикологических и семасиологических исследований, то проблема «внешних» мотивационных моделей, анализ целых семантических полей с точки зрения их мотивационных потенциалов и в теоретическом, и в практическом отношении почти не привлекали внимания исследователей. К числу редких работ, где эта проблема рассматривается, можно отнести две недавние интересные публикации белградского этимолога Марты Белетић. Одна из них посвящена двусторонним мотивационным отношениям между ботанической терминологией и терминологией родства, т. е., с одной стороны, фитонимам, мотивированным лексикой родства (имеются в виду названия растений, производные от слов *баба*, *дед*, *брат*, *сестра*, *мать*, *мачеха* и т. п.), с другой — роли фитонимов как производящей базы для группы терминов родства (здесь главным образом рассматриваются некоторые общие понятия родства, мотивированные «растительными» лексемами типа *корень*, *стебель*, *лоза*, *пень*, *ветвь*, *плод* и др., а также «ритуальные» заместительные имена-обращения «растительного» характера — *цветок*, *роза*, *ягода* и т. п., употребительные у южных славян в ситуации, когда новобрачная попадает в дом мужа и должна, согласно этикету, избегать прямого именованья мужа и его родственников) [Бјелетић 1996]; к теме «растительных» мотивировок в номинации ритуальных лиц можно добавить, например, укр. *береза* ‘парень или девушка, избираемые распорядителем во время вечерниц’ [Гринченко 1907: 51]; в Полесье *береза* также ‘один из свадебных чинов’; ср. еще *ягодка*, *ягодинка* и т. п. как ласковое обращение или именованье в русской фольклорной лирике и т. п.

Другая работа [Бјелетић 1999] посвящена мотивационным потенциалам анатомической лексики в том же семантическом поле родства и представляет собой небольшой словарь «анатомических» номинаций отношений родства; к ним относятся такие общеславянские лексемы, как (привожу их

в русской огласовке) *кость, мясо, плоть, кровь, пуп, сердце, колено, жила, семя, пояс*, которые в семантическом поле родства в разных славянских языках выступают главным образом в качестве своего рода гиперонимов, т. е. обозначают общие понятия «родство», «происхождение», «потомство», «поколение».

Собственно говоря, в этих работах оказываются как бы совмещенными «внутренний» и «внешний» аспект регулярной семантической мотивации, поскольку, с одной стороны, в каждой из них речь идет об одной из «внутренних» мотивационных моделей семантического поля родства (в первой также и поля фитонимов), а с другой — главное внимание уделяется не мотивированным, а мотивирующим словам, их семантике и их месту в системе своего (мотивирующего, «донорского») семантического поля. Автор, основываясь на общеславянском литературном и диалектном материале, не просто констатирует наличие соответствующих мотивационных моделей в славянской лексике родства (т. е. моделей «термин родства — фитоним», «фитоним — термин родства» и «анатомический термин — термин родства»), но и пытается ответить на вопрос, чем объясняются эти способы номинации, какие более глубокие слои смыслов объединяют столь разные идеи (например, в случае соматизмов и терминов родства это концепты рождения, плодородия). В поисках ответа на эти вопросы автор обращается в том числе и к народным биологическим и антропологическим представлениям, лежащим в основе сближения соответствующих семантических полей. Что же касается механизма семантической деривации от названия части тела к термину родства, то он может быть разным в разных конкретных случаях: в одних это может быть метонимия, в других метафора, в третьих может действовать исконный (этимологический) синкретизм значений (как, например, в слове *колено*).

Как уже отмечалось, разные тематические группы лексики (семантические поля) обнаруживают разную мотивационную потенцию и продуктивность (что само по себе заслуживает внимания и требует объяснения). К наиболее продуктивным в этом отношении «донорским» полям принадлежит как раз соматическая лексика, и это вполне согласуется с антропоцентризмом восприятия мира человеком. Части тела (человека и животных) наложили свой отпечаток на множество других лексических сфер, они буквально пронизывают собой весь лексикон, их рефлекс можно обнаружить в самых разных его отделах: в собственно предметном поле (все эти *ручки, ножки, носики, ушки, зубцы, спинки, язычки, кулачки, коленца* и т. д.), в сфере пространственных (локативных, топографических и географических) номинаций (*горло, устье, хребет, подошва, нос, лоб, чело, око, палец* и т. д.), в области пространственной ориентации (*лицом, боком, спиной, головой, в хвосте* и т. д.), в строительной в широком смысле лексике (от *матица, окно* и др. вплоть до таких названий, как *детинец* ‘укрепленное поселение, крепость’ и *место* в значении ‘город’ — как недавно убедительно показал на диалектном материале А. Ф. Журавлев, оба слова восходят к анатомическому

детское место ‘плацента’, устное сообщение). Далее, соматизмы представлены в лексике пищи (*печенка, почки, грудинка, шейка, крылышко* и т. д.), очень широко — в ботанической номенклатуре (*анютины глазки, белоголовник, волконог, воловий язык, волчьи глазки, вороний глаз, драконова кровь, зубник, кошачья лапка, кукушкины слезки, львиный зев, мышьи уши* и т. д.), в терминологии мер (*локоть, пядь* и т. д.); как уже говорилось, в номинации понятий родства; наконец, во множестве «непредметных» полей — в номинации абстрактных понятий, эмоций, чувственного восприятия, социально-юридических отношений, о чем писал В. Г. Гак [1998] и многие другие; соматизмы образуют богатую сеть фразеологии и паремиологии [Krawczyk-Тугра 1987]. Одновременно анатомическая лексика связана глубинными смысловыми отношениями с другими ядерными пластами лексики, такими, в частности, как терминология родства, рождения и сфера воспроизводства. Между анатомическим *матка* и термином родства *мать* связь столь внутренняя, что здесь трудно говорить о семантической деривации, несмотря на наличие формального показателя производности.

Чисто лингвистические исследования мотивационных возможностей и мотивационной продуктивности отдельных лексических групп или семантических полей вплотную смыкаются с теми областями гуманитарной науки, которые в своей реконструкции наивной картины мира выходят за рамки языковой системы, во-первых, в сферу текстов (начиная от паремиологии и включая фольклорные, мифопоэтические, заклинательные и т. п.), а затем и в сферу ритуала, повседневной практики, верований. Прямым «продолжением» (или расширением) лингвистического понятия мотивации оказывается в этом случае понятие **кода**, широко используемое в этнолингвистических и антропологических исследованиях (правда, далеко не в одном значении — см. [Байбурин, Левинтон 1998]).

Как и мотивация, код предполагает «вторичное» использование знаков, уже имеющих закрепленное за ними «первичное» значение, но при этом знаки могут иметь не только языковую природу (звуковую субстанцию), но и внеязыковую — это могут быть вещи, действия, природные объекты и другие реалии жизни или ментальные сущности. Растительный или животный код, отличающиеся высокой «мотивационной» продуктивностью, могут оперировать как названиями растений или животных, придавая им новое, символическое значение, так и самими растениями и животными в том же значении. Например, фитонимом *калина* у восточных славян в некоторых районах обозначались разные предметные символы свадебного обряда: красная лента, символизировавшая девичество невесты, рубаха невесты со следами дефлорации и др.; *калиной* называлась песня, исполнявшаяся на свадьбе; выражение *ломать калину* означает ‘лишить девственности’, а *потерять калину* — ‘утратить девственность’; вместе с тем в самом обряде обязательно фигурировала реальная ветка калины или ягоды калины: их вывешивали на доме, из

которого выдавали замуж девушку, ими украшали каравай, наряд невесты; ветку калины, прикрепленную к бутылке с вином, посылали матери невесты, если ее дочь сохранила целомудрие до свадьбы, и т. д. (подробнее см. [Усачева 1999]).

Еще один пример. В славянской свадебной терминологии широко представлена «птичья (особенно куриная)» лексика — в основном в номинациях, связанных с невестой: головной убор невесты носит название *кокошник* (от *кокошка* ‘курица’), *сорока*; свадебный хлеб у русских называется *курник* (реже *утка*, *гуска*, *голубка* и т. п.); птичьи названия получают украшения свадебного караваея (*птички*, *голубки* и др.) и т. д. В свою очередь сам обряд включает обязательные ритуальные действия с реальной курицей (ее в соответствии со сценарием крадут из дома невесты, ее — живую или зажаренную — посылают матери невесты после первой брачной ночи; жареную курицу разрывает жених во время свадебного пира и т. д.). Присутствие птичьего кода в традиционном свадебном обряде и его терминологии непосредственно связано с птичьей символикой и номинацией мужских и женских детородных органов (таких, как *курица*, *птуха*, *патка*, *галка*; *петух*, *соловей* и т. п.). См. [Успенский 1983—1987; Зайковска 1998; Зайковский 1998; Васева 2001; Площук 2001].

Если нас интересует то, что мы условно называем картиной мира, то очевидно, что языковые и неязыковые знаки в подобных случаях должны трактоваться одинаково, что они принадлежат одному семантическому языку (коду) и провести размежевание между ними на уровне смыслов очень трудно. Взаимозаменяемость языковых и неязыковых знаков в одних и тех же контекстах в рамках родственных этнокультурных традиций делает их субстанциональное различие несущественным и уравнивает их на уровне семантическом. Это не значит, что вообще не существует разграничения компетенций между языком и другими формами культуры, однако, по-видимому, их смыкание и освоение пограничной полосы становится знаменем времени, в особенности, когда речь идет о лингвистике антропологического типа, с одной стороны, и антропологии (или этнолингвистике), обращенной к языку, с другой. Я думаю, что именно это имел в виду В. Н. Топоров, когда он назвал этимологию наукой ближайшего будущего, которая «предполагает выход за пределы семантики как преимущественной сферы поиска» в область, которую он назвал транс-семантикой, пояснив, что транс-семантика «имеет дело с разными «полями», на которых она собирает урожай — с языковыми конструкциями, <...> с «текстовым» контекстом, <...> с «внеязыковыми» и «внетекстовыми» реальными «денотатными» ситуациями <...>» [Топоров 1994: 127—128].

Суммируя сказанное, можно заключить, что производящие, «донорские» свойства слова и других языковых единиц (вплоть до целых семантических классов лексики), или, как они здесь назывались, «внешние» мотивационные модели, не только представляют собой еще одно измерение

системной организации лексики (лексической парадигматики), но и, может быть, теснее других языковых явлений примыкают к сфере неязыковой семантики, что непосредственно выводит их в область культуры (включает в систему культурных кодов).

Литература

Апресян 1995 — Ю. Д. Апресян. Избранные труды: В 2 т. М., 1995. Т. 1. Лексическая семантика: Синонимические средства языка.

Ахманова 1966 — О. С. А х м а н о в а. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

Байбурин, Левинтон 1998 — А. К. Б а й б у р и н, Г. А. Л е в и н т о н. Код(ы) и обряд(ы) // Кодови словенских култура. Београд, 1998. Бр. 3. Свадба. С. 239-257.

БАС — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.; Л., 1950-1965.

Бенвенист 1974 — Э. Бенвенист. Семантические проблемы реконструкции // Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974. С. 331-349.

Березович, Рут 2000 — Е. Л. Б е р е з о в и ч, М. Э. Р у т. Ономазиологический портрет реалии как жанр лингвокультурологического описания // Изв. Уральского гос. ун-та. 17. Гуманитарные науки. Вып. 3. Екатеринбург, 2000. С. 33—38.

Бјелетић 1996 — М. Б ј е л е т и ћ. Од девет брата крв (фитоними и термини сродства) // Кодови словенских култура. Београд, 1996. Бр. 1. Биљке. С. 89-101.

Бјелетић 1999 — М. Б ј е л е т и ћ. Кост кости (делови тела као ознаке сродства) // Кодови словенских култура. Београд, 1999. Бр. 4. Делови тела. С. 48-67.

Васева 2001 — В. В а с е в а. Птичий код в обрядах жизненного цикла у болгар // Живая старина. 2001. № 2. С. 10—12.

Гак 1998 — В. Г. Г а к. Языковые преобразования. М., 1998.

Гринченко 1907 — Б. Д. Г р и н ч е н к о. Словарь украинского языка. Т. 1. Киев, 1907.

ЖС — Жывёльны свет. Тэматычны слоўнік. Мн., 1999.

Зайковска 1998 — Т. З а й к о в с к а. Невеста-птица. 1. Перелет в иной мир // Кодови словенских култура. Београд, 1998. Бр. 3. Свадба. С. 42-58.

Зайковский 1998 — В. З а й к о в с к и й. Невеста-птица. 2. Communio -coitus. Функции птицы как ритуальной пищи в свадебной обрядности восточных и южных славян и греков // Кодови словенских култура. Београд, 1998. Бр. 3. Свадба. С. 59-79.

Исаченко 1958 — А. В. И с а ч е н к о. К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских литературных языков // Slavica. 1958. XXVII. N 3. С. 334-352.

Куркина 1998 — Л. В. К у р к и н а. К реконструкции древних форм земледелия у славян (на материале лексики подсечно-огневого земледелия) // Славянское языкознание: Доклады российской

делегации к XII Международному съезду славистов. М., 1998. С. 381-397.

Лопатин 1997 — В. В. Лопатин. Русская словообразовательная морфемика: Проблемы и принципы описания. М., 1977.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Площук 2001 — Г. И. Площук. Курица в свадебном обряде Псковской области // Живая старина. 2001. № 2. С. 8-10.

РГ — Русская грамматика. М., 1982. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология.

Родионова 2000 — И. В. Родионова. Имена библейско-христианской традиции в русских народных говорах. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.

Терновская 1989 — О. А. Терновская. Бабочка в народной демонологии славян: 'душа-предок' и 'демон' // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. Проблемы культуры. М., 1989. С. 151-160.

Терновская 1995 — О. А. Терновская. Божья коровка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995. С. 221-222.

Толстая 1989 — С. М. Толстая. Терминология обрядов и верований как источник реконструкции древней духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. М., 1989. С. 215-229.

Толстой 1969 — Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология: Семасиологические этюды. М., 1969.

Толстой 1976 — Н. И. Толстой. Из географии славянских слов: 8. 'радуга' // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1974. М., 1976. С. 22-76.

Топоров 1987 — В. Н. Топоров. Божья коровка // Мифы народов мира. 2-е изд. М., 1987. Т. 1. С. 181-182.

Топоров 1994 — В. Н. Топоров. Из индоевропейской этимологии. V(1) // Этимология. 1991—1993. М., 1994. С. 126-154.

Усачева 1999 — В. В. Усачева. Калина // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого Т. 2. М., 1999. С. 446-448.

Успенский 1983—1987 — Б. А. Успенский. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // *Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae*. Budapest, 1983. Vol. 29. P. 33-69; 1987. Vol. 33. P. 37-76.

Krawczyk-Tyrpa 1987 — A. Krawczyk-Tyrpa. *Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała*. Wrocław etc., 1987.

Tołstaja 1998 — S. M. Tołstaja. Stereotyp w «języku kultury» // *Język a kultura. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: Teoria, metodologia, analizy empiryczne*. Wrocław, 1998. S. 99-104.

ИССЛЕДОВАНИЯ

А.Б. Пеньковский*

ЗАГАДКИ ПУШКИНСКОГО ТЕКСТА И СЛОВАРЯ:

О чердаках, врялях и метаязыке литературского дела в пушкинскую эпоху («Евгений Онегин», 4, XVIII—XIX)**

Чердак и враль — два общеизвестных слова общерусского лексикона, соединение которых выражает некое комплексное понятие, совершенно неизвестное современному культурному сознанию¹, но весьма актуальное в культуре пушкинской эпохи и существенно важное в пассаже о «друзьях-врагах» в контексте строф XVIII—XIX главы 4-й «Евгения Онегина»:

«...людей недоброхотство / В нем <Онегине> не щадило ничего: / Враги его, друзья его / (Что, может быть, одно и то же) / Его честили так и сяк. / Врагов имеет в мире всяк, / Но от друзей спаси нас, боже! / Уж эти мне друзья, друзья! / Об них недаром вспомнил я. // А что? Да так. Я усыпляю / Пустые, черные мечты; / Я только *в скобках* замечаю, / Что **нет презренной клеветы, / На чердаке вралем рожденной** / И светской чернью ободренной, / Что нет нелепицы такой, / Ни эпиграммы площадной, / Которой бы ваш друг с улыбкой, / В кругу порядочных людей, / Без всякой злобы и затей, / Не повторил сто крат ошибкой...» (Курсив Пушкина; п/ж мой. — А. П.).

Что стоит за выделенными строками о чердачном вралем и «рожденной» им «презренной клевете»? Комментаторы пушкинского романа — Н. Л. Бродский [Бродский 1950] и Ю. М. Лотман [Лотман 1983] — совершенно единодушно, уверенно и без колебаний связывают их с обстоятельствами, изложенными Пушкиным в его письме Вяземскому 1 сентября 1822 г.: «Извини меня если буду говорить съ тобою про Толстова. Мнение твое мне драгоценно. Ты говоришь что стихи мои никуда не годятся. Знаю, но мое намерение было не заводить остроумную литературную войну, но резкой обидой отплатить за тайныя обиды человека, съ которым разтался я приятелемъ и котораго съ жаром защищаль всякой разъ какъ представлялся тому случай. Ему показалось забавно сделать изъ меня неприятеля и смешить на мой щетъ письмами чердакъ К.<нзя> Шаховскова, я узналь обо всемъ будучи уже сосланъ, и почитая мщение одной изъ первыхъ Христианскихъ

* По просьбе автора, статья публикуется в его редакции (*прим. ред.*).

** Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 01-04-00-132а).

добродетелей — въ безсиліи своего бешенства закидалъ издали Толстова журнальной грязью. Уголовное обвиненіе, по твоимъ словамъ, выходить из пределовъ поэзіи; я не согласенъ. Куда недосягаетъ мечъ законовъ, туда достаетъ бичъ сатиры. Гораціанская сатира, тонкая, легкая и веселая не устоитъ противъ угрюмой злости тяжелаго пасквиля...» [Письма 1926—1935: I, 34].

Сопоставительный анализ этих двух пушкинских текстов и установление связи между их узловыми, опорными элементами приводит комментаторов к выводу, что враль, «автор и распространитель клеветы на своего друга — это Ф. И. Толстой-американец»; презренная клевета — «приводивший Пушкина в бешенство слух, будто он был высечен в тайной канцелярии за свои вольнолюбивые стихи», а чердак — «место встреч петербургской молодежи у князя А. А. Шаховского, упомянутого в I главе романа» [Бродский 1950: 205]. Вполне разделил такое понимание и Ю. М. Лотман, своим высоким авторитетом поддерживая и укрепляя его. Казалось бы, что все объяснено и вопрос закрыт.

И тем не менее есть во всем этом материале то, что вызывает сомнения и толкает к размышлению, заставляя вновь и вновь перечитывать пушкинские строки и вдумываться в каждое их слово, заново соотнося их с жизнью. И в то же время вникать в свидетельские показания о жизни, заново соотнося их с художественным словом.

И первым, кто попытался сделать первый шаг в этом направлении, был, конечно, поразительно чуткий к деталям пушкинского текста В. В. Набоков. Признав справедливым изложенное выше понимание рассматриваемых строк 4-й главы «Онегина», он заметил: «Однако правда и то, что (1) “враль” разродился своей клеветой не на “чердаке”, а передал ее из Москвы завсегдаям “чердака”, и что (2) “чердак” (фр. grenier) есть lieu commun <общее место>, где зарождаются сплетни» [Набоков 1998 : 353—354].

Эти осторожные и несколько туманные возражения Набокова заставляют задуматься над (1) кажущимся очевидным отнесением оценочно-характеризующего имени «враль» в онегинском тексте к личности графа Ф. И. Толстого-«Американца» и (2) кажущимся столь же очевидным, спокойным и уверенным пониманием «чердака» в этом тексте как указания на «Чердак князя А. А. Шаховского».

* * *

Начнем с *чердака*, но будем исходить при этом не из фр. grenier, к которому отсылает Набоков (хотя принимать его во внимание, учитывая русско-французское двуязычие этого времени, конечно, необходимо), а из русского *чердак* в его истории за последние два века.

В семантической структуре этого слова в современном языке толковые словари фиксируют прямое номинационное значение ‘Помещение между потолком и крышей / кровлей <дома>’,

предлагая в качестве первой иллюстрации пушкинское «Баба, развешивая белье *на чердаке*, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами» (История села Горюхина), и его метонимически сдвинутый смысловой вариант (оттенок) ‘Жилое помещение под самой крышей / кровлей <дома>’ [БАС 1965: 17, 855; МАС 1988: IV, 662; НСРЯ 2000: II, 977]. МАС иллюстрирует это значение такими безусловно убедительными примерами, как «[Ордынов], подымаясь на лестницу, вошел наконец на чердак в свою комнату» (Достоевский. Хозяйка) и «В верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя, а бабушка поселилась со мною на чердаке...» (М. Горький). БАС же, приводя ту же цитату из Достоевского, прежде всего вновь обращается все-таки к Пушкину: «Лачужка под землей, высоки чердаки — Вот пышны их [писателей] дворцы» [БАС 1965: 17, 855—856].

«Словарь языка Пушкина» [СП 1961: IV, 895] рисует на первый взгляд сходную картину, но — и это очень важно:

1) то, что словари современного языка квалифицируют как вариант (или оттенок) значения, выделяет в самостоятельное значение под цифрой 2;

2) добавляет к его определению («Жилое помещение под кровлей дома») в высшей степени существенное замечание: «(часто о жилище бедного поэта, писателя)».

Это «*часто*» получает в словаре точную количественную характеристику: из 12 (двенадцати) такого рода словоупотреблений (при всего лишь двух случаях употребления слова *чердак* в качестве прямой номинации²) — 10 (десять). Однако если исключить из общего счета метафорический «чердак Панка» (как название одного из разделов альманаха под названием «Тройчатка, или Альманах в три этажа», который предполагали издавать В. Ф. Одоевский и Н. В. Гоголь — Пушкин упоминает о нем в письме В. Ф. Одоевскому 30 октября 1833 г.); если учесть, что в остающихся двух случаях, когда это слово используется для обозначения жилища не «бедного», а богатого поэта и писателя (а примеров, где бы оно относилось к жилищу не-поэта и не-писателя, у Пушкина вообще нет!), оно употребляется не самостоятельно, а в составе целостного именованья «*чердак князя Шаховского*», которое представляет некое особое явление, нуждающееся в специальном анализе (о чем позже), — то вместо «*часто*» должно быть поставлено «*только*»: «Жилое помещение под кровлей дома (только о жилище бедного поэта и писателя)».

И если принять во внимание приводимые словарем шифры его контекстов, то нужно будет прибавить еще два «только»: только в поэтической речи и (кроме онегинского примера!) только в начальный период творчества Пушкина 1813—1817 гг.!

Если же учесть содержательные и лексико-стилистические особенности этих поэтических

контекстов, то придется ввести еще одно ограничительное «только»: только в унаследованном от классической эпохи конца XVIII в. стиле высокой сатиры или в легком бурлескном или шутивно-ироническом подстиле поэтической речи, и — в частности — в его эпиграмматическом варианте. Но именно таков контекст этого «чердака» в XIX строфе «Евгения Онегина»: это своего рода стиливая цитата из текстов начального периода творчества Пушкина 1813—1817 гг.

Вчитаемся в иллюстративный материал «Словаря языка Пушкина»:

1. Не так, любезный друг, писатели богаты, / Судьбой им не даны ни мраморны палаты, / Ни чистым золотом набиты сундуки: / Лачужка под землей, **высоки чердаки** — / Вот пышны их дворцы, великолепны залы... (К другу-стихотворцу, 1814);

2. Под сенью лени неизвестной / Так нежился певец прелестный, / Когда Вер-Вера воспевал / Или с улыбкой рисовал / В непринужденном упоенье / **Уединенный свой чердак...** (Моему Аристарху, 1815);

3. Ты богат, я очень беден; / Ты прозаик, я поэт; / Ты румян, как маков цвет, / Я как смерть, и тощ и бледен. / Не имея в век забот, / Ты живешь в огромном доме; / Я ж среди горя и хлопот / Провожу дни на соломе. / Ешь ты сладко всякий день, / Тянешь вина на свободе, / И тебе нередко лень / Нужный долг отдать природе; / Я же с черствого куска, / От воды сырой и пресной / Сажень за сто **с чердака** / За нуждой бегу известной... (Ты и я, 1817<?>).

Разумеется, можно, как это и предлагает [БАС] в отношении первого из приведенных примеров (см. выше), видеть во всех трех случаях общерусское (ныне уже устаревшее и, поскольку его не указывает Словарь Ожегова [Ож. 1975], повидимому, даже ставшее историческим) метонимически сдвинутое значение «жилое помещение под кровлей дома», но уточненное мной выше указание авторов «Словаря языка Пушкина» о специализированной принадлежности такого жилого помещения бедному поэту или писателю заставляет посмотреть на это иначе.

Понятно, что реальной основой обсуждаемого значения является то обстоятельство, что чердак как техническое помещение между потолком и крышей дома не приспособлен для жизни и, следовательно, сдавался под жилье за самую низкую плату и снимался либо теми, кто не имел средств для найма обычной, даже самой дешевой городской (именно городской!) квартиры³, либо теми, кто, разорившись, был вынужден переселиться ближе к небу. В том числе, конечно, и бедными и/или обедневшими⁴ поэтами и писателями. Но ведь не только и не прежде всего людьми этого «задорного цеха» (1, XLIII, 12)!

Между тем все пушкинские «чердаки» принадлежат только и исключительно бедным поэтам. В том числе и его собственному лирическому герою, или, говоря точнее, — маске лирического героя, как в третьей из приведенных иллюстраций — в стихотворении «Ты и я» (датируемом предположительно 1817—1820 г. и направленном, как уверенно утверждают

комментаторы, «против Александра I» [Пушкин 1956: I, 410, 514]). «Я» этого текста именно маска, ибо сам Пушкин, хотя он, бывало, по собственным его словам, «le fait est que je crevais de misère» <погибал от нищеты> (черновое письмо И. Н. Инзову около 8 марта 1824 г. [Пушкин 1937/1996: 13, 90 <текст>, 528 <перевод>), никогда не жил на чердаке, не спал на соломе и не питался черствым хлебом, запивая его сырой водой. И так же, как «солома» здесь — это условное поэтическое имя убогой постели⁵, как «черствый кусок» и «сырая и пресная вода» — условные поэтические имена голодного и трезвого рациона⁶, так и «чердак» — в прямом противопоставлении «богатому дому» — условное поэтическое имя убогого жилища бедного поэта. В первом примере (из послания «К другу-стихотворцу» 1814 г.) «высоки чердаки» приравниваются к столь же условной и совершенно уже не связанной ни с какой реальностью «лачужке под землей»⁷, еще одной яркой метафоре убогого жилища бедного поэта⁸. Поэтому фраза этого же текста о Кострове, который «на чердаке безмолвно умирает», вовсе не должна обязательно пониматься буквально и скорее всего говорит просто о горестной одинокой смерти в нищете.

Сходные выводы позволяет сделать анализ и второго примера из послания «Моему Аристарху» 1815 г. Пушкин отсылает здесь к стихотворному посланию Грессе (1709—1777) «La Chartreuse» <«Обитель»>, где описывается не монастырская жизнь автора, как принято думать, исходя из буквального понимания названия этого текста (см. комментарий Б. В. Томашевского в [Пушкин 1956: I, 485]), а, как установил А. Д. Добрицын (его работу мне указал И. А. Пильщиков), жизнь автора в парижской мансарде, «возвышающейся над крышей пятого (по русскому счету — шестого) этажа» [Добрицын 2001: 277]. И поскольку мансарда (франц. mansarde) — это помещение, предназначенное для жилья, в отличие от чердака (ср. указанное Набоковым франц. grenier) — помещения, лишь приспособляемого под жильё, «чердак» в пушкинской реминисценции Грессе оказывается для русского читателя все тем же условным поэтическим именем убогого жилища бедного поэта. Это значение подчеркивается и усиливается контрастно высоким эпитетом «уединенный»⁹.

Все остальные «чердачные» контексты Пушкина лишь подтверждают и углубляют сказанное. При этом образ «бедного чердачного поэта» отчетливо обнаруживает двойственный характер своей природы.

С одной стороны, оказывается, что именно несчастная страсть к стихотворству, которое как таковое не обеспечивает заработка, достаточного для достойного образа жизни, и обрекает стихотворцев на «чердачное» житье. Такова их «природа» и «судьба»: «Ах, отчего мне дивная природа / Корреджио искусства не дала? / Тогда б в число парнасского народа / Лихая страсть меня не занесла. / Чернилами я не марал бы пальцы, / Не засорял бумагою чердак...» (Монах, 3, 1813). И о том же — уже цитированное выше: «Не так, любезный друг, писатели богаты, / Судьбой им не даны ни мраморны палаты, / Ни чистым золотом набиты сундуки: / Лачужка под

землей, высоки чердаки — / Вот пышны их дворцы, великолепны залы...» (К другу-стихотворцу, 1814). Уверен в том, что поэты живут на чердаке, и говорит об этом как о чем-то само собой разумеющемся и Весельчак в «Отрывке из Гете» в переложении Грибоедова: «Скорей фантазию, глас скорби безотрадной, / Движенье, пыл страстей, весь хор ее нарядный / *К себе зовите на чердак. / Дурачеству откройте дверцу, / Не настезь, вполовину, так, / Чтоб всякому пришло по сердцу*» (1824). Ср. еще: «Уж ночь на Петербург спустила свой покров; / *Уже на чердаках у многих из творцов / Погасла свечка и курилась, / И их объятая восторгом голова / На рифмы и слова / Сама собой скатилась...*» (И. И. Дмитриев. Картина, 1790). Или у Батюшкова: «Вчера, Бобровым утомленный, / Я спал и видел чудный сон! / Как будто светлый Аполлон, / За что, не знаю, прогневленный, / Поэтам нашим смерть изрек; / Изрек — и все упали мертвы, / Невинны Аполлона жертвы! / *Иной из них окончил век, / Сидя на чердаке высоком / В издранном шлафроке широко, / Голоден, наг и утомлен / Упрямой рифмой к светлу небу...*» (Видение на берегах Леты, 1809. — Разрядка автора; курсив мой. — А. П.).

Как с горечью писал Пушкин в «Отрывке» (1830), иронизируя над расхожим представлением о «великих преимуществах, коими пользуются стихотворцы» и имея в виду их право на т.<ак> наз.<ываемые> стих.<отворческие> вольности, «эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Не говорю об их обыкновенном гражданском ничтожестве и бедности, вошедшей в пословицу, о зависти и клевете братья, коих они делаются жертвами, если они в славе, о презрении и насмешках, со всех сторон падающих на них, если произведения их не нравятся, — но что, кажется, может сравниться с несчастием для них неизбежимым; разумею суждения глупцов?» [Пушкин 1940/1995 8(1): 409]).

Поэтому «жить поэтом» — значит жить в нищете. Как писал из Новгорода В. Л. Пушкин, потерявший все свое состояние в сгоревшей Москве, «Теперь пред целым светом / Могу и я сказать, / *Что я живу поэтом: / Рублевая кровать, / Два стула, стол дубовый, / Чернильница, перо — / Вот все мое добро!*» (К Д. В. Дашкову, 1813). Отсюда, как в приведенном ранее пушкинском «Ты и я», обычное в литературе этой эпохи противопоставление самодовольного богача и бедного поэта, маску которого автор, как мы видели, надевает на себя или которому он по крайней мере всей душой сочувствует. Ср., например, у того же В. Л. Пушкина: «Послушай, — говорил *богач*: — / Я знаю, ты учен, философ и *рифмач*: / <...> / *Я барином живу, а ты на чердаке...*» (Преимущество дарований, 1817). Ср. также сатиру Рылеева «Путь к счастью. Разговор поэта с богачом — старинным его знакомцем» (1821).

Другая ипостась «чердачного поэта» («*Поэт! Нет-нет! Рифмач!..*») — П. А. Вяземский, Гусь и змея, 1815), — ипостась, типичная для текстов дружеских посланий в классическом стиле и для эпиграмматических, пародийных и сатирических текстов: это жалкий «стихоплет», который не

только беден, но еще и абсолютно бездарен. Ср. в сатирической «Тени Фонвизина»: «Эрмий с веселым мертвецом / *Взлетели на чердак высокий;* / Там Кропов <за которым стоит реальный А. Ф. Кропотов, бездарный писака, издатель журнала «Демокрит» [Пушкин 1956: I, 485<комментарий>]> в тишине глубокой / С бумагой, склянкой и пером / Сидел в раздумье за столом / На стуле ветхом и треногом / И площадным, раздутым слогом / На наши смертные грехи / Ковал и прозу и стихи / <...> / Стихи его читать хоть тяжело, / А проза, ох! горька для всех; / Но что ж? смеяться над бедняжкой, / Ей-богу, братец, страшный грех; / *Не лучше ли чердак оставить* / И далее полет направить / К певцам российским записным?... / <...> / Меж тем, поклон отдав Хвостову, / Творец, списавший Простакову, / *Три ночи в мрачных чердаках / В больших и малых городах / Пугал российских стиходеев...*» (1815). Таковы же совершенно условные чердаки бедных поэтов, слагающих оды во славу Свистова, в высмеивающих Д. И. Хвостова строках «Городка»: «О ты, высот Парнаса / Боярин небольшой, / Но пылкого Пегаса / Наездник удалой! / Намаранные оды, / *Убранство чердаков,* / Гласят из рода в роды: / Велик, велик Свистов!» (1815).

В обоих этих случаях Пушкин лишь следует традиции, сложившейся еще в середине-конце XVIII века. Ср., например, у И. И. Дмитриева: «...только объявлю — и, право, не солгу — / Как думал о стихах один стихотворитель, / Которого трудов «Меркурий» наш, и «Зритель», / И книжный магазин, и лавочки полны. / «Мы с рифмами на свет, — он мыслил, — рождены; / Так не смешно ли нам, поэтам, согласиться / На взморье, в хижину, как Демосфен, забиться, / Читать да думать все, и все, что вздумал сам, / Рассказывать одним шумящим лишь волнам? / Природа делает певца, а не ученье; / Он не учась учен, как придет в восхищенье; / Науки будут все науки, а не дар; / Потребный же запас — отвага, рифмы, жар». / ... / «Брависсимо! и план и мысли, все уж есть! / Да здравствует поэт! осталось присесть, / Да только написать, да и печатать смело!» / *Бежит на свой чердак, чертит, и в шляпе дело! / И оду уж его тиснением передают, / И в оде уж его нам ваксу продают! / Вот как пиндарил он, и все, ему подобны, / Едва ли вывески надписывать способны...*» (Чужой толк, 1794).

Или — позднее — у Батюшкова в «Послании к стихам моим», где эквивалентом слова чердак как условного имени бедного жилья бездарных стихотворцев является перифраз «под кровлей»: «Но с страстию писать не я один родился: / Чуть стопы размерять кто только научился, / За славою бежит — и *бедный рифмотор* / В награду обретет не славу, но позор. / *Куда ни погляжу, везде стихи марают, / Под кровлей песенки и оды сочиняют. / И бедный Стукодей, что прежде был капрал, / Не знаю для чего, теперь поэтом стал: / Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет / И грациям стихи голодный сочиняет; / Пьет воду, а вино в стихах льет через край...*» (1804 или 1805). Таков же «бедный однодворец» — «сперва подъячий был, а после стихотворец» — герой приписываемой Пушкину-лицеисту сатирической «Исповеди бедного стихотворца» [Пушкин 1956: I, 427].

Представленные в цитированных выше текстах такие шутливо-иронические и шутливо-пренебрежительные имена бездарных стихотворцев, как «рифмач», «рифмотвор», «стиходей» и «стихотворитель», — лишь малая часть длинного ряда эквивалентных словесных характеристик этого типа функционеров массовой русской стиховой культуры (антикультуры)¹⁰, добродушное вышучивание и высмеивание которых на протяжении полувека, но особенно широко в 1810—1815-е гг., когда, как писал М. А. Дмитриев, «стихотворство было в ходу и проникало во все слои светского общества» (Мелочи из запаса моей памяти, 1853 [Дмитриев 1985: 202]), захватывая и заражая также и социальные низы¹¹, — нужно признать заметным явлением литературной жизни. Это были те «...хилые наездники славенского Пегаса...» (К. Н. Батюшков — Н. И. Гнедичу, 1 апреля 1810 [Арзамас 1994: 1, 151]), те «питомцы Фебовы и девяти сестриц», которые, «В сомнамбулическом жару летя за славой, / Поправ пятою вкус, грамматику, ум здравый, / Стремятся гению неведомой стезей / На верх Парнасских гор бестрепетной стопой / И там, собравшись ревущею ватагой, / Бутят храм памяти измаранной бумагой» (А. А. Бестужев. К некоторым поэтам, 1819). В этой связи можно вспомнить также образ «стиховных наводнений» в дневниковых записях С. П. Жихарева 1805-1806 гг. [С. П. Жихарев. Записки современника. Т. I. Л., 1989: 173-180].

Была в те же годы еще одна — третья — категория «чердачных» поэтов и писателей, к которой относились все те, чья литературная, поэтическая и человеческая бездарность оборачивалась низкой завистью к талантам, вызывала бессильную злобу против более способных и удачливых, превращая завистников в жалких зоилов, мелких инсинуаторов и клеветников¹². В таких случаях приходилось думать не только об отсутствии поэзии в их «мараниях», о дурном «рифмичестве», о хилом «стопосложении» и других нарушениях «стихов российских механизма» (8, XXXVIII, 6). Как писал по сходному поводу П. А. Вяземский, «тут дело идет не о даровании писателя, а о гнусном умысле человека» (письмо А. С. Пушкину и А. И. Тургеневу 19—20 февраля 1820 г. [Пушкин 1936/1996: 13, 12]). Со своих реальных и метафорических оксюморно низких и «низменных» чердачных «высот» эти околотературные «писачки» распространяли о своих противниках недостойные вымыслы, преследовали их мелкими уколами и ядовитыми укусами. Добродушно шутить или даже иронизировать по их адресу было невозможно. Но и преувеличивать их значение не следовало: «Нелепое суждение вралей / Нимало не обидно» (В. Л. Пушкин. Завистники соловья, 1815). Они не заслуживали ничего, кроме презрения. На этих жалких людишек и жалких писак не требовалось сильных и крепких слов. Они были припечатаны коротким и легким, как щелчок по носу, и звучным, как пощечина, именем *враль*. Как писал И. И. Дмитриев, «Вообрази, мой друг, к чему я осужден! / Ты знаешь, что я лгать и льстить не сотворен! / Молчать мне — тяжело; назвать чистосердечно / Писателя в глаза вралем — бесчеловечно...» («Послание от английского стихотворца Попа...», 1798)¹³.

Заметим, что клеймо бездарного писаки-клеветника — не *лгун*, не *лжец*, а именно **враль**! Или — в менее резкой форме — производные этого имени в функции смеховых фамильных антропонимических масок, построенных по русской или немецкой словообразовательной модели: *Вралёв*¹⁴, *Вралькин*¹⁵, *Вральман*¹⁶.

Слово *враль*, которое в современном русском литературном языке используется столь редко, что оказывается за порогом частоты, отражаемой частотными словарями [Засорина 1977: 108], — в текстах пушкинской эпохи, как свидетельствуют и приводимые здесь материалы, обнаруживает поразительно высокую употребительность и уже по одному по этому заслуживает специального рассмотрения.

* * *

По согласному свидетельству толковых словарей, *враль* в современном литературном языке — «врун, болтун, пустослов» [Уш. 1935: I, 393]; «лжец, болтун» [БАС 1951: 2, 725]; «тот, кто любит рассказывать вздорные нелепые и т. п. вещи, выдумывая их на ходу; лгун, пустослов» [МАС 1985: 1, 225]; «тот, кто постоянно врет, выдумывает вздор, нелепости; лгун, пустослов» [НСРЯ 2000: 1, 223].

«Словарь языка Пушкина», вполне обоснованно не включая в толкующий синонимический ряд слова *лгун* и *лжец* (неоправданно укрупняющие значение слова *враль*, утяжеляющие его вес и наделяющие его силой, которой оно на самом деле не имело прежде и не имеет сейчас) сохраняет ушаковское «пустослов, болтун» [СП: I, 381] и утверждает тем самым для этого слова ситуацию двухсотлетнего семантического статус-кво. И первый приводимый им иллюстративный пример из «Анджело» вполне подтверждает такое толкование: «Навстречу вдруг ему Попался Луцио, гуляка беззаботный, Повеса, вздорный **враль**, но малый доброхотный». «Враль» здесь в его общепринятом значении — действительно, не более, чем безвредный и безобидный болтун и пустослов. Употребление этого слова вполне соответствует современной литературной норме и говорит в пользу обсуждаемого лексикографического решения.

Увы! — две другие цитаты, призванные иллюстрировать усматриваемое составителями пушкинского «Словаря» нормативное значение слова *враль*, на самом деле под принятое ими толкование подведены быть не могут.

1. «Так, цензор мученик; порой захочет он / Ум чтеньем освежить; Руссо, Вольтер, Бюффон, / Державин, Карамзин манят его желанье, / А должен посвятить бесплодное вниманье / **На бредни новые какого-то вряля**, / Которому досуг петь рощи да поля, / Да связь утрата в них, ищи ее с начала...» (Послание к цензору, 1822)

2. «Держаю за тобой <Пушкин обращается к Депрео> / Занять кафедру ту, с которой в прежни лета / Ты слишком превознес достоинства сонета, / Но где торжествовал твой здравый приговор /

Минувших лет глупцам, вранью тогдашних пор. / **Новейшие враль вралей старинных стоят** — / И слишком уж меня их бредни беспокоят. / Ужели все молчать да слушать? / О беда!.. / Нет, все им выскажу однажды завсегда. / О вы, которые, восчувствовав отвагу, / Хватаете перо, мараєте бумагу, / Тисненью предавать труды свои спеша /<..>/ Вельможе пошлые кропая мадригалы, / Над меньшей собратьей в поту лица острясь, / Иль выше мнения отважно возносясь, / С оплошной публики (как некие писаки) / Подписку собирать — на будущие враки...» («Французских рифмачей суровый судия...» 1833 [Пушкин 1957: III, 270])

Достаточно внимательно вчитаться в эти тексты, чтобы убедиться в том, что в обоих этих пушкинских примерах слово *враль* использовано отнюдь не как общее имя болтуна и пустослова, т. е. не в современном его значении.

«Враль» здесь, как и в пяти других случаях употребления этого слова Пушкиным, — это на самом деле *враль*² — тот, кто (если воспользоваться поэтической терминологией пушкинской эпохи) «врет пером», в противопоставлении общеупотребительному *враль*¹, обозначающему того, кто «врет словом». Ср. в «Эпиграмме» П. А. Вяземского: «Вот **враль**! подобного его (sic!) не знаю чуда! / **Врет словом, врет пером...**» (1831)¹⁷.

Противопоставление этих двух разных типов вралей не сводится только к различиям формы их «болтовни» и «пустословия». За этими поверхностными «формальными» признаками нужно увидеть сущностные различия двух противопоставленных типов речевой деятельности.

Болтовня «устного» вряля с очевидностью обнаруживает все конститутивные признаки спонтанной устной речи: она не обдумана, не подготовлена заранее и потому легковесна, беззаботна и безответственна; она не / не обязательно пред- и тем более не / не обязательно злонамеренна; она может иметь своим предметом не только другого; чаще она говорит о мире вообще и о самом говорящем; она адресована заведомо ограниченному кругу слушателей-собеседников и отнюдь не рассчитана на распространение. Ср.: «...кликнуть парикмахера, *говоруна, вряля*, который наскажет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаете, намажет вашу голову прованскими духами и напудрит самую белую, самую легкую пудрою...» (Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. М.: «Правда», 1980: 342). Или: «...от себя посылаю вам <...> перевод из Оссиана: “Сражение при Лоре”, незрелый труд незрелого члена-сотрудника Олина, одного из молодых наших трагиков, о котором **старый враль** Дмитревский говорит: в нем есть много Корнелевского!!!» (Д. В. Дашков — Д. Н. Блудову, 15 октября 1813 г. [Арзамас 1994: 1: 212]. Курсив автора, п/ж — мой. — *А. П.*); «Она <комедия М. Н. Загоскина “Урок волокитам”> была недурна, особливо как скороспелка. В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, я мог бы не узнать себя в Фольгине, **большом вряле**, ветреном моднике, каким я

никогда не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его...» (Ф. Ф. Вигель. Записки, 4, — М.: Захаров, 2000: 342). Таковы же вральи в шутке И. И. Дмитриева «На смерть попугая» (1791). Таков же и пушкинский Луцио, «гуляка беззаботный, / Повеса, вздорный **враль**, но малый доброхотный», вполне соответствующий уже цитированному выше точному и тонкому определению МАС: «тот, кто любит рассказывать вздорные, нелепые вещи, выдумывая их на ходу» (Разрядка моя. — А. П.)¹⁸.

Иное дело *враль*², враль, действующий пером. «Перо» здесь не только и не столько технический инструмент письма, сколько метафора отравленного оружия бездарных и безнравственных писак. «Как друг, боюсь их од, как недруг — клеветы», — признавался И. И. Дмитриев («Послание от английского стихотворца Попа...», 1798). «Комар с замашками орла, / Чужих достоинств враг за неимением личных,» — писал о таких «вралях» П. А. Вяземский (Дом Ивана Ивановича Дмитриева, 1860). В то же время перо — это символ осознанного, обдуманного творческого процесса, который в этом случае оказывается злонамеренным «писачеством», порождающим очернительные — «с личностями!» — тексты, адресуемые «городу и миру». Ср. в «Триссотине и Вадюсе» у И. И. Дмитриева:

[Триссотин] Стыдись пред справщиком, стыдись пред целым светом!

[Вадюс] Но ни один журнал меня не оглашал, / А ты уже давно добычей критик стал.

[Триссотин] Я тем-то и горжусь, рифмач, перед тобою; / Во всех журналах ты пренебрежен с толпою / Вралей, которые не стоят и суда; / А я на вострие пера их завсегда, / Как их опасный враг!

[Вадюс] Так будь и мой отныне; / Сейчас иду писать в стихах о Триссотине! (1807).

Понятно, что *враль*¹ — это оценочно-характеризующее имя определенного общечеловеческого психологического типа, и цитированные выше пушкинские строки, сопоставляющие «**новейших** вралей» с «вральями **старинными**», по отношению к *вральям* от *враль*¹ не имели бы никакого смысла. Они, конечно, имеют в виду вралей от *враль*².

Напротив, противопоставление «умных» вралей («Разлуки долгой и тяжелой / Забыта хладная печаль; / Ты <Н. В. Всеволожский> здесь, Амфитрион веселый, / Счастливец добрый, умный враль!...» — А. С. Пушкин. «В кругу семей, в пирах счастливых...», 1820) вральям-«глупцам» («Не всякий знаниям честь должну воздаст / И часто *враль*, глупец разумником слывет...» — В. Л. Пушкин. Вечер, 1798; «Вот добрых глупый друг, гостиных мерзкий враль, / Ума ни искры тут — исколоти всю сталь...» — Неизвестный автор. Галлоруссия, 1813 // Поэты 1790—1810-х годов, Л.: СП, 1971: 750) может быть понято только если имеются в виду «устные» «вральи». «Вральи», действующие «пером», глупы по умолчанию. Отсюда нередкое представление их — в традиции «говорящих (или, точнее,

«кричащих») литературных имен» XVIII в. — под такими фамильными антропонимическими масками, как *Бессмыслов*: «Вралева упрекнешь — все ахнут: боже мой, / Что труд *Бессмыслова* возносит он хвалой» (М. В. Милонов. К моему рассудку. Сатира третья, 1812); *Глупон*: «*Глупон* за деньги рад нам всякого бранить, / И даже он готов поэмой уморить» (К. Н. Батюшков. Послание к стихам моим, 1804 или 1805); «Везде бранит поэт *Глупон* / Мою хорошенькую Музу» (Е. Баратынский. Эпиграмма, 1827 — Ранняя редакция); *Глупениус*: «Теперь *Глупениус* взял верх над Княжниным / И Мевия зовут Горацием вторым» (А. А. Бестужев. К некоторым поэтам, 1819); *Глупницкий и Дураков*: «Вот *Дураков*, певец того, что петь не смыслит, / *Глупницкий*, варварский что сброд журналом числит...» (Неизвестный автор. Галлоруссия, 1813 // Поэты 1790-1810-х годов, Л.: СП, 1971: 750); *Глунов*: «Покражею стихов, ничтожных сил в замену, / Там *Глунов* на подряд дурачит Мельпомену...» (М. В. Милонов. На модных болтунов, 1819) и др.

Точно так же обычные в текстах пушкинской эпохи противопоставления вралей (а) истинным поэтам, (б) талантам и (в) дарованиям логически оправданы и понятны только при условии, что *враль* — это именно *враль*² — враль, пишущий свои «враки» «в стихах», или, по индивидуальному обозначению И. И. Дмитриева, «*подлый стиховраль*» («Послание от английского стихотворца Попа...», 1798):

а) «*Поэты есть у нас, есть скучные враль; / Они не вверх летят, не к небу, но к земли...*» (К. Н. Батюшков. Послание к стихам моим, 1804/1805); «*Рубеллию тверди, что он рожден вельможей, / Жене его шепни, что всех она пригожей, / А Балдусу, вралою, что первый он поэт...*» (М. В. Милонов. К Луказию. Сатира вторая, 1811); «*Иной, не зная ни аза, / Прослыл вдруг критиком-поэтом, / И кто ни попадись в глаза, / Всех судит, всех рядит пред светом, — / Да докажи, что ты поэт, / Пустым вралем быть не годится. / Что скажет вам Зоил в ответ? / Ich schwitze*». («Лицейский мудрец», 1815, № 4 [Грот 1911/ 1998: 345]); «*На нем хоть будь клобук, хоть кивер, хоть кокошник, / Он будет всё поэт, не враль и не ветошник*» (В. Л. Пушкин. Буриме, 1816—1818);

б) «*Тот драмой бьет челом иль речью, сей журналом, / В котором, сторож тьмы, взялся он на подряд, / Где б мысль ни вспыхнула иль слава, бить в набат. / Под сенью мрачного сего ареопага / Родится и растет марателей отвага, / Суд здравый заглушен уродливым судом, / И на один талант мы сто вралей сочтем...*» (П. А. Вяземский. Послание к И. И. Дмитриеву, приславшему мне свои сочинения, 1819);

в) «*Врали не престают злословить дарованья, / Печатать вздорные свои иносказанья, / И в Публике читать, наперекор уму, / Похвальных кучу од, не годных ни к чему...*» (В. Л. Пушкин. К князю П. А. Вяземскому, 1814).

В то же время становится понятным разграничение вралей-стихоплетов, и вралей-писателей, среди которых выделяются:

1) ежедневные / поденные / суточные вральи — вральи-газетчики: «*Чем отомщу ему?*

Орудьем клеветы!» — / Сказал *поденный враль* и тискать стал листы...» (П. А. Вяземский. Послание к Т. М. Каченовскому, 1820); «Так, Вяземский, ты прав: презрителен Зоил, / Который не разбор, а пасквиль сочинил / И, испестрив его весь низкими словами, / Стал точно наряду с *поденными врялями!* / О как легко бранить, потом печатать брань...» (С. Т. Аксаков. Послание к князю Вяземскому, 1821); «Заветов опыта потомкам проповедник, / О *суточных врялях* ему ли помышлять?...» (П. А. Вяземский. Послание к М. Т. Каченовскому, 1820). Ср. также: «Наставник лучший муз, / Исполненный боязни, / Укрылся от врагов / Под твой счастливый кров. / Да будет неотлучно / Тебя он осенять, / Да будет охранять / Тебя от шайки скучной / *Вралей*, вестовщиков, / И прозы и стихов / *Работников поденных*, / Невежеством клейменных / Пристрастия рабов!..» (П. А. Вяземский. К Батюшкову, 1816);

2) ежемесячные / помесячные врази — врази-журналисты, те, кто «может пользуясь <sic!> всеобщим снисхождением, нас *ежемесячным тиранить сочиненьем*» (С. Н. Марин. К уму моему. Переложение IX сатиры Буало: 158); «[Поэт] Ах, кто бы мог без сей всевышнего помощи / Снести цензуры суд привязчивый и строгий, / Холодность публики и колкость эпиграмм, / Злость критик, что дают превратный толк словам, / И дерзких крикунов не дельное сужденье, / И сплетни мелких душ, и зависти шипенье, / И площадную брань *помесячных вралей*, / И грозный приговор в кругу невежд-судей...» (К. Ф. Рылеев. Путь к счастью. Сатира. Разговор поэта с богачом..., 1821). Ср. также: «Наши *врази-журналисты*, ректоры общего мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал; а Пушкин только что созрел как художник и все шел в гору как человек...» (В. А. Жуковский — И. И. Дмитриеву, 12 марта 1837)¹⁹.

Как свидетельствует приведенный материал, перед нами сложившаяся и разработанная с поразительной детализацией и почти терминологической строгостью типологическая классификация вралей, понять которую можно только постулируя существование в эту эпоху некоего специализированного, «цехового» метаязыка «литераторского дела» как важнейшей отрасли более широкого метаязыка русской культуры²⁰.

Именно в лоне этого «литераторского метаязыка», манифестированного многочисленными текстами шутивно-иронических дружеских стихотворных посланий поэтов друг другу, шутивно-самокритичных автоадресатных обращений (к уму своему, к рассудку своему, к перу своему, к своим стихам), переводов-переложений сатир Буало, подражаний античным классикам и обширного корпуса произведений эпиграмматического жанра (с естественным и понятным выходом в эпистолярный и публицистический) общерусское *враль* пережило описанное выше семантическое преобразование с переходом от *враль*¹ — ‘болтун, пустослов’ к *враль*² — ‘бездарный (и злобный) писака’²¹. При этом ‘болтовня’ и ‘пустословие’ «вралей» в семантической структуре этого слова оказываются характеристиками «творчества» такого «писаки»; ‘вздор’ же, ‘выдумки’, ‘нелепый вымысел’ или (если воспользоваться батюшковско-пушкинским — еще преарзамасским — словом)

«бредни» враля²² поворачиваются в сторону более талантливых собратьев по перу и по цеху с такими готовыми к актуализации потенциальными значениями, как ‘злобная критика’, ‘злословие’ и ‘клевета’²³.

Таково же и на тех же основаниях семантическое раздвоение слова *вралиха* как родо-полового (гендерного) соответствия к *враль*. Ср.: «Летунья Ласточка и там и сям бывала, / Про многое слыхала, / И многое видала, / А потому она / И боле многих знала. / Пришла весна, / И стали сеять лен. “Не по сердцу мне это! — / Пичужечкам она твердит. — Сама я не боюсь, но вас жаль; придет лето, / И это семя вам напасти породит...” / <...> / — “Молчи, злоеющая вралиха!” — / Вскричали птички ей...» (И. И. Дмитриев. Ласточка и птички, 1797), где «вралиха», — конечно, 1 — ‘вздорная болтунья, пустословка’, или, как определяет БАС, учитывающий только это значение, «Устар. и в просторечии. Лгунья, болтунья» [1, 796]. А с другой стороны: «Твоя невинная другиня, / Уже поблекший цвет певиц, / Вралих Петрополя богиня, / Пред ним со страху пала ниц...» (А. С. Пушкин. Тень Фонвизина, 1815), где «богиня петропольских вралих» как характеристика поэтессы («певицы») А. П. Буниной может быть осмыслена только если «вралиха» здесь — это *вралиха*² (‘бездарная стихотворица’), а не *вралиха*¹. «Женск. к враль (Пустослов, болтун)», как, следуя [БАС] и вопреки пушкинскому тексту, толкует «Словарь языка Пушкина» [1, 381]²⁴.

То же произошло и со всеми членами гнезда, которому принадлежит *враль*. Таковы глагол *врать* (с его приставочными производными: *соврать*, *наврать* и др.), отглагольные имена *вранье* и *враки* и антропонимическая маска враля — *Вральман*²⁵.

Одновременно и параллельно в недрах того же специализированного «литераторского» метаязыка аналогичному семантическому преобразованию — с осложнением исходного значения дополнительным «литераторским» элементом — подверглось, как мы видели, и общерусское *чердак*, ставшее, условным именем убогого жилья бездарного (потенциально безнравственного) литератора, т. е. «враля»²⁶.

Связка *враль*² — *чердак*² и *чердак*² — *враль*² обнаруживается уже в конце XVIII века у И. И. Дмитриева: «Иван! запри ты дверь, защелкни, заложи / И, кто бы ни стучал, отказывай! Скажи, / Что болен я; скажи, что умираю, / Уверь, что умер я! Как спрятаться, не знаю! / Откуда, боже мой, писцов такой содом? / Я вижу весь Парнас, весь сумасшедший дом! / И там и здесь они встречаются толпами, / С бумагою в руках, с горящими глазами, / Всех ловят, всех к себе и тянут и тащат, / И слушай их иль нет, а оду прокричат! / Какой стеной, какой древ тенью защититься, / Чтоб этот скучный рой не мог ко мне пробиться? / Бесперестанно он копышется везде, / Гоняется за мной по суше, по воде, / Заползывает в грот, встречается в аллее, / Я в церковь, он туда ж! И, что всего мне злее, / Гонимый голодом и стужей с чердака, / Не даст спокойно мне и хлеба съесть куска! / **То подлый стиховраль**, в котором без рожденья / Иль смерти богача, нет силы вображенья...» («Послание от английского стихотворца Попа...», 1798).

На той же, но поданной параболически, связке: *чердак — мышь — 'живущий грызущей критикой голодный журналист'* («обрызганный чернилами Арист») построена басня Батюшкова «Книги и журналист» (1809).

И та же связка в ставших импульсом настоящей работы онегинских строках о «презренной клевете», «на чердаке вралем рожденной», где «*враль*», конечно, не *враль*¹, а *враль*². Это не просто «болтун и пустослов», не просто «пошлый лжец, который болтает Бог знает что, бездельник и плут, un drôle qui divague, хвастливый болван, безответственный дурачок», как полагал и увлеченно разъяснял В. В. Набоков, уверенно причисливший этого «*вралю*» к типу Репетиловых, Ноздревых и Хлестаковых [Набоков 1998: 354] и, по-видимому, не задумывавшийся над вторым значением слова *враль*. На самом же деле «*враль*» в онегинских строках — бездарный чердачный писака и мелкий клеветник, рождающий «презренную» клевету.

* * *

Все сказанное позволяет заново прочесть и объяснить рассматриваемые пушкинские строки.

Отметим прежде всего, что отраженный в них микросюжет представлен Пушкиным с предельным обобщением, не допускающим никакой конкретизации ни в отношении места действия, ни в отношении действующих лиц.

Понятно, что речь идет о городе (чердак, как мы видели, — принадлежность исключительно городского топоса), и поскольку в действии принимает участие «светская чернь» (светская — не великосветская!) — о достаточно большом городе. Но нет никаких прямых указаний ни на Москву, где жил граф Ф. А. Толстой, ни на Петербург, где жил князь А. А. Шаховской и принимал избранное общество в своем находившемся на втором этаже двухэтажного дома²⁷ литературно-театральном салоне, получившем название «Чердака Шаховского».

Это комплексное именование, однако, вовсе не тождественно простому имени, являющемуся его основой и грамматическим центром. «Чердак», как было показано, условное поэтическое имя убогого жилища бедного бездарного поэта, автора «презренной клеветы». «Чердак Шаховского» — это принятое в дружеском кругу князя шутовое название, возникшее на основе шутовско-уничижительного автоименования, представляющего особый, не выделявшийся до сих пор теоретическим языкознанием прием художественной речи, который я предложил бы назвать применением имени.

Легко представить себе, как князь Шаховской, приглашая друзей на открытие своего салона, сказал им: «*Жду вас на моем чердаке*». «*Мой чердак*» в устах его владельца естественно превратился в «*Чердак князя Шаховского*» в устах приглашенных, а затем и всех посвященных. Сказать: «*Жду вас на чердаке*», — Шаховской не мог бы, как и его гости, вспоминая о проведенном там вечере, не могли

бы сказать: «*Вчера мы были на чердаке*».

Именно так, вероятно, подражая Шаховскому, называл свой рабочий кабинет другой поэт среди князей и князь среди поэтов (он же «*князь вралей*») П. И. Шаликов, который писал Пушкину 5—20 мая 1836 г.: «Ах! как я жалел, жалею и буду жалеть, что поспешил вчера *сойти с чердака своего*, где бы мог принять бесценного гостя и вместе с ним сойти в гостиную, где жена и дочь моя разделили бы живейшее удовольствие моего сердца...» [Пушкин 1949 / 1995: 16, 119]. К сожалению, пока остается неизвестным, находился ли в действительности кабинет Шаликова этажом выше его гостиной, как это было, например, у Пушкина в его царскосельской квартире в доме Китаева на Колпинской улице, где он поселился с молодой женой в 1831 г. вскоре после переезда из Москвы (А. О. Смирнова. Записки. М., 1929: 303), и если нет, то это значит, что мы имеем здесь дело с еще более высокой степенью условности применения этого имени.

В этом случае обнаруживается полная редукция всех первичных и основных компонентов его значения, а сохраняется лишь вторичная, специализированная «литераторская» добавка: *чердак* — ‘кабинет поэта/писателя’²⁸.

Яркий пример такого словоупотребления мы находим у Набокова, который, проявляя свое глубокое — скорее интуитивное — знание языка пушкинской эпохи, писал в завершении статьи «Пушкин, или правда и правдоподобие»: «Сегодня больше чем когда-либо поэт должен быть так же тверд, спокоен и угрюм, как того хотел Пушкин сто лет назад. Порой самый безупречный художник пытается сказать свое слово в защиту гибнущих или недовольных, но он не должен поддаваться этому искушению, так как можно быть уверенным: если дело заслуживает страданий, оно лишь после них принесет неожиданные плоды. Нет, решительно, так называемой социальной жизни и всему, что толкнуло на бунт моих сограждан, нет места в лучах моей лампы; и *если я не требую башни из слоновой кости, то только потому, что доволен своим чердаком*» [Набоков 1999: 423]²⁹.

В отличие от метафоры, метонимии и синекдохи, которые живут необъявленным переносом значения, применение с первой же минуты заявляет о себе открыто и прямо и пользуется в этих целях обязательным ключевым словом (обычно местоимением или собственным именем).

В рассматриваемом онегинском тексте слово «*чердак*» не имеет при себе ключевого слова — знака применительного использования имени — и не только совершенно не нуждается в нем, но и не допускает его. Этот «*чердак*», следовательно, — *чердак* рядового, заурядного, одного из многих, безымянного *враля*, бедного, бездарного, злобного, завистливого писаки.

Но ни одна из этих характеристик не может быть отнесена к основным протагонистам реальной истории с антипушкинской клеветой. Не был заурядным вралем «*колкий Шаховской*» (1, XVIII, 10—11), «*наш единственный комик*» (П. А. Вяземский — А. С. Пушкину, 30 апреля 1820 г.), «*князь хороших комедий*» (О. А. Кипренский. Письмо из Рима 10 июня 1817 г. //

Сын Отечества, 1817, № XLVI), которого даже — пусть полушутя — называли «le père de la comédie» — отцом <русской> комедии. (Русский архив, 1878, кн. 1: 441)³⁰. Не был заурядным вралем и Ф. И. Толстой, который, во всем, что он делал (в том числе, и в своих поэтических опусах), был большим, по-настоящему крупным и значительным человеком, яркой и выдающейся личностью.

И «рожденная» им «клевета» — пущенный им слух о полицейской порке Пушкина — была настолько чудовищной (во всяком случае в тогдашнем восприятии Пушкина), что он почувствовал себя на краю бездны: «Я увидел себя опозоренным в общественном мнении. Я впал в отчаяние, я дрался на дуэли — мне было 20 лет тогда. Я соображал, не следует ли мне застрелиться или убить В» (черновое, так и не отправленное, письмо Александру I в октябре-ноябре 1825 г. [Письма 1926/1989: I, 168—169 <текст>, 524 <перевод>])³¹. Назвать такую клевету «презренной», т. е. жалкой, ничтожной, не стоящей внимания, он, конечно, не мог бы. И сам сказал об этом совершенно недвусмысленно. Упрекая Вяземского в том, что тот вступил в публичную схватку с Каченовским, Пушкин — в письме от 2 января 1822 г. — объяснил, почему сам он «задел» «этого хилого кулачного бойца» в своем послании к Чаадаеву: «...это не изъ ненависти къ нему, но чтобы поставить съ нимъ на одномъ ряду Американца Толстова, котораго презирать мудренее» (Выделено мной. — А. П.). [Письма 1926 / 1989: I, 25].

Таким образом, можно утверждать, что в период с 3 октября 1824 г. по 6 января 1826 г., когда Пушкин работал над 4-й главой романа [Лотман 1983: 17], подлинная история с чудовищной клеветой Толстого и ее распространением была сознательно и намеренно подвергнута им обесценивающему обобщению, понижена в ранге, разжалована в рядовые. Он все-таки сумел воплотить программу, сформулированную им еще в 1821 г.: «Для Муз и дружбы жив поэт, / Его враги ему презренны — / Он Музу битвой площадной / Не унижает пред народом; / И поучительной лозой / Зоила хлещет — мимоходом» (Н. И. Гнедичу). Более того. Все реальные участники этих событий были смещены на периферию повествования, а в центр его, и следовательно, в фокус читательского внимания, вместо оказавшегося клеветником «приятеля» (так Пушкин назвал Ф. И. Толстого в уже цитированном письме к Вяземскому, сентябрь 1822 г.), который превратился в совершенно постороннего и заурядного «цехового чердачного враля», выдвинулся также поданный предельно обобщенно друг («ваш друг» — ‘такой, который есть и у меня, и у каждого из вас, мои читатели’) — распространитель клеветы.

По предположению Набокова, этим другом в реальной истории с клеветой был Рылеев, который, поверив пущенному Толстым слуху, «в антиправительственном угаре» говорил о порке Пушкина в Секретной Канцелярии как о свершившемся факте и тем самым невольно способствовал распространению этой сплетни [Набоков 1998: 358]. Взбешенному Пушкину было не до тонких

обстоятельств поведения Рылеева, и дело закончилось дуэлью, о которой Пушкин глухо упомянул в своем письме А. А. Бестужеву 24 марта 1825 г. и в более позднем, цитированном выше неотправленном письме императору (см. [Набоков 1998: 357—358; Миронов 1999: 21, 30—31]). По-видимому, именно так все и было, и потому можно не сомневаться, что, оказавшись по недоразумению («ошибкой» — «без всякой злобы и затей», как сказано в онегинском тексте) причастным к распространению сплетни Толстого, Рылеев не «повторил стократ» о Пушкине никаких «небылиц». И уж, конечно, не читал о нем «в кругу порядочных людей» «площадных эпиграмм». Известная эпиграмма Толстого на Пушкина-«Чушкина», явившаяся ответом на злые антитолстовские тексты, в которых Пушкин, по собственным его словам, «в бессилии бешенства закидал издали» клеветника «журнальной грязью» (письмо П. А. Вяземскому, 1 сентября 1822 г.), была сочинена им в 1821 г., через год после дуэли Пушкина с Рылеевым. И здесь, как видим, мы имеем дело все с тем же широким обобщением, в котором от живой реальности остается лишь неясная тень Рылеева.

А что же о графе Ф. И. Толстом? Обещая брату в письме от 22—23 апреля 1825 г., что «Толстой явится <...> во всем блеске в 4-ой песне Онег <ина>, если его пасквиль этого стоит» (в связи с чем Пушкин просил раздобыть для него у Вяземского все еще остававшуюся ему неизвестной эпиграмму) [Письма 1926/ 1989: I, 130]), он в конце концов отказался и от дуэли со своим обидчиком, надеждой на которую он жил целых шесть лет, и от мстительного замысла отхлестать его еще раз на странице своего романа. Но, примирившись с Толстым и простив его (и даже сделав его поверенным лицом в своем сватовстве к Н. Н. Гончаровой), Пушкин, как это бывало и в других подобных случаях, ничего не забыл. Хотел забыть, но не смог. И сам рассказал об этом.

Рассказа в трех строках интересующего нас онегинского текста (4, XIX, 1-3), которые обычно не привлекают к себе внимания [Бродский 1950:205] или, если комментируются, то самым случайным и поверхностным образом [Набоков 1998: 353].

Выдвинув одну из самых гневных и парадоксальных своих инвектив против друзей-врагов («Что, может быть, одно и то же» — 4, XVIII, 9), друзей-лжедрузей («Врагов имеет в мире всяк, / Но от друзей спаси нас, боже!..» — 4, XVIII, 11—12) и горестно воскликнув: «Уж эти мне друзья, друзья!» (4, XVIII, 13), повествователь объясняет читателю: «О них **недаром** вспомнил я» (4, XVIII, 14). Понимая, однако, что читатель ждет содержательного раскрытия этого «недаром», он отвечает на выражающий читательское ожидание им же самим поставленный вопрос («А что?») специфически русской формулой «умаления значимости» («Да так») как способа уклонения от ответа (см. об этом в работе [Пеньковский 1997]). И затем, как это характерно для такой типовой коммуникативной ситуации, развивает идею «уклонения»: «...Я усыпляю / Пустые черные мечты».

Ключом к пониманию этой высокой поэтической фразы, в которой Ю. М. Лотман непонятным и загадочным образом услышал «торжественно звучащую» «ироническую (sic!) цитату (sic!) из какой-то посторонней (sic!) официальной (sic!) речи» [Лотман 1983: 238], является слово «мечта» — одна из самых употребительных и поразительно многозначно-многоосмысленных единиц поэтической речи Пушкина и всей пушкинской эпохи в целом. В каком же значении оно здесь употреблено?

Ю. М. Лотман уверенно и без колебаний усматривает в этом слове «исконное церковнославянское значение — ложные мнения, обманные призраки» [Там же], что никак не согласуется с широким пред- и постконтекстом высказывания, которому оно принадлежит. Отсюда и предлагаемое им определение значения управляющего глагола «усыплять», которому приписывается не существующее значение ‘опровергать, отбрасывать’. Одна ошибка влечет за собой другую.

«Словарь языка Пушкина» помещает шифр этого текста (ЕО IV 19.2) под одним из вариантов первого и, следовательно, основного значения слова *мечта*: «// Создание, содержание воображения, то, что кто-н. себе представляет». [СП 1957: II, 572], которое как будто вполне совпадает с современным его значением: «То, что создано воображением, фантазией» [БАС 1957: 6, 945]; «Нечто созданное воображением, мысленно представляемое» [Ож. 1975: 321]; «Что-л. созданное воображением, фантазией» [МАС 1986: II, 263]; «Что-л. воображаемое или мысленно представляемое; создание воображения» [НСРЯ 2000: I, 864].

Однако достаточное для современного языка, это толкование оказывается недостаточным для языка пушкинской эпохи. Оно не позволяет различать два основных контекстуально обусловленных варианта значения этого слова:

1) ‘то, что кто-нибудь себе представляет, связывая это представление с будущим’ (*мечта*¹): «Он сердцем милый был невежда, / Его лелеяла надежда, / И мира новый блеск и шум / Еще пленяли юный ум. / Он забавлял мечтою сладкой / Сомненья сердца своего...» (2, VII, 5—10); «...Погибнешь, милая; но прежде / Ты в ослепительной надежде / Блаженство темное зовешь, / Ты негу жизни узнаешь, / Ты пьешь волшебный яд желаний, / Тебя преследуют мечты: / Везде воображаешь ты / Приюты счастливых свиданий...» (3, XV, 5—12); «Мечтам и годам нет возврата; / Не обновлю души моей... / Я вас люблю любовью брата / И, может быть, еще нежней, / Послушайте ж меня без гнева: / Сменит не раз младая дева / Мечтами легкие мечты...» (4, XVI, 1—7); «Когда б в моей лишь было власти, / Я предпочла б обидной страсти / И этим письмам и слезам. / К моим младенческим мечтам / Тогда имели вы хоть жалость...» (8, XLV, 5—9); «Он из Германии туманной / Привез учености плоды: / Вольнолюбивые мечты, / Дух пылкий и довольно странный...» (2, VI, 9-12); «Задумчивость, ее подруга / От самых колыбельных дней, / Теченье сельского досуга / Мечтами украшала ей» (2, XXVI, 1-4); «...Простая дева, / С мечтами,

сердцем прежних дней, / Теперь опять воскресла в ней» (8, XLI,12-14) и др.;

2) 'то, что кто-нибудь себе представляет, связывая это представление с прошлым' (*мечта*²): «Мне памятно другое время! / В заветных иногда мечтах / Держу я счастливое стремя / И ножку чувствую в руках...» (1, XXXIV, 1—4); «Вспомня прежних лет романы, / Вспомня прежнюю любовь, / Чувствительны, беспечны вновь, / Дыханьем ночи благосклонной / Безмолвно упивались мы! / Как в лес зеленый из тюрьмы / Перенесен колодник сонный, / Так уносились мы мечтой / К началу жизни молодой» (1, XLVII, 6—14); «Быть может, в мысли нам приходит / Среди поэтического сна / Иная старая весна / И в трепет сердце нам приводит / Мечтой о дальней стороне, / О чудной ночи, о луне...» (7, III, 9—14)³².

Это второе значение, неизвестное современному языку, противопоставлено первому по скрытым категориальным признакам «реальности — ирреальности» и «временной направленности действия / временной сферы проявления действительного признака». *Мечта* в этом значении, *мечта*² — «обратная мечта», по тонкому и точному определению П. А. Вяземского («Чем жизнь скупее на цветы, / Тем умильней и слаще / Души обратные мечты...» (Родительский дом, 1831), — высокий поэтический эквивалент нейтрального *воспоминание*, ключами к семантике которого в контекстах *мечты* пушкинской эпохи, как и в приведенных выше иллюстрациях из «Евгения Онегина», регулярно выступают знаки прошедшего времени и памяти³³.

Именно такова ситуация и в анализируемых строках онегинского текста: «Я усыпляю пустые черные мечты». «Мечты» здесь, конечно, 'воспоминания', и это чтение подсказывается производящим «вспомнить» в предтексте («О них недаром **вспомнил** я»).

Именно воспоминания, а не «оценка авторских горьких наблюдений над эгоизмом окружающего света» [Лотман 1983: 238] составляют скрытое содержание обсуждаемой фразы. Именно о воспоминаниях говорит в ней Пушкин, сливающийся здесь с повествователем, и называет эти «мечты» — воспоминания «**черными**», поскольку это воспоминания об одной из самых мрачных страниц его жизни, связанной с клеветой графа Толстого.

Но все это уже в прошлом. «Tempora altri», как по сходному поводу («Так Арзамасец говорит ныне о деде Шиш<кове>») писал Пушкин П. А. Вяземскому 25 января 1825 г. Удар, нанесенный чести и достоинству 20-летнего молодого человека, муки оскорбленного самолюбия давно потеряли свою остроту. Бешенство и горячечный пыл остыли, «охладели», и то, что вызывало нестерпимые душевные страдания, теперь, с высоты прожитых лет, можно было, уговаривая себя, считать несущественным, незначительным, мелким и не важным. «**Пустым**». Но в памяти это прошлое все еще жило, все еще тревожило, и мысли о нем приходилось подавлять, а сохраняющие горечь чувства

успокаивать. «Усыплять»³⁴. И, чтобы завершить этот трудный психологический процесс, нужно было подвергнуть реальную историю полной и окончательной дискредитирующей, обесценивающей генерализации, представив ее как обычную для всех людей его круга заурядную неприятность, с типичными обстоятельствами, с типичными участниками, с общим для всех предательством лжедрузей и с общей для всех презренной клеветой и ее «ободрением» со стороны «светской черни». В этой обобщенной, разведенной до полного разжижения типичной истории уже нет ни графа Ф. И. Толстого-Американца, пустившего оскорбительный для Пушкина слух, ни проявившего «нескромность» (письмо Л. С. Пушкину в октябре 1822 г.) князя А. А. Шаховского, ни его «Чердака», ни посетителей этого «Чердака», принадлежащих к литературно-театральной богеме (в их числе бывал и сам Пушкин), ни попавшего впросак К. Ф. Рылеева, поплатившегося за этот «просак» дуэлью³⁵.

Но ведь нет здесь и молодого А. С. Пушкина, ставшего жертвой клеветы. Ведь вся эта «обыкновенная история», описанная в строфе [4, XIX] пушкинского романа, произошла с повествователем, который, как ни близок Пушкину, но все-таки не Пушкин. И говорится о ней без нажима, между прочим, как **замечание «в скобках»**.

* * *

Мы попытались раскрыть пушкинские скобки, и это позволило не только глубже и точнее понять несколько строк онегинского текста, но и, заново истолковав значения ряда слов, образующих достаточно обширные лексико-семантические группы, прочесть новую страницу в живой жизни русского литературного языка пушкинской эпохи.

Примечания

¹ Для нас, если воспользоваться любимой пушкинской цитатой из Вольтера, «voilà des mots qui hurlent de se trouver ensemble» <вот слова, которые вопиют, поставленные рядом> (А. С. Пушкин — П. А. Вяземскому, 1 сентября 1822 [Письма 1926—1935: I, 35]).

² Второй случай использования этого слова в прямом значении — в тексте «Домика в Коломне»: «Бывало, мать давным-давно храпела / А дочка — на луну еще смотрела / И слушала мяуканье котов / По чердакам, свиданий знак нескромный». Но имеется еще и третий, не учтенный ни «Словарем языка Пушкина», ни «Конкордансом к стихам А. С. Пушкина» [Шоу 2000: 2, 1226], — в отрывке «В мои осенние досуги» (1835): «Вы говорите: “Слава богу, / Покамест твой Онегин жив, / Роман не кончен — понемногу / Иди вперед; не будь ленив. / Со славы, вняв ее призванью, / Сбирай оброк хвалой и бранью — / Рисуй и фантов городских, / И милых барышень своих, / Войну и бал, дворец и хату, / Чердак, и келью, и харем...”» [Пушкин 1957: III, 355—356]. Указанием на этот случай я обязан И. А. Пильщикову,

который любезно согласился прочесть мою работу и сделал целый ряд важных дополнений и уточнений. Все они приняты мной с благодарностью и оговариваются.

³ В противопоставлении городской жизни сельский топос, рисуемый обычно в пасторально-идиллических красках, предоставлял бедному поэту другие виды убогого жилища (обобщенно это «приют укромный», «смирренная обитель», «пустынный кров», «бедный уголок», «забвенный угол» и т. п.) — иногда реальные, а чаще условные смиренную хижину/хижинку, скромную избушку, хату/хатку, убогий домик, шалаш простой и т. п. Ср.: «Оставь город суетный, / Столицу рассеянья, / В деревню, в деревню к нам / Укройся от грозных бурь, / Под сень рощи липовой, / Где ждет соловей тебя, / Соперник твой в пении. / <...> / У нас не найдешь, мой друг, / Ни злата, ни мраморов / Под кровом соломенным...» (А. Ф. Воейков. К Мерзлякову. Призывание в деревню, 1810).

⁴ Ср.: «Я на чердак переселился: / Жить выше, кажется, нельзя! / С швейцаром, с кучером простился / И повара лишился я. / Толпе заимодавцев знаю / И без швейцара дать ответ; / Я сам дверь важно отворяю / И говорю им: “Дома нет!...”» (Д. Давыдов. Моя песня, 1811).

⁵ Ср. иного типа контексты, где тот же оборот должен пониматься в прямом значении: «Ты трезв, трудолюбив, спишь на пуку соломы; / Работе, отдыху — всему урочный час...» (А. Ф. Воейков. К моему старосте, 1807); «Живет Балда в поповом доме, / Спит себе на соломе, / Ест за четверых, / Работает за семерых...» (Сказка о попе...). В этой связи показателен приводимый ниже пример из А. С. Шишкова («Жил в хижинах простых, и покорял столицы. / <...> / Сажал царей на трон, и на соломе спал»), который, предвидя возможность ошибочного понимания оборота *спать на соломе* в его вторичном, переносном значении, счел необходимым разъяснить читателю в специальном примечании: «Он <Суворов> не любил мягких перин и пуховиков; *сено и солома служили ему вместо оных*» (Стихи для начертания на гробнице Суворова, 1805 [Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971: 359—361]). Ср. также *спать на коврах* как метафору не просто богатой постели, но — шире — роскошной жизни: «По тщетной пышности мы судим о вещах; / Будь честен, будь мудрец, когда не на коврах / Ты спишь, на золоте стола ты не имеешь, / Напрасно ты титул примать (sic!) достоинств смеешь» (Д. И. Хвостов. Сократов дом, 1802)

⁶ Тот же оборот с двойным гиперболическим усилением в продиктованных ненавистью к отцу словах *А л ь б е р а* в «Скупом рыцаре» (1830): «О! мой отец не слуг и не друзей / В них <в деньгах> видит, а господ; и сам им служит / И как же служит? как алжирской раб, / **Как пес цепной. В нетопленной конуре / Живет, пьет воду, ест сухие корки, / Всю ночь не спит, всё бегаёт да лает** — / А золото спокойно в сундуках / Лежит себе...» [Пушкин 1937—1949/1995—1995—1997: 7, 106]. Ср. также у С. Н. Марина: «Ты в бедности твоей будь доброй гражданин. / Будь вечной твоего отечества ты сын. / Оплакивай его, не говоря ни слова, — / Коль слово скажешь (sic!) ты, награда в миг готова. / За честность за твою, за вздох об оном твой — / Квартера (sic!) в крепости, и черной хлеб с водой» (Послание к другу, 1810—1812)

⁷ «Словарь языка Пушкина», толкуя слово *лачужка* как «Небольшой бедный домик, избушка» и распространяя это толкование на все одиннадцать пушкинских употреблений [СП: 2, 455], не замечает специфики его значения в рассматриваемом тексте, хотя совершенно очевидно, что «лачужка под землей» — это аналитическое, описательное представление *з е м л я н к и*.

⁸ Ср. параллельный ход в эпиграмме А. Д. Иличевского того же лицейского времени (1813—1814), где эквивалентом чердака на противоположном полюсе «жилой» пространственной вертикали оказывается погреб: «Титир, убогий наш поэт, / Любовны песенки сплетает; / А сам то в погребу живет, / То в мраке чердаков высоких обитает; / От этого-то, знать, и в песенках бедняк / Как погреб — холоден, и темен — как чердак» («Издревле сладостный союз...» // Антология поэзии пушкинской поры. Книга 2. М.: Советская Россия, 1984: 29).

⁹ Значение «уединенности», «отчужденности от мира» в соединении с признаком «бедности, убогости» жилища, характерное для слова *чердак* в его обсуждаемом здесь условном поэтическом употреблении, выдвигается на передний семантический план также в слове *келья*. Это последнее, расширяя предметную область своего применения, освобождается от терминологической «монастырской» специализации. Ср.: «Один в каморке тесной / Вечерней тишиной / Хочу, мудрец любезный, / Беседовать с тобой. / Уж темна ночь объемлет / Брега спокойных вод; / Мурлыча, в келье дремлет / Спесивый, старый кот...» (Послание к Галичу, 1815). Или: «Пылай, камин, в моей пустынной келье; / А ты, вино, осенней стужи друг, / Пролей мне в грудь отрадное похмелье, / Минутное забвенье горьких мук» (19 октября, 1825); «Моя студенческая келья / Вдруг озарилась: / Муза в ней / Открыла пир молодых затей...» (8, I, 9—11) и др. Ср. также рядоположное соединение *чердака* и *кельи* в цитированном выше отрывке «В мои осенние досуги...» (1835).

Другим таким эквивалентом чердака как условного поэтического имени в значении «жилище бедного поэта» является, как показывает приведенный выше пример, слово *каморка* (*коморка*). Таковы же и *канура* (не *конура!*) с его производным — уменьшительным — *канурка* (не *конурка!*): «Бахметьева наместник, / Законов провозвестник, / Смиранный Иоанн, / <...> / К моей *канурке* строгой / Приставил караул...» («Мой друг, уже три дня...», 1822). Ср. также в отредактированной Пушкиным эпиграмме Е. А. Баратынского: «Онъ точно, онъ безспорно, / Фигляринъ журналистъ, / Марающий задорно / Свой безтолковый листь. / А это что за дура?.. / Ведь Истинна, ей ей! / Давноль его *канура* / Знакома стала ей? / На чепуху и враки / Чутьем наведена / Занятіям мараки / Пришла мешать она» («Журналист Фиглярин и Истина» [Пушкин 1937—1939/1995—1997: 17, 109]). «Словарь языка Пушкина», как и в ряде других случаев, указанное специализированное значение не выделяет и оставляет все эти слова без толкования, заставляя думать, что их значения тождественны тем, которые они имеют в современном языке.

¹⁰ Ряд этот настолько велик, что может служить подтверждением мысли Пушкина (ссылающегося на мнение «Макиавелля» — «великого знатока природы человеческой») о том, что «человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале» («Table-talk», 1830-е гг. [Пушкин 1958 : VIII, 89]). Вот «азбучным порядком»(5, XXIV, 6) хотя бы часть этого ряда включая и указанные выше:

виришенисец: «Я почти целый день опять пробыл у барона <Дельвига>. <...> тут я видел тоже *виришенисеца* Коншина» (А. Н. Вульф. Дневник, 11 октября 1828 г. // Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. Тверь, 1989: 41); **марака:** «Пристала к музам их немецких муз хандра. / Жуковский виноват: он первый между нами / Вошел в содружество с германскими певцами / И стал передавать, забывши божий страх, / Жизнехуленья их в пленительных стихах. / Прости ему господь! — Но что же! все *мараки* / Ударились потом в задумчивые враки, / У всех унынием оделось чело...» (Е. Баратынский. Богдановичу, 1824); **маратель:** «Тот драмой бьет челом иль речью, сей журналом, / В котором, сторож

тмы, взялся он на подряд, / Где б мысль ни вспыхнула иль слава, бить в набат. / Под сенью мрачного сего ареопага / Родится и растет *марателей* отвага, / Суд здравый заглушен уродливым судом, / И на один талант мы сто вралей сочтем...» (П. А. Вяземский. Послание к И. И. Дмитриеву, приславшему мне свои сочинения, 1819); **одомаратель**: «За чашей пуншевой в политику с друзьями / Пустился Бавий наш, присяжный стихотвор. / *Одомаратели* все сделались судьями, / И каждый прокричал свой умный приговор...» (К. Н. Батюшков. Новый род смерти, 1814); **одорифмодабель**: «Пусть <...> государь позволит одному Жуковскому говорить о его <государя > подвигах. Все прочие наши *одорифмодабели* недостойны сего. Они, и стихи их, и проза, и ненависть их, и хвала их, и одобрение, и ласки, и эпиграммы, и мадригалы, и вся стишистая сволочь надела...» (К. Н. Батюшков — П. А. Вяземскому, 10 января 1815 г.); **пероносец**: «...подобрав дружину (чтобы не сказать шайку) молодых, смелых *пероносцев*, с умножившимися силами, они <Булгарин и Греч> сделались совершенно независимыми» (Ф. Ф. Вигель. Записки, VI. М.: Захаров, 2000: 440)]; **писачка**: «*Писачка* в Фебов двор явился. / “Довольно глуп он!” — бог шепнул...» (Е. А. Баратынский, Эпиграмма, 1830); «Берегитесь, говаривал он <Карамзин>, — нет никого жалче и смешнее худого *писачки* и рифмоплета» (П. А. Вяземский. Автобиографическое введение // ПСС. Т. I. СПб., 1878. С. XXXII); **писец**: «Откуда, боже мой, *писцов* такой содом? / Я вижу весь Парнас, весь сумасшедший дом! / И там и здесь они встречаются толпами, / С бумагою в руках, с горящими глазами, / Всех ловят, всех к себе и тянут и тащат, / И слушай их иль нет, а оду прокричат!...» (И. И. Дмитриев. Послание от английского стихотворца Попа..., 1798); «Щадить порочных есть уж шаг один к порокам. / Иль мне причтется в грех, когда в веселый час / Я посмеюсь *писцам*, ползущим на Парнас, / Кряхтя под ношею стихов своих тяжелых...» (П. А. Вяземский. К Жуковскому, 1812); «...От жалких пастушков, / Вздыхающих в сонетах; / *Безграмотных писцов*, / *Числящихся в поэтах*; / От критиков-слепцов, / Завистников талантов, / Нахмуренных педантов, / Бродящих фолиантов, / Богатых знаньем слов; / <...> / О милая подруга! / Укроемся со мной...» (П. А. Вяземский, К подруге, 1813. — Ранняя редакция [Арзамас 1994: 2, 354]); «Притом возможно ли дорогу проложить / Сквозь тысячи *писцов*, искателей голодных, / Стихосплетателей похвал простонародных...» (А. А. Бестужев. Подражание первой сатире Буало, 1819); «Братайтесь, к взаимной обороне / Ничтожностей своих вы рождены; / Но дар прямой не брат у вас в притоне, / *Бездарные писцы-хлопотуны*...» (Е. Баратынский. Коттерие, 1842); **рифмодей**: «Без имя *рифмодей* глумился сколько мог / Над глупостью — хвалить в стихах красивый слог. / Не худо бы потом на вкус слепить сатиру, / А там и здравый смысл ухлопать в добрый час / И кончить тем свою поэтику для нас...» (И. И. Дмитриев. Эпиграмма на притчу «Госпожа и ткачи», 1805); «С позволения сказать, / Много в свете *рифмодеев*, / Все ученых грамотеев, / Чтобы всякий вздор писать...» (А. С. Пушкин, Куплеты, 1816); **рифмодул**: «То новый враг перед страдальцем, / С тетрадью толстой *рифмодул* / Стихами в петлю затянул, / Схватя за шею мощным пальцем...» (П. А. Вяземский. Кибитка. 1828); **рифмоплет**: «Меж тем иной из них, хотя прозаик вялый, / Хоть плоский *рифмоплет* — душой предобрый малый! / Измайлов, например, знакомец давний мой, / В Журнале *плоский враль*, *ругатель площадной*, / Совсем печатному домашний не подобен, / Он милый хлебосол, он к дружеству способен...» (Е. А. Баратынский. Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры, 1823. — Ранняя редакция); «Берегитесь, говаривал он <Карамзин>, — нет никого жалче и смешнее худого *писачки* и *рифмоплета*»

(П. А. Вяземский. Автобиографическое введение // ПСС. Т. I. СПб., 1878. С. XXXII); **рифмотвор**: «Чуть стопы размерять кто только научился, / За славою бежит — и бедный *рифмотвор* / В награду обретет не славу, но позор» (К. Н. Батюшков, Послание к стихам моим, 1804/1805); «Пускай угрюмый *рифмотвор*, / Повитый маком и крапивой, / Холодных од творец ретивый, / На скучный лад сплетая вздор, / Зовет обедать генерала» (А. С. Пушкин. К Галичу, 1815); **стихостей**: «Ты прав, мой милый друг! Все наши *стихостей* / Слезливой лирою прославиться хотят...» (В. Л. Пушкин. Письмо к И. И. Дмитриеву, 1796); «...Ты не имеешь времени писать, а мне танцевать на сцене с московскими нашими *стихостеями* как-то большой охоты нет...» (Н. М. Карамзин — И. И. Дмитриеву, 10 декабря 1797г.); «Меж тем, поклон отдав Хвостову, / Творец, списавший Простакову, / Три ночи в мрачных чердаках / В больших и малых городах / Пугал российских *стихостеев*...» (А. С. Пушкин. Тень Фонвизина, 1815); «На правой стороне брюхастый стихостей / Достойнейших писателей злословил, / И пасквили писал на сочиненья их...» (В. Л. Пушкин. Кабуд-путешественник, 1818; «Но, скажите, как посмею / Петь на старый лад один? / Дверь укажут *стихостею*, / А стихам его — камин» (П. А. Вяземский. Графине С. А. Муслиной-Пушкиной, 1822); **стихокропатель**: «Ода и глас Патриота хороши Поэзию, а не предметом. Оставь, мой друг, писать такие пьесы нашим *стихокропателям*...» (Н. М. Карамзин — И. И. Дмитриеву, 6 сентября 1794 г.); «Зачем тревожиться, когда твоих трудов / Не вздумает читать какой-нибудь Вралёв, / Иль жалкий Азбукин, / Иль Клит *стихокропатель*?» (К. Ф. Рылеев. Послание к Н. И. Гнедичу, 1821); **стихомаратель**: «Лишь только всякой час себе я жду беды; / Стихомарателей здесь скопище упрямо...» (В. Л. Пушкин. К В. А. Жуковскому, 1810); **стихотворитель**: «...в самых небольших стихах твоих есть мысли, намерение и какая-то сила, которая вовсе неизвестна большей части нашим гладеньким *стихотворителям* (sic!)...» (М. Н. Загоскин — Н. И. Гнедичу, 2 декабря 1821); **стихосплетатель**: «Притом возможно ли дорогу проложить / Сквозь тысячи писцов, искателей голодных, / *Стихосплетателей* похвал простонародных...» (А. А. Бестужев. Подражание первой сатире Буало, 1819); **стихотвор**: «Какой-то *Стихотвор* (довольно их у нас) / Послал две оды на Парнас...» (В. Л. Пушкин. Эпиграмма, 1798); «За чашей пуншевой в политику с друзьями / Пустился Бавий наш, присяжный *стихотвор*. / Одомаратели все сделались судьями, / И каждый прокричал свой умный приговор...» (К. Н. Батюшков. Новый род смерти, 1814); «...форма, как сказано выше, неразлучна с духом. — Перестанем же самовольно отделять их. Пусть это делают те, которые поэзию ограничивают рифмами, или те, которые, подобно *Стихотвору* Горация, не хотят признаться в неведении того, чему они учились...» (С. С. Уваров. Ответ В. В. Капнисту на письмо его об экзаметре, 1815 [Арзамас 1994: 2, 94]); **стихотворитель**: «Наверно льзя сказать, не делая обиды / Ретивым господам, питомцам русских муз, / Что должны быть у них и особый вкус / И в сочинении лирической поэмы / Другие способы, особые приемы; / Какие же они, сказать вам не могу, / А только объявлю — и, право, не солгу — / Как думал о стихах один *стихотворитель*, / Которого трудов “Меркурий” наш и “Зритель”, / И книжный магазин, и лавочки полны...» (И. И. Дмитриев. Чужой толк, 1794); «...если уже подражать, не худо знать, кто из иностранных писателей прямо достоин подражания. Между тем наши живые каталоги <...> обыкновенно ставят на одну доску словесности греческую и — латинскую, английскую и — немецкую; великого Гете и — незрелого Шиллера; <...> роскошного, громкого Пиндара и — прозаического *стихотворителя* Горация...» (В. К. Кюхельбекер.

О направлении нашей поэзии..., 1824); **стихоткач**: «[Андрей] А ты, господин *стихоткач*, затем разве сюда пришел, чтоб подманивать чужих девок?» (И. А. Крылов. Сочинитель в прихожей, 1813); «Хоть страшно *стихоткачу* / Лагарпа видеть вкус, / Но часто, признаюсь, / Над ним я время трачу...» (А. С. Пушкин, Городок, 1815). То же в аналитической форме: «Сим объявляется / И повторяется, / Что Римския том перв истории Роллена / Да и по-русскому — какая о премена! — / В продаже есть на том дворе, где сам толмач / Живет, что преж *стихов был русский ткач*» (А. А. Нартов. Вывеска, 1761? // Русская эпиграмма (XVIII — начало XX века. Л., 1968: 68); «Однажды наш поэт Пестов, / Неутомимый *ткач стихов* / И Аполлонов жрец упрямый, / С какою-то ученой дамой / Сидел, о рифмах рассуждал...» (В. А. Жуковский. Плач о Пиндаре, 1814); **стопосложитель**: «С улыбкой внемлет вой *стопосложитель* хилый: / Пред ним растерзанный стенает Тилимах; / Железное перо скрипит в его перстах / И тянет за собой гекзаметры сухие, / Спондеи жесткие и дактилы тугие...» (А. С. Пушкин. К Жуковскому, 1816) и др.

Этот перечень может быть дополнен также многочисленными фамильными (и — реже — личными) именами в функции типовых или индивидуализированных, содержательно и словообразовательно различных антропонимических масок. Ср.: **Ахтикропалов**: «Вот князь Свистов, а вот поэт *Ахтикропалов*...» (А. И. Полежаев. День в Москве, 1829—1831), **Бавий**: «За чашей пуншевой в политику с друзьями / Пустился *Бавий* наш, присяжный стихотвор. / Одомаратели все сделались судьями, / И каждый прокричал свой умный приговор...» (К. Н. Батюшков. Новый род смерти, 1814); **Балдус**: «Пусть *Балдус* не страшит, пускай его весь век / В кропани стихов уродливых протек, / Но Бавий, Мевий, Фирс, поющий доброгласно, / Но злобных рифмачей соборище ужасно!...» (М. В. Милонов. К моему рассудку, 1812); **Балобонов** <от *балабон*, *балабол* 'болтун'>: «*Балобонов* в своих посланьях всех ругает; / Все мелют только вздор, один лишь он поэт, / И ум его не постигает, / Как не кадит ему согласно целый свет; / И в ожидании всеместна воскуренья, / Бред порет на стихах к себе от удивленья...» (Ф. Ф. Иванов. Послание к А. Ф. Мерзлякову, 1811 <?> // Поэты 1790—1810-х годов, Л., 1971: 340); **Бардус**: «Перо, чернила и бумага, / Да безрассудная отвага — / И *Бардус* журналист: / В неделю публице вранья печатный лист» (П. И. Шаликов. Решительность, 1815 // Русская эпиграмма XVIII — начало XX века. — Л., 1988: 151); **Безрифмин**: «*Безрифмин* говорит о милых... о сердцах... / Чувствительность души твердит в своих стихах; / Но книг его — увы! — никто не покупает...» (К. Н. Батюшков. Послание к стихам моим, 1804 или 1805); **Бессмыслов**: «И в чем же виновен я, когда за наказанье, / Купивши и прочтя *Бессмыслова* маранье, / Скажу, что лучше б он его не издавал...» (М. В. Милонов. К моему рассудку, 1812); **Вадий**: «По праву ты б меня злоречивым назвал; / Но чтобы над глупцом смеяться я престал? / Чтоб, *Вадия* стихи внимая на мученье, / Я мог выказывать в лице своем терпенье...» (М. В. Милонов. К моему рассудку, 1812); **Вздоркин**: «Я *Вздоркину* сто раз стыд тяжкий предрекал, / Когда он в свет свои посланья издавал...» (М. В. Милонов. К моему рассудку, 1812); **Визгов**: «Кладбище обрели / На самой нижней полке / Все школьнически толки, / Лежащие в пыли, / *Визгова* сочиненья, / Глупона псалмопенья...» (А. С. Пушкин, Городок, 1815); **Злослов**: «Не мне ли одолжен тем Балдус многоплодный, / Что, может быть, его прочтет потомок поздний? / Безвестны имена: Фирс, Мевий и *Злослов* — / Известность обретут ценой моих стихов...» (М. В. Милонов. К моему рассудку, 1812); **Писцов**: «Поэт *Писцов* в стихах тяжеловат, /

Но я люблю незлобного собрата: / Ей-ей! не он пред светом виноват, / А перед ним природа виновата» (Е. А. Баратынский. Эпиграмма, 1819); **Рифмин:** «...громку лиру взяв, пойти вослед Алкею, / Надувшись пузырем, родить один лишь дым, / Как *Рифмин*, закричать: “Ликуй, земля со мною! / Воспряньте, камни, лес! Зрю муз перед собою! / Восторг! Лечу на Пинд!.. Простите, что упал: / Ведь я Пиндару подражал!» (К. Н. Батюшков. Послание к Н. И. Гнедичу, 1805); **Рифмов:** «Никто, никто ему / Ленился одному / В постеле не мешает; / Захочет — аонид / Толпу к себе сзывает; / Захочет — сладко спит, / На *Рифмова* склоняясь / И тихо забываясь...» (А. С. Пушкин. Городок, 1815); **Стихокрапов** (герой одноименной незаконченной комедии Н. В. Всеволожского, отрывок из которой был опубликован в № 19 журнала «Благонамеренный» за 1819 г. [Модзалевский 1928 / 1999: 344]; **Тянислов:** «Он <Кипренский> пишет их портреты, / Которые от Леты / Спасли бы образцов, / Когда бы сам Крылов / И Гнедич сочиняли / Как пишет *Тянислов* / Иль Балдусы писали...» (К. Н. Батюшков. Послание к А. И. Тургеневу, 1813) и др.

¹¹ Ср. замечание П. А. Вяземского об «уличных» или, как называл их И. И. Дмитриев, «шинельных» поэтах, которые находили благожелательный прием в доме поэта-министра. «Он благосклонно выслушивал их стихи и помогал им денежными пособиями» (Иван Иванович Дмитриев, 1867 // П. А. Вяземский. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М.: «Правда», 1988: 261). Впрочем, были поэты, находившиеся в еще более трудном положении, — бесшинельные: «Ужель не видим мы Боянов наших дней, / Влачащих жизнь свою без денег, без друзей, / Весной без обуви, а в зиму без шинели...» (А. А. Бестужев. Подражание первой сатире Буало, 1819). Ср. то же в упомянутой выше сатире К. Ф. Рылеева 1821 г.

¹² Ср. в одной из сохранившихся лицейских эпиграмм 1814 г.: «*Чердакожитель* Алциндор / Со свайкою навек простился, / И чтоб хоть слабый дать отпор-- / Писать стихи на всех пустился...» [Грот 1911 / 1998: 359]. И тогда же у Вяземского: «Грудистых крикунов, в которых разум скудный / Запасом дерзости с избытком заменен, / Перекричать нельзя. Язык их — брань, искусство — / *Пристрастьем заглушать священной правды чувство, / А демон зависти — их мрачный Аполлон*» (Ответ на послание Василью Львовичу Пушкину, 1814). Ср. также у М. В. Милонова: «Давно обет друг другу дали / Хранить поэты свой союз, / И чувства дружбы отличали / Всегда прямых любимцев муз! / Порывом к славе грудь их бьется, / Живет стремлением одним: / Так пламень с пламенем сольется — / И сей союз неразрушим! / Своей стезей пойдем мы оба, / Жрецы молодые пиэрид! / Нам — святость дружбы! *Зависть, злоба / Для рифмачей одних — эгид...*» (В. И. Панаеву, который просил меня написать стихи для его альбома, 1810—1821 // С. Н. Марин, М. В. Милонов. Стихотворения, Драматические произведения. Сцены и Отрывки. Письма. Воронеж, 1983: 255).

¹³ «Я не мудрец, но по крайней мере имею драхму рассудка, а я *враль* в твоих глазах, потому что мелю вздор на *рифмах*, — с горькой обидой писал Батюшков Н. И. Гнедичу, — *враль*, потому что говорю то, что мыслю, *враль*, потому, что тебя уверили в том умные люди, которые мастера давать советы, когда их не просят, мастера сожалеть и злословить» (письмо 27 ноября — 5 декабря 1811 г. // К. Н. Батюшков. Избранные сочинения, М.: «Правда», 1986: 350).

¹⁴ «*Вралева* наш фабулист примерный: / Нет в баснях у него искусства, пышных слов, / А сколько простоты! Вот в них-то совершенный / Язык скотов» (А. Е. Измайлов. Эпиграммы на Хвостова, 1810 // Русская эпиграмма XVIII — начала

XX века. Л., 1988: 173); «К *Вралеву* забеги с пренизким ты поклоном: / Ему не в первый раз вступаться Цицероном за скаредных певцов, уродство их хвалить, / Дерзни его хоть раз с Горацием сравнить — / И он, не устращась, провозгласит пред светом / Тебя и Пиндаром, и классиком поэтом» (М. В. Милонов. К Луказию. Сатира вторая, 1811); «*Вралева* упрекнешь — все ахнут: боже мой, / Что труд Бессмыслова возносит он хвалой! / Чего же хочешь ты? Вражды между друзьями, / Которые живут взаимными хвалами?» (М. В. Милонов. К моему рассудку. Сатира третья, 1812); «Скорей луна светить в подлунную престанет, / *Вралев* писать стихи, злословить Клит устанет / <.> / Чем я решусь сидеть в палатах за столом...» (А. А. Бестужев. Подражание первой сатире Боало, 1819); «О Гнедич! Вопли их <завистников> и дикие, и громки, / Тобой заслуженной хвалы не заглушат: / Защитник твой — Гомер, твои судьи — потомки! / Зачем тревожиться, когда твоих трудов / Не вздумает читать какой-нибудь *Вралёв*, / Иль жалкий Азбукин, иль Клит-стихокропатель, / Иль в колпаке магистр, или Дамон-ругатель...» (К. Ф. Рылеев. Послание к Н. И. Гнедичу, 1821). «Под холодной кочкой сей *Вралева* холодный прах, / Бог с ним! Он был и сам так холоден в стихах» (И. И. Дмитриев. Эпитафия, 1826).

¹⁵ «Уча, нас комик забавляет: / Денис тому пример живой; / Но *Вралькин* сам себе большой, И на смех прочим одевает / Он Талию на свой покрой (П. А. Вяземский. Всякий на свой покрой, 1822); «[Рославлев старший] Заживо гляжу в потомки! / Я на пир бессмертья зван!» / Вопит *Вралькин*, так же громкий / И пустой, как барабан. / Счастлив он, пока в нем бродит / Самолюбия дурман; / Но одних *вралей* ли вводит / Самолюбие в обман?...» (П. А. Вяземский. Куплеты к комедии А. С. Грибоедова «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», 1823 // А. С. Грибоедов. Избранное, М.: «Художественная литература», 1978: 298).

¹⁶ «Пусть Феб умножит в двадцать первый <год>/ На рифмы у тебя расход, / И кляп наложится Минервой / Всем русским *Вральманам* на рот...» (П. А. Вяземский. В ответ на послание Василию Львовичу Пушкину, 1820).

¹⁷ Неизвестное современному литературному языку противопоставление «слова» «перу» как выражение противопоставления устной и письменной речи — яркая особенность языка пушкинской эпохи. Ср. то же в адъективных и адвербиальных парах *словесный* 'устный' — *письменный* и *словесно* 'устно' — *письменно*, образующих стандартные сочинительные сочетания: «Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу без всякого шума, *ни словесного, ни письменного*» (А. С. Пушкин — Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 4 декабря 1824 г.); «Император Наполеон, войдя со мною в большой разговор, сперва два, а потом четыре часа продолжавшийся, отвечал *письменно и словесно*, что, войдя уже в пределы наши, выдти не согласен прежде заключения мира» (А. Д. Балашов — Ф. В. Ростопчину, 28 июня 1812 // К чести России: из частной переписки 1812 года / Составитель, автор предисловия и примечаний М. Бойцов. М., 1988: 47); «...я ему еще в исходе 1806 года *письменно и словесно* представлял, дабы быть осторожну от Наполеона...» (Г. Р. Державин — В. С. Попову, 16 июля 1812 // К чести России...: 52). Ср. еще: «Я сам — хоть в *книжках и словесно* / Собратья надо мной трунят — / Я мещанин, как вам известно, / И в этом смысле демократ...» (А. С. Пушкин. Езерский, VII, 1832—1833). Ср. колебание между старым *письменно* — *словесно* и новым *письменно* — *изустно* у Вяземского: «Дмитриев тот ли *письменно*, что *изустно*? Я один, может быть, исключение, то есть был прежде исключение из этого правила: я задорнее *письменно*, нежели *словесно*...»

(письмо А. И. Тургеневу, 19 января 1836 г.), а также варьирование между *словесно* и *словами* ‘вслух’: «Я мысленно и словами часто бранил французских переводчиков...» (Н. М. Карамзин — И. И. Дмитриеву, 11 ноября 1820).

¹⁸ Такова же переносная пушкинская характеристика журнала Н. Полевого «Московский телеграф»: «Думаю, что ты уже получил ответ мой на предложения “Телеграфа”. Если ему нужны стихи мои, то пошли ему, что тебе попадет (кроме “Онегина”), если же мое имя, как сотрудника, то не соглашусь из благородной гордости, т. е. амбиции: “Телеграф” человек *порядочный и честный* — но *враль и невежда*; а *вранье и невежество журнала делится между его издателями*; в часть эту входить не намерен» (П. А. Вяземскому, начало июля 1825 г. [Пушкин 1956—1958: X, 150—151]).

¹⁹ Ср. также: «Там к Бавию иди: сей ждет тебя бедняк, / Отец помесячных нелепостей и врак, / Дай что-нибудь ему! он скоро разорится — / И жизнь твоя как раз в журнал его вклеится» (М. В. Милонов. К Луказию. Сатира вторая, 1811); «Ермил в журнале врак, судья всего и всех, / Он мерит ум своим аршином / И не поставит в смертный грех / Хвалить вздор, писанный поэтом-господином...» (Ф. Ф. Иванов. Послание к А. Ф. Мерзлякову, 1811 <?> // Поэты 1790—1810-х годов, Л.: СП, 1971: 340—341). Или позднее у Пушкина: «Клеветник без дарованья / Палок ищет он чутьем / А дневного пропитанья / Ежемесячным враньем» (Эпиграмма, 1823).

²⁰ «Врали-журналисты» естественно и необходимо вырабатывали свой собственный, предназначенный для обслуживания их профессиональной деятельности вариант публицистического языка. П. А. Вяземский писал М. А. Максимовичу по поводу его слов об аристократизме Пушкина и «Литературной газеты»: «Охота вам держаться терминологии *вралей* и вслед за ними твердить о литературной аристократии, об аристократии Газеты? <...> Оставьте это “Северной Пчеле” и “Телеграфу”, — у них свой *argot*, что называется, свой воровской язык...» (цит. по [Модзалевский 1953/1989—1999: III, 170]).

²¹ Указанное изменение в семантической структуре слова *враль* происходило путем сужения сферы его референтной отнесенности. Ср. отмеченные в литературном языке XVIII в. и впоследствии утраченные словоупотребления этого слова в качестве характеристик (а) «краснобая, мастера рассказывать разные истории» и (б) «школьного учителя» [Сл. XVIII 1988: 4, 123—125]. Именно отсюда ведет свое происхождение антропонимическая маска известного фонвизинского героя.

Эта линия семантического развития (‘враль > бездарный писака’) отражена уже в одном из самых важных источников культурных знаний в России — в пользовавшейся широкой известностью и популярностью книге «Эмблем и символов» Нестора Максимовича-Амбодика, где к рисунку с в е р ч к а дается следующее пояснение: «Сверчок, кузнечик или коник полевой значит *негодного стихотворца, вряля и Аполлона*» (Максимович-Амбодик 1788/1811/1995: 51, № 247). Строка эта заслуживает специального лингво-культурологического изучения, в частности, еще и потому, что она проливает дополнительный свет на происхождение арзамасского прозвища юного Пушкина. Ср. в этой связи любопытный пассаж в «Протоколе заседания <Арзамаса> 10 августа 1816 г.»: «Тщетно против примирения арзамасцев ополчалась вся сила нечистая; стихи Старосты, как могучий талисман, уничтожали чары чернокнижников и чернописцев Беседы, тщетно появлялись они во всех видах; то *свистали и шипели нам в уши, как сверчки, обитатели щелей*, то...» [Арзамас 1994: 1, 371]. Ср. также позднейшие вариации на тему сверчка:

«Я не спросил тогда <в годы “Арзамаса”>, за что назвали его “Сверчком”; теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос» (Ф. Ф. Вигель. Записки, V. М.: Захаров, 2000: 382);

²² Ср.: «Мне сегодня получше, но я начинаю чувствовать другую болезнь, стократ опаснее горячки — *пищическую желчь от славянских бредней...*» (К. Н. Батюшков — Д. Н. Блудову, март 1812); «Посылаю вам мои Бессарабские бредни <“К Овидию”> и желаю, чтоб они вамгодились...» (А. С. Пушкин — А. А. Бестужеву, 21 июня 1822). То же семантическое развитие и в отглагольном имени *бред*: «Зачем опять другой, усердный раб Славена / *Свой мелкомысленный славено-русский бред / За образец ума и вкуса выдает?..*» (Я. Галенковский. Подражание сатире В. В. Капниста, 1805 // Поэты 1790—1810-х годов, Л., 1971: 487); «Но разве должен он, судеб определенем, / За славу мне платить страдальческим терпением / И снисходительно склонять на *скудный бред / Свой приобикший слух* внимать: Ура! побед?» (П. А. Вяземский. К Жуковскому, 1812), и в производящем *бредить* с тем же специфическим семантическим сдвигом: «Как? Коверкать, пародировать стихи Карамзина, единственного писателя, которым может похвалиться и гордиться наше отечество<...> О! это верх бесстыдства! Я не думаю, чтоб кто-нибудь захотел это извинять. Я же с моей стороны не прощу и при первом удобном случае *выведу на живую воду Славян, которые бредят, Славян, которые из зависти к дарованию позволяют себе все...*» (К. Н. Батюшков — П. А. Вяземскому, 27 февр. 1812 // Арзамас 1994: 1, 179). Отсюда тонкая игра Пушкина на двух значениях этого слова: «Словесность русская больна / Лежит в истерике она / И *бредит языком мечтаний*» («Словесность русская больна...», 1825). Отсюда же и почти терминологический оборот *бредить по рифмам*: «Так рассуждали арзамасцы *о стихах на заданные рифмы* и спрашивали, где же будет достоинство и трудность сего рода сочинений, если позволять *по заданным рифмам бредить* хуже беседных безумцев...» («Протокол заседания <Арзамаса> 20 апреля 1816 г.» [Арзамас 1994: 1, 360]). Ср. также *молоть вздор на рифмах* в цитированном выше письме Батюшкова Гнедичу и другие обороты той же модели: «Тычкин, разорившийся купец, <...> *говорил на виршах* и очень смешон был в своих рассуждениях насчет житейского быта» (С. П. Жихарев. Записки современника. 2. Дневник чиновника, 12 марта 1807); «Пусть в наш премудрый век не славы за могилой / Певец за песни ждет; / Пусть въявь или тайком Фортуне прихотливой / *Челом на рифмах бьет...*» (Ф. Ф. Иванов, Послание к А<лексе>ю Ф<едорови>чу М<ерзляко>ву, 1811); «Все мелют только вздор, один лишь он поэт, / И ум его не постигает, / Как не кадит ему согласно целый свет; / И, в ожидании всеместна воскуренья, / *Бред порет на стихах к себе от удивленья*» (Ф.Ф. Иванов, Послание к А<лексе>ю Ф<едорови>чу М<ерзляко>ву, 1811); «Злой клеветник, враг чести, льстец ехидный, / *Пустившись смысл на рифмах теребить*, / Расчел умно: барыш тут очевидный: / Сносней вралем, чем низким плутом слыть!..» (П. А. Вяземский. Эпиграмма. Из Ж.-Б. Руссо, 1823).

²³ Рассуждая отвлеченно-теоретически, такой же сдвиг значения, какой произошел в истории слова *враль*, могли бы пережить и используемые в лексикографии близкие ему по исходной семантике слова-толкователи *болтун*, *говорун*, *пустослов*, *пустомеля* и др. Действительно, в живой стихийной языкотворческой и речетворческой практике тех, чьими интеллектуальными усилиями вырабатывался постулированный выше метаязык «литераторского» дела в России конца XVIII — первой трети XIX в., единичные узусные попытки провести эти имена по пути «*враль*» предпринимались.

Но общего признания не получили, и результаты их в обиход не вошли. Ср.: «Но пользу ты скажи какую видишь <sic!> в том, / Когда стихи твои теперь считают злом? / Когда за все труды имеешь ты в награду / От глупых ненависть, от общества досаду? / Какой же бес тебя к злословию острит? / Виной коль книги в том, кто ж их читать велит? / Пусть в неизвестности век *пустослов* кончает, / Или писателя ничто уж не спасает...» (С. Н. Марин. <К уму своему> // С. Н. Марин. 1776—1813. ПСС. М., 1948: 158); «Сказать Измайлову: *болтун еженедельной*, / Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной, / И в нем ты каждого убогого умом / С любовью жалуешь услужливым листком. / И Цертелев блажной, и Яковлев трахтирный, / И пошлый Федоров, и Сомов безмундирный, / С тобою заключив торжественный союз, / Несут тебе плоды своих лакейских муз; / Тобой предупрежден листов твоих читатель, / Что любит подгулять почтенный их издатель...» (Е. А. Баратынский. Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры, 1823. — Ранняя редакция)

Дальше других продвинулось в этом отношении слово *пустомеля*. Ср.: «Маленькому Давыдову <имеется в виду Денис Давыдов> мыли за стихи голову; он написал Сон, где всех ругает без милосердия. Аргамаков <А. В., поэт> написал ответ: Я лег вчерась в постелю / И видел странный сон: / Мальчишку *пустомелю* / Сек розгой Аполлон. // Как бог, он без притворства / Ему так говорил: / Ты дар мой стихотворства / Во зло употребил. // Ты, мальчик, зашалился, / Имеешь медный лоб, / За что бранить пустился / Почтенных ты особ? // О чем не поминаешь, / *О том ты так же врешь* / И ночи заставляешь / *Болтать нам вздор и ложь*. / В знакомстве быв со знатью, / Дал волю языку; / За это вашу братью / Я розгами секу. // Тут мальчик побожился, / Что *врать не будет он*. / От сна я пробудился. / Ах! Жаль, что это сон!» (С. Н. Марин — М. С. Воронцову, январь 1804 г.); «... “Я сухостью сожжен бесплодного педанта. / Чем отомщу ему? Орудьем клеветы!” — / Сказал поденный враль и тискать стал листы. / Но может ли вредить *ревнивый пустомеля*?» (П. А. Вяземский. Послание к М. Т. Каченовскому, 1820); «На лоне праздности дремавший долго гений, / Стрелами зависти быв пробужден от лени, / Ширясь, как орел, на небеса парит / И с высоты на низ с презрением глядит, / *Где клеветой его порочит пустомеля*...» (К. Ф. Рылеев. Послание к Н. И. Гнедичу, 1821). То же у Пушкина: «Шихматов, <...> бездушный, холодный, надутый, скучный *пустомеля*» (письмо В. К. Кюхельбекеру, 1-6 декабря 1825 г.).

Ср. также — при множестве *Вралёвых*, *Вралькиных* и *Вральманов* — лишь единично встречающаяся антропонимическая маска *Вздоркин*, непосредственно связанная со специализированным значением производящего *вздор* — ‘бездарные стихи’ (оно широко представлено в ранее приведенном цитатном материале): «Я *Вздоркину* сто раз стыд тяжкий предрекал, / Когда он в свет свои посланья издавал; / А *Вздоркин*, что ни день — то басня или ода, / А *Вздоркин*, нового произведя уroda, / Скропавши два стиха, надулся и кричит: / “О, радость! о, восторг! и я, и я пиит!”...» (М. В. Милонов. К моему рассудку. Сатира третья, 1812).

²⁴ В параллель пушкинской «*богине вралих*» (об А. П. Буниной <1774—1828>, почетном члене «Беседы любителей русского слова») можно привести «*князя вралей*» (о П. И. Шаликове) из «Видения на берегах Леты» К. Н. Батюшкова (1809), откуда этот титул был заимствован в «Парнасский Адрес-Календарь» А. Ф. Воейкова (1817) [Арзамас 1994: 2, 7].

²⁵ Ср. в уже цитировавшейся мной незаконченной пушкинской сатире, начинающейся традиционным обращением к классику («Французских *рифмачей* суровый судия...»), сразу три слова из этого гнезда, демонстрирующие общий

описанный выше сдвиг значения: «Держаю за тобой / Занять кафедру ту, с которой в прежни лета / Ты слишком превознес достоинства сонета, / Но где торжествовал твой здравый приговор / *Глупцам минувших лет, вранью тогдашних пор.* / *Новейшие вралы вралей старинных стоят* — / И слишком уж меня их бредни беспокоят. / Ужели все молчать да слушать? О беда!.. / Нет, все им выскажу однажды завсегда. / О вы, которые, восчувствовав отвагу, / Хватаете перо, мараєте бумагу, / Тисненью предавать труды свои спеша / <...> / *Вельможе пошлые кропая мадригалы, / Над меньшей собратьей в поту лица острясь, / Иль выше мнения отважно возносясь, / С оплошной публики (как некие писаки) / Подписку собирать — на будущие враки...*» (1833).

«Словарь языка Пушкина», указывая этот текст под шифром С-3 213, усматривает во всех трех случаях общее значение «вздор, болтовня» (*вранье*), «пустослов, болтун» (*враль*), «пустословие, вздор» (*враки*) [I, 381—382] и, равно соотнося их с производящим *врать*² («говорить вздор, пустословить»), не замечает общего для них осложнения их семантики «сочинительским», «литераторским» элементом и тем самым обедняет их действительное значение.

Ср. еще не нуждающиеся в комментариях примеры: «И сочиняют — врут и переводят — врут! / Зачем же врите вы, о дети. — Детям прут!... / Шалите рифмами, нанизывайте стопы...» (А. С. Грибоедов. Эпиграмма, 1816); «Устроив флюгер из пера, / Иной так пишет, как подует: / У тех, на коих врал вчера, / Сегодня ножки он целует» (П. А. Вяземский. Семь пятниц на неделе, 1825); «[Ксанטיפпа] Он, говорят, наврал комедию? [Клеон] Презлую» (А. А. Шаховской. Две сцены из комедии: Аристофан, или представление всадников // Полярная Звезда на 1824 г.); «Что, говорил ли он <черт> стихами, / Иль чертовщину прозой врал, / Не хуже, как и между нами, / Дерет ее иной журнал?» (П. А. Вяземский. Святочная шутка, 1831); «И как не изменя ни чести, ни стыду / Осмелюся назвать я, к собственну вреду, / Нескладного певца поэтом превосходным, / Хотя б он в доброту Сократу был подобным? / Радковского вранье поэмою считать, / С российским Пиндаром Бесмыслова равнять...» (М. В. Милонов. К Луказию, 1810); «Откуда взялся рыцарь Грибоедов? Кто воздоил сего кандидата Беседы пресловутой? Ради Бога, освободите нас от нелепостей и не слушайте Батюшкова. Пишите, браните и наказуйте! Должно вранью сделать конец!» (В. Л. Пушкин — Н. И. Гнедичу, август 1816); «Клеветник без дарованья / Палок ищет он чутьем / А дневного пропитанья / Ежемесячным враньем» (А. С. Пушкин. Эпиграмма, 1823); «Клеврет, журнальный аноним, / Помощник презренный ничтожного бессилья, / Хвалю тебя за то, что под враньем твоим / Утаена твоя фамилья» (П. А. Вяземский. Эпиграмма, 1825); «К Вралеву забеги с пренизким ты поклоном: / Ему не в первый раз вступаться Цицероном за скаредных певцов, уродство их хвалить, / Дерзни его хоть раз с Горацием сравнить — / <...> / Там к Бавию иди; сей ждет тебя бедняк, / Отец помесячных нелепостей и врак...» (М. В. Милонов. К Луказию. Сатира вторая, 1811); «Пристала к музам их немецких муз хандра. / Жуковский виноват: он первый между нами / Вошел в содружество с германскими певцами / И стал передавать, забывши божий страх, / Жизнехуленья их в пленительных стихах. / Прости ему господь! — Но что же! все мараки / Ударились потом в задумчивые враки, / У всех унынием оделось чело...» (Е. Баратынский. Богдановичу, 1824). Ср. также яркий пример игры на двух значениях глагола *поврать* — (1) «поболтать», (2) «посочинять стихи»: «Мы все по большой (sic!) части привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой

душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей» (А. С. Пушкин — П. А. Вяземскому, 21 апреля 1820 г. Черновое).

Не противоречат сказанному и распространенные случаи шуточного — самоуничжительного или дружески иронического — использования этой лексики: «.....напечатали у Шнора “Петриаду”, родную сестру Сладковского, лирическую поэму (!!!) в 300 листов, лирическую поэму, о которой никто еще с сотворения мира понятия не имел, ниже Гораций, который был невежда, ниже Боало, который был пьяница, ниже сам Гомер, который *врал шестистопными стихами* от искреннего сердца, как простяк...» (К. Н. Батюшков — Н. И. Гнедичу, 1 апреля 1810 г.); «Выехал на стерляди, а приехал к гусю, с которым честь имею быть, ваш преданный согусник Асмодей, который *врал, как черт прямой* (П. А. Вяземский — Д. Н. Блудову, 11 февраля 1817 [Арзамас 1994: 2, 409]); «...Жуковский, не забудь Милонова ты вечно, / Который говорит тебе чистосердечно, / Что начал *чепуху ты врать уж не путем...*» (М. В. Милонов. «Жуковский, не забудь...», 1818). То же у Пушкина: «Предложение твое касательно моих элегий несбыточно и вот почему: в 1820 г. переписал я свое *вранье* и намерен был издать его по подписке; напечатал билеты и роздал около сорока. Я проиграл потом рукопись мою Никите Всеволожскому...» (письмо П. А. Вяземскому 29 ноября 1824 г.).

И — из последних отголосков пушкинской эпохи — в «Экспромте во время урока стихосложения» К. Павловой: «Что стали в пень вы, Ольга Алексевна? / Зачем глядеть с карандашом в руке / На белый лист так мрачно и плачевно? / Скажите мне, *carissima, perché?* / Всечасно нам, не только что вседневно, / Стихи низать легко, строку к строке, / Составить песнь, балладу иль эклогу; / Теперь мы все поэты, слава богу! // И дети все начитаны и мудры, / И дамам обойтись без чернил / Трудней, чем их прабабушкам без пудры: / Столетие величия и сил! / Жаль, третьей русской рифмы нет на удры; / Но что поэта остановит пыл, / Вранье же — признак гордый и похвальный / Натуры необъятно гениальной» (1859).

²⁶ Что особенно интересно, ту же линию развития представляет глагол *ковать*, принадлежащий к, казалось бы, далекой от «литераторского» дела лексико-семантической группе «металлообработки», как и связанные с ним (прямо или только этимологически) производные *ковач* и *кузнец*. Ср. уже цитированные выше пушкинские строки из «Тени Фонвизина»: «Там Кропов в тишине глубокой / С бумагой, склянкой и пером / Сидел в раздумье за столом / На стуле ветхом и треногом / И площадным, раздутым слогом / На наши смертные грехи / *Ковал и прозу и стихи* / <...> / Стихи его читать хоть тяжело, / А проза, ох! горька для всех; / Но что ж? смеяться над бедняжкой, / Ей-богу, братец, страшный грех...» (1815). И у него же позднее: «...всегда смешным останется смешное. / Невежду пестует невежество слепое. / Оно сокрыло их во мрачный свой приют; / *Там прозу и стихи отважно все куют*, / Там все враги наук, все глухи — лишь не немь...» (К Жуковскому, 1816).

По мнению составителей «Словаря языка Пушкина», *ковать* в этих двух текстах использовано в значении «Изготавливать по-ремесленному грубо» [II, 340]. Едва ли, однако, такое р а с ш и р и т е л ь н о е толкование справедливо. В обоих случаях говорится только о писательском деле и ни о каком ином. Не находим мы такого широкого значения этого слова, как и его производных, и у других авторов пушкинской эпохи. Ср.: «Хвала тебе, протяжный Львов, / *Ковач речений смелый!* / И Палицын, гроза чтецов, / В Поповке поседель!..» (К. Н. Батюшков <при участии А. Е. Измайлова>. Певец, или Певцы в беседе славено-россов. Балладо-эпико-комико-эпизодический гимн, 1813 //

К.Н. Батюшков. Избранные сочинения, М.: Правда, 1986: 209. — По указанию И. А. Пильщикова, цитированные строки принадлежат как раз перу А. Е. Измайлова) или позднее у Вяземского: «Сказав прости очарованиям, / Назло пленительных грехов, / И упоительным мечтаньям / Весны, веселий и стихов, / Любви призыву ты не внемлешь, / Но в клире набожных певцов / *Ковач благочестивых слов* / Псалтырь славянскую премлешь...» (К Давыдову, 1816), где «ковач речений смелых»/»благочестивых слов» — ‘бездарный стихотворец’.

Ср. также яркий пример отрицательного сопоставления мастерской работы французского кузнеца и бездарной работы русского «стихододея» — «писца»: «...Колеса б смазывать, а взнудан уж Пегас, / В дом желтый думает, а лезет на Парнас. / Ну что же, скажешь ты, — не хуже ли мы галлов? ./ У них кузнец знаком с расплавкой лишь металлов, / Он вместо молота не схватит ведь пера — / Чтоб шины запаять, не тратит серебра, — / Не пишет, а кует. Чтоб дести три исхерить / И толсто ль... измерить? / Нет! знает, что **всегда почтеннее кузнец, / Чем вкуса пасынок, несчастливый писец**» (Неизвестный автор. Галлоруссия, 1813 // Поэты 1790—1810-х годов, Л. СПб, 1971: 750). Отсюда следует, что этот «несчастливый писец» — плохой кузнец, «ковач», как сказано у Батюшкова.

Можно предполагать, что связь «кузнец / ковач» — «несчастливый писец» того же происхождения, что и указанная выше символическая связь «сверчок» — «негодный стихотворец». Рядом со «сверчком» в книге «Эмблем и символов» Максимовича-Амбодика не случайно стоит «кузнечик». Реальной основой этимологической, но и сегодня достаточно прозрачной связи членов пары *кузнец* — *кузнечик*, несомненно, является общий для них действенный признак «мерного стука»: *ковать* — «обрабатывать металл молотом» (о работе кузнеца) > «мерно трещать» (о кузнечике) (см.: [Даль 1881/1985: II, 127]). В качестве промежуточного Даль указывает (за двумя чертами): «Стучать, колотить молотком мерно, будто по наковальне» — откуда лишь один шаг до «Стучать мерно, будто молотом по наковальне» как семантической основы и для характеристики звукоиспускания кузнечика (как и сверчка), и для обозначения работы стихотворца (при скандирующем чтении стиха). Та же глубинная связь (стихотворство — поэзия — кузнечик — сверчок), по-видимому, лежит в основе стихотворения Дж. Китса «On the Grasshoper and the Cricket» <<«Кузнечик и сверчок»> (1816 г.). Ср. живое свидетельство наблюдателя: «Он подал мне листок, хотя не говоря словами, но видимо приглашая меня прочесть стихотворение громко. Я начал читать, а он бил такт рукою по коленям, стараясь делать это как можно менее заметно, скандуя стихи и как бы внутренне самоуслаждаясь при слушании их...»(И. Селиванов. Знакомство с И. И. Козловым // Русский архив, 1903, кн. 3, 12: 666). Ср. также: «...Ты, испытательно вникнув / В стопосложение греков, римлян, славян и германцев, / Первый ясно увидел несовершенство, и вместе / Способ исправить наш героический стих, подражая / Умным германцам, сбросившим иго рифмы гремушки,

/ **Освободившим слух свой от стука ямбов тяжелых...**» (А. Ф. Воейков. Послание к С. С. Уварову, 1818 [Арзамас 1994: 2, 304—305]).

Отсюда, конечно, и загадочный **Стукодей** как антропонимическая маска бездарного стихотворца, появляющаяся едва ли не впервые у В. Л. Пушкина в сатирическом стихотворении «Вечер», где *Стукодей* выступает среди множества «вралей» (1798), а затем в цитированном выше «Послании к стихам моим» К. Н. Батюшкова: «Но с страстию писать не я один родился: / **Чуть стопы размерять кто только научился,** / За славою бежит — и бедный рифмотор / В награду обретет не славу, но позор. / Куда ни погляжу, везде стихи марают, / Под кровлей песенки и оды сочиняют. / И **бедный Стукодей,** что прежде был капрал, / Не знаю для чего, теперь поэтом стал: / Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет / И грациям стихи голодный сочиняет; / Пьет воду, а вино в стихах льет через край...» (1804 или 1805). Ср. также позднее: «О Момий наших дней / *Никита Стукодей*» (о Н. В. Всеволожском) в «Завещании» Я. Н. Толстого 1816 г. (см.: [Модзалевский 1928 / 1999: 14]). Из той же звуко-стуковой области и «наш поэт **Пестув**» в «Плаче о Пиндаре» В. А. Жуковского (1814), и «удары» рифм в «Сатире на современных поэтов» О. Сомова: «Там <в стихах «хилого стихов кропателя»> всё — нескладных рифм содом, / Они, как волны яры, / Спеша поставить свет вверх дном, / **Твердят свои удары...**» (1823).

Можно предполагать, что укреплению *ковать* и его производных в метаязыке литературского дела способствовали сопутствующие семантические признаки их основного значения, общие для «металлообработки» и «работы над стихом», и, в частности, идея «несвободы» или «ограничения свободы». Ср. «Неужель любить не можно, / Чтоб стихами не писать? / И, любя, ужели должно / **Чувства в рифмы оковать?** / По кадансу кто вздыхает, / Кто любовь в цветущий век / *Лишь на стопы размеряет,* / Тот прежалкий человек!..» (Д. В. Давыдов. Ответ на вызов написать стихи, 1816); «Вы, кои прихотью завистливыя музы / **Поэтов стран чужих куете в русски узы,** / Вы торжествуете! Вам дерзновење — щит, / Вкус ложный царствует, талант в пыли лежит» (А. А. Бестужев, К некоторым поэтам, 1819).

²⁷ Двухэтажный дом Шаховского (в 1840 г. надстроенный третьим этажом) находился на Малой Подьяческой, 12 [Шубин, Фабисович 1982: 3, 155] (позднее Малая Морская, а ныне ул. Гоголя), на углу Исаакиевской площади [Лотман 1983: 239], а не на Средней Подьяческой, как указывает Набоков.

²⁸ Та же связка «чердак» — «кабинет» (в виде перехода от первого ко второму) с той же «литераторской» специализацией обнаруживается в рукописях поэмы «Езерский» (1832—1833), герой которой «Бедняк, коллежской регистратор» в то же время «*Был сочи<нитель> и люб<овник>* / Свои статьи <вариант “стихи”> печатал он / *В Соревнователе...*». Здесь на месте первоначального «...в это время / Иван Езерской, мой чудак, / [Взошел] <и> *отпер свой чердак*» стало читаться: «...в это время / Домой приехав, мой сосед / *Вошел в свой скромный кабинет*» [Пушкин 1937—1949/1995—1997: 5, 410, 413, 406, 394].

²⁹ Ср. в письме Пушкина В. Ф. Одоевскому: «Я дома больной в насморке. Готов принять в *моей коморке* любезного гостя, но сам *из коморки* не выду» (1835—1836 гг.). Возможно и обратное соотношение. Рассказывая о пансионе «мусью Форсевиля», Ф. Ф. Вигель замечает, что, будучи формально главой этого заведения, он «почти ни во что не мешался. Он мало выходил из своей *каморки, прозванной кабинетом разве только потому, что в ней находился маленький шкаф с двумя дюжинами каких-то книг, прозванный библиотекой...*» (Записки. М.: Захаров, 2000: 25).

³⁰ На выходе из Лицея Пушкин, в своей юной безоглядной дерзости и в рыцарском порыве мог вступить за «обиженного» Шаховским Карамзина и высмеять «обидчика» под прозрачной маской «Шутовского», мог сочувственно внести в свой дневник под 28 ноября 1815 г. вышедший из-под пера Д. В. Дашкова издевательский гимн «Венчанье Шутовского», мог предъявить Шаховскому общий счет в коротких уничтожающих строчках «Моих мыслей о Шаховском» (1815), мог продолжать вести эту линию в период ожесточенной, нередко выходившей за границы приличий борьбы «Арзамаса» и «Беседы», но уже в 1819 г. говорил о нем только с легкой иронией (письмо П. Б. Мансурову, 27 октября). Еще через два года он заинтересованно запрашивал Я. Н. Толстого из Кишинева: «Что Всеволожские? что Мансуров? что Барков? что Сосницкие? что Хмельницкий? что Катенин? *что Шаховской?..*» (письмо от 26 сентября 1822 г.), а затем последовали общеизвестные онегинские строки о «*колком Шаховском*» и «шумном рое» его комедий (I, XVIII, 10—11). При этом, не забывая о некой связи между «клеветой» Ф. И. Толстого и «Чердаком князя Шаховского», Пушкин никогда не преувеличивал роли самого комедиографа в этой истории, а о его «Чердаке», где он некогда бывал почти ежедневно (см. об этом в письме В. Л. Пушкина П. А. Вяземскому, 19 апреля 1819 г.), вспоминал с теплотой и нежностью. Так, сообщая П. А. Катенину, что «4 песни Онегина» у него «готовы» (и, значит, та самая 4-я «песнь», где он намеревался было рассчитаться с Толстым), он писал ему: «Прочел в Булг<аринском театральном альманахе> твое 3-е действие, прелестное в величавой простоте своей. *Оно мне живо напомнило один из лучших вечеров моей жизни; помнишь?.. На чердаке Шаховского...*» (12—14 сентября 1825 г.).

³¹ Кто бы ни был возможной жертвой предполагавшегося Пушкиным мстительного выстрела (император, как думали, например, П. О. Морозов и М. А. Цявловский, граф М. С. Воронцов, как полагали иные [Модзалевский 1926 / 1989: I, 524] или граф Милорадович [Набоков 1998: 356]), сама идея подобного покушения говорит о степени трагичности ситуации в тогдашнем его восприятии.

³² Но если значение временной направленности в этих двух вариантах слова *мечта* (направленности вперед, в будущее в *мечта*¹, направленности назад, в прошедшее в *мечта*²) приобретает семантикой целого из контекста, то что

же принадлежит собственной семантике их инварианта? — По-видимому, только значение самого статического ментального акта, и это значение, как свидетельствуют факты, — ‘мысль, размышление, дума’. Не «мысленный образ чего-либо желаемого», как определяет одно из современных значений этого слова [БАС], не «мысль, дума о чем-либо сильно желаемом, манящем», как формулирует [МАС], а ‘мысль’, просто ‘мысль’, без каких бы то ни было ограничивающих, сужающих и специализирующих ориентационно-временных определений. Это значение обнаруживается:

а) в случаях, когда динамическое понимание ментального акта полностью исключается: «*О тленности мечта здесь <на кладбище> дух мой посещает, / Шаг каждый мой себе подобных попирает...*» (М. В. Милонов. Уныние, 1811); «*А ты, товарищ мой по чувствам и по службе, / Бессмертных дев любимое дитя, / О Гнедич, может быть, с тобою / Навек, мой друг, простился я! / Увы! сей грустною мечтою / Полна теперь душа моя!..*» (М. Н. Загоскин. Послание к Н. И. Гнедичу, 1821); «*Есть час блаженства для поэта, / Когда мгновенною мечтой / Душа внезапно в нем согрета / Как будто огненной струей; / Сверкают слезы вдохновенья, / Чудесной силы грудь полна, / И льются стройно песнопенья, / Как сладкозвучная волна...*» (А. С. Хомяков. Два часа, 1830);

б) в случаях совмещения рассматриваемых семантических вариантов, когда происходит взаимопогашение компонентов их временной ориентации: «*Терял невольно веру я / Врачей в печальные искусства: / Свой одр в мечтах я окружал / Судьбой отнятыми друзьями, / В последний раз им руки жал, / Молил последними словами / Мой бедный гроб не провожать, / Не орошать его слезами, / Но чаще с лучшими мечтами / Мечту о друге соединять...*» (А. И. Дельвиг. К Софии, 1823); «*Меж тем приветно в сакле дымной / Приезжий встречен стариком; / Сажая гостя пред огнем, / Он руку жмет гостеприимно. <...> / Они заводят речь о воле, / О прежних днях, о бранном поле; / Кипит, кипит беседа их, / И носятся в мечтах живых / Они к грядущему, к былому...*» (М. Ю. Лермонтов. Измаил-Бей, 1, 23, 1832). Ср. также: «*...Меж тем, / Между двух теток у колонны, / Не замечаема никем, / Татьяна смотрит и не видит, / Волненье света ненавидит; / Ей душно здесь... она мечтой / Стремится к жизни полевой, / В деревню к бедным поселянам, / В уединенный уголок... // Так мысль ее далеко бродит: / Забыт и свет и шумный бал...*» (7, LIII, 2—10; 7, LIV). Ср. еще: «*Воспоминанье здесь унылое живет; / Здесь к урне преклонясь задумчивой главою, / Оно беседует о том, чего уж нет, / С неизменяющей Мечтою. / Все к размышленью здесь влечет невольно нас; / Все в душу томное уныние вселяет; / Как будто здесь она из гроба важный глас / Давно минувшего внимает. <...> И нечувствительно с превратности мечтой / Дружится здесь мечта бессмертия и славы...*» (В. А. Жуковский. Славянка, 1815);

в) при неопределенности и размытости показаний контекста о статико-динамических и ориентационно-временных характеристиках ментального действия: «*И в одиночестве жестоком / Сильнее страсть ее горит, / И об Онегине далеком / Ей сердце громче говорит. / Она его не будет видеть; / Она должна в нем ненавидеть / Убийцу брата своего...*» / <...> // <...> / ...В поле чистом, / Луны при свете серебристом, / В свои мечты погружена, / Татьяна долго шла одна...» (7, XIV, 1—7; 7, XV, 5—8).

Ср. аналогичную ситуацию для отыменного глагола *мечтать* — ‘думать, мыслить, размышлять’: «*В речи вслушавшись чужие, / Загрустил сильнее князь; / Вспомнил славу и впервые / Слезы брызнули из глаз. / “До какого униженья, — / Он мечтал, потупя взор, — / Довели нас заблужденья / И погибельный раздор”!*»

(К. Ф. Рылеев. Михаил Тверской, 1821/1822); «В давно минувших временах / Крылатой думою летая, / *О прошлых он мечтал боях, / Гремевших на берегах Дуная...*» (К. Ф. Рылеев. Святослав, 1822); «Но она равнодушно смотрела на сию картину природы. *Она мечтала о трудном положении отца, о милом друге, о счастье быть с ним вместе...*» (А. Корнилович. За Богом молитва, а за царем служба не пропадают, 1825); «В молчанье грусти безнадежной / Сидит недвижно у окна: / Сидит и бури вой мятежный / Уныло слушает она, / *Мечтая: нет со мною друга; / Ты мне постыл, печальный свет!..*» (Е. Баратынский. Эда, 1824); «Зевес, любя семью людскую, / Попарно души сотворил / И наперед одну мужскую / С одною женской согласил. / Хвала всевышней благостыне! / Но в ней нам мало пользы ныне: / *Глядите! ныне род людской, / Размножась, облил шар земной. / Куда пойду? мечтаешь с горем. / На хладный север, знойный юг? / За Белым иль за Черным морем / Блуждаешь ты, желанный друг?*» (Е. Баратынский. Переселение душ, 1828—1829?); «Царевна вскрикнула. Кого же / Узрела, скорбная душой, / В толпе невольниц пред собой? / Кого? Пастушку молодую, / С собой довольно недурную, / Но очень смуглую лицом, / Глазами бойкую и злую, / С нахмуренным, упрямым лбом. / *Царевна смотрит и мечтает: / “Она ли мне предпочтена!”*» (Е. Баратынский. Переселение душ, 1828—1829?); «Я видел море, я измерил / Очами жадными его: / Я силы духа моего / Перед лицом его поверил. / “О море, море! — *я мечтал / В раздумье грустном и глубоко. — / Кто первый мыслил и стоял / На берегу твоём высоком?..*”» (А. Полежаев. Море, 1831); «Объятый горестною думой, / Смотрю рассеянно на лес, / Где враг, свирепый и угрюмый, / Сменив покой на заговор, / Таит свой немощный позор. / Смотрю на жалкую ограду / Неукротимых беглецов, / На их мгновенную отраду / От изыскательных штыков; / На русский стан; воспоминаю / Минувшей битвы гул и звук / *И с удивлением мечтаю: / О воин гор, о Герменчуг! / Давно ли, пышный и огромный, / Среди завистливых врагов, / Ты процветал под тенью скромной / Очаровательных садов?*» (А. Полежаев. Герменчуг, 1832); «В эти чудные мгновения <в объятиях матери> мысль не приходила, что может настать время, когда эти ласки не будут согревать меня и нежить. А когда и набегала изредка такая мысль, то вдруг становилось холодно и страшно. Страшно было вообразить себя в этой пустоте без живительной нежности матери, и я в такие минуты ближе припадал к ней, *мечтая, что легче было бы лечь с нею в могилу, что и тут согреешься у ее груди*» (А. В. Марков-Виноградский. Отрывки из записок и журнала неизвестного человека, 1840).

³³ Ср.: «Сижу задумавшись; в душе моей мечты; / *К протекшим временам лечу воспоминаньем...*» (В. А. Жуковский. Вечер, 1806); «Какой-то силою волшебной / Она влечет меня к себе / И, перекорствуя судьбе, / Врачует грудь мечтой целебной! / *Предавись ей, я вижу вновь / Мои потерянные годы, / Дни счастья, дружбы и свободы, / И помню первую любовь...*» (А. И. Полежаев. Звезда, 1820-е гг.); «На берегах задумчивой Эсмани, / Чуть слышимой в шумящих камышах, / Унынием встревоженный, в *мечтах / Платил я прошлой жизни дани...*» (В. И. Туманский. Видение, 1822); «Быть может, некогда твой счастливый поэт, / *Беседуя мечтой с прошедшими веками, / Расскажет стройными стихами / Златые были давних лет, / И, вольный друг воспоминаний, / Он станет петь дела отцов...*» (Н. М. Языков. Посвящение А. М. Языкову, 1822); «*Одною памятью еще мы в свете живы, / Ее лишь призраки наш мертвый красят сон; / Все счастье в мечтах;* и подлинно счастливы, / Что не всего лишил нас злой судьбы закон. / И на крылах воображенья, / Как ластица, скиталица полей, / Летит душа, собирая наслажденья / С обильных жатв *минувших дней*» (П. А. Катенин. Мир поэта, 1822);

«Не знаю, милая, как ты, / Но я не позабуду про былое: / Мне утешительны, мне сладостны мечты, / Безумство юных дней, тоска и суеты...» (К. Ф. Рылеев. Воспоминания, 1823); «Средь пышных развалин бродил я мечтами, / Смотря на извивы свободной струи...» (В. Н. Григорьев. Чувства плененного певца, 1823); «Как я любил в стране чужой / Мечтать о родине священной, / Я вспоминать о вас любил / Мои младенческие годы, — / И юной страсти первый пыл...» (А. А. Шишков. Родина, 1826/1828); «Пред ним <прахом> печальной головою / Склонюся; много вспомню я — / И умиленную мечтою / душа разнежится моя!» (Н. М. Языков. На смерть няни А. С. Пушкина, 1830); «Невольной, неизбежной, / Я предаюсь мечте моей вполне, / Я бы хотел, чтоб призрак мой мятежный / Не говорил о милой старине...» (А. И. Подолинский. Сонет, 1832); «В нас ум — космополит, но сердце домосед: / <...> / Но сердце старыми мечтами молодеет, / Но сердце старыми привычками живет / И радостней в тени прошедшего цветет...» (П. А. Вяземский. Самовар, 1838); «Ласкаю я в душе старинную мечту, / Погибших лет святые звуки. / И если как-нибудь на миг удастся мне / Забыться, — памятью к недавней старине / Лечу я вольной, вольной птицей; / И вижу я себя ребенком...» (М. Ю. Лермонтов. «Как часто пестрою толпою окружен...», 1840); «В его крови / Еще пылал огонь страстей; / Еще просили страсти те / Не жизни старческой — в мечте / О жизни прошлых юных дней, — / А новой пищи, новых мук / И счастья нового...» (А. Григорьев. Олимпий Радин, 3, 1845); «То, возвратясь мечтой в тот возраст свой веселый, / Когда он отроком счастливо расцветал / При матери, в глазах любовь ее читал, / <...> / Он тут воспоминал родной дубравы тень...» (П. А. Вяземский. Дом Ивана Ивановича Дмитриева, 1860) и др.

³⁴ Если «мечты» — воспоминания, как равным образом подозрения, опасения, страхи и т. п., можно «усыплять» (ср. еще: «Счастливым сын уединенья, / Где сердца ветреные сны / И мысли праздные стремленья / Разумно мной усыплены...» — Е. Баратынский. Князю Петру Андреевичу Вяземскому, 1842), то можно, естественно, их и «пробуждать»: «О ком, мой сын, напомнил ты? / Что от меня узнать желаешь? / Какие страшные мечты / Ты сим в Рогнеде пробуждаешь!...» (К. Ф. Рылеев. Рогнеда, 1823). Ср.: «С тоской на радость я гляжу, / Не для меня ее сиянье, / И я напрасно упованье / В больной душе моей бужу...» (Е. А. Баратынский. Ропот, 1820).

³⁵ Вот для сравнения еще один пример пушкинского обобщения как средства освобождения от «личностей». В черновом варианте отрывка «Участь моя решена...» (1830) было: «Так поэма, обдуманная в уединении, ночью при свете луны, <...> потом печатается в сальной типографии, продается в книжной лавке, читается лакеями и критикуется в [Северн<ой> Пчеле] дураком...» В белой рукописи выделенная фраза была переработана так: «и критикуется в журналах дураками» [Пушкин 1937—1949/1995—1997: 8 (2), 957; 8 (1), 408].

Литература

Арзамас 1994 — «Арзамас»: Сборник. В 2 кн. М., 1994.

БАС — «Большой академический словарь» = Словарь современного русского литературного языка. Т. 1-17. М.; Л., 1950—1965.

Бродский 1950 — Н. Л. Бродский. Евгений Онегин: Роман А. С. Пушкина. М., 1950.

Грот 1911/1998 — К. Я. Грот. Пушкинский Лицей (1811-1817). СПб., 1998 (воспроизведение 1-го изд. 1911 г.).

Даль 1881/1955: II — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1881 / М., 1955.

Добрицын 2001 — А. А. Добрицын. «На лире легкой и небрежной...»: Заметки о влиянии *poesie fugitive* на лицейские стихи Пушкина // *Polonica. Rossica. Cyclica: Профессору Рольфу Фигуту к 60-летию*. М., 2001. С. 274—284.

Засорина 1977 — Л. Н. Засорина. Частотный словарь русского языка. М., 1977.

Краснокутский 1977 — В. С. Краснокутский. О своеобразии арзамасского «наречия» // «Замысел, труд, воплощение...». М., 1977. С. 20—41.

Лотман 1983 — Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Пособие для учителей. 2-е изд. Л., 1983

Максимович-Амбодик 1788/1811/1995 — Избранные эмблемы и символы на Российском, Латинском, Французском, Немецком и Английском языках, объясненные, прежде в Амстердаме, а потом во граде Св. Петра 1788 г., с приумножением изданные Статским Советником Нестором Максимовичем Амбодиком. Репринт: М., 1995.

МАС 1986 — «Малый академический словарь» = Словарь русского языка. В 4 т. М., 1985-1988.

Миронов 1999 — В. Ф. Миронов. Все дуэли Пушкина. М., 1999.

Модзалевский 1926/1998 — Б. Л. Модзалевский. Примечания // Пушкин. Письма. Т. 1. 1815—1825. М.; Л., 1926; (репринт 1998).

Модзалевский 1928/1999 — Б. Л. Модзалевский. Пушкин и его современники. Избранные труды (1898—1928). СПб., 1999.

Модзалевский 1935/1989—1999 — Б. Л. Модзалевский. Примечания // Пушкин. Письма. Т. 3. М.; Л., 1935; (репринт 1998—1999).

Набоков 1998 — В. В. Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998.

Набоков 1999 — В. В. Набоков. Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М., 1999.

НСРЯ 2000 — Т. Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка: Толково-словообразовательный. Т. 1—2. М., 2000.

Ож. 1975 — С. И. Ожегов. Словарь русского языка. 11-ое изд. М., 1975.

Пеньковский 1995 — А. Б. Пеньковский. Тимиологические оценки и их выражение в целях уклоняющегося от истины умаления значимости // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995. С. 36—40.

Письма 1926—1935 — Пушкин. Письма. Т. 1 (1815—1825). М.; Л., 1926; Т. 2 (1826—1830). М.; Л., 1928; Т. 3 (1831—1833) М.; Л., 1935; (репринт 1998—1999).

Пушкин 1937-1949 / 1995-1997 — А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. В 18 т. М.; Л., 1937-1949; (репринт 1995—1997).

Пушкин 1956—1958 — А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. В 10 т. М., 1956—1958.

Сл. XVIII 1988 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 4 (Воздух — Выпись). Л., 1988.

СЯП 1956-1961 — Словарь языка Пушкина. Т. 1—4. М., 1956—1961.

Уш. 1935-1940 — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1-4. М., 1935-1940.

Шоу 2000 — Дж. Томас Шоу. Конкорданс к стихам А. С. Пушкина. Т. 1—2. М., 2000.

Шубин, Фабисович 1982 — В. Шубин, В. Фабисович. К литературной жизни Петербурга // Русская литература. 1982. № 3. С. 149-159.

Русские числительные как классификаторы существительных*

В настоящей статье мы рассмотрим ограничения на сочетаемость числительных с существительными, обозначающими человека. Будет рассмотрено два типа ограничений. Первый тип составляют сочетания количественных числительных *три* и *четыре* с именованиями лиц мужского пола на *-а*. Ожидаемые формы *три/четыре мужчины* практически не употребляются носителями русского языка¹. Между тем речь здесь идет не о грубых нарушениях русской грамматики, а об отсутствии устойчивой литературной нормы, что статистически проявляет себя в низкой частотности сочетаний типа *три мужчины*. Для выражения соответствующего смысла обычно используются собирательные числительные *трое* и *четверо*: *трое мужчин, четверо юношей*.

Что касается личных мужских имен на *-а*, таких, как *Коля/Никита*, то здесь наблюдается весьма разнородная картина, которая меняется от носителя к носителю. Идиолекту автора формы *три Коли* и *четыре Агриппы* чужды так же, как и формы *три мужчины*, однако многие из информантов, в частности школьные учителя, которым довольно часто приходится вербализовать ситуации с участием нескольких детей, имеющих одинаковые имена, считают сочетание *три Коли* нормативным.

Но что действительно неоспоримо — это то, что у личных имен запрещены сочетания с собирательными числительными типа *трое*: **трое Володь*. И соответственно, второй тип запретов, который мы собираемся рассмотреть, связан с сочетаемостью собирательных числительных, таких, как *трое* и *четверо*.

В разделе 1 ниже мы надеемся объяснить ограничения на употребление сочетаний типа ?*три мужчины*, а в разделе 2 — запреты типа **трое Володь*.

¹ И. А. Мельчук свободно употребляет форму *три мужчины*, но большинство других носителей русского языка, с которыми мы консультировались, эту форму не используют, см. [Мельчук 1985: 380].

1. Три и четыре

Низкая употребительность сочетаний типа *три мужчины* вызывает ряд вопросов. Один из них состоит в следующем: почему запрет касается не всех числительных, а только числительных *три* и *четыре*, сложных числительных типа *тридцать три*, а также — в некоторых идиолектах — числительного *два*²? В связи с поставленной выше задачей мы ограничимся преимущественным анализом форм, обозначающих людей: мужчин и женщин. Кроме того, в данном подразделе мы рассмотрим только формы именительного падежа числительного, потому что в косвенных падежах запреты, которые мы собираемся объяснить, не проявляются.

Рассмотрим модели образования словосочетаний «количественное числительное плюс существительное» в именительном падеже.

Числительное *один* свободно сочетается с существительными любых морфологических типов. Оно согласуется с существительным в роде, числе и падеже: *один мужик, одна женщина, одни ножницы*.

Числительное *два* в именительном падеже согласуется с существительным в роде и управляет формой падежа, омонимичного родительному единственного: *два мужика, две женщины*².

Числительные *три* и *четыре* образуют счетное словосочетание по модели числительного *два*, но без различия форм рода и, соответственно, пола, т. е. в именительном падеже они управляют формой падежа, омонимичной родительному единственного: *три женщины, четыре мужика*.

Начиная с пяти, счетная форма образуется в режиме управления числительным формой родительного множественного без различия рода: *пять мужчин/женщин/мужиков/сел*.

Образование счетных словосочетаний с числительными *два, три* и *четыре* имеет следующую важную особенность: в контексте прилагательного числительные управляют формой единственного числа родительного падежа у существительного, но множественного (!) числа родительного (или именительного) падежа у прилагательного: *два/две/три/четыре красивых/красивые женщины/мужика*. В последнем примере в форме *мужика* представлено единственное число, а в формах *красивых/красивые* — множественное. Что касается падежа прилагательного, то формы

² Многие информанты весьма настороженно относятся к форме *два мужчины*, избегая ее и предпочитая ей в тех случаях, когда отсутствуют семантические запреты на сочетаемость с собирательным числительным, форму с *двое*: *двое мужчин*. О семантических запретах на сочетаемость собирательных числительных см. раздел 2. Частотность сочетаний типа *два мужчины* действительно невелика. Идиолекту автора статьи формы *два мужчины* и *два юноши* не чужды. Однако мы не можем не считаться с тем, что статистика говорит не в пользу сочетания *два мужчины*.

² С существительными *Pluralia tantum* образование счетного словосочетания подчинено особым правилам, на которых мы здесь не останавливаемся: *трое саней, двое штанов, трое суток, пять суток*. См. об этом, например [Мельчук 1985: 385].

именительного (*три красивые женщины*) и родительного (*три красивых женщины*) варьируют.

Зафиксируем еще одну существенную особенность счетных словоформ в контексте числительных *два*, *три* и *четыре*. В формах женского рода родительный единственного и именительный множественного весьма часто совпадают⁴, т. е. счетная форма женского рода оказывается омонимичной именительному множественного: *Пришли женщины* — *Пришли две/три/четыре женщины*.

Сравним теперь *Пришли три красивых/красивые мужика* и *Пришли три красивые/красивых женщины*. Если говорящий в качестве одной из возможных форм прилагательного в составе счетного словосочетания выбирает форму именительного падежа, то счетная форма женского рода опять же совпадет с формой множественного числа: *Пришли красивые женщины* — *Пришли три красивые женщины*, см. об этом [Супрун 1959: 60; 1964: 88; Виноградов 1972: 245]. Такое совпадение имеет семантическую поддержку, т. к. количество «два»/«три»/«четыре» соответствует концепту множественности. У существительных мужского типа склонения такого совпадения нет: *Пришли мужики* — *Пришли три мужика*. И у прилагательного в сочетаниях с числительным в мужском роде, в отличие от женского, родительный множественного встречается много чаще, чем именительный множественного. Так, *три красивых мужика* — форма гораздо более частотная, чем форма *три красивые мужика* (см. статистику в книге [Супрун 1959: 73], ср. также анализ в [Comrie et al. 1996: 160-161], там же литература по теме).

Итак, получаем: у существительных мужского и женского типов склонения синтаксические модели образования словосочетаний с числительными *два*, *три* и *четыре* в именительном падеже различны. Женский тип приближается к согласовательной модели (*три красивые женщины*), а мужской — основан на управлении (*три красивых мужика*).

В итоге можно выделить четыре морфолого-синтаксические модели формирования словосочетаний числительных с существительными, обозначающими людей. 1) Адъективная модель числительного *один*. 2) Модель числительного *два*, где числительное эксплицитно различает род и, соответственно, пол (*два—две*), а с синтаксической точки зрения модель образования счетного словосочетания совпадает с моделью числительных *три* и *четыре* (см. следующий пункт). 3) Модель числительных *три* и *четыре*, где числительное не различает рода, но у мужского и женского типа склонения различные синтаксические предпочтения, о которых сказано выше.

⁴ В применении к именованиям женщин исключения составляют слова *вдова* (*нет вдовы* vs. *пришли вдовы*), *жена*, *сестра*, *сноха* и *кинозвезда*: родительный единственного и именительный множественного у этих слов различаются местом ударения. У других именований женщины на *-а* родительный единственного и именительный множественного совпадают: *нет девочки* — *пришли девочки*.

Соответственно, выделяются 3.1) мужской подтип (*три красивых мужика*) и 3.2) женский подтип (*три красивые женщины*). 4) Субстантивная модель числительного *пять* и числительных более пяти (кроме сложных числительных с последним компонентом до пяти), где у обоих полов одинаковая модель образования счетного словосочетания.

Многообразии морфолого-синтаксических моделей образования счетных словосочетаний дополнительно осложняется тем, что у существительных, обозначающих мужчин, выделяется подкласс слов на *-а*, которые в контексте числительных *два*, *три* и *четыре* должны подчиняться женской синтаксической модели образования счетного словосочетания. Таким образом, в «синтаксически женском» классе 3.2 выделяется «семантически мужской» подкласс. Ситуация в русском языке такова, что соответствующий этой зоне план выражения не выработал для себя устойчивых средств с использованием числительных *два*, *три* и *четыре*.

В связи с этим возникает гипотеза о том, что женская синтаксическая модель образования счетного словосочетания обладает «феминизирующим» воздействием на существительные, обозначающие мужчин, и поэтому такие формы, как *три/четыре мужчины*, а также в некоторых идиолектах и *два мужчины* оказываются на периферии нормы. Заметим, что совершенно аналогично, контекст собирательных числительных служит «маскулинизирующим» контекстом для имен женщин: [?]*трое женщин*. Этот факт русского языка хорошо известен, см. [Супрун 1959: 80; 1964: 74; Виноградов 1972: 249; Русская грамматика 1982: 79].

В контексте числительного *два* «феминизирующий» эффект отчасти нейтрализуется эксплицитным указанием на пол, выражаемый родом числительного и можно предположить, что именно поэтому форма *два юноши* более приемлема, чем форма *три юноши*. Повторяем, что в разных идиолектах можно наблюдать разные предпочтения: для некоторых носителей форма *два юноши* так же неприемлема, как и *три мужчины*.

Гипотеза о «феминизирующем» эффекте женской синтаксической модели подкрепляется следующим фактом. Существительные общего рода на *-а* (*сирота*, *староста*) в контексте числительных *три* и *четыре* понимаются носителями русского языка скорее как относящиеся к женщинам, чем к мужчинам. Опрос информантов говорит о том, что сочетание *вдова и три сироты* понимается в том смысле, что у вдовы было скорее три дочери, чем три сына или трое детей обоего пола. Соответственно и пример из Окуджавы *Три жены, три сестры, три судьи милосердных открывают бессрочный кредит для меня*⁵ воспринимается носителями языка скорее как нормативный, а предложение из репортажа о выборах американского президента [?]*Четыре судьи из*

⁵ Словари относят существительное *судья* к мужскому роду [Ожегов, Шведова 1992]. Представляется, однако, что отнесение существительного *судья* к общему роду не менее правомерно, чем отнесение к общему роду существительного *сирота*.

семи высказались за ручной пересчет голосов в штате Флорида при том, что судьи были мужчины, как не вполне соответствующее норме.

Область семантически мужской, но морфолого-синтаксически женской моделей образования счетного словосочетания оказывается «мертвой» зоной, и для выражения соответствующей семантики русский язык разрабатывает заместительные средства: образование счетного словосочетания на основе собирательных числительных *трое* и *четверо*.

Необходимо заметить, что вне специфических синтаксических сочетаний с числительными *два*, *три* и *четыре* существительные мужского рода на *-а* не несут отпечатка женскости, т. е. они хорошо освоены языком. Характерно также, что и слова женского рода, которые могут обозначать мужчин (ср. *мужская особь*, *три мужских фигуры*), не имеют формальных ограничений на сочетаемость. Как кажется, «феминизирующий» эффект возникает только в тех контекстах, где женская морфологическая модель склонения определяет выбор синтаксической зависимости между числительным и связанным с ним существительным.

Таким образом, мы надеялись предложить своего рода «морфологическое» объяснение тому, почему сочетания типа *три/четыре мужчины* недостаточно надежно освоены русским литературным языком. Обратимся теперь к сочетаемости собирательных числительных, для анализа которой потребуются «семантические» аргументы.

2. Собирательные числительные

Перейдем к обсуждению запрета типа **трое Володь*.

Запрет на сочетаемость личных имен на *-а* с собирательными числительными не ограничен числительными *трое* и *четверо*: он касается всех собирательных числительных. Более того, запрет касается не только имен на *-а*: с личными именами других морфологических типов собирательные числительные тоже не сочетаются: **трое Алексеев*, **семеро Раулей*. И наконец, для запретов, рассмотренных в данном подразделе, несущественно, в каком падеже рассматривается сочетание числительного с существительным.

Наша гипотеза состоит в том, что запрет на сочетаемость собирательных числительных с личными именами имеет семантический характер, или иначе, что семантика собирательных числительных не сочетается с личными именами и с некоторыми другими обозначениями человека⁶.

⁶ Собирательные числительные применимы не только к именованию мужчин, но и к другим существительным: *трое саней*, *четверо щенят*. О сочетаемости собирательных числительных с существительными, которые обозначают не лица, и об историческом развитии форм собирательных числительных см. [Супрун 1959: 81-82; Шахматов 1957: 148, 185-186; Виноградов 1972: 248-250; Мельчук 1985: 381-399]. Факты, которые приводят А. А. Шахматов и другие авторы, говорят о том, что в контексте данной статьи словосочетания, обозначающие не лиц, можно сразу выделить в отдельный класс и исключить из рассмотрения, в частности, принимая во внимание то, что они имеют другое происхождение, чем те, которые обозначают мужчин.

Запрет на сочетаемость собирательных числительных с личными именами также вызывает ряд вопросов. Почему запрет касается только личных имен, но не затрагивает фамилии (*Мы, шестеро Джеретти, сидели, дожидаясь своей очереди* (Куприн)? См. об этом [Супрун 1959: 80; 1964: 74]. Почему запрет касается не только личных имен, но и других типов существительных и подзначений существительных⁷ (**Вася всегда считал, что у него двое отцов: один, который родил, и другой, который вырастил; *Для участия в спектаклях по драмам Пушкина подготовлено двое мельников и трое юродивых; ?До моего выступления еще трое докладчиков; *Баскетболист ростом как двое жокеев*)?

Для объяснения запретов на сочетаемость собирательных числительных с существительными в подразделе 2.1 ниже предлагается описание регулярной многозначности существительных, именующих человека. Мы предполагаем, что эта классификация подзначений проливает свет на сочетаемость существительных с собирательными числительными.

2.1. Подзначения именованний человека

В данном разделе мы рассмотрим некоторые подзначения таксономической категории существительных, обозначающих человека.

(1) 'Человек как индивид, воплощающий в себе некоторый признак'.

Для данного подзначения существенно, что здесь имеется в виду живой человек, обладающий душой, памятью и телом, а также то, что этот человек характеризуется некоторым онтологическим признаком. Так, существительное *солдат* в данном подзначении понимается как лицо, которое обладает признаком «быть солдатом»: *На дороге показался с о л д а т с вещевым мешком и скаткой за плечами.*

(2) 'Человек как имя или функция'.

Данное подзначение охватывает личные имена, роли людей в ситуациях, в частности в пьесах, функции человека в отвлечении от конкретного человека, должности, титулы, саны, степени и звания: *Объявляется конкурс на замещение вакантной должности заведующего кафедрой славистики; Требуется у б о р щ и ц а ; Вторая сторона в дальнейшем именуется З а к а з ч и к о м ; З а к а з ч и к обязан...; Вася занял должность д и р е к т о р а /получил звание л е й т е н а н т а .*

Обсудим данное подзначение. Пусть известно, что N — это именование человека. Тогда для рассматриваемого подзначения существенно следующее.

⁷ О запретах и предпочтениях в сочетаемости собирательных числительных существует большая литература, см. [Супрун 1959; 1964; Мельчук 1985; 1995].

Человек, именуемый как N, может не быть воплощением признака N, как в подзначении 1, в следующих случаях. (2.1) Человек, который называется N, может только называться N, но в действительности не являться N. Так, исполнитель роли мельника еще не мельник, а носитель прозвища Деревянная Нога не принадлежит множеству деревянных ног. (2.2) Именование N может вообще не обозначать никакого признака, потому что оно служит только именем и не имеет сигнификативного значения⁸. Так, имя Вася не обозначает никакого признака. И наконец, (2.3) имя признака может служить именем признака отвлеченно от носителя признака. Так, директор в значении ‘пост директора’ — это не живой директор, а только его роль.

Для большинства именовании человека характерна многозначность ‘роль’ — ‘человек, играющий эту роль’. Так, слово *профессор* может в зависимости от контекста обозначать как ученое звание (*Ему присвоили звание профессора*), так и человека, который воплощает в себе признак «быть профессором», т. е. профессора как лицо (*В аудиторию вошел профессор*). Между тем для некоторых слов более характерно только одно из этих двух подзначений. Так, для слова *солдат* весьма характерно употребление в значении лица, воплощающего свойство «быть солдатом»: солдат — это, прежде всего, человек, который выполняет обязанности рядового. А *лейтенант*, *генерал* и *адмирал* — это слова, которые призваны обозначать звания.

Схемы толкований слов, указывающих на лицо (*солдат*), и слов, обозначающих, в первую очередь, звания (*лейтенант*), различны. Так, словарь Ожегова в качестве первого значения слова *солдат* указывает «военнослужащий, принадлежащий к некомандному <...> составу» [Ожегов, Шведова 1992: 771]⁹. Словарные же статьи слов *лейтенант*, *генерал*, *адмирал* имеют однотипное толкование с учетом обоих подзначений: и лица, и звания. Толкования этих слов строятся по следующей схеме: ‘звание или чин, а также лицо, носящее это звание’. При этом «первое» подзначение формируется концептом чина, и только «второе» — концептом лица.

Характерно, что, выделяя данный тип многозначности и приводя соответствующие примеры, Ю. Д. Апресян описывает направление семантической деривации от значения ‘звание <степень, чин>’ к значению ‘человек, носящий это звание’ [Апресян 1974: 202]. В качестве примера слов, сформированных концептом ‘чин’, Ю. Д. Апресян приводит следующие: *академик*, *барон*, *главврач*, *граф*, *доктор*, *доцент*, *император*, *камер-юнкер*, *кандидат*, *канцлер*, *магараджа*, *майор*, *полковник*, *президент*, *премьер*.

В силу существующего устройства мира низший чин имеет больше шансов концептуализоваться как лицо, а высший — как звание: ср. *солдат* vs. *генерал*. Солдаты (в противоположность генералам), матросы (в противоположность адмиралам)

⁸ Об именах в отсутствие сигнификативного значения см. [Mill 1891: 20].

⁹ В качестве второго значения слова *солдат* словарь указывает «военный человек, воин» (*Наш генерал — старый солдат*). Других подзначений у слова *солдат* словарь Ожегова не выделяет.

и студенты (в противоположность деканам) — это живые люди, которых можно встретить в массе на ученьях, кораблях и в здании университета, а деканы и адмиралы — это звания, которых удостоиваются лишь избранные. Низшие чины «человечны», а высшие — отражение номенклатурной деятельности людей.

Последняя формула, однако, служит фиксацией не более, чем тенденции, потому что и низшие чины могут концептуализоваться в языке как звания (*ефрейтор*), а высшие ступени социальной иерархии — как лица (*боярин, сенатор, парламентарий, архонт*).

Некоторые — редкие — именованья человека практически не используются для обозначения людей как индивидов, а только функций и ролей: *заявитель* (*В комнату вошли несколько заявителей*), *истец, юридическое/физическое лицо* (*В комнату вошли несколько юридических лиц*), *адресат*. Ср., между тем, *гражданское лицо / лицо китайской национальности* в предложении *Своей очереди дожидались трое военных и двое гражданских лиц/двое лиц китайской национальности*¹⁰.

Итак, именование человека может обозначать не только человека в некоторой роли, но также имя человека или роль. Некоторые слова могут свободно употребляться в обоих подзначениях (*профессор*), некоторые — только в значении роли (*заявитель*), и наконец, к последней группе относятся слова, употребляющиеся преимущественно в значении лица (*солдат*).

(3) 'Человек как физическое тело'.

Употребление именованья человека в роли физического объекта относится к редким, нестандартным, употреблениям: (*выходит, спотыкается об Гоголя и падает*). *Вот черт! Никак об Гоголя!*¹¹ (Хармс); *Человек на девяносто процентов состоит из воды*.

Использование именованья человека в значении физического тела рассматривается А.А. Зализняком в качестве примера «семантически нестандартного» употребления при введении понятий семантически стандартных и семантически нестандартных предложений: чтобы понять «нестандартную» фразу *Зайца убило охотником*, нужно осмыслить охотника как физическое тело, которое падает на зайца сверху. Охотник здесь в силу метонимического переноса переходит из класса лиц в класс физических тел [Зализняк 1973].

¹⁰ Существуют контексты, переводящие слова, направленные на обозначение функций и ролей, в разряд обозначений «живых» людей. Один из таких контекстов — указательные местоимения, ср. пример приводимый И. А. Мельчуком [Мельчук 1995: 399]: *Эти четверо юридических лиц могут создать независимую организацию*.

¹¹ Пример взят из произведения Хармса «Пушкин и Гоголь», написанного с позиций эстетики абсурда, что подтверждает тот факт, что концептуализация человека как физического тела находится на границе языковой нормы. В этом смысле пример *Зайца убило охотником*, приводимый А. А. Зализняком (см. [Зализняк 1973]), тоже может служить пародией на цитату из произведения абсурда.

(4) ‘Человек как мера’.

К пониманию человека как физического тела примыкают употребления имени человека в качестве единицы измерения. Приведем характерный пример употребления имени лица в качестве меры человеческих качеств:

Ай же ты, калека, калека переходящая!

Молодца в тебя в два меня,

А силы-то у тебя в три меня,

А смелости нет и в пол-меня.

Этот пример заимствован из [Виноградов 1972: 244].

Рассмотрим и другие примеры.

(4.1) ‘Человек как мера пространства’: *Он сидел через три зрителя от меня / стоял в ряду за четыре солдата от конца.*

(4.2) ‘Человек как мера времени’: *До моего выступления еще один докладчик.*

(4.3) ‘Человек как мера веса’: *Один штангист весом как два бегуна.*

Итак, основной тип концептуализации человека — это понятие лица, наделенного некоторым признаком. Выделяются и другие типы концептуализации человека: человек как имя, человек как роль (функция), человек как физическое тело и человек как мера.

2.2. Сочетаемость именованій человека с собирательными числительными

Собирательные числительные предназначены для обозначения группы лиц, и преимущественно мужского пола¹², т. е. в качестве объекта счета они используют людей и, скорее, мужчин, чем женщин. Таким образом, собирательные числительные сочетаются только с именованіем человека в значении лица, наделенного определенными свойствами, т. е. с подзначением (1) из раздела 2.1. Тем самым объясняется запрет типа **трое Володь: Володя* — это имя, поэтому оно не сочетается с собирательным числительным.

¹² Если есть выбор между словосочетанием с количественным числительным и собирательным числительным (так, у существительного мужчина выбора практически нет), то для обозначения лиц, обладающих одним и тем же признаком, но не объединенных в группу, собирательное числительное, скорее, не будет употреблено. Так, И. А. Мельчук считает, что предложение *Вчера ко мне приходили четверо незнакомых мне студентов* будет употреблено, если студенты пришли все вместе, а предложение *Вчера ко мне приходили четыре незнакомых мне студента* — если студенты приходили в разное время [Мельчук 1995: 404].

Проиллюстрируем неспособность подзначений (2) — (4) к сочетаемости с собирательными числительными¹³.

(2) Ненормативность примеров — (а) **трое Володь*; (б) **Вася всегда считал, что у него двое отцов: один, который его родил, и другой, который вырастил*; (с) **Для участия в спектаклях по драмам Пушкина подготовлено двое мельников и трое юридивых* — объясняется неспособностью существительных в роли имени сочетаться с собирательными числительными. Так, пример (б) иллюстрирует неспособность обозначений уникальных объектов сочетаться с собирательными существительными. В силу существующего устройства мира у человека может быть только один отец, поэтому, когда говорят, что у Васи два отца, то это значит, что, как минимум, один отец только называется отцом, но таковым не является. В такой ситуации может быть употреблено только нейтральное к различиям рассматриваемого типа количественное числительное: *Вася всегда считал, что у него два отца*. Ср. нормативное *У Васи двое/трое/четверо братьев*.

Рассмотрим контекст, в котором к слову *отец* возвращается способность сочетаться с собирательными числительными: *В ответ на просьбу учительницы помочь в перестановке мебели в третьем классе откликнулось только трое отцов*. Сочетание *трое отцов* становится возможным потому, что имеются в виду отцы разных детей. Тем самым *отец* переходит из класса уникальных объектов в класс объектов, которые могут образовывать группу. Однако сочетание с количественным числительным здесь было бы более естественно просто потому, что существительное *отец* чаще сочетается с нечувствительным к оппозиции ‘лицо’-‘имя’ количественным числительным.

Сочетаемость существительных с собирательными числительными определяется структурой стандартной ситуации, в которой они о б ы ч н о сочетаются с числительными. Если слово *отец* в силу устройства мира и структуры соответствующего концепта в большинстве контекстов не сочетается с собирательными числительными, то в ситуациях, когда другое существительное допускало бы оба сочетания (*три преподавателя/трое преподавателей*), существительное *отец*, как правило, выбирает первую из этих возможностей:

¹³ «Не-личные» подзначения значения ‘человек’ в некоторых идиоматичных употреблении могут склоняться по модели неодушевленных существительных. так, выражения *выбиться в люди, пойти в солдаты, играть в дочки-матери* отражают обозначения человека в функции ролей, которые исполняются людьми; об этой проблеме см. специальный раздел в книге [Мельчук 1985: 460—488] и там же литературу по теме. Совпадение винительного падежа с именительным, как у неодушевленных предметов, а не с родительным, как у одушевленных, — это проявление той же семантической особенности, которая накладывает запрет на выражения типа *сидел через трое зрителей от меня*, т. к. в таких счетных выражениях реализуется «неодушевленная» модель формирования винительного падежа. Мы говорим *на два ученика больше*, а не *на двух учеников больше*. Ср. *Обратил внимание на двух учеников*.

В ответ на просьбу учительницы помочь в перестановке мебели откликнулось только три отца.

Таким образом, сочетаемость существительных с числительными выравнивается по семантическому стандарту и идиоматизируется. При этом семантический стандарт и, соответственно, статистическая частотность определяются стержнем соответствующего концепта. Солдат — это лицо, поэтому форма *трое солдат* весьма частотна и более универсальная форма *три солдата* не вытесняет ее, а ефрейтор — это воинское звание, поэтому форма *три ефрейтора* предпочтительна даже в тех контекстах, когда по семантическим показаниям может быть использована и форма *трое ефрейторов*. Существительные, которые в соответствии со своим собственным концептуальным стандартом обозначают должности и звания, чаще сочетаются с нечувствительным к оппозиции ‘лицо’ — ‘роль’ количественным числительным даже при обозначении лиц: *К нам приблизились три адмирала*. Заметим, что жесткого запрета на сочетание *трое адмиралов* нет: если адмиралы объединились в компанию, они могут быть названы и *трое адмиралов*.

В связи с полисемией слов, обозначающих степени и звания, возникает гипотеза о том, что затрудненная сочетаемость с собирательными числительными, которая традиционно связывалась с обозначением высокого положения на общественной лестнице, скорее, определяется оппозицией ‘лицо’ — ‘роль’, чем оппозицией ‘верхи’ — ‘низы’. При этом очевидно, что высшие чины чаще рассматриваются именно как чины (*генерал, адмирал*), а низшие — как именованные живых людей, которые легко собираются в группы и перемещаются гурьбой (*солдат, матрос, студент*). Поэтому может показаться, что сочетаемость с собирательными числительными следует связывать с положением на общественной лестнице, а не с оппозицией ‘лицо’-‘роль’; об оппозиции ‘верхи’ — ‘низы’ при сочетаемости с числительными см. [Мельчук 1995:402] и там же литературу по теме. Между тем мы уже показали в разделе 2.1, что и нижние чины могут концептуализоваться в языке как чины (ефрейтор, лейтенант), а высокие — как обозначения лиц (сенатор, парламентарий, боярин, архонт). И тогда обозначения людей, принадлежащих к высшим сословиям, сочетаются с собирательными числительными: *двое сенаторов, четверо парламентариев, семеро бояр, трое архонтов*.

Заметим, что склонность существительных с суффиксом *-ин* (*боярин, армянин*) к сочетаемости с собирательными числительными, независимо от принадлежности к высокому или низкому сословию (так, *боярин* явно принадлежит к высокому классу, а *армянин* не маркирован в отношении сословия), связана с тем, что в суффиксе *-ин* представлена концепция человека как лица, обладающего неким признаком, ср. подзначение 1 из раздела 2.1: *трое бояр; четверо армян/грузин/марсиан*.

Возникает вопрос: почему запрет типа **трое Володь* не затрагивает фамилий?

Ср. *трое Володиных*. Чем личные имена отличаются от семейных имен? Особенность фамилий состоит в том, что фамилия — это не только имя, но и именование признака, состоящего в отнесении человека к семье или клану. Фамилия задает множество: Иванов — один из многих Ивановых. Он член семьи Ивановых. И это объясняет нормативность сочетаний *трое Ивановых* и *шестеро Джеретти*¹⁴.

Аналогично фамилиям следует рассматривать и отчества, которые задают признак 'иметь отца с определенным именем': *трое Ярославичей* обозначает трех братьев — сыновей Ярослава, а также трех людей, у которых отцы носят имя Ярослав.

Имена нарицательные и другие знаки языка за исключением личных имен и названий уникальных объектов задают общий признак элементов некоторого класса. Соотнесенность признака с классом предметов, обладающих этим признаком, предполагает множественность элементов класса. Такая множественность определяется структурой языкового знака, и мы называем ее *п е р в и ч н о й*. Личное же имя — это ярлык уникального объекта. Сущность личного имени состоит в соотнесении с одним объектом, а не с множеством. И совпадение имен у разных объектов представляет собой случайное явление жизни, которое приводит к *в т о р и ч н о й* множественности неязыкового — онтологического — характера.

Собирательные числительные приложимы только к объектам, которые характеризуются первичной множественностью.

(3) Собирательные числительные не сочетаются с именами людей в значении физического тела: [?]*При взрыве пятеро раненых — трое солдат и двое матросов — обрушились прямо на меня и придавили меня*, ср. более естественное *При взрыве три раненых солдата и два матроса придавили меня*. «Трое солдат» говорят о дееспособных людях, а не о бесчувственных телах.

(4) Употребление именованного человека как меры в сочетании с собирательными числительными также ненормативно: [?]*До моего выступления еще трое докладчиков*, ср. нормативное *До моего выступления еще три докладчика*. См. также: ^{*}*Он сидел в первом ряду за трое зрителей от меня*¹⁵ и ср. нормативное *Он сидел в первом ряду за три зрителя от меня*.

Таким образом, мы получили не только ответ на вопрос о причине несовместимости с собирательными числительными личных имен, но и некоторых других классов слов со значением человека. Собирательное числительное плюс именование человека обозначает группу лиц, объединенных по определенному онтологическому признаку, — это солдаты, студенты,

¹⁴ Сочетание *трое Ивановых* может обозначать не только родственников, но и однофамильцев, потому что «Иванов» — это имя признака, который предполагает, что Ивановых может быть много.

¹⁵ Неспособность конструкций типа *за три человека от конца* и *через четыре солдата от меня* сочетаться с собирательными числительными — это известный факт [Мельчук 1985: 383], которому мы надеялись дать здесь некоторое новое объяснение.

бояре, архонты, которые собрались вместе. При этом людей с одинаковым именем (**трое Алеш*), набор вакантных мест на заполнение некоторой роли (**У нас на факультете есть семь вакансий: трое профессоров и четверо лаборантов*), а также скопления человеческих тел (?*Меня придавили трое потерявших сознание солдат*) словосочетание с собирательными числительными обозначать не может: соответствующий смысл выражается безразличными к указанным семантическим оппозициям количественными числительными¹⁶.

Итак, собирательные числительные служат своего рода семантическим классификатором русских слов, обозначающих человека, ибо сочетаемость с собирательными числительными выявляет два рода концептов. Первый тип концептов составляет ядро концепции человека по данным языка. Он связан с номинацией живых людей как лиц (и, скорее, мужчин, чем женщин, если верить сочетаемости с собирательными числительными), обладающих определенными признаками (*Пришел солдат*). Концепты второго типа составляют периферию семантического поля человека, потому что отражают человека не как личность, а его различные аспекты: роль или признак человека в отвлечении от самого человека (*звание профессора*), имя человека в отвлечении от его признаков (*Вася*), человеческое тело в отвлечении от личности (*споткнулся об Гоголя*).

Мы надеялись объяснить некоторые запреты на сочетаемость имен лиц с числительными. Неспособность существительных на *-а*, обозначающих мужчин, сочетаться с числительными *три* и *четыре* объясняется тем, что в этом контексте именование мужчины подпадает под действие женской морфолого-синтаксической модели образования счетного словосочетания, при том, что у других именованных мужчин в этом контексте — другая синтаксическая модель, что ведет к запрету на сочетаемость именованных мужчин на *-а* с числительными *три* и *четыре*. Таким образом, числительные *три* и *четыре* можно рассматривать как морфологический классификатор слов, именуемых мужчин, т. к. эти числительные выделяют класс слов мужского рода на *-а*, с которыми не сочетаются.

Запрет на сочетаемость собирательных числительных с личными именами объясняется тем, что собирательные числительные формируют концепт группы людей, которые объединены в соответствии с некоторым онтологическим признаком. В связи с этим собирательные числительные не сочетаются с употреблением лексем, обозначающих человека как имя, человека как функцию и

¹⁶ Неспособность именованных человека в значении функции и меры сочетаться с собирательными числительными не ведет к выводу о том, что группа лиц, которая обозначается собирательным числительным, всегда конкретно референтна: *Семеро одного не ждут*.

человека как физическое тело. В таких контекстах для обозначения количества используются количественные числительные, которые не чувствительны к семантическим оппозициям 'лицо'- 'имя'- 'тело'. Таким образом, собирательные числительные служат семантическим классификатором лексем, обозначающих человека. Сочетаемость с собирательными числительными выделяет класс слов, обозначающих лиц, которые обладают некоторым признаком, и отделяет этот класс от другого (периферийного), в который попадают собственные имена людей, именованья их ролей, функций и тел.

Литература

Апресян 1974 — Ю. Д. А п р е с я н. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

Виноградов 1972 — В. В. В и н о г р а д о в. Русский язык (грамматическое учение о слове). 2-е изд. М., 1972.

Зализняк 1973 — А. А. З а л и з н я к. О понимании термина «падеж» в лингвистических описаниях, 1 // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973. С. 53—87.

Мельчук 1985 — И. А. М е л ь ч у к. Поверхностный синтаксис русских числовых выражений. Sonderband 16. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, 1985.

Мельчук 1995 — И. А. М е л ь ч у к. La combinatoire des numéraux du type *dvoe* en russe contemporain // И. А. М е л ь ч у к. Русский язык в модели «Смысл ⇔ Текст». Sonderband 39. М.; Wien: Wiener Slawistischer Almanach; Школа «Языки русской культуры», 1995. Р. 381—422.

Ожегов, Шведова 1992 — С. И. О ж е г о в, Н. Ю. Ш в е д о в а. Толковый словарь русского языка. М., 1992.

Русская грамматика 1982 — Русская грамматика. Т. 2. М., 1982.

Супрун 1959 — А. Е. С у п р у н. О русских числительных. Фрунзе, 1959.

Супрун 1964 — А. Е. С у п р у н. Имя числительное и его изучение в школе. М., 1964.

Шахматов 1957 — А. А. Ш а х м а т о в. Историческая морфология русского языка. М., 1957.

Comrie et al. 1996 — В. Comrie, G. Stone, M. Polinsky. The Russian Language in the Twentieth Century. Oxford, 1996.

Mill 1891 — J. S. M i l l. A system of logic. London, 1891.

Лингвистические задачи изучения межкультурной коммуникации (на материале деловых переговоров)

1. Введение

Изучение межкультурной коммуникации — сугубо междисциплинарная задача. Кроме лингвистики ею занимаются науки о коммуникации, антропология, этнометодология, социальная психология и др. В последние три десятилетия тема межкультурного общения в исследовательской практике вызывает растущий интерес. Цель многих исследований — прикладная, связанная с применением их результатов на практике, в частности, в сферах международной политики и международного бизнеса.

Так, экономисты, особенно специалисты по международному менеджменту, заинтересованы в рекомендациях, касающихся того, как лучше подготовиться к переговорам и как сделать их более эффективными, поскольку, по данным крупных международных концернов, довольно большая доля начатых международных деловых контактов прерывается только вследствие того, что менеджеры не могут привыкнуть к особенностям другой культуры. Отсюда и большое количество книг по международному деловому этикету, стилю бизнеса и т. д.

Подобные книги нередко опираются на социально-психологические исследования (ср. очень популярные среди экономистов книги [Hofstede 1998¹; Thomas 1996]²), однако сильно упрощают их результаты.

¹ Комментарий к исследованиям Хофштеде на русском языке см. [Найдич 1999: 303 и сл.].

² В этих работах каждой культуре приписываются определенные стабильные нормы поведения, образы мышления, способы принимать решения и т. д. Австрийцы, например, характеризуются высокой степенью маскулинности (под критерием маскулинности понимается четкое различие ролей мужчин и женщин в профессиональной жизни). По этому признаку они находятся на втором месте после японцев, а шведы — на последнем среди представителей 40 стран [Thomas 1996: 189]. Кроме того, австрийцам приписывается, например, ярко выраженное стремление избежать риска, другими словами, любовь к правилам, согласно девизу «приказ есть приказ». Славянские культуры, за исключением бывшей Югославии, пока не присутствуют в этих масштабных исследованиях. В последние годы вышли, однако, исследования, в которых описываются не просто культурные стандарты как таковые, а культурные стандарты в сопоставительном аспекте [Meierewert 1999; Meierewert, Topcu 2000].

По сути дела провозглашаемые для экономистов-практиков «культурные стандарты» и «культурные параметры» оказываются очень близкими к известным национальным гетеростереотипам.

Насколько мне известно, в литературе на русском языке (например, в учебниках по деловому общению для экономистов) также используются упрощенные результаты социально-психологических исследований³. Так, в книге «Протокол и этикет для деловых людей» большая глава посвящена национальным особенностям делового общения [Холопова, Лебедева 1994: 147—202]. Там можно, например, прочитать, что немцы отличаются «трудолюбием, прилежанием, пунктуальностью, бережливостью, рациональностью, организованностью, педантичностью, скептичностью, серьезностью, расчетливостью, стремлением к упорядоченности» [Там же: 165]⁴. Подобные утверждения, безусловно, отражают некоторые реалии, но облегчит ли знание таких стереотипов общение с немцами — это вопрос, требующий осторожного ответа.

Общие представления о менталитете живущих в одной культуре людей тем не менее интересны и заслуживают определенного внимания, но они никоим образом не являются отражением действительности, верным в каждой отдельной ситуации межкультурного общения. Тем более если учесть социально-экономические преобразования последних десятилетий, существенным образом влияющие на изменение языковой картины мира (см., например, [Bartmiński 2000]). На мой взгляд, представления об особенностях менталитета носителей другой культуры могут быть полезными в гетерогенных языковых коллективах (например, когда иностранный менеджер должен руководить группой сотрудников — носителей чужой для него культуры).

³ Например, авторы одного из вузовских учебников для экономистов априори исходят из того, что «не может быть наднациональной модели теории и практики делового общения, поскольку любая рыночная экономика обладает присущими только ей культурно-историческими особенностями, так как каждый народ имеет свой национальный характер» [Лавриненко 1995: 6].

⁴ В книге нет отдельной главы, посвященной австрийцам, она содержит лишь несколько разрозненных замечаний об особенностях их речевого поведения. Например, о том, что обращение *Herr Doktor* (господин доктор) употребляется по отношению к врачам, докторам наук, артистам и музыкантам [Там же: 44] и что обращение *Frau Professor* (госпожа профессор) может означать, что муж этой женщины является университетским преподавателем [там же]. Это утверждение только частично соответствует нормам и практике австрийского речевого этикета, так как, с одной стороны, у артистов и музыкантов степень доктора — довольно редкое явление, а с другой стороны, традиция перенесения социального статуса мужа на жену в самой Австрии считается старомодной и встречается только в определенных кругах.

В ситуации же индивидуального общения (например, во время переговоров), на первый план выходят личностные особенности участников межкультурной коммуникации, включая свойства характера, степень профессионального и международного опыта и др. При этом типические, во многом мифологизированные, национальные гетеростереотипы могут вообще себя не обнаружить.

Подобное положение дел обуславливает актуальность изучения реальной практики межкультурной коммуникации, которая до настоящего времени мало исследована, а имеющиеся работы отличаются импрессионизмом и эклектизмом [Bühler 2000: 9]. Обращение к конкретным ситуациям межкультурного общения позволит получить аутентичный языковой материал, на базе которого можно делать выводы о реальных стереотипах речевого поведения и о реальности межкультурных различий в языковой картине мира и зависимости их от комплекса социально-лингвистических характеристик участников общения.

2. Универсальные речевые стратегии в межкультурном общении

Как показывают наблюдения, участники межкультурного взаимодействия следуют некоторым общим коммуникативным установкам. Принадлежность к разным культурам определяет выбор речевых стратегий. Из них наиболее существенными, на мой взгляд, являются следующие.

2.1 Повышенная толерантность к отступлениям от норм собственного языка и стереотипов поведения

Как правило, в межкультурных контактах участники общения проявляют гораздо больше толерантности по отношению к партнерам из других культур, прощая им отклонения от норм поведения и речевые ошибки. Так, например, когда одна иностранка пришла в гости в русскую семью и радостно сказала: «Дорогая Татьяна Петровна, я *огорчаю* Вас с праздником», — никто не отреагировал на лексическую ошибку.

Однако это совсем не значит, что все языковые ошибки автоматически пропускаются мимо ушей, поскольку смысл того, что хотел сказать иностранец, и так понятен, и корректировка происходит «в уме». Можно даже сказать, что чем лучше иностранец знает русский язык, тем менее вероятно, что его «простят», то есть мысленно, не произнося, исправят за него ошибки.

2.2. Перенесение собственных стереотипов поведения на чужую культуру

Нередко та или иная ситуация общения в инокультурной среде «прочитывается» коммуникантом в координатах своей культуры. Обычно это происходит автоматически, т. е. подсознательно. Привожу два примера:

1) Американский бизнесмен и его русский коллега были приглашены на день рождения в Москве. Через некоторое время американец спросил: «Это они так сердятся, потому что я пришел?»

Русский бизнесмен не понял, о чем речь, и сказал, что абсолютно никто не сердится и что все рады американскому гостю. Ошибочное восприятие ситуации возникло из-за незнания американцем некоторых особенностей русского речевого поведения: в непринужденной атмосфере принято шумно и оживленно говорить всем сразу.

2) Преподаватель университета, знаток России и русской культуры, был удивлён, когда новая русская преподавательница, приехавшая в Австрию по обмену, отреагировала смущением на его приглашение отпраздновать в ресторане её вступление в должность. Коммуникативная неудача обусловлена тем, что австриец действовал в этой ситуации в соответствии с принятыми в Австрии нормами поведения и не подумал, что в России приглашение мужчиной малознакомой ему женщины в ресторан имеет другие коннотации, а именно намек на желание завязать более тесное знакомство. Пример показывает, что одним участником (в рамках своей культуры) ситуация интерпретируется как чисто деловая, другим — как переходящая в сферу личных отношений.

Таким образом, сама ситуация становится центральным концептом для межкультурного общения; ср. [Blommaert 1991: 22]⁵.

2.3. Следование усвоенным культурным гетеростереотипам

Многие участники межкультурного общения стараются идти «навстречу» представителям других культур, исходя из своих, нередко стереотипных, представлений об особенностях чужой культуры, почерпнутых из разных источников (специальная, художественная литература, рассказы знакомых и т. п.). Это может приводить к тому, что реальные ситуации интерпретируются в соответствии с усвоенными стереотипами. Так, например, может случиться, что на официальную встречу русские (опираясь на расхожее представление о немецкой пунктуальности) приходят точно в назначенное время, а немцы (ориентируясь на известный стереотип о русских) с опозданием (пример из жизни). Или же австрийцы гостям из России в конце ужина предлагают чай, потому что знают, что они к этому привыкли, в то время как сами русские ожидали типичный для Австрии кофе.

Такие знания о другой культуре влияют на восприятие конкретных ситуаций. С одной стороны, подобным образом достигается высшая степень толерантности, с другой стороны, это может привести к ложным интерпретациям. Ведь психология и теория восприятия доказали, что конкретные ожидания определяют восприятие, и ожидания, как правило, оправдываются. Этот механизм психологами объясняется как «сбывающееся пророчество» (self-fulfilling prophecy).

⁵ Следует заметить, что любая конкретная ситуация «вписывается» в определенную социокультурную «рамку» [Goffman 1980]. Так, например, женщина, останавливающая ночью на улице попутную машину, в Австрии (в отличие от других стран) воспринимается как проститутка.

Таким образом, культурный дискурс в какой-то степени определяет социальную практику поведения, и, несколько преувеличивая, можно сказать, что если партнер ожидает определенного поведения, это поведение и «появится», во всяком случае, он его «увидит». Следующий пример из интервью иллюстрирует механизм «сбывающихся пророчеств» на примере стереотипных представлений о «коллективизме» русских.

(Ниже приводятся фрагменты интервью, проведенного Катариной Клингсайс и Соней Шмид в октябре 1997 г. в Москве в рамках руководимого мной проекта по исследованию межкультурных переговоров).

25-летний немецкий юрист, прошедший трехмесячную практику в большой московской адвокатской конторе, с первого же дня очарованный необычайно дружественной атмосферой, находит ее типичной для России, где люди проводят друг с другом много времени:

<...> in Deutschland ist mir so was nie begegnet/ also/ daß sich der Chef duzen läßt/ das ist mir nie begegnet/ das fiel mir sehr schwer// <...> In Deutschland ist so was wohl nicht vorstellbar/ habe ich jedenfalls nie erlebt/ daß der Chef einer größeren Kanzlei [ca. 25 Mitarbeiter] sich mit nem Wachmann an den Tisch setzt oder so/ sowas gibt's nicht//

<...> So wie ich verschiedene Russen kennengelernt habe/ also für mich/ paßt das so in das russische Bild/ daß man halt zusammensitzt und man gemeinsam was macht/ und gemeinsam ißt und gemeinsam trinkt// (Interview)

Перевод: <...> в Германии со мной никогда такого не случилось/ так/ чтобы начальник позволял обращаться к нему на «ты»/ со мной никогда такого не случилось/ это было для меня очень тяжело//<...> в Германии это, пожалуй, вообще немыслимо/ во всяком случае со мной такого ни разу не случилось/ чтобы начальник большой конторы [около 25 сотрудников] сядил за стол с вахтером или так/ такого не бывает//

<...> Когда я познакомился с разными русскими/ то вот для меня/ это входит в образ русских/ что принято значит вместе сидеть и вместе что-то делать и / и вместе есть и пить//

На самом деле эта адвокатская контора, возглавляемая швейцарцем, крайне нетипична для России, где, напротив, ярко выражены иерархические различия, и настоящая коллективная работа представляет собой редкое исключение. В приводимом ниже фрагменте интервью русский коллега, работающий в этой конторе уже полтора года, правильно представляет себе дело и объясняет, что эта контора нехарактерна для постсоветской России:

Но в принципе отчасти это правильно/ но мне кажется что не совсем// Почему... хм... потому что/ вот эта обстановка такого демократизма/ который у нас здесь присутствует в компании/ она только отчасти воспроизводит некоторые культурные особенности/ которые у нас есть// Потому что/ скажем если мы возьмем/ ...э... в нашем государственном предприятии/ да/ или/ квазигосударственные предприятия/ которые возникли после/ скажем/ приватизации или чего-то еще/ вы там нигде не встретите вот/ такого вот общего стола или там чтобы кто-то говорил кому-

то...обращался на «ты»// Все называют друг друга по имени-отчеству всегда// То есть/ ...ээ... нет/ ...ээ... и все настолько структурировано/ то есть бюрократия просто стопроцентная// И такого вот близкого отношения не возникает// <...> То есть я когда пришел к Карлу работать сюда/ для меня это тоже была абсолютно нетипичная ситуация// То есть я не ожидал от швейцарской фирмы такого поведения/ то есть когда на следующий же день я должен был разговаривать с шефом на «ты»/ это было тяжело// Карл/ ты/ человеку пятьдесят лет/ мне в два раза меньше/ и я не могу/ не мог просто сначала говорить// Но потом как-то привык//

Я никоим образом не хочу сказать, что из реплики русского юриста нужно сделать вывод о том, что все русские на работе общаются именно так. Мне, наоборот, хорошо известно, что существуют маленькие предприятия или учреждения, в которых общение между сотрудниками носит дружеский характер. Но для меня здесь важны не столько детали, сколько общая тенденция, которая иногда недостаточно учитывается.

Нужно сказать, что тенденция к соблюдению иерархии наблюдается и в практике переговоров. Она получает отражение в рекомендательной литературе. Так, в книге, адресованной руководителям всех уровней [Липсиц 1992], говорится о *подчиненных* (а не о *сотрудниках*, как на Западе), а в другой книге, посвященной «красивому» бизнесу [Кузин 1995: 27 и сл.], в одном из разделов рассматривается тема деловой субординации. Интересны и точные указания, кто из представителей фирмы должен приходить первым, кто последним на прием [Шепель 1994: 318]. Могу привести также пример из личного опыта кооперационных переговоров с русскими университетами. Во время таких переговоров один русский коллега сказал мне, что, когда я буду звонить, я обязательно должна указать на то, что я декан, ибо «декану должен звонить декан». В противоположность присущему русской культуре открыто выраженному субординационному подходу к проявлению социального статуса [Карасик 1992], в западноевропейских культурах различия по статусу в речи размываются, и даже при явном иерархическом отношении партнеров по коммуникации доминируют, например, косвенные директивные акты [Blum-Kulka et al. 1989], а в некоторых международных компаниях все сотрудники, включая генерального директора, обращаются друг к другу на «ты» (например, Procter & Gamble, IKEA)⁶.

Приведенные примеры показывают, как много можно сделать ошибок в процессе общения, и остается только удивляться тому, что бывает и успешная межкультурная коммуникация. Ее успешности в значительной степени способствует достаточно жесткая «прагматическая рамка»

⁶ Здесь речь идет об общении на немецком языке, где, как и в русском, разграничиваются две формы обращений — более вежливая (на «вы») и более фамильярная (на «ты»), в отличие, например, от английского, в котором подобное различие отсутствует.

коммуникативной ситуации. Например, деловые переговоры характеризуются следующими особенностями: статус партнеров, как правило, одинаковый, темы заранее фиксированы, есть общая цель, а именно, достижение наиболее выгодного для себя компромисса и т. п. К тому же свобода участников принимать решения в значительной степени ограничена финансовыми и другими деловыми рамками.

3. Проблемы лингвистического анализа межкультурной коммуникации

Возрастание роли средств массовой информации, глобализация экономики, международный туризм и т. п. привели к тому, что конкретное общество (по крайней мере в развитых странах) живет уже руководствуясь не гомогенными нормами и правилами национальной культуры, а в постоянном контакте и обмене с нормами, правилами других культур⁷. В этих условиях выявление культурных представлений и речеповеденческих стереотипов должно носить не умозрительный характер, а опираться на аутентичные материалы. И действительно, культура как система признаков, хорошо знакомых и существенных для некоторой группы индивидов в определенном месте и в определенное время, может быть реконструирована методами дискурсивного и/или конверсационного анализа. Не вдаваясь в детали различий между разновидностями этих методов, можно сказать, что эмпирической базой в любом случае служат записи реальной речи, которые без предварительных гипотез анализируются сначала шаг за шагом, а затем с точки зрения конкретного исследовательского интереса (ср. [Hutchby, Drew 1995; Östmann, Virtanen 1995]).

Для лингвиста естественно анализировать реальную речь. Материалом для моего исследования послужили переговорные диалоги русских с австрийскими или американскими партнёрами по научному сотрудничеству и торговле, записанные с 1992 по 1997 г. Собрание этого материала явилось чрезвычайно сложной задачей, потому что экономистам-практикам было очень трудно понять, что меня интересовали не коммерческие секреты, а языковые феномены. Настоящий корпус текстов включает 8 деловых переговоров коммерческого характера и 6 кооперационных переговоров с российскими университетами (получить эти материалы было значительно легче). Записи расшифровывались носителями русского языка, а затем были проанализированы методами дискурсивного и конверсационного анализа. Поскольку корпус сравнительно невелик, данные, полученные в результате анализа аутентичных текстов, соотносились с материалами опросов информантов. Замечу, что приводимые в исследованиях по социальной психологии

⁷ Культура в рамках моих исследований межкультурной коммуникации понимается как динамическое взаимодействие господствующего в определенное время в определенной среде склада ума (господствующих мнений, идеологий, убеждений и ценностей) с принятой за норму социальной практикой. Это соответствует определению 'культуры' в современной этнологии и социальной антропологии [Borovsky 1994].

распространенные стереотипы и в особенности «культурные стандарты» (см. выше) устанавливались в основном методом интервьюирования информантов. Однако к подобным материалам следует относиться крайне осторожно. По моим наблюдениям, в ответ на вопрос, обращенный к представителю определенной культуры, о том, как он ведет себя в конкретной ситуации, получаешь много интересной информации: нормативные представления, распространенные установки, субъективные мысли, индивидуальные идеи. Но подобные ответы далеко не всегда отражают реальную действительность (см. [Rathmayr et al. 2000: 346 f]). При непосредственном наблюдении за поведением информанта обнаруживаешь, что оно часто противоречит высказанным в интервью мнениям.

На примере такого простого акта поведения, как рукопожатие, можно показать, что даже среди представителей одной культуры (в данном случае русской) «теоретические» представления и практика поведения не соответствуют друг другу. В одном из интервью каждый из опрошенных со стопроцентной уверенностью высказывал свое мнение о том, кто кому и в какой ситуации обязательно пожимает руку. Однако при этом не все участники опроса сами соблюдали «свои» правила. Например, одна из информанток, утверждавшая до этого, что, конечно, всем, в том числе и женщинам, надо пожимать руку, в конце интервью руки не подала.

В противоположность методу интервьюирования лингвистический анализ аутентичных текстов позволяет сделать более надежные выводы о специфике взаимодействия партнеров коммуникации в ситуации межкультурного общения.

При анализе межкультурной коммуникации полезно обратиться к **метафорической модели Ф. Шульца фон Туна** [Schulz von Thun 1982: 45]. Общение представляет собой комплексное явление, и известно, что успех общения зависит от того, понимает ли адресат то, что хотел сказать говорящий. По модели Ф. Шульца фон Туна адресат слышит «четырьмя ушами».

- 1-е «ухо» хочет услышать: Кто такой говорящий? Что с ним происходит?
 - 2-е «ухо»: Как он ко мне относится, за кого он меня принимает?
- (1-е и 2-е «ухо» действуют на уровне **личности и отношений**).
- 3-е «ухо»: О чем он говорит? Как следует понять ситуацию?
 - 4-е «ухо»: Что я должен сделать, подумать, почувствовать, реагируя на его высказывание?
- (3-е и 4-е «ухо» действуют на уровне **фактов и содержания**).

Четыре «уха» задействованы в любой ситуации общения, хотя и с разной степенью интенсивности. Так, принято полагать, что деловое общение касается в первую очередь уровня

фактов и содержания, и это, безусловно, так. Но также бесспорно, что «без доверия <...> в порядочном бизнесе практически нет перспектив» [Шепель 1994: 52]⁸. А необходимое взаимное доверие создается не столько на уровне деловых фактов и цифр из баланса фирмы, сколько совокупностью проходящих как сознательно, так и подсознательно процессов взаимной интерпретации прагматических элементов общения, т. е. на уровне личности и отношений.

Успешная интерпретация — т. е. понимание именно того, что имел в виду говорящий, — это не само собой разумеющееся явление, а редкое счастье в любой ситуации общения (в том числе и в монокультурной среде).

В межкультурной коммуникации к существенным недоразумениям может привести и недостаточное знание языка. Ср. самую простую ситуацию, когда на улице на вопрос о том, как пройти куда-либо, иностранец получает ответ: «Вот не скажу». Вследствие недостаточного знания модальных значений формы будущего времени совершенного вида он воспринимает этот ответ как выражение недоброжелательности («не хочу сказать»). Кроме того, на уровне личности и отношений (1-е и 2-е «ухо») причиной недопонимания могут стать ложные предположения и подсознательные психические реакции на «чужое», а на уровне фактов и содержания (3-е и 4-е «ухо») — отсутствие общих фоновых знаний. Тем не менее межкультурное общение отличается от внутрикультурного лишь градуально.

Невозможно знать абсолютно все тонкости межкультурного общения, с которыми можно столкнуться в той или иной коммуникативной ситуации, в частности в сфере делового общения. Как представляется, задача лингвистики заключается не в создании списка однозначных рекомендаций и правил, а в описании разных типов коммуникативных ситуаций, которым соответствует определенный алгоритм речевого поведения участников и набор языковых средств, делающих данную коммуникацию успешной.

Подобный взгляд на межкультурную коммуникацию позволяет сделать ряд общих замечаний применительно к ситуации деловых переговоров. (Как отмечалось выше, все мои наблюдения базируются на лингвистическом анализе реальных переговоров). Представляется, что многие из полученных результатов можно экстраполировать и на другие ситуации межкультурного взаимодействия.

Межкультурная коммуникация базируется на некоторых **общих постулатах общения.**

⁸ Доверие на переговорах складывается на основе следующих предположений: о том, что у партнера есть установка на кооперацию, о том, что реакции и поведение партнера можно предсказать, и о том, что партнер заинтересован в решении проблемы [Bühler 2000: 7].

Выражение вежливости⁹ и постоянная демонстрация уважения к компетенции и статусу партнера по коммуникации, как и соблюдение правил организации диалога (не перебивать, не говорить слишком долго и т. п.), — необходимые показатели успешной деловой речи. В ситуации деловых переговоров особенно важно помнить о том, что собеседник слышит четырьмя «ушами», и сразу же устранять моменты недоразумения, если он слушал не тем «ухом». При этом успешный переговорщик скорее возьмет на себя вину и извинится за неудачное выражение, чем обвинит партнера в неправильном понимании. Однако при всей важности уровня личностных отношений при обсуждении предмета переговоров следует избегать перехода от уровня содержания на уровень отношений. Цель любых переговоров — достижение взаимовыгодного компромисса, чему способствует рассмотрение деталей спорного вопроса на уровне фактов и содержания, а не реплики типа *«вы всегда все воспринимаете в штыки»*.

К общим постулатам успешной коммуникации можно отнести соблюдение определенных паралингвистических (жесты, мимика, проксемика) и просодических (громкость, темп, паузы) норм.

Швейцарцы, например, «страдают» в общении с немцами, им кажется, что те постоянно перебивают их, не дают им договорить. А немцы считают, что, когда собеседник закончил говорить, уместно брать слово, и берут слово после паузы определенной длины. «Ключ» к разгадке данного недоразумения, согласно исследованиям [Slembek 1993], следует искать в просодических различиях между двумя языками. Сравнение темпа речи и длительности пауз у дикторов, читающих новости на разных радиостанциях, дало следующие результаты. Средняя продолжительность дыхательных пауз у франкоговорящих швейцарцев — 0,2 секунды, а у немецкоговорящих — 0,3, причем у отдельных дикторов она может достигать 0,9 и даже 1,183 секунд [Slembek 1993: 385].

Безусловно, невозможно иметь детальное представление о темпе речи и продолжительности пауз в каждой культуре и каждом языке. Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что в другом языке могут существовать просодические особенности речи, к которым надо адаптировать собственное речевое поведение.

Необходимо обратить внимание также на то, что просодические особенности языка нередко «участвуют» в формировании национальных авто- и гетеростереотипов.

Так, в глазах германских носителей немецкого языка неторопливая, но гладкая речь свидетельствует о компетентности говорящего в данном вопросе, слишком медленная речь — о медлительности мышления, а

⁹ Безусловно, вежливость в разных культурах выражается по-разному, например, в одних большей, в других меньшей степенью завуалированности и т. п. Уважение личности, однако, — универсальная категория [Карасик 1992], и внимательным и осторожным участникам межкультурной коммуникации удастся выразить это уважение и в рамках чужой культуры.

слишком быстрая речь оценивается как небрежная и поверхностная. Немцы приписывают швейцарцам медлительность, но вызывающую симпатию медлительность, при этом они их часто не принимают всерьез. Французы, с другой стороны, воспринимают немцев как медлительных, но не «симпатичных», а «неуклюжих» (ср. [Slembek 1994]). А это не в последнюю очередь определяется темпом речи: 100 слогов французский диктор радиостанции «France info actualités» проговаривает в среднем за 17 секунд, немецкий диктор станции «Deutsche Welle» — за 18, а немецко-швейцарский диктор радиостанции «Deutsch-rätoromanische Schweiz» — за 25 секунд. (Замечу, что по моим подсчетам¹⁰, диктору российской радиостанции «Маяк» для произнесения 100 слогов требуется 16,5 секунд). Количество пауз также различается: 6 для французской и немецкой радиостанции, 3 для станции „Suisse romane», а для станции „Deutsch-rätoromanische Schweiz» — 8. К тому же продолжительность пауз в речи дикторов последней из перечисленных станций более чем в два раза выше, чем у других (ср. [Slembek 1994: 390] и др.).

Успешная коммуникация предполагает знание особенностей языковой концептуализации мира в разных культурах. Так, следует проявлять осторожность в употреблении оценочных качественных прилагательных типа *дорогой, большой, твердый, жесткий, красивый, дешевый, быстрый* и т. д. и неопределенных наречий типа *далеко, близко, скоро* и т. д. Такие понятия могут ввести в заблуждение: ведь когда русские говорят, что город X далеко от города Y, то имеют в виду, что ехать туда надо больше суток. А австрийцы считают, что один город расположен далеко от другого уже при расстоянии в 200 километров. (ср. [Fellerer et al.1998]). В коммуникативных ситуациях, требующих определенности, точности (в частности, это касается деловых переговоров), целесообразно использовать абсолютные указания качества, количества и т. п. Например: *расстояние между городами 400 км; товар стоит 500 \$*, а не *он дорогой; парадное, выходное*, а не *красивое платье* и т. д. Если же оценочные прилагательные и наречия все-таки употребляются, то всегда уместно металингвистическое обсуждение, как их следует понимать в рамках данной культуры.

По этой же причине требует осторожности применение некоторых риторических приемов (метафор, иронии, юмора). Они, безусловно, обогащают речь на родном языке, но не всегда понятны при переводе.

Особая группа «правил» межкультурного взаимодействия связана с **речевыми актами**. Рекомендации на уровне речевых актов можно давать лишь по отношению к конкретным парам языков. Если взять русский и немецкий языки, то следует указать на конвенциональные различия между реализациями разных речевых актов, имеющих значение в ситуации переговоров. Сюда относятся акты обращения, приветствия, побуждения, извинения и некоторые другие.

¹⁰ Автор выражает благодарность С. В. Кодзасову за помощь в расчетах темпа речи русскоязычных дикторов.

Формы обращения за годы политических и экономических реформ в России существенно приблизились к западной традиции, так что обращение «господин/ госпожа + фамилия» в 2001г. в деловой сфере почти так же распространено, как немецкое «Herr/Frau + фамилия».

Более существенны различия в формулировке актов побуждения. Если в русском языке императив как нейтральная форма для выражения побуждения может быть расширен частицей *пожалуйста* (например: *Перепечатайте, пожалуйста, письмо!*), то в немецком императив весьма редко употребляется. Самая частотная форма выражения побуждения-приказа — вопросы в функции императива (например: *Könnten Sie bitte diesen Brief noch einmal schreiben?* [Rathmayr 1994]). Для говорящего по-немецки ясно, что побуждение-приказ нужно немедленно выполнить. В свою очередь в языковом сознании говорящего по-русски форма вопроса без отрицания не конвенционализирована как побуждение-приказ, и поэтому, следовательно, с точки зрения русскоязычного адресата нет оснований немедленно приступить к действию.

Прагматические условия употребления актов извинения также существенно различаются в рассматриваемых языках. Если в немецком извиняются, так сказать, с легкостью даже при отсутствии чувства вины (например, перед гостями за плохую погоду, перед работодателем за невыполнение какой-то работы вследствие заболевания), то в русской культуре извинение всегда говорит хотя бы о минимальном чувстве вины. В русской культуре, например, не принято извиняться за невыполненную из-за болезни работу, также не извиняются и за задержку поезда по техническим причинам, а извинение за погоду вообще воспринимается как ирония [Rathmayr 1996].

На различия в конвенциях аргументирования здесь можно только бегло указать. Считается, что для представителей русской культуры более характерна дедуктивная аргументация: от общего правила к детали, а для немцев — индуктивная, то есть исходящая из конкретной детали ([Jönsson 1979], цит. по [Bühler 2000: 89]).

Анализ нашего корпуса текстов переговоров позволяет сделать вывод о том, что русские партнеры иногда склонны выражать отказ исходя из собственных интересов, компетенции, пожеланий, в то время как австрийцы склонны указывать на объективные условия, говоря, что они полностью зависят от объективных обстоятельств. Таким образом, «русский» отказ для австрийских ушей может звучать как нежелание кооперироваться, что соответствует «не хочу»-реакции в отличие от более характерной для австрийца «не могу»-реакции. Результатом этого может стать коммуникативная неудача.

Однако анализ корпуса текстов показал, что в ситуации межкультурного общения партнеры далеко не всегда применяют характерные для своей культуры и монокультурных переговоров стратегии. Эту сложную «игру» стратегиями также следует учитывать.

Следующая группа рекомендаций для успешного межкультурного взаимодействия связана с совокупностью **речеповеденческих стратегий и тактик**.

Как отмечалось выше, в межкультурной коммуникации часто вступает в действие механизм молчаливого и в основном подсознательного переноса конвенций с собственной действительности на чужую. С одной стороны, лишь благодаря этому механизму межкультурное общение вообще становится возможным; с другой стороны, однако, этот механизм часто заводит в тупик. Так, в критические моменты разногласий в ходе переговоров весьма нужной и целесообразной оказывается стратегия эксплицирования фоновых знаний о собственной социальной практике (об учреждениях, об организации экономики, университетов и т. п. (ср. [Rathmayr 1998]). Различие в фоновых знаниях больше всего сказывается на аргументативных, то есть центральных этапах переговоров и может привести к «топтанию» аргументации на месте, вплоть до блокирования переговорного процесса. В таких абсолютно тупиковых ситуациях вербализация культурно-специфической практики и идеологии оказывается весьма успешным средством для преодоления разногласий.

Приведу следующие примеры.

1) (Собеседник А. никак не может уяснить действие механизма продажи книг и поэтому эксплицирует свое представление о функционировании рынка).

А. Ну правильно но ээ/ по-моему/ *есть такой общий закон/ если ты купил вещь/ где угодно/ ты можешь*

[*поехать/ куда угодно*

[Б. Ни-ичего подобного/ /

А. *и продать ее*

[*по какой угодно цене*

[Б. *ничего подобного/ / (Издательские переговоры, А. русский, Б. австриец)*

2) (В ходе переговоров представителю русского университета непонятно, почему нельзя включить обмен преподавателями в протокол о намерениях. После мучительного топтания на месте австрийский участник (Ц.) начинает подробно объяснять структуру австрийских университетов).

Ц. Mhm// Aa darf ich vielleicht... etwas die 'Struktur unserer Universität darstellen// Die Institute sind relativ autonom// bei uns// ¹¹

Множество примеров такого типа позволяет сделать вывод: в межкультурных переговорах

¹¹ *Перевод:* Тут нужно немножко... войти в структуру нашего университета // Кафедры у нас относительно автономны //

следует уделять больше времени уточнению интересов, позиций, целей и т. д. Однако следует признаться, что прием указания на то, что «у нас так принято», может употребляться и в не совсем «честных» стратегических целях.

Можно также заметить, что в ситуации переговоров для устранения возникающих недоразумений плодотворной оказывается техника переспроса. Для того, чтобы удостовериться, что согласованные пункты одинаково поняты участниками переговоров, целесообразно до перехода к следующему пункту подвести итог сказанному в форме резюме. А если реплика партнера вызвала недоумение или сомнение, то с успехом применяется техника перефразирования и уточнения: хотел ли говорящий сказать именно то, что понял собеседник.

4. Заключение

Обращение к теме межкультурного взаимодействия вызывает соблазн объяснить любые проявления взаимного непонимания национально-культурной спецификой. Однако многие проблемы общения обусловлены такими факторами, как недостаточная коммуникативная компетенция, слабое знание языка, тематическая неосведомленность, недостаточность, а порой и отсутствие фоновых знаний о другой стране.

Я попыталась предостеречь от широкого применения культурных «стандартов» и клише и однозначного приписывания определенного национального менталитета представителям отдельных культур, в особенности в ситуации деловых переговоров. Международный опыт приводит к нивелированию навыков речи и поведения.

Задача лингвистики заключается не в создании списка однозначных рекомендаций для успешной коммуникации, а скорее в том, чтобы побудить носителей данной культуры к осознанию общих правил общения и эмпатическому подходу к партнеру и социальной действительности в другой стране.

Литература

Карасик 1992 — В. И. Карасик. Язык социального статуса. М., 1992.

Кузин 1995 — Ф. А. Кузин. Делайте бизнес красиво. М., 1995.

Лавриненко 1995 — В. Н. Лавриненко (отв. ред.). Социальная психология и этика делового общения. М., 1995.

Липсиц 1992 — И. В. Липсиц. Кроссворды для руководителя. М., 1992.

Найдич 1999 — Л. Э. Найдич. Межкультурная и межъязыковая прагматика: Достижения и проблемы // Язык и речевая деятельность. Т. 2. СПб., 1999. С. 297-304.

Холопова, Лебедева 1994 — Т. И. Холопова, М. М. Лебедева. Протокол и этикет для деловых людей. М., 1994.

Шепель 1994 — В. М. Шепель. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. М., 1994.

Bartmiński 2000 — Jerzy Bartmiński. Изменения языковой картины мира поляков // Sprachwandel in der Slavia: die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert / Lew N. Zybatow (Hrsg.). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Lang, 2000. S. 481-492.

Blommaert 1991 — J. Blommaert. How much culture is there in intercultural communication? // J. Blommaert, J. Verschueren (eds.) *The Pragmatics of International and Intercultural Communication*. Amsterdam, Philadelphia, 1991. P. 13-31.

Blum-Kulka et al. 1989 — S. Blum-Kulka, J. House, G. Kasper. *Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies*. Norwood, NJ. 1989.

Borovsky 1994 — R. Borovsky (ed.). *Assessing Cultural Anthropology*. New York, 1994.

Bühler 2000 — A. Bühler. *Kulturell bedingte Konflikte in deutsch-russischen Wirtschaftsverhandlungen*. Grevenbroich, 2000.

Fellerer et al. 1998 — J. Fellerer, K. Klingseis, R. Rathmayr. *Argumentation und Sprachgemeinschaft am Beispiel deutsch-russischer Verhandlungen // IACCM's Journal of Cross-Cultural Competence & Management*. 1998. № 1. P. 61-98.

Goffman 1980 — E. Goffman. *Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen*. Frankfurt; M., 1980.

Hofstede 1998 — G. Hofstede. *Culture's Consequences. International Differences in Work-Related Values (= Cross-Cultural Research and Methodology Series. Vol. 5)*. Newbury Park, London, New Dehli, 1998, 15. Auflage.

Hutchby, Drew 1995 — I. Hutchby, P. Drew. *Conversation Analysis // J. Verschueren, J.-O. Östmann, J. Blommaert (eds.) Handbook of Pragmatics*. Amsterdam, Philadelphia, 1995. P. 182-199.

Jönsson 1979 — C. Jönsson. *Soviet bargaining behavior. The nuclear test ban case*. New York, 1979.

Meierewert 1999 — S. Meierewert. *Tschechische Kulturstandards aus der Sicht österreichischer Manager // Kultursoziologie. Aspekte, Analysen, Argumente, Wissenschaftliche Halbjahreshefte der Gesellschaft für Kultursoziologie e.V. Leipzig, 1999. ? 2. P. 149-171.*

Meierewert, Topcu 2000 — S. Meierewert, K. Topcu. *Kulturstandards im österreichischen Zentral- und Osteuropamanagement: Österreich und Ungarn // Kultursoziologie. Aspekte, Analysen, Argumente Wissenschaftliche Halbjahreshefte der Gesellschaft für Kultursoziologie e.V. Leipzig, 2000. ? 1. P. 57—70.*

Östmann, Virtanan 1995 — J.-O. Östmann, T. Virtanan. *Discourse Analysis // J. Verschueren, J.-O. Östmann, J. Blommaert (eds.) Handbook of Pragmatics*. Amsterdam, Philadelphia, 1995. P. 239-253.

Rathmayr 1994 — R. Rathmayr. *Pragmatische und sprachlich konzeptualisierte Charakteristika russischer direkter Sprechakte // H. R. Mehlig (ed.) Slavistische Linguistik 1993 (= Münchner Slavistische Beiträge 319)*. München, 1994. P. 251-278.

Rathmayr 1996 — R. Rathmayr. Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleichende Untersuchung am Beispiel der russischen Sprache und Kultur. (=Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistische Forschungen. Bd. 16) Köln, Weimar, Wien, 1996.

Rathmayr 1998 — R. Rathmayr. Die Thematisierung von Kultur in argumentativen Phasen interkultureller Verhandlungsgespräche // T. Berger, J. Raecke (eds.). Slavistische Linguistik 1997 (= Münchner Slavistische Beiträge 375). München, 1998. P. 177-194.

Rathmayr et al. 2000 — R. Rathmayr, S. Schmid, K. Klingseis. Zum Wandel in der russischen Fachsprache am Beispiel der Wirtschaftsterminologie und der Entstehung und Entwicklung der neuen Textsorte internationale Wirtschaftsverhandlungen // L. Zybatow (ed.). Sprachwandel in der Slavia. Die Slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein internationales Handbuch. Frankfurt am Main, 2000. Teil 1. S. 341-367.

Schulz von Thun 1982 — F. Schulz von Thun. Miteinander reden: Störungen und Klärungen. Psychologie der menschlichen Kommunikation. Reinbeck bei Hamburg, 1982.

Slembek 1993 — E. Slembek. Vorüberlegungen zu Sprechtempo und Pausierung in verschiedenen Kulturen (anhand von Nachrichtensendungen aus Frankreich, der französischen Schweiz, der deutschen Schweiz und Deutschland) // M. Bonner, E. Braun, H. Fix (eds.). Nachbarschaften. Festschrift für Felix Mangold. Saarbrücken, 1993. P. 381-394.

Slembek 1994 — E. Slembek. Sprechstile als interkulturelle Kommunikationsbarrieren. Beitrag zum Salzburger Workshop über interkulturelle Kommunikation, Kultur & Management. Salzburg, 1994.

Thomas 1996 — A. Thomas (ed.). Psychologie interkulturellen Handelns. Göttingen, 1996.

Рефлексы праслав. *CelC в восточнославянских языках

Во всех восточнославянских языках праславянское сочетание *CVRC (где C — любой согласный, V — *o или *e, R — *r или *l)¹ переходило в [CVRVC], причем в получавшейся последовательности все фонемы обычно сохраняли свое качество, и единственным изменением было повторение гласного после плавного. Последовательность *CelC давала особый рефлекс — [ColoC]; если первый согласный был шипящим или аффрикатой (*s, *z, *c), закономерно получалось [CeloC], потому что в фонологической системе восточнославянских диалектов того времени была недопустима последовательность шипящий + *o. Таким образом, перед *l фонема *e смещалась в задний ряд (т. е. в [o]), если перед ней не было шипящего. Аналогично вел себя слоговой *yl: обычно *CylC переходило в *CylC, но если первый согласный был шипящим, из-за недопустимости сочетания шипящий + *ь сохранялось *CylC. Видимо, праслав. *l имело велярный характер, который и приводил к изменениям гласных.

Любое описание исторической фонетики восточнославянских языков обязательно включает упоминание указанных фактов. Но не в любом таком описании говорится о том, что иногда *CelC всё-таки дает [CeleC]. Рефлексы вида [CeleC] обычно признаются лишь в тех словах, в которых перед сочетанием *elC находится шипящий (*железа́, ожелéдица, челенок*). Однако указание на позицию после шипящего не проясняет ситуацию: во-первых, после шипящих возможен и рефлекс [CeloC], как в рус. *шелом*; во-вторых, остаются другие слова с рефлексом вида [CeleC]. Для многих таких слов не признаются этимологии с праслав. *CelC. Действительно, часть из них довольно ненадежна. В полном соответствии с постулатами компаративистики ставились под сомнение этимологии, подразумевавшие развитие *CelC > [ColoC], потому что это развитие не соответствовало установленным на тот момент фонетическим законам. А существование заметного количества «нерегулярных» этимологических соответствий разной степени надежности практически

¹ В славистике принято в качестве символа согласного звука использовать не C, а T.

не привлекало внимание исследователей². Насколько мы понимаем, для уточнения фонетического закона требуется не просто набор этимологий, а формулировка распределения между рефлексами. В данном случае закономерность можно сформулировать следующим образом:

Праславянская последовательность *CelC имеет в восточнославянских языках два рефлекса. Распределение обычно такое: [ColoC₂], если C₂ — губной или заднеязычный согласный, [CeleC₂], если C₂ — зубной согласный.

*CelC > [ColoC₂]; C₂ — заднеязычный или губной:

1. рус., укр. *молоко́* (сербохорв. *млѐко*, чеш. *mléko* и др.),
2. рус., укр. *волоку́* (ст.-слав. *влѣкль*, чеш. *vleki* и др.),
3. рус. праэт. т. sg. *толо́к*³ (ст.-слав. *тлѣкль*),
4. рус. *жѐлоб*, укр. *жо́лоб* (сербохорв. *жлѐб*, словц. *žliebok*),
5. рус., укр. *шелом* (сербохорв. *шлѐм*, словен. *šet* и др.),
6. др.-рус. *соломина* ‘брус, перекладина’ (болг. *слѐме*, словц. *slemä* — возможно, сюда же аномальное мезен. *шелѐмка* ‘боковой шест палатки, устанавливаемый на лодках’, см. [Фасмер 4: 423]),
7. рус., укр. *поло́ва* (наряду с рус. диал. *пелѐва*; сербохорв. *плѐва*, чеш. *pléva, pleva* и др.).

*CelC > [CeleC₂]; C₂ — зубной:

1. рус. *железа́* (болг. *жлезá*, сербохорв. *жлѐзда*, словен. *žleza*),
2. рус., укр. *сѐлезень* (сербохорв. диал. *сьез*),
3. рус. *селезѐнка*, укр. *селезінка* (сербохорв. *слезина*, чеш. *slezina*),
4. ? рус. *селѐдка*, укр. *селѐдець*, блр. *селедзѐць* (польск. *śledź*, хотя возможно и другое объяснение),
5. рус. диал. *ожелѐдица*, укр. *ожелѐдиця*, *о́желедь* ‘гололедица’ (цслав. *жлѣдица*, словен. *žléd*),
6. др.-рус. *жлѣдбою да жлѣдеть* ‘пусть платит пеню’, см. [Срезневский 1:853] (ст.-слав. *телицеѣ да жлѣдеть* [Супр.: л. 360])⁴,

² С. Л. Николаев, на протяжении нескольких лет читая на филологическом факультете МГУ курс «Историческая диалектология восточнославянских языков», говорил о таких словах, призывая слушателей иметь в виду «нерегулярные» рефлексы и искать причины распределения. Наблюдения, которые вошли в данную статью, были бы невозможны без услышанных тогда призывов.

³ В русском имеется чередование *толо́к* ~ *толклá*; может быть, форма *толо́к* вторична (т. е. содержит второе полногласие), может быть, это чередование является результатом контаминации двух парадигм.

⁴ Др.-рус. *ѣ* под влиянием церковнославянского.

7. рус. диал. *меледа́* 'тягостная, бессмысленная работа, мешкотное дело', *меледи́ть* 'потемнеть в глазах' (сербохорв. *млѣднити* 'слабеть', *млѣдан* 'худой', далее см. [ЭССЯ 18: 81]),
8. ? рус. диал. *пéлед*, *пеледа́* 'навес над стогом хлеба' (заимствовано из лит. *pelùdė* 'амбар с мякиной'),
9. укр. *челенок* 'кость, сустав в пальце'; др.-рус. *челенькъ* (но рус. ц-слав. *челонь* [Мейе 1951:57]; словен. *člén*, чеш. *člen*),
10. рус., укр. *пеленá* (словен. *plenica*, чеш. *pléna*, *plena*, словц. *plena*; однако ю-слав. **pelena*: ст.-слав. *пелена*, болг. *пеленá*, сербохорв. *пелѐна*),
11. рус. *беленá* (сербохорв. редк. *блен*, словен. *blèn*, чеш. *blin*, словц. *blen*),
12. рус. диал. *мѐлен*, укр. *мелін*, блр. *мялѐн* 'рукоятка ручной мельницы' (ср. **molnъ* > польск. *młon*).

В указанное распределение очень изящно вписывается пара *шелест* ~ *шелохнуть(ся)* — оба слова, возможно, происходят из одного корня. Правда, постулировать праслав. **šelstь* затруднительно, потому что чеш. *šelest*, польск. *szelest* должны восходить к праслав. **šelestь*.

Кроме вариантных форм, приведенных выше, есть несколько корней, где представлено только нерегулярное [*оло*]:

1. Рус., укр. *полóн* (сербохорв. *плѐн*, чеш. *plen*). Восточнославянское слово имеет отчетливо книжное происхождение: оно стилистически маркировано и практически единственное его значение ('плен') контрастирует с набором разнообразных и вполне обиходных значений, которое дают другие славянские языки: 'добыча', 'ограбление', 'выручка', 'жатва', 'урожай'. Рефлекс [*оло*], возможно, относительно регулярен для какого-то идиома, на базе которого возник церковнославянский язык (ср. выше рус. ц-слав. *челонь*); быть может, это искусственные книжные формы.

2. Рус., укр. *моло́зиво* (словен. *mlezivo*, чеш. *mlezivo*), рус. диал. *мо́лостóв* 'большой глиняный сосуд, горшок'. Следует также искать объяснение для польск. *młodziwo* 'молозиво' (предполагается влияние польск. *młody* 'молодой', см. Фасмер 2:644), *młost* 'молочный горшок'. Восточнославянское *моло́зиво* может объясняться сближением с *молоком*, однако вероятнее, что это другая ступень чередования, ср. слав. **molziti*.

Похожи на исключения и корни, заканчивающиеся на гласную:

3. Рус. *молоть*, укр. *молóти* (сербохорв. *млѐти*, чеш. *mliti* и др.).
4. Рус. *полоть*, укр. *полóти* (словен. *pléti*, чеш. *pliti*).

В большинстве форм за этими двумя корнями следуют суффиксы с зубным согласным. Однако в случае с **pelti* вероятно влияние форм настоящего времени типа **pelvo* > *полову*, для которых фонетическое изменение совершенно регулярно. Что касается корня **mel-*, то от него есть производное *мелево*, где необъяснимым кажется [*еле*] перед губным (есть и тривиальный дериват *молово*). Однако рус. *мелево/меливо* является продолжением

слав. **melivo*, а не **melvo*: на это указывают украинские и русские архангельские формы типа *меливо*, а южнорусские записи типа *мелево* нерелевантны для установления вокализма.

Представляется, что, несмотря на наличие исключений и неясность отдельных этимологий, указанное распределение описывает большую часть материала. Однако хотелось бы точнее понять происхождение этой закономерности. Само развитие **CelC* > [*ColoC*₂] объясняется тем, что общевосточнославянское **l* по крайней мере в некоторых позициях произносилось как «велярное» [ʎ] ([л] в кириллической транскрипции). В украинско-белорусском регионе это **//* перешло перед согласными в **w* еще до падения редуцированных (см. [Филин 1972: 331—334])⁵. Артикуляционно [ʎ] и «среднее» [l] (этот звук является более распространенным) обычно противопоставлены по нескольким параметрам, однако в данном случае имеет значение поведение спинки языка. При произнесении [ʎ] задняя часть спинки языка приподнята к мягкому небу, а средняя опущена. Среднее [l] произносится при плоской спинке языка, без поднятия ее задней части к мягкому небу. С другой стороны, «кардинальные гласные» различаются именно положением спинки языка: при произнесении [o] (но не [e]) ее задняя часть приближается к твердому нёбу, что и объясняет переход [e]>[o] в соседстве с [ʎ]⁶. Однако теперь выясняется, что этот переход блокировался зубными или небными согласными — это происходило оттого, что для их произнесения язык должен занимать другое, более переднее положение. Более четко можно сформулировать связь гласных [e], [o] и разных локальных рядов согласных, используя акустический различительный признак высоты звука (высокотональный ~ низкотональный, или *acute* ~ *grave*). Общим признаком зубных и небных согласных с одной стороны и гласного [e] с другой является высокотональность, а губные и заднеязычные согласные объединяются с гласным [o] по признаку низкотональности. Таким образом, различное поведение **e* описывается как ассимиляция по акустическому признаку высоты звука. Едва ли эта ассимиляция могла быть дистантной, т. е. действовать через < / >. Можно представить себе два механизма этого процесса. Либо ассимиляции подвергалась фонема < / > (т. е. аллофоны [l] ~ [ʎ] были распределены в зависимости от локального ряда последующего согласного), либо же ассимиляции подвергался какой-то гласный, находившийся после сонанта. В этом случае описанная закономерность действовала на той стадии, когда **CelC* развилось в [*CeleC*] или какую-то

⁵ Л. Л. Касаткин попытался доказать, что славянское **l* произносилось как среднее [l] [Касаткин 1999], однако мы придерживаемся традиционной точки зрения по этому вопросу.

⁶ Отметим, что существует также колебание *пелынь/попынь* (где исконным является первый вариант, а появление [o] явно вызвано всё тем же влиянием [ʎ]), *Велынь/Волынь*; развитие начального **elC*: *лебеда/лобода, лебедь*.

близкую последовательность, например [*CelbC*] или [*CьlbC*] (о разных путях развития полногласия в восточнославянских языках см. [Николаев 1996:213]). Этим можно объяснить тот факт, что [*ColoC*] возникает и в тех словах, где **CeleC*, вероятно, исконно (*Волос, шолох*); кроме того, это вообще сделало бы несущественным для конкретных основ выяснение того, какова была праславянская форма (например, это неясно для слова *пелена*)⁷.

Отметим, что связь распределения [*e*] ~ [*o*] с характером последующего согласного в данном случае совсем иная, чем в двух известных изменениях [*e*] > [*o*] — русско-белорусском и польском. Указанные фонетические процессы в восточнославянских диалектах и в польском происходили после падения редуцированных и возникновения новой оппозиции согласных (мягкость ~ твердость, или диезность ~ недиезность), в обоих изменение происходило только перед недиезными согласными. При этом в польском изменение [*e*] > [*o*] происходило только перед зубными, т. е. высокими (в том случае, который мы разбираем, зубные согласные, напротив, блокировали изменение [*e*] > [*o*]).

В отличие от перехода **CelC* > **ColoC*, изменение **CьlC* > *CьlC* происходило независимо от характера последующего согласного (ср. **рьlnь* > *полный*). Можно предложить такое объяснение: на момент действия фонетического процесса в этих сочетаниях не было гласного после <л>, который мог бы подвергаться ассимиляции. Однако в тех словах, где возникало второе полногласие, могла происходить описанная ассимиляция: устюж. новг. *мельня* ‘молния’ ([СРНГ 18:97]). Для более детального обсуждения этой темы следует учитывать то, на какой территории и в каких акцентных позициях возникало второе полногласие (см. [Николаев 2001]).

Литература

Касаткин 1999 — Л. Л. Касаткин. К истории <л> в русском языке // Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999. С. 171-191.

Мейе 1951 — А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951.

Николаев 1996 — С. Л. Николаев. Histoire d’O // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. С. 203—242.

Николаев 2001 — С. Л. Николаев. Из исторической фонетики и просодии северо-западных говоров // Вопросы русского языкознания. Вып. IX. Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М., 2001. С. 86—121.

⁷ Есть и другие основы с колебанием *еле/оло: велет/волот, белебенить/болобонить*.

Срезневский — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л., 1965 и сл.

Супр. — Супрасльская рукопись. Супрасьльски или Ретков сборник. Т. 2. София, 1983.

Фасмер — М. Ф а с м е р. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. М., 1986-1987.

Филин 1972 — Ф. П. Филин. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.

ЭССЯ 18 — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 18. М., 1993.

А. А. Турилов

«Ото князя от Ярьполка»

(К истории двух древнейших русских списков Лествицы)

Настоящая заметка является, в сущности, комментарием историка к палеографическим и лингвистическим наблюдениям Н. Б. Тихомирова, сделанным им в «Каталоге русских и славянских пергаменных рукописей XI—XII вв.» [Тихомиров II: 93-95, 112-117] и в «Сводном каталоге славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв.» [СК XI—XIII: № 62, 206].

При описании для СК XI—XIII второго по древности русского (и славянского вообще) списка Лествицы Иоанна Синайского [РГБ, собр. Румянцева (ф. 256), № 199; СК XI—XIII: № 206], Н. Б. Тихомиров предположительно отождествил письмо рукописи (одно во всем кодексе), датируемой им началом (?) XIII в., с почерком, которым написан единственный столбец текста на последнем (вшитом взамен утраченного) листе древнейшего списка того же памятника, хранящегося по стечению обстоятельств под соседним номером в том же собрании [РГБ, собр. Румянцева (ф. 256), № 198: л. 188; СК XI—XIII: 62]. В печатном тексте отождествление сделано предельно осторожно¹, оно вполне соответствует общему стилю научной работы Николая Борисовича, всегда предпочитавшего некоторую расплывчатость формулировок категоричности. Однако в частных беседах он в этой атрибуции почерка не сомневался, а обращение к рукописям *de visu* (благо их без особого труда можно положить рядом) убеждает лучше всяких слов. Действительно, несмотря на большую небрежность письма на последнем листе Лествицы № 198 в сравнении с почерком Лествицы № 199, как начерки отдельных букв, так и общий облик и ритм письма позволяют говорить об одном писце. Можно отметить такие индивидуальные особенности почерка, как *a* в конце строки с длинной вертикальной мачтой, прямой или в виде плоской дуги, обращенной вправо, *e* (и *e* йотированное) с тонким горизонтальным язычком, завершающимся острым крючком,

¹ «На подшитом вместо утраченного л. 218 – устав нач. (?) XIII в., очень близкий (хотя писано здесь менее аккуратно и красиво) к почерку, которым написана вся Лествица нач. (?) XIII в. – ГБЛ, Рум. 199 (см. № 206). Можно предположить, что писец был один и тот же» [СК XI—XIII: 104].

обращенным вниз, *ж* с несимметричным верхом (левый усик в виде дуги, обращенной вниз, правый — прямой)². Некоторые отличия (не выходящие за пределы вариантов внутри одного почерка) в письме последнего столбца Лествицы Рум. 198 и кодекса Рум. 199 заключаются в следующем. Начерки букв у писца Рум. 199 значительно варьируются (это хорошо видно на примере *e*, поскольку помимо описанного выше начертания здесь употребляется и стандартное, с коротким тупым язычком, а также *з*, у которого хвост имеет разную длину и разную кривизну дуги). Из-за незначительного объема текста, написанного этим почерком в Рум. 198, здесь представлены далеко не все варианты начерков (наиболее близким к нему по облику в Рум. 199 выглядит письмо лицевой стороны л. 133). Не исключено также, что писец-«реставратор» учитывал достаточно скромный облик письма выполняемого им кодекса и сознательно не использовал весь арсенал каллиграфических приемов. Поэтому на дополнительном листе в Рум. 198 практически отсутствуют засечки на перекладинах букв (кроме одного случая) и точки на левой нижней черте *х*, которыми изобилует письмо младшей из Лествиц.

К выводу о близости этих почерков Н. Б. Тихомиров пришел между 1968 г. и началом 1980-х гг. (время завершения работы над описанием рукописей для СК XI—XIII). В его каталоге пергаменов ОР ГБЛ об этом не говорится еще ни в основной части, ни в дополнениях [Тихомиров II: 93-95, 112-117; Тихомиров III: 83-156]. Хотя само по себе отождествление почерков (как в отношении отрывков одних и тех же рукописей, находящихся в разных хранилищах, так и в отношении разных кодексов) было для исследователя делом вполне привычным: ему принадлежат десятки безупречных атрибуций применительно к кириллическим рукописям XII—XIV вв. независимо от их языкового извода, случай с двумя румянцевскими Лествицами является нестандартным, поскольку такое отождествление заведомо предполагает значительное перемещение старшего из кодексов уже к началу XIII в.³

Румянцевская Лествица XII в. (№ 198) общепризнанно считается южнорусским памятником: киевским, волынским или черниговским (обзор мнений см.: [Тихомиров II: 114—117]), в то время как рукопись XIII в. относится (во всяком случае по орнаментике [Попова 1962: 207, 208; СК XI—XIII: 104, 230]) к числу новгородских. При этом следует иметь в виду, что список XIII в. отнюдь не является копией списка XII в. Лествица Рум. 199 настолько архаична по орфографии (несомненно, следуя в этом отношении за болгарским оригиналом (или протооригиналом) X в.), что первый

² Публикации образцов почерка Лествицы Рум. 199 (не говоря уже о последней странице № 198), к сожалению, отсутствуют.

³ «В таком случае Лествица сер. (?) XII в. Рум. 198 в нач. (?) XIII в. оказалась в Новгороде!?» [СК XI—XIII: 104]. Возможно, это обстоятельство в какой-то (но не решающей) мере оказало влияние на предположительность атрибуции.

ее исследователь А. Х. Востоков был даже склонен вначале датировать ее XI столетием [Востоков 1873: 39] (подробнее о болгаризмах списка см.: [Соболевский 1902: 128]). В то же время невозможно установить, является ли список Рум. 199 оригиналом последнего столбца Рум 198 (конец первой из рукописей был утрачен еще до поступления в коллекцию Н. П. Румянцева) или же писец скопировал текст с поврежденного (разорванного), но еще существовавшего листа старшего из списков. Однако по косвенным, но достаточно надежным свидетельствам можно уверенно предполагать, что старший из списков действительно весьма рано оказался в Новгороде (другая возможность объяснения — что новгородский писец младшего кодекса работал на юге Руси — в данном случае практически исключена), и это даже произошло несколько ранее, чем обычно принято считать. Имеется также возможность высказать предпочтение одной из локальных версий происхождения Лествицы Рум. 198 — если не на уровне установления места ее написания, то по крайней мере в отношении того, откуда она была привезена в Новгород.

Основания для всех этих предположений дают пробы пера на свободном месте рядом с последним столбцом текста (лицевая сторона л. 218) древнейшего списка Лествицы (публикацию записей см.: [Востоков 1842: 171; он же 1873: 148—150; Тихомиров II: 93, 114; СК XI—XIII: 104]). Они выполнены разными, порой не очень умелыми и откровенно некаллиграфическими почерками (с полной уверенностью можно утверждать лишь, что писца, восполнившего утраченный конец Лествицы Рум. 198, среди них нет). Три из этих проб представляют собой начала посланий: «**от княза къ тиуну да (Да?)**», «**ото княза ѿ Дръпока (!) ко**», «**от княза ко борату и год**». Конкретную историческую информацию, пригодную для сопоставления с другими источниками, несет лишь вторая из них, но в типологическом плане все они в равной степени уникальны. Подобного рода пробы пера появляются в древнерусских рукописях примерно с последней четверти XIV в. (старшие, известные мне, датируются временем княжения Дмитрия Ивановича Донского — т. е. не позднее 1389 г.)⁴ и становятся обычным явлением во времена великого князя Василия Дмитриевича (1389 — 1425), но для XIII в., которым принято датировать приписки на последнем листе Рум. 198, они совершенно не характерны. Их присутствие недвусмысленно свидетельствует о бытовании Лествицы Рум. 198 после восполнения утраченного листа в крупном центре с развитой эпистолярной и канцелярской культурой⁵. В XIII в. таким центром, безусловно, являлся Новгород. Хотя для этого

⁴ Такова, например, проба пера «**Г(осподин)у князю великомуу Дмитрию Ивано**», сделанная старшим русским полууставом на внутреннем поле листа в отрывке Апостола апракос [Вильнюс, БАН Литвы (ф. 19), № 16, л. 2 об.; Турилов 1997: 129].

⁵ Вообще изучение подобных проб пера как материала по истории средневековой кириллической канцелярской культуры представляет собой вполне самостоятельную тему исследования. Они хорошо дополняют сохранившийся актовый материал и при массовом привлечении могут служить достаточно надежным индикатором. Так, изобилие (начиная по крайней мере с рубежа XIII—XIV вв.) сербских канцелярских маргиналий, исчисляющихся десятками, зачастую с упоминаниями исторических лиц, что обеспечивает им надежную датировку, вполне согласуется с богатством сербского средневекового актового материала. Аналогичная картина с рубежа XIV—XV вв. наблюдается в Валахии и Молдавии. Напротив, скудость болгарского актового материала XIII—XIV вв. соответствует почти полное отсутствие болгарских канцелярских маргиналий этого времени. В сочетании с ранними свидетельствами деятельности тырновской царской канцелярии (грамоты Иоанна-Асеня II — 1218—1241) это наводит на мысль о длительных перерывах в ее существовании, в чем нет ничего удивительного, учитывая обстоятельства истории Болгарии второй половины XIII — первой половины XIV вв. (постоянные татарские набеги, частые, обычно насильственные, смены правителей). Мало меняют общую картину и найденные в последнее время в кодексе Слав. 298 БАН Румынии (Бухарест) канцелярские пробы пера с началами посланий последнего Тырновского правителя Иоанна Шишмана, уже лишенного к тому времени царского титула (1393—1395) [Иванова 1988: 88—93; Овчаров 1996: 77—79].

Обращение к русскому актовому материалу показывает, что появление канцелярских маргиналий находит соответствие и практически синхронно резкому увеличению числа грамот (см., например: [Кучкин 1984: 48-49]).

города канцелярские пробы пера (начала грамот, посланий, челобитий) до XIV в. также известны (в этом смысле восточнославянский регион отличается поразительной целостностью), ситуация вполне компенсируется широчайшим распространением здесь берестяных грамот.

Ключевой в вопросе датировки последнего листа Лествицы Рум. 198 и происхождения основной части кодекса является, естественно, проба пера с упоминанием имени князя Ярополка, поскольку подобного рода маргиналии отражают сиюминутные интересы писца и отнюдь не рассчитаны на повторение спустя долгое время. В нашем случае, в силу стечения обстоятельств, возможный хронологический отрезок появления маргиналии едва ли превышает девять месяцев. Из князей, носивших это имя, живших не ранее середины XII в. (палеографическая датировка Лествицы Рум. 198) и связанных с Новгородом, единственной приемлемой кандидатурой является сын строителя церкви Спаса на Нередице князя Ярослава Владимировича Ярополк Ярославич. По свидетельству Новгородской Первой летописи, он приехал на княжение в Новгород из Чернигова в Вербное воскресенье (30 марта)⁶ 1197 (мартовского 6705) г. и пробыл здесь до 1 сентября того же года⁷. Сменивший его на новгородском столе Ярослав Всеволодович прибыл в город 13 января 1198 г.⁸ Промежутком между приездом этих двух князей и следует максимально широко датировать маргиналию с именем Ярополка. Реставрация Лествицы Рум. 198 новгородским книгописцем относится, таким образом, по всей вероятности, к 1197 г.

⁶ Дата исчисляется по соотношению солнечного и лунного кругов с пасхалией.

⁷ «В лето 6705. Приде князь ис Чернигова Новгороду Ярополькъ Ярославиць на вѣрьбницу, настаную лѣту мртвьмъ мѣсяцемъ; и сѣдевьшю ему от вѣрьбнице до Сменова дни 6 мѣсяць одну, и выгнаша из Новагорода, и послаша опять по Ярослава» [ПСРЛ 3: 43].

⁸ «...и приде на зиму Ярославъ по Крещении за недѣлю и седе на столѣ своемъ...» [ПСРЛ 3: 43].

С отождествлением Ярополка получает достаточно простое объяснение мнение о черниговском происхождении Румянцевской Лествицы XII в., маргиналии которой каким-то образом (возможно, опосредованно) связаны с княжескими нотариями. Черниговскому варианту Н. Б. Тихомиров уделил в своем каталоге особое внимание. Приводя по этому поводу мнения И. И. Огиенко [Огиенко 1918: 87, 147, 213], А. Е. Крымского [Крымский 1922: 97, 100, 102, 105, 111] и (со ссылкой на последнего) С. П. Бевзенко [Бевзенко 1960: 325], он писал: «К сожалению, нам неизвестно исследование, в котором бы доказывалось (разрядка Н. Б. Тихомирова — *А. Т.*) черниговское происхождение Румянцевской Лествицы XII в.: ведь И. И. Огиенко и А. Е. Крымский в своих работах, по всей вероятности, пользуются выводами какого-то специального исследования, посвященного изучению памятника» [Тихомиров II: 116]. Думается, однако, что не разысканного Н. Б. Тихомировым исследования в действительности не существует, а в основе этого весьма вероятного мнения лежит предложенное выше, но оставленное языковедами за скобками отождествление князя Ярополка. В любом случае в свете исторических данных черниговская гипотеза представляется более предпочтительной, чем волынская или киевская (хотя, разумеется, привезенная в Новгород из Чернигова Лествица не обязательно должна быть там же и написана).

Разумеется, вопрос о датировке новгородской Лествицы Рум. 199 затрудняется отсутствием жесткой связи (на уровне протограф — антиграф) между нею и Рум. 198 (небольшой текст восполнения в последней едва ли позволит в данном случае прийти к однозначному выводу, хотя изучение его орфографии, учитывая склонность новгородского писца к точному копированию, представляется весьма полезным). Кодекс Рум. 199 мог быть написан безвестным новгородским писцом как позднее восполнение утраченного окончания Рум. 198, так и несколько ранее него. На фоне традиционной датировки Рум. 199 началом (?) XIII в. отнесение памятника к несколько более раннему времени (к 1190-м годам или к рубежу столетий) не кажется, на мой взгляд, излишне смелым и необоснованным. Следует учитывать и то обстоятельство, что для второй половины XII — начала XIII вв. (между 1164 г. (Добрилово евангелие) и 1207 г. [Кондакарь, ГИМ, Усп. 9-перг.]) древнерусские датированные рукописи отсутствуют, а в отношении новгородских этот интервал приближается к столетию, если не превышает его (1156—1163 гг. [Стихирарь, РНБ, Соф. 384] — 1260 г. [Минея праздничная, ГИМ, Син. 895]). И уж во всяком случае началом XIII в. новгородскую Лествицу Рум. 199 можно, думается, датировать теперь без знака вопроса.

Рукописные источники

Апостол апракос — Апостол апракос. Отрывок из месяцесловной части. Посл. четв. XIV в. (не позднее 1389 г.). Вильнюс, БАН Литвы (ф. 19), № 16.

Кондакарь — Кондакарь, нотированный. 1207 г. ГИМ, собр. Успенского собора, № 9-перг.

Минея праздничная — Минея праздничная, февраль—август. 1260 г. (л. 1 — 212 об.) и 1352 г. (л. 213 — 232 об.). ГИМ, собр. Синодальное, № 895.

Рум. 198 — Лествица Иоанна Лествичника. Сер. (?) XII в. [л. 218 — 1197 г. (?)]. НИОР РГБ, собр. Н. П. Румянцева, № 198.

Рум. 199 — Лествица Иоанна Лествичника. Кон. XII (?) — нач. XIII в. НИОР РГБ, собр. Н. П. Румянцева, № 199.

Слав. 298 — Сборник. Кон. XIV в. Бухарест, БАН Румынии, Слав. 298.

Стихирарь — Стихирарь минейный, нотированный. 1156—1163 гг. РНБ, собр. Софийской библиотеки, № 384.

Литература

Бевзенко 1960 — С. П. Бевзенко. Исторична морфологія української мови (Нариси із словозміни та словотвору). Ужгород, 1960.

Востоков 1842 — А. Х. Востоков. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842.

Востоков 1873 — Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке / С объяснительными примечаниями И. Срезневского. СПб., 1873.

Иванова 1988 — К. I v a n o v a. Un renseignement nouveau dans un manuscrit bulgare du XIVe s. au sujet de la résistance du tsar Ivan Šisman contre les ottomans près de Nicopol // Études Balcaniques. 1988. № 1. P. 88—93.

Кримський 1922 — А г . К р и м с ь к и й. Українська мова. Звідкіля вона взялася і як розвивалася // Ол. Шахматов, Аг. Кримський. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської Староукраїнщини XI—XVIII вв. Київ, 1922. С. 87—128.

Кучкин 1984 — В. А. К у ч к и н. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. М., 1984.

Овчаров 1996 — Н. О в ч а р о в. Последната война на цар Иван Шишман (1388—1395) // Palaeobulgarica. 1996. № 1. С. 62—85.

Огиенко 1918 — И. И. О г и е н к о. Курс украинского языка. 2-е изд. Киев, 1918.

Попова 1962 — О. С. Попова. Новгородская рукопись 1270 г. (Миниатюры и орнамент) // Записки Отдела рукописей [ГБЛ]. М., 1962. Вып. 25. С. 184—219.

ПСРЛ 3 — Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000 (ПСРЛ. Т. 3).

СК XI—XIII — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. / Отв. ред. Л. П. Жуковская. М., 1984.

Соболевский 1902 — А. И. Соболевский. К истории древнейшей церковнославянской письменности. IV. Несколько палеографических наблюдений // Сб. статей, посвященных... Ф. Ф. Фортунатову. Варшава, 1902. С. 109—134.

Тихомиров I—III — Н. Б. Тихомиров. Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI—XII вв., хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Ч. I. С. 143—183 // Записки ОР [ГБЛ]. М., 1962. Вып. 25. Ч. II. С. 93—148 // Там же. М., 1965. Вып. 27. Ч. III // Там же. М., 1968. Вып. 30. С. 83—156.

Турилов 1997 — А. А. Турилов. Заметки о кириллических пергаменных рукописях собрания бывшей Виленской публичной библиотеки (Ф. 19 БАН Литвы) // *Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne*. Т. 2. Kraków, 1997. S. 113—142.

ПОЛЕМИКА

В. П. Григорьев

Хлебников без ретуши*

(К выходу двух первых томов его «Собрания сочинений»)**

Критиков никто никогда не слушается.

Вита Владимирцева (2001)

«Ретушированный Хлебников» — рецензия В. Тренина и Н. Харджиева под таким названием была одним из немногих откликов на выход в свет первого «Собрания произведений» Велимира Хлебникова¹. И её ещё затронул пафос типичных лэфовских перехлёстов, но рецензенты точно указали на многие из недостатков того пятитомного издания; позднее они были обсуждены менее пристрастно, зато более подробно и убедительно². Само издание давно стало раритетом. Те однотомники Хлебникова (далее — также: Хл), которые выходили в 1936, 1940, 1960 годах под редакцией Н. Л. Степанова³, своей (не)полнотой и текстологией далеко не отвечали ни читательским ожиданиям, ни год от года возрастающим требованиям филологической акрибии.

* Специфика данного текстологического обзора требует сохранения авторской системы постраничных примечаний и принятых автором сокращений. — *Прим. ред.*

** *Хлебников Велимир. Собрание сочинений в шести томах / Под общей ред. Р. В. Дуганова, сост., подгот. текста и примеч. Е. Р. Арэнзона и Р. В. Дуганова. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие». Т. 1 — 2000, т. 2 — 2001, тираж 1500 экз.*

¹ *Хлебников В. Собрание произведений. Т. 1—5 / Ред. текста Н. Степанова. Л., 1928—1933, тираж 2500—3500 экз. (далее: СП; изд. открывала замечательная статья Ю. Тынянова «О Хлебникове»; перепечатано с изменениями в кн.: Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965); Тренин В. и Харджиев Н. Ретушированный Хлебников // Литературный критик, 1933, № 6.*

² От редакции. — В кн.: *Хлебников В. Неизданные произведения / Под ред. Н. Харджиева и Т. Грица. М., 1940, тираж 5000 экз. С. 3—18 (далее: НП). См. также комментарии — С. 387—485.*

³ *Хлебников В. Избр. [поэмы и] стихотворения. М., 1936, 505 с., тираж 2500 экз.; Он же. [Поэмы и] Стихотворения. Л., 1940 (Библиотека поэта, малая серия), тираж 10000 экз.; Он же. Стихотворения и поэмы. Л., 1960 (Библиотека поэта, малая серия), тираж 50000 экз. — При всех недостатках этих изданий они заслуживают не одного лишь — понятного по условиям того времени — снисхождения, но и благодарной памяти нескольких поколений читателей Хл.*

Разнообразные трудности методологического и цензурного порядка, типичные для того времени, не сразу и по-разному, но так или иначе гуманитариям всё же удавалось преодолевать.

Столетие со дня рождения Велимира Хлебникова (1885—1922) значительно обновило ситуацию в *велимироведении*⁴. «Перестройка» только намечалась, но публикации отечественных велимироведов, как литераторов и литературоведов, так и лингвистов, с середины 60-х годов, а затем в 70-е и 80-е годы заметно оживляются, крепнут и множатся. Они вводят в научный оборот ценнейшие материалы из мало тогда известных и плохо обследованных архивов, а что не менее важно, всё полнее обрисовывают значение слабо разработанного проблемного поля — «Хлебникова поля», о котором перед смертью так заботился сам поэт, он же *мыслитель* и *учёный*. Эти трудоёмкие, разрозненные и разноуровневые усилия в своей противоречивой совокупности задают общее проблемное направление в исследовании русского авангарда. Их существенно подкрепляют, иногда и значительно опережая, работы многих зарубежных ученых, касающихся творчества *будетлянина* Хлебникова⁵.

Перед нами первый и второй тома нового, шеститомного **академического** издания этого поэта. Их приятно держать в руках и самому требовательному библиофилу, не менее искушённому филологу и каждому любителю поэзии — издательство не ударило лицом в грязь, достойно воспроизводя как стихи, так и хорошо подобранные иллюстрации жизненного и творческого пути Хл. Можно с признательностью составителям отметить, что им удалось сделать уверенный шаг и в направлении к **полному** собранию текстов этого поэта.

Насколько необходимо и возможно уже сейчас это *полное*? Увидим ли мы его в обозримом будущем? Обсуждение таких вопросов — особая тема, попутно касаться её здесь едва ли уместно. Достаточно того, что мы дожили до **первого** академического издания сочинений Хл. Попробуем, в самом предварительном порядке, рассмотреть эти два тома совместно с нескольких сторон,

⁴ Отчасти — и в отношении к Хл нашей прессы, и «общественного мнения». Тем не менее представляется показательным недавний факт. В 2000 г. газета «Известия» широковещательно омолодила Хл на 15 лет! Произойди такое с другим видным поэтом XX века — и что бы было!? С Хл — не так. Мало того, газета и непосредственный «омолодитель» А. Архангельский спустя какое-то время задним числом сами дают себе циничную индульгенцию, публикуя заметку на совсем другую тему, но под бестактным (в глазах тех, кто чтит память и о Хл, и о Давиде Самойлове) заглавием и с вызывающей аллюзией (еще помните о нашей былой «промашке»?) — игрой слов: «Перевирая наши даты» («Известия», 1 октября 2001 г., с. 2).

⁵ История велимироведения и, соответственно, хлебниковианы еще не написана. Некоторое представление о наиболее существенных здесь работах можно составить по библиографии и по указателям к кн.: Григорьев В. П. Будетлянин. М., 2000. С. 746—811 (далее: «Будетлянин»).

как кажется, важных и в перспективе всего предприятия⁶. Несомненно замечательное по замыслу, а в очень многом и удачное по исполнению, оно побуждает к самой высокой его Критике — как по тому «гамбургскому счёту», который когда-то открыли В. Тренин и Н. Харджиев, так и в соответствии с более современным «принципом сочувствия», обязательным для любого читателя-оппонента.

Состав издания. Всё еще бытует представление о Хл как «авторе набросков и экспериментов» по преимуществу, в которых якобы прямо-таки «увязают» его редкие «законченные прекрасные стихотворения»⁷. Следуя ему, академическое издание Хл просто затемняло бы эстетический смысл наследия поэта или/и, что, пожалуй, не лучше, заведомо теряло бы читателей за пределами небольшого круга узких «специалистов по Хл». Составители обсуждаемых здесь нами томов (далее: СС 1, СС 2 или 1 и 2), как и СС в целом, представляют Хл иначе. Высоко оценивая и «опыты» Хл, они разумно избрали иной путь. Оптимален он или нет, но именно его обосновывает содержательная (странно, никем из составителей не подписанная⁸) статья «О принципах подготовки издания» (СС 1, 433—445).

Сюда, в СС, «вошли все основные художественные произведения» Хл, «а также публицистические, научно-философские работы, автобиографические материалы и письма» (СС 1, 433). Заметно, что понятие «основного» авторы не обсуждают, неясно и то, распространяется ли оно на «нехудожественные произведения». Да не покажется это придиркой к действительно большому событию — изданию СС, но, в отличие от СП, оно обходится без вводной, обобщающей опыт велимироведения статьи (а то и не одной?) о жизни и творчестве Хл⁹. Статья «О принципах...» лишь

⁶ Надо сожалеть, что его концепция не была своевременно, широко и публично обсуждена в печати. Хотя инициатор издания неоднократно делился с коллегами некоторыми из своих соображений, связанными и с этим трудом, но долгое время, пока не появлялась возможность его практической реализации, такое специальное обсуждение по понятным причинам всё откладывалось до лучших времён. Эти времена только-только дали о себе знать, когда при вести о кончине Рудольфа Валентиновича Дуганова (1940—1998) иные сожаления отступили куда-то в тень. Памяти учёного посвящён вып. 2 «Вестника Общества Велимира Хлебникова» (М., 1999).

⁷ Это мнение Ф. Искандера («Новый мир», 1998, № 4. С. 43), подчас и в более жёсткой форме, разделяется многими и многими писателями и читателями. Для них, очевидно, хватает текстов, отбираемых в однотомники. См., например: *Хлебников В.* Творения. М., 1986, 736 с., тираж 200000 экз. (далее: «Творения») — или даже куда менее объёмные издания Хл середины 80-х и последующих годов.

⁸ «Странность» могу объяснить лишь нежеланием Е. Р. Арэнзона «навязать себя в соавторы» Р. В. Дуганову. Но понятная сдержанность делает как будто анонимными и «ответственность», и «права», и несомненные достоинства, и возможные слабости самой концепции.

⁹ Известная кн. Р. В. Дуганова «Велимир Хлебников: Природа творчества» (М., 1990, тираж 20000 экз.) не могла, естественно, учесть публикации особенно урожайных для велимироведов 90-х годов. На кн. Н. Степанова «Велимир Хлебников: Жизнь и творчество» (М., 1975, тираж 20000 экз.), сохраняющую своё значение, сейчас во многом полагаться уже не стоит. — Должен сказать и о том, что не могу оправдать «абсолютный апартеид» составителей СС в отношении «тёзки» — кн.: *Хлебников В. В.* Собрание сочинений. Т. I—IV. München, 1968—1972.

в очень малой степени способна восполнить в глазах читателя этот недостаток, отчасти извиняемый особенно трудными задачами подобного обобщения¹⁰. Из неё мы, в частности, узнаём, что «Доски судьбы», этот «главный и обобщающий труд» Хл (436), не войдут в СС как пусть незавершённое, но нечто целое — их предполагается напечатать в т. 6 лишь в избранных отрывках: полное их издание — «дело неблизкого будущего».

Еще не так давно с этим, казалось, можно было с прискорбием согласиться. Сегодня же доступный каждому исследователю полный текст «Досок судьбы» уже стал первой необходимостью в познании синтеза тех «осад» времени, слова и множеств/толп, которые отличают идиостиль Будетлянина от любых других в XX веке и без учета которых невозможно понять ни поэтику, ни эстетику Хл¹¹. Тем более важной станет предполагаемая статьёй публикация в т. 6 «кратких записей» Хл, объединяемых отделом «Из записных книжек»: поддержка не так уж удачно начатой А. Кручёных и Н. Степановым традиции поможет тем, кому затруднён доступ к архивам и известным, но малотиражным материалам Хл.

¹⁰ О его трудностях читатель может судить по неоднозначности восприятия публикаций вроде нашей статьи «Велимир Хлебников» («Новое литературное обозрение», № 34, 1998. С. 126—172) и ряда других работ в хлебниковiane. Ср., например: «Новое литературное обозрение», № 45, 2000. С. 344—349; «Новый мир», 2001, № 1. С. 209—212; «Книжное обозрение», № 10—11, 2001. С. 15; сб. «Текст. Интертекст. Культура» (М., 2001. С. 146—150; с критикой статьи О. А. Седаковой «Контуры Хлебникова» из сб. «Мир Велимира Хлебникова» (М., 2000. С. 568—584, 834—840).

¹¹ По указателям в упомянутой книге «Будетлянин» видно, как настойчиво её автор стремился с начала 80-х годов ввести в научный обиход беспрецедентные «сливки» из архива Хл в ЦГАЛИ (РГАЛИ), связанные прежде всего с «Досками судьбы». Их значимость и «доступность для понимания», на мой взгляд, в СС всё-таки недооценена (436). Кстати, заслуживают понимания (а не высокомерной усмешки) и усилия *биолога*: *Хлебников Велимир. Доски судьбы. Василий Бабков*. Контексты Досок судьбы. М., Рубеж столетий [2000], 288 с., тираж 100 экз. (Увы, «ятя» кириллица моего компьютера не предусмотрела, отсюда чуждый е.) Добавлю и подчеркну. После трагедии 11.09.01 на первый план у Хл особенно настоятельно (**для всех нас в России и всего человечества**) выступают **его этика** и требование **«мировой совести», его Мера**, его «основной закон времени», его социология и «закон возмездий». Он почти пророчествовал, начиная поэму «Ладомир» словами о *пенле* «замков мирового торга»: «И небоскрёбы тонут в дыме / Божественного взрыва», — а в тексте этой поэмы поместив прямо-таки «цитату дня» для нынешних «Известий»: «Это ненависти ныне вести»... Войдёт ли в наше сознание (и в СС) строчка Хл: «Все мы – гайки, все мы – гвозди на челноке Земного шара»?..

Намеченное распределение текстов Хл по томам не вызывает возражений. Не является, конечно, идеальным сам его «жанрово-хронологический» принцип (с подчинением вообще исключительно зыбкому у Хл, на всём протяжении его творчества «жанру» — общего движения мысли и слова поэта), но от «резких движений» здесь составители, видимо, разумно воздержались. (Будет интересно посмотреть, как они обойдутся в СС 4, например, с жанром «сверхпоэмы».)

Первые два тома СС охватывают стихотворения 1904—1916 и 1917—1922 гг. По первому приведена статистика: публикуется, включая «Другие редакции и варианты», «353 стихотворения, из них 50 — впервые» (445); по второму данных нет, но они были бы не менее впечатляющими¹². У Хл, сужу по собственному опыту, даже клочок неизвестного ранее текста способен задать исследователю совершенно неожиданный путь размышлений. Поэтому за каждый текст в СС 1 и 2, который сопровождается указанием «Печ. впервые», отдельная искренняя признательность¹³. Без ответа остаются, однако, четыре вопроса.

1) Всё ли из того, что входило в СП и НП, мы найдём в СС? Статья «О принципах...» наводит на тревожную мысль о том, что — нет, не найдём: в тех случаях, когда рукопись утрачена, а печатный текст сильно искажён (440). Таких случаев немало, строго определить катастрофичность меры их искажения часто невозможно, хотя осторожность составителей понятна. Не исключены и непреднамеренные пропуски текстов, но достаточно полной информации даже о переводе «бывших стихотворений» в жанр «поэм» СС 1 и 2 не обнаруживают.

Как бы то ни было, в вышедших томах я не нашел упоминаний о текстах (при тяжёлых неисправностях некоторых из них) «Мы в суше сущие...», «Студа бесстыдных нег...», «Вид яри бледной, дикой...», «Как во лодочке...», «За дорогой...», «Труп речи, но хохота князь...» (все — НП);

¹² В СС 2, даже не считая «Других редакций и вариантов», около 300 стихотворений, из них «новых» — более 50. Сравним: в «Творениях» 1986 г. *всего* 184 стихотворения Хл, у Степанова в 1936 г. 69; Харджиев и Гриц в 1940 г. представили около 100 неизвестных тогда стихотворений. Судя по всему, и в последующих томах СС читателей будет ждать немало нового.

¹³ Меня, впрочем, не удовлетворяют три обстоятельства. Почему *не* всякий раз за указанием «Впервые» следует предлог «по» (такому-то источнику)? И что, даже при наличии этого предлога, мешало комментаторам давать в СС ссылки на архивные единицы хранения и листы рукописей? Эти сведения, не обязательные, а то и излишние в книге для широкого читателя, в XXI веке для собрания сочинений Хл представляются необходимыми; их отсутствие думаю, обеднило СС как научное издание, не вполне преодолело «двойственный характер», присущий в своё время СП. И неужели «Алфавитного указателя произведений Хл», которого так нехватает при разных обращениях к томам 1 и 2, нам придётся ждать до последнего тома? — О «Примечаниях» и нескольких частных ошибках, связанных с «впервые», подробнее будет сказано ниже.

«Так как...», «Когда я, следуя Толстому...», «Армянское», «О, мир, мой добрый дядька...», «В душу, холодную, как лёд...», «Есть девушка с причёскою «Россия»...», «Я — ответ, мученик будизм...», «Я — небич бледный...», «Смертич, смертич, не смеси...», «Между озера зеркал...», «Где ты, изгнанница?...», «Стенал я, любил я, своей называл...», «Нечеловеческий взгляд месяца...», «Какой страстей переверот...», «Цветок семи колоколов...», «И если плача высох ком...» (СП, 2); «Смелей, смелей, душа досуга!...», «Чу! Зашумели вдруг облака шумом и свистом...» (его, впрочем, в СС 2 дважды упомянули — 509, 537, но жаль, без последствий)¹⁴, «Осень», «Какой остряк, какой повеса...», «Дерево» («Изломан сук на старом дереве...») (СП, 3); «Дважды сменилась веселья зарница...», «Я и слово», «И чередой...», «Правительством чёрных очей...», «Сваи и сваи, на свайных...», «Нескромные места лесов...», «И вот зелёное ущелие Зоргама...», «Люди! Утопим вражду в солнечном свете!...», «Чар чорт», «Я — волна, скатившаяся...», «Кто он, Воронихин столетий...» (СП, 5).

Похоже на то, что среди *стихов* найдётся и кое-что «лишнее». Таким предстаёт, например, блестящее размышление поэта о слове *вольтевик* — этот более чем сомнительный «верлибр» (СС 2, 259; его тезисы и неологизмы мне удавалось пропагандировать еще с 1986 г.). Кое-что, наоборот, затерялось при необоснованном объединении двух и даже трёх текстов в один; это, например, — «Люди! Утопим вражду...», «Батог рыбачий...», «Баку! Бакунина Нины уход!...» или «Золотистые волосики...» (СС 2, 103, 118—119, 146, 217).

2) Значение проблемы «завершённости» хлебниковских текстов составители вроде бы хорошо понимали (1, 439—443). Тем не менее, по существу, они её так и не решили, приняв «установку на публикацию полноценных и законченных текстов» с оговоркой о том, что внешне черновые рукописи Хл часто «содержат вполне завершённые тексты» (440—441). Законченность, завершённость и полноценность становятся, по составителям, оценочными синонимами чуть ли не в глазах самого Хл, а «впечатлению незавершённости» способствуют разве что многочисленные варианты, особый язык и стих. Тут же говорится о «внешней незавершённости» (что как будто предполагает внутреннюю завершённость? — 441—442). Остаётся неясным, как же с этим должны соотноситься понятия «отрывок» и «фрагмент». А кроме того, у Хл есть и «приписки» (ср. глубокий каламбур: «И скорее справа, чем правый, / Я был более слово, чем слева» — СС 1, 134, 468; позднее он откликнется у Хл в

¹⁴ Между тем, оно знаменует важнейшую дату в творчестве Хл — стык 1920-го и 1921-го годов, связанный с открытием «закона времени». В Примечаниях о последнем упоминается (2, 543 и др.), как и о «Досках судьбы» (543—548 и др.), но даже ссылки на воззвание Хл «Всемир! Всемир! Всемир!» найти в Примечаниях не удалось. Мою возможную невнимательность извинит то, что этому перелому в идиостиле Хл сами составители не придают особого значения.

«принципе единой левизны»; не мешает повторить каламбур и в СС 6). Ср. еще двустипшие, воспроизводимое как самостоятельное стихотворение: «Когда был Адам и Ева, / Кто был правый, кто был левый?» (СС 1, 156; в Примечаниях, 471, — ошибка: я уже публиковал его в 1996 г.). И как же недостаёт в СС 1 великих строк (отрывка? фрагмента?) «Леса лысы. / Леса обезлосили. Леса обезлосили» (до нас их донёс Маяковский).

Уместно цитируется Н. И. Харджиев: Хл действительно «ощущал каждую свою словесную конструкцию не как вещь, а как процесс», — так что, делают трезвый вывод составители, «в принципе каждая его вещь как бы чревата дальнейшими изменениями, продолжением, развитием» (441). Далее речь идёт о «высочайшей смысловой организованности» текстов Хл, их «внутренней, так сказать, сверхзавершённости» и всё определяющей «завершённости художественной мысли» (442). Если так, то почему «посылка» в логике Харджиева *He / A* открыто не заменена на *И / И*?¹⁵ «Разумеется, теоретически тут многое еще остаётся неясным и спорным», — справедливо заключают авторы (лишний раз признавая тем самым для СС потребность в обобщающей вводной статье), но на практике они «достаточно уверенно» включают в основной состав издания ряд «недоработанных черновиков» (443) и, добавим, «набросков». Благодаря этому читатель легко приобщается к ряду важных ранних текстов Хл типа «Город, где люди прячутся от безумия...» (1, 208) и др., хотя часто — и не столь важных.

3) Оставляя за границами СС многие тексты вроде перечисленных выше и решая «вопрос о соотношении отрывка и целого» теоретически лишь для случаев «отдельного стихотворения и того же стихотворения в составе поэмы» (443), авторы пока не снимают нашей тревоги и за состав СС 6: насколько полно там будут представлены «отрывки-фрагменты» и то, что в СС 1 и СС 2, по всей вероятности, было сочтено «неполноценными» черновиками? Не подумать ли над структурой СС 6, не ввести ли в его состав раздел «Черновики»? Хочется, чтобы в СС, которое призвано заменить, насколько это допустимо, и СП, и НП, было как можно меньше даже ничтожных «по внешности» потерь.

4) Не возвращаясь к оставленной нами здесь проблеме издания «полного» Хл, стоит задаться и вопросом о некоторой «переполноте» **основного состава** СС. После «Своеси» СС 1 открывается не «нормальным» детским стихотворением Хл «Птичка в клетке» (его здесь нет), а сотней с лишним страниц текстов 1904—1908 гг., большинство которых носит характер словотворческих и эстетических (полуэстетических) проб. Ценность их несомненна, и всё-таки чаще всего это — длинный ряд утомительных для «рядовых читателей» (а согласно признаниям многих писателей и

¹⁵ Логика *He / A* определила, думаю, и более значительные aberrации в контрфактических, по установкам и итогам, «контурах» Хл, на которые была нацелена, видимо, давняя, но недавно опубликованная статья О. А. Седаковой, упомянутая выше (сн.10).

филологов, также и для них) экспериментов, различных не столько по «завершённости художественной мысли», сколько её, этой мысли, значимости. Поэтому немалую часть указанных текстов было бы целесообразно отнести в специальное Приложение к СС 1. Вот когда бы и сыграл свою роль нелегкий, но важный и даже неперемный по применимости и в искусстве, и в велимироведении критерий художественной и иной «полноценности». Конечно же, настоящее место текстов типа «Зазовь», «Снегич узывный...», «Прамень невинностей мора...» — 1, 90, 106, 113 etc., etc. — не в «основном составе», а в непретенциозно-важном именно для Хл разделе «Опыты» («Эксперименты»).

Датировки. Не буду перечислять множество случаев безусловных уточнений в СС дат у различных текстов, а в пределах одного года — реального порядка их создания или вероятного следования друг за другом. Понятно для всех значение результатов этой и тонкой, и трудоёмкой работы. Остановлюсь, пожалуй, лишь на одном спорном решении, мотивировка которого весьма принципиальна и всё же, думаю, неверна. Имею в виду стихотворение «Союзу молодёжи»¹⁶. Дата <1917>, приписываемая ему, является существенной абберацией. *Мальчик* в стихотворении «Через строй столетий...» 1916 г. «страшно далёк» от реальных *русских мальчиков* у Хл 1921-го; эта ссылка сразу же компрометирует новую датировку. Не более убедительно предположение об особенном внимании Хл к решению VI съезда РСДРП — в подобной «партийности» поэт не был замечен. Привязать текст к «внешней» войне 1914—1917 гг. не удаётся; стихотворение «Три года гражданской войны...» дополняет текст «Союза молодёжи», не противореча ему: в 1917 г. Хл уже никак не мог воспевать участие в «той» *Войне-Великании*, в 1921-ом он, «красный будетлянин», совершенно искренне гордился юношами «страны советованной», при том, что не только наблюдал «сумасшедший дом» войны гражданской, окопы «рати алой», авантюризм персидского похода и художества «братишек», но и уже достаточно глубоко разобрался в диалектике монолога Ленина, чтобы нуждаться ещё в каком-то «переосмысливании трёх лет» (СС 2, 500). Октябрь 1917 г. до конца оставался для Хл исторически объективной «точкой отсчёта». В «Зангези» и «Досках судьбы» он — как историк, мыслитель, а порой и жёсткий критик Советов, общества в целом, нэпа и своих

¹⁶ Можно было бы оспорить и устранение из датировки сверхпоэмы «Азы из Узы» 1919 г. (в Примечаниях — СС 2, 526: 1920—1922; для «Зангези» пока принята еще более обуженная дата — 1922), но это частности. Не кажется до конца убедительной также существенная передатировка стихотворения «Ручей с холодной водой...» с 1921 г. на <1920>, 1921 — Примечания в СС 2 подкрепляют её лишь глухой ссылкой на неопубликованное письмо Хл родным от «2 ноября». Сомнения в точности СС 1 вызывает не вполне логичное место таких важных текстов, как «Времышы-камышы...», «О, достоевскиймо...» и «Кузнечик»: если Хл написал их до 31 марта 1908 г., то непонятно, почему они не были им посланы тогда в письмо Вяч. Иванову. — Очень непоследовательны в СС запятые после «риторических О» (наглядно: 1, 163 и др.).

соратников — ей и её «мальчикам» не изменял.

Текстология. «Научно-текстологическая концепция издания», разработанная Р. В. Дугановым (СС 1, [4]), заслуживает отдельного специального разбора. Нет возможности рассматривать её здесь во всех деталях. Кое-какие из них попутно были затронуты выше. О других еще придётся говорить далее.

В самом главном и целом концепцию отличают: установка на охват всего доступного рукописного наследия Хл; вызывающий полное сочувствие замах на создание «специальной хлебниковской текстологии» (СС 1, 439); понимание необходимого при этом «более широкого и гибкого подхода» к «черновым» текстам Будетлянина; ориентация на «русло общей текстологии» (440—441). Существенную недостаточность концепции как целого я вижу в недооценке той систематической «осады слова», которая так сильно отличает идиостиль Хл едва ли не от всех прочих идиостилей XX в. Простая отсылка читателя к работам Н. Н. Перцовой, Р. Вроона, В. П. Григорьева (и кого бы то ни было еще) о словотворчестве поэта помогает мало. Ни определения им «самовитого слова», ни достаточных представлений об общеязыковых и только словотворческих принципах Хл или хотя бы о смысле его запрета для себя на «западный корнеслов» читатель в СС не найдёт¹⁷. Здесь обнаруживаются и прискорбная, традиционная для очень многих литературоведов недооценка значения «языка литературы» как такового, и **лингвоэстетическая** недостаточность концепции. В принципе это могло бы подорвать самые лучшие филологические намерения составителей. Если они всё же нашли в СС некоторый (всё-таки зыбкий, на мой взгляд) компромисс, следует осознать его цену и связанные с ним заблуждения: те «особенности поэтической системы» Хл, «выявление» которых якобы уже осуществил Н. И. Харджиев (1, 440), на самом деле и сегодня предстают в качестве еще по-настоящему не осознанной системы очень глубоких проблем. Поиски ответа на

¹⁷ Он остаётся наедине со своими возможными недоумениями по поводу необыкновенного развития у Хл перифрастики, его тяготения к верлибру, своеобразия его акцентологического просторечия, природы «стилевых провалов», нередкой размытости границ между авторской речью, несобственно-авторской и речью персонажей (границ, менее ясных, чем в «Двенадцати» у Блока), разнобоя в осознании и представлении разного рода собственных имён у Хл, в том числе не только таких, как Вила, Леший, Мава, Русалка (СС 1, passim), но и многих других, etc. Это снова, так сказать, совсем «не лишний раз» должно возратить Е. Р. Арензона и титульные для издания институции к недооценённой ими необходимости дать в СС обобщающую статью о системных особенностях идиостиля Хл. Неразумно, несправедливо и неоправданно жестоко было бы требовать её подготовки сейчас, в разгар работы, от Е. Р. Арензона. Но ИМЛИ всё же должен, на мой взгляд, найти решение этой проблемы – собственными силами или привлекая велимироведов со стороны («– Вот сами бы и написали?» – vs. – «– Лет бы пять назад...»).

вопрос: «Что, собственно, стоит *за* беспрецедентным языком Хл?» — авторы, по существу, перекладывают (до каких томов СС?) на плечи читателей.

Причинную связь того, о чём только что сказано, с конкретными слабостями в отдельных текстологических решениях СС, проследить не стану. Нет пока и возможности фронтального сопоставления этих решений с автографами поэта. Учитывая огромный текстовый материал, привлечённый в СС, в будущем можно ожидать немало отдельных поправок к нему. Сейчас важно лишь указать для обсуждения некоторые места в текстах, по разным причинам привлёкшие внимание как спорные, сомнительные или даже воспроизводимые с явными ошибками. При этом надо иметь в виду принятое авторами правило помещать «в основном составе каждого жанрового отдела» не первоначальные, а последние редакции (444). Между тем показу реальной эволюции идиостиля и «идеостиля» Хл альтернативное решение способствовало бы куда больше¹⁸. По справедливости отмечу, что принятому правилу авторы следуют не строго. Но, например, найти в СС 1 известный текст 1910 г. «Мы желаем звёздам тыкать...» не так легко: он помещён в раздел «Другие редакции и варианты», краткая же «новая редакция» (255) на целых два года «старит» начинающего Хл.

Прежде всего прочего перечислю некоторые **орфографические** (в широком смысле, т. е. включая и пунктуационные) нелады и сомнения, не отделяя от них не такой уж длинный ряд досадно-очевидных опечаток.

В изумительном, впервые публикуемом четверостишии Хл «Мирожки делал Бог. Почитать велел Рок. Пирожки пекла Вера. Полюбились срок и мера» (СС 1, 70) две из четырёх точек хочется оспорить: знаки тире на их месте, кажется, точнее передавали бы интонацию со- и противопоставления планов текста¹⁹. Стоило ли сохранять написания «разверзстую», «мятель» etc., а вслед за небесспорным «Прометей» подсказывать сомнительные ударения в ряде слов: «Любавица», «ненароком», «грёзоль», «светли» (1, 79, 81, 121, 123, 150, 172)? Не лучше было бы прибегнуть к конъектуре в случае едва ли сознательного у Хл диссонанса «Желанье-смеяние» (ср. ниже: «желаньерыданье» — 105)? Иные «непоправки»: «основанья»/ «основания» и «созвездья» (2, 74, 154, 371). Грубая опечатка — «зовет», вместо «завет» (167), — не менее опасна для восприятия и усвоения

¹⁸ Оно недавно не без успеха было опробовано (правда, в *неакадемическом*, но серьёзном и авторитетном) издании: *Мандельштам О.* Стихотворения. Проза. М.; Харьков, 2001. — Не следовало бы принять в СС избранный там экономный способ «сплошной» печати текстов (а не каждого на отдельном листе)? Хотя бы частично? Тогда бы «опыты» (в Приложении или в основном составе; об этом речь шла выше) не уравнивались с «полноценным» и безусловным. Да, поезд уже ушёл, но перебор с не оправдываемой на деле частичной «пышностью» СС как рабочего издания остался и «растраты площади» огорчают. Ср., кстати, подборку: 1, 132—134.

¹⁹ Текст настолько важен, что стоило бы еще раз вернуться к рукописи (РГАЛИ. Ф. 527, оп. 1, ед. хр. 60, л. 96); в ней, по моим уже давним архивным записям, кое-что может быть прочитано несколько иначе.

читателем реальных «контуров» Хл, чем оплошности текстологов, не заметивших у него, скажем, *концевой* рифмы «не зять — ни взять», почему вполне гармонический текст, думаю, предстаёт в искажённом виде (169)²⁰.

Другой случай искажения — уже совсем не орфографической природы — тоже непреднамерен, хотя и сознателен. В этапном для Хл стихотворении «Могилы вольности Каргебиль и Гуниб...» одна строка выглядит странно: «Так, среди «Записок Кушетки» и «Нежный Иосиф»,». У Хл оба эти названия прозаических произведений М. Кузмина стояли, вопреки обычным нормам, в именительном падеже. Половинчатая правка усилила здесь (1, 203) ненормативность до такой степени, которой сам поэт, кажется, не мог ни желать, ни предвидеть, хотя часто и вынужден был с ней почти мириться в своих прижизненных изданиях.

Не буду слишком задерживаться на такого рода казусах, как они ни важны, и лишь поставлю ещё несколько вопросов. Ради чего сохранены ошибки поэта в написании слов «медвежий» и «птичий» (1, 276, 286, 308; 2, 130, 223, 318, 320)? Хл нередко пренебрегал выбором ритмически точного варианта из окончаний *-ой* и *-ою*. Не следовало ли тщательнее взвесить в случаях рифмы «запятый» — «испитое» или строки «Со скотско~~й~~ дворовой жижей — голубое» (1, 279; 2, 234) и под. необходимость конъектуры <ю> (ср. 1, 202, 213 и др.)? Так уж трудно было устранить полнейший разнобой в передаче единиц «звёздного языка», всех этих *Эль*, *Вэ*, *Лэ* и под., то прямым шрифтом, то курсивом (*passim*)? Остаётся в СС немало и пунктуационных двусмысленностей. Понимаю все трудности, с которыми здесь столкнулись составители — пока в хлебниковиане эти изнурительные проблемы по-настоящему не обсуждались. И всё же. Разве не стоило хотя бы упомянуть о спорах вокруг запятых в конце строки «В пеший полк 93-ий» (1, 372, 521—522) или при частице *да* в строке «Да ты небрежно читаешь» в принципиальнейшем для Хл стихотворении «Единая книга» (2, 115; там далее и иная неразбериха с запятыми и точками)?²¹ От такого невнимания к пунктуации сильно

²⁰ Любопытен казус со строчками «Дева ветренной воды» и «Гуляет ветренный кистень» (СС 1, 197, 235). Сохранение в эпитете *-ни-* намекает на то, что перед нами сознательный орфографический (а может, и фонетический?) неологизм. Между тем в «пушкинотах» их написание в рукописи с двумя «н» игнорируется (СС 1, 102—103; ср. также «бух лесинный» в сб. 1914 г.), и это, уверен, более правильное решение. Обратим еще внимание на произвол или по меньшей мере непоследовательность (только отчасти обусловленные самим Хл) в передаче текстов, содержащих графемы «че», «чо», «чё», «же» etc. Ср. «чёботах», но «заржом» (СС 1, 256), «чорт» — «челн», «черные» — «чёботы» (271—272; там же: «шопот»; и, кстати, верно: «черноглазья») и под. Сохраняя написание «бичем» ради «рифмы для глаз» (*Эм* — бичем; 2, 341), настаивают ли составители на необходимости для читателя (и чтеца) также ненормативного *произношения*? Ср. едва ли не вредное сохранение «оне» безотносительно к его позиции в стихе (2, 412).

²¹ Возможно, это дело вкуса, но редакцию «Единой книги», предлагаемую в СС 2, хочется оценить как первоначальную (а не позднюю) редакцию или эстетически менее удачный вариант. То же самое относится к ряду редакций и вариантов не только у текстов 1920 г.: эстетический критерий при выборе «головного» текста в СС нередко выглядит приглушённым.

страдают (если бы лишь в чьих-то представлениях) как синтаксический и интонационный, так и непосредственно смысловые уровни идиостиля Хл. В связи с упоминавшейся выше трудной проблемой различения у него прямой и несобственно-авторской речи (сн.17) замечу: в СС 3, где в поэмах напрямую сойдутся эпика, лирика и «чужие голоса», роль публикаторской орфографии, пунктуации, а в союзе с ними и графики, неизмеримо возрастёт.

Ещё два слова о **коньектурах**. Р. В. Дуганов и Е. Р. Арензон прибегают к ним крайне редко. Понять это можно, однако не хотелось бы видеть здесь установку на принципиальную ультраминимизацию «вмешательств» в тексты Хл. Как бы там ни было, но оптимальной, видимо, должна быть признана естественная «установка на адекватность» вмешательств текстолога. В противном случае мы обрекаем читателя на массу недоумений, отказывая ему в ожидаемой помощи. Я бы хотел сейчас настаивать не на обязательности коньектур в тех примерах, которые приведу, а лишь на необходимости по крайней мере комментариев во многих подобных случаях. Сочтены ли опиской Хл его *красивицы* (ср. 1, 323)? Не знаю: об этом не сказано в Примечаниях (допускаю, что *красавицы* — досадный недосмотр²²). Читателя могут насторожить у Хл (нарочитые ли?) случаи введения «как бы заглавия» в текст (с нарушением его ритмической структуры) — случаи начальных строк «Татлин, тайновидец лопастей...» или «Завод: ухвата челюсти, громадные, тяжёлые...» (1, 374; 2, 269). Видимо, разумно было бы представить эти стихотворения с нормальными однословными заглавиями, разумеется, взятыми в угловые скобки: <Татлин> и <Завод>. Иначе мы, похоже, без веских причин приписываем поэту стремление (неясно, с какой целью) особо выделить оба указанных текста ритмикой начала²³.

Стихотворение «Курган» по инерции начинает спотыкливая строка «Копьё татар чего бы ни трогало — « (1, 335). В «Творениях» 1986 г. я не сумел настоять на напрашивающейся коньектуре <б>, вместо «бы». Вот и теперь читатель Хл будет спотыкаться и думать, что такова уж была прихотливая воля поэта. Есть случаи, где коньектуры без разъяснений прятали бы действительные стилевые огрехи Хл. Это, например, строчка «А я же, алчный к победам» (2, 166). Хл был покладист, но не знаю, простил бы он сегодня издателям корректное удаление из его во всём остальном

²² Близкий к этому случай: отвергнута (?) форма *смеищного*, предпочтение отдано «норме» — «До писка смешного» (2, 382).

²³ Одно заглавие в СС уникально и, думаю, насильно привязано к тексту. Это строчка «Мы дети страны советованной» (2, 454, 539). В 1986 г. я опубликовал её как самостоятельную заметку и законченное высказывание Хл («Будетлянин», с.216 и др.). Ср. объединение, даже без отбивки, трёх смежных, но, видимо, разных текстов под заглавием «Год» (2, 146).

превосходного верлибра «лишнего же»²⁴. Так что и с попыткой оправдать конъектуру в строчке «Кричите, <трубите>, к устам взяв трубу» (2, 280) на таком совершенно шатком основании, что она «устраняет механическое повторение глагола «кричите» в рукописи» (568), согласиться невозможно: повтор выразителен и явно сознателен; конъектура же ощутимо ухудшает текст. Но здесь конъектура хотя бы чётко обозначена. Сколько в СС «мелкой» правки, не отмеченной знаками < >, можно только догадываться²⁵.

Два ранних стихотворения Хл содержат в себе близкие по типу загадки. Это строчки «От и до края летит птиц чёрных стая» и «Это зависит, уложится ли в строчку слово» (1, 201, 206). Первую так хочется привести конъектурой к норме: От <края> etc. Тем более — вторую (в свободном стихе, содержащем далее также суховатый союз «так как»): <от того>. Мы знаем, как часто и поздний Хл «лениво» недописывал отдельные слова и целые фразы²⁶. Что же мешает категорически выступить с предложением этих конъектур?

Думаю, прежде всего — это понятное и тем более простительное опасение обмануться в собственной безусловной правоте и произвольно исказить стиль Хл, причинить ущерб уже достигнутому общим уровням понимания поэта и его стиля, а вместе с тем, его, поэта, понятности и «приемлемости для всех». Достоинства СС в этом смысле, на мой взгляд, не могут быть оспорены. Недостатки же, продолжая их, оказываются отражением всего нынешнего этапа велимироведения, а вовсе не какой-то особой предвзятости (качества, вообще-то известного и ему, и всей филологии) или исключительной слабости авторов-составителей. (Думаю, однако, в одном существенном аспекте их предвзятость достаточно сильно дала о себе знать. Об этом — ниже. О специфике стиля Хл как такового в СС 1 и 2 не говорится практически ничего. Но если критик с напором упрекнёт за это авторов, попросим его для начала изложить им/нам свои общие взгляды на систему категорий стиля, показав и то, как она у него-то работает.)

Можно, конечно, посчитать, что все эти орфографические нелады и совсем редкие конъектурные вмешательства — так, некие мелочи на фоне, скажем, жёсткой и неожиданной замены в хорошо известной строчке «Поймите, люди, да есть же стыд же!» начального императива на

²⁴ Или «лишнего А». Ср. случай, где тот же огрех в ямбах стихотворения «Я и ты» (2, 222) неустраим. Надо ли говорить, что даже самые огорчительные из часто затрудняющих чтение и понимание отдельных строк Хл его «огрехов» и огрехов (типа «Карая на наш род багром» — СС 1, 213; а в этом конкретном случае мы имеем дело, скорее всего, с опечаткой, т. е. именно «огрехом», а не с огрехом класса «А я же»), увы, устранению вообще не поддаются?

²⁵ Рукопись ли определила замену «зайчью» на «заячью» (2, 277)? Ритм, кажется, пострадал.

²⁶ Ср. подпись поэта в 1921 г.: «Ленимир Хлебников» (2, 525), характерно дополняющую ещё одну чуть более раннюю подпись ad hoc: «Делимир Хлебников» (2, 535—536).

«Скажите» (1, 341). Глухая ссылка в Примечаниях на сб. «Пета» 1916 г. с его первопечатным текстом, во-первых, не поможет читателю разобраться в причинах такого «ухудшения» привычного текста, а во-вторых, что важнее, вступает в глухое же противоречие с общими «принципами подготовки издания», ориентирующими нас на тексты «последних редакций» (1, 444). Формально эволюция Хл, о чём речь у нас шла выше, как будто именно в таких случаях и соблюдена. Но не целесообразнее было бы просто упомянуть о первопечатном «Скажите» в Примечаниях?

К этому важнейшему редакционному разделу в СС я теперь и обращаюсь. При его очень значительных достижениях здесь, пожалуй, самое широкое поле для полемики по принципиальным вопросам и столь же значимым «частностям», которые, как и, условно говоря, орфографические, рассмотренные выше (но чуть ли не униженные мною в предыдущем абзаце), не позволяют приписать им статус «несущественных мелочей». Само собой, и в текстологии Хл «мелочи» находят своё место, однако постоянно предупреждая нас: здесь особенно опасно забыть о будетлянском «законе обратного величия малого».

Примечания. Случай с «Поймите > Скажите», увы, не единичен. Различия в деталях иногда немаловажны, тем не менее в один ряд с ним становится строчка «Он разобьётся о камни и подводные мели» (2, 400), предлагающая нам забыть, на этот раз не на время, до «Войны в мышеловке» в СС 5 (?), а как бы навсегда, интонацию привычного, но не приводимого ни в Примечаниях, ни среди других редакций варианта («о камни, о подводные мели»). До той же сверхпоэмы нам придётся ждать устранения некомментируемой «инверсии», т. е. первопечатной прозаизации порядка строк, в тексте «Где волк воскликнул кровью...» (1, 343). Бросающееся в глаза противоречие между общими принципами (ориентация на позднейшие редакции), отдельными (не всегда объясняемыми) исключениями из правил и интересами не только «широкого читателя» (говорю об этом, ничуть не претендуя на роль его полномочного представителя), о чём выше уже не раз шла речь, практика Примечаний, к сожалению, не преодолевает²⁷.

²⁷ Что остаётся думать, когда видишь в стихотворении «Э-э! ы-ым, – весь в поту...» (оставляю орфографию СС 2) на месте остроумной и глубокой находки Хл – формы *лббы* заурядные *лбы*, а еще более важного – строчки-вставки (иронически обращённой к себе) «– Очнись, мыслитель, есть и что-то –» не находишь вообще? Конечно, в «Творениях» 1986 г. очень много недостатков, но уж в этом-то случае их высокомерное игнорирование, по-моему, недопустимо. Не менее прискорбно пренебрежение Стихами 1923 г. в примечаниях к стихотворению, посвящённому Кручёных: нет, от читателя не угаивается важнейшая вставка-поправка Хл к старому тексту – строка «Вернее, что грыз я один!», но её-то сущность и не комментируется (ср.: 2, 141, 333, 537, 580). Желание увести ряд псевдобудетлян – «товарищей» Хл подальше от их оценок им в критическом 1922 г. пока пронизывает позицию составителей СС. К этому вопросу, в связи со странной, односторонней и застарелой «защитой» в Примечаниях к СС 2 Маяковского от Хл (и очевидно, от прямо не называемого, но «стоящего за ним» П. В. Митурича как главного вдохновителя разрыва между друзьями-поэтами?), далее придётся вернуться.

Не в меньшей, а смею утверждать, еще в большей степени, чем, например, множество текстов Мандельштама или Цветаевой, многие сотни из текстов Хл, включаемых в СС, нуждаются в сжатом разъяснении их общего смысла. Роль Примечаний здесь первостепенна, сколько бы других задач ни стояло в поле их зрения. Не стану приводить длинный список текстов, смысл которых СС никак не раскрывают: читатель сталкивается с такими ситуациями едва ли не на каждой второй или третьей странице Примечаний. Не в одном десятке случаев, прочитав комментарий, задаёшь себе риторический вопрос: «И это всё?». Из наиболее характерных недодач: «Сон лихача» (1, 484; ни слова о «бабочке» Хлебникова-Брэдбери), невнимание к появлению образов *русалок, скифов, казаков* и даже *волны*, их роли в творчестве поэта (1, 455, 475, 473, 465 и др.), или специфическому для Хл смыслу слова «лётчики», или оппозициям «чёт / нечет», «меч / мяч» и «весы / часы» (1, 504, 469, 498; 2, 524, 582, 584), или образу *Прометей* (1, 81, 461), теме «Хл и музыка» (1, 97, 463 и др.; опыт Г. Свиридова и В. Мартынова или «АукцЫона» etc. не учтён). К этому стоит добавить уже упоминавшееся пренебрежение СС к значению многих из особо принципиальных неологизмов Хл — таких, как *времышыи, равнец, равнок*, даже *равнебен* и *илийный* век (1, 460; 2, 360, 584; 356, 583), рукописные *моги* (1, 398). Отсылки к «Зангези» в основном ограничиваются комментариями по поводу «звёздного языка». Они почти полностью исчезают при переключках с этой сверхповестью текстов общественно-политического характера, которых у Хл так много и в СС 2, и в СС 1. Таким образом «осаду толп», по Хл, нам тоже приходится отнести к кругу «потерпевших» в Примечаниях²⁸.

И эти слабости в какой-то мере зеркально отражают существенные слабости почти всего современного велимироведения. Естественно, что составителям СС, в их воистину многомерном деле, не удалось избежать более-менее прямых и даже грубых ошибок разного рода и значения.

²⁸ Что касается «звёздного языка», то он не всегда трактуется в СС с учётом движения мысли Хл. Так, произвольное толкование строчки «Три Жэ, два Эн» в стихотворении «Жиронды враг...» связано и с уже недостаточной ссылкой на статью «Художники мира!» 1919 г., и с тем, что авторы приписывают Хл (март 1921 г.!) готовую разработку «звёздно-числового языка» (2, 545; номинация ими закавычена; с осторожностью эту находку можно было бы применить к более поздним поискам Хл – см. стихотворение «Трата, и труд, и трение...» и др., – но сам поэт такой «язык» не выделял; его следы еле-еле заметны даже в итоговом «Зангези». А по другому поводу не грех было предположить связь текста «В тяжёлых сапогах...» (2, 560) и ещё двух, следующих за ним, с «принципом единой левизны» Хл (выше он уже упоминался мною применительно к двум ранним каламбурным двустушиям Хл – 1, 134, 156).

Отметить их здесь необходимо — просто закрыть на них глаза значило бы, почти повторюсь, подменить высокий и конструктивный «принцип сочувствия» в Критике — тупиковой и обидной для такого труда идеей «снисходительности». Напомню, что в 1928 г. Ю. Н. Тынянов нашёл точные и поучительные слова для характеристики «взгляда» самого Хл (думаю, на «Всё», а не только на Азию или Критику) — «вплотную и вровень»²⁹.

Обратимся к **интертекстам**, в изобилии обнаруживаемым у поэта авторами Примечаний. Они тщательно собрали его явные (а также некоторые из спорных) переключки с Маяковским³⁰, менее тщательно — с Пушкиным³¹. Кажется, не менее важно было бы шире представлять в СС материал и самих «параллелей» к Хл, и его «последствий» (значимых откликов культуры на его творчество до и после смерти поэта). Прежде всего: то, что нам уже известно о Хл, заставляет глубже осмыслить любые из его обращений к образам *Спаса* и *Богоматери*. На прочих уровнях хотелось бы лишь *большее* внимания к Асееву, Андриевскому, «чинарям», О. и Н. Мандельштамам; к Ходасевичу, Трубецкому, Винокуру, Бахтину, Берковскому; к Н. Васильеву, Скрябину, Кропоткину, Нансену; к Чижевскому, Козыреву, Голосовкеру, Любищеву; к Малевичу, А. С. Лурье, Пунину; особо — к П. Митуричу; далее — к В. Ф. Маркову, Х. Барану, Б. Леннkvист, П. Тартаковскому, Е. Фарыно; к Ф. де Соссюру, Р. О. Якобсону, Ю. Н. Тынянову, М. Л. Гаспарову, искусствоведам Д. В. Сарабьянову, Л. Л. Гервер и др.; к трудам лингвистов (ведь наблюдения над языком Хл у М. В. Панова, Н. А. Кожевниковой, Н. Н. Перцовой, О. А. Седаковой, М. И. Шапира явно и глубоко филологичны)³².

Вообще говоря, этим пожеланиям в известной мере СС отвечает, так что наш перечень и надо воспринимать лишь как призыв усилить (беспристрастное, по возможности) внимание именно к системным связям между Хл и всем кругом названных и не названных здесь лиц с их деятельностью,

²⁹ Предпочту, из-за разночтений, отослать читателя не к первоисточнику, а к указателям в той же кн. «Будетлянин» (см. выше сн. 4 статьи). Недоумеваю: так редко увидишь в СС имя Тынянова.

³⁰ В последующих томах полезно будет упомянуть редкие, но любопытные переключки с Хл у Пастернака. О двух таких см. в Предисловии к кн.: Словарь языка русской поэзии XX века. Т. 1: *А—Вящий*. М., 2001. С. 6—7.

³¹ См. в кн. «Будетлянин» статью «Хлебников и Пушкин» (с. 612—633). — Почему-то в СС не была учтена критика Х. Бараном ошибки в Примечаниях к «Творениям» 1986 г., касающихся Наташи — «горничной Волконского» (ср. СС 1, 243, 487), которая не имеет никакого отношения к её тёзке из стихотворения «К Наташе». См.: *Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века*. М., 1993. С. 176.

³² С понятной осторожностью, но и к работам «якобсоновца-будетлянина» Б. Янгфельдта и многоликого «могача»-«указуя», но нашего «соседа» А. Е. Парниса (как первопубликатор он в СС не забыт). «Опасного», как известно, еще по Хл, его «товарища» Кручёных и, пожалуй, самого бесшабашного «друга» и «свидетеля» Д. Петровского стоило бы полнее и прежде всего критичнее охарактеризовать в первых же томах СС.

как она уже заявлена в современной хлебниковиане. Даже если то или иное серьёзное осмысление Хл не кажется безупречным, у СС есть богатый выбор средств, чтобы это корректно отметить. Представляется, что (не дай Бог, обоснованные) упрёки в следовании СС односторонним «фигурам умолчания» — это такие альтернативы и перспективы, от которых судьбу этапного издания надо увести во что бы то ни стало.

Конечно же, увлечение заманчивыми поисками «параллелей» рискованно и легко оборачивается предложением довольно-таки «натужных» реминисценций, сомнительных аллюзий и иного рода интертекстуальных связей. Рискуют учёный подвержен по определению, спасительным может стать лишь развитое «чувство соразмерности и сообразности». В СС оно, на мой взгляд, авторам изменяет в какой-то степени не так уж редко. Для подробного разбора каждого из таких случаев понадобилось бы слишком много места. Но не пренебрегу и простым перечнем имён, связи с которыми в конкретных контекстах у Хл не считаю выявленными достаточно доказательно и/или которые выглядят в Примечаниях как несколько или полностью избыточные.

Сначала, однако, во избежание ненамеренных перекосов, подчеркну, что во всём своём объёме Примечания к СС 1 и 2 отражают немалый авторский труд и по комментированию отдельных тёмных мест у Хл, и по разъяснению редких слов и некоторых неологизмов, и по разысканию разнообразных интертекстов, и по установлению неявных связей между рядом текстов поэта, иногда очень далёких друг от друга по времени написания, а тем более — при уникальной судьбе наследия Хл — их публикации. Не претендуя на невозможный пока полный успех, Примечания убедительно стремятся представить стихи Хл как несомненно единый «связный текст» (я расширяю при этом «руководящее понятие в текстологии» Хл, из которого исходили авторы; см. 1, 443).

Поэтому читатель оценит, например, помощь ему в понимании слов «нав», «пря», «снём» или «бобыли» (1, 482, 486), указания на Веру Шварсалон (1, 462), «сэнсэн» (1, 481), «петербургский миф» (1, 483), на автора названия «Пощёчина общественному вкусу» (1, 519), неизвестные заметки и письма Хл (*passim*), на «Яму» Куприна (2, 527—528; см. и 521)³³, возможно, и на «Колокол» Герцена или «Что делать?» Чернышевского (2, 588, 581), или прямую связь известия о расстреле Гумилёва с написанием «Одинокого лицедея» (связь, правда, не раскрывается; 2, 562)³⁴, или фигуру

³³ Ссылка там же и на романс Даргомыжского, наверное, уже избыточна. Вот ещё несколько ссылок с необязательной информацией: на Гераклита (1, 487—488); пожалуй, на дудки из ствола цикуты и на Малларме (1, 500); на род Оксфордов (2, 547); может быть, и на Вяч. Иванова из-за «живописи звуков» или *молота* (2, 561, 565), и на «нумерологию» (?) из-за *швей* (2, 571).

³⁴ Неясно и что такое «нейтрально-“положительная” позиция» Хл по отношению к Гумилёву.

В.Д. Демьяновской (2, 527). С выходом в свет других томов СС еще нагляднее выступят и связи многих стихотворений Хл с его поэмами, сверхповестями и прочими текстами (ср. 1, 488—489, 493 и другие страницы Примечаний; число примеров можно многократно увеличить).

Важность такого рода сведений, а среди них много и свежих, и проверенных десятилетиями данных, очевидна. Жаль, что наряду и в переплетении с ними СС предлагает также комментарии, которые — нет, не преобладают, но составляют массу огорчительно весомую. Вот их неполный перечень с краткой критикой нескольких из самых дезориентирующих случаев как в самой сфере увлечения «интертекстами», так и недалеко за её пределами.

В комментариях к «Своеси» сказано, что эстетика и поэтика Хл основана на «теории мнимых чисел» (?!), а самовитое слово — это слово «запредметное» (? — 1, 451—452), и буквально ни слова не говорится о «предметном» словаре Хл, о его собственном определении слова (уж совсем непонятно, почему) и об иных пониманиях «самовитого слова». Всё это выглядит как «уход от теории», а на практике здесь — одна из причин разных «перекосов». У Хл, оказывается, как-то «связаны» слова *мы* и *мир* (? — 460). «Негу», а также неологизмы *мноеволосый* и *мноерукий* у Хл авторы самоуверенно связали с «мнимостью» (462, 472, 475; ср. квазинеологизм **мнои* — 458), «бельмо» — с А. Белым (463; ср. и другую, тяжелейшую натяжку: не к Хл, а к Белому, по существу, отнесены титулы «илийного века глашатай», с ошибкой в цитате из «Морского берега», и — как неизбежное следствие — «*божестварь*» — 2, 563). Отсылка к Лонгфелло от «Бобэоби...» неудачно минует имя Чуковского, а от «<Голода>» — кажется излишней (1, 477; 2, 567), как и насильная «поддержка» Далем «Трущоб» или Иоанном Богословом — «Чисел» и *белого коня* (1, 483, 486; ср. 510 и 2, 545, 588).

Нередко в Примечаниях мы встречаем слова «возможно» или «вероятно». Это разумно, а скажем, в случае с версией о «нет-единице» в тех же «Числах» позволит спокойно обсудить неожиданное предположение. Но чаще авторы, как и все мы по привычке, прячутся за «безответственное Ср.», и тут оно искушает без необходимости сослаться на Платона или «Физиолог» (1, 487—488). Так, не сработало и заманчивое, но без оговорок, рассуждение о «священном» числе семь (495)³⁵; опрометчивы жёсткое отождествление Мавы, мавки и русалки (499) и восприятие «Мрачного» как ничуть не остраяемого у Хл «развития» мотивов Ницше (500); едва ли оптимален выбор в СС 1 места для ссылки на статью «Спор о первенстве» (без комментариев к развитию взглядов Хл на связи поколений — 501); непродуман подбор текстов со словом «рынок» (503): он представляет как значимых единомышленников Хл только... Фета и («галдящего»?)

³⁵ Там же по недоразумению можно счесть Кандинского одним из «Семерых», а далее речь идёт о *восьмёрке* членов «Гилеи»: = плюс Каменский и Гуро, минус Кандинский; а Матюшин?

А. Бенуа. Не могу принять и чересчур прямолинейную, почти дезориентирующую интерпретацию отношений Хл / Северянин (506) — авторы не воспользовались материалами сб. «О Игоре Северяnine» (Череповец, 1987).

Оголённое «Ср.» вносит в комментарий к строке «Я вижу войско матерей» не связанный, конечно, с намерением авторов элемент бестактности (1, 514). Читая «И всходите солнцем Мамаю» (обращено Хл к В. А. Будберг), разве испытываем мы потребность в «Ср.» с «Вот оно, солнце Аустерлица!» у Наполеона (519)?³⁶ И в СС 2 налицо подобные случаи, и они заслуживают того, чтобы их отметить, а иные — и того, чтобы более-менее решительно оспорить. Так, надо отвергнуть мотивировку слов Хл о «начале овелимирения Земного шара» исключительно предсказанием в 1912 г. «гибели государства» и неясной отсылкой через «Ср.» к позднему монологу Великого князя в «Настоящем» (2, 497): эти факты разделены декабрём 1920 г., когда был открыт «основной закон времени», а Октябрь 1917 г. оказался для Хл еще более важным событием, чем Февральская революция. В примечаниях к «Свобода приходит нагая...» ссылки на Блока и Боттичелли несомненно полезны, а слова Кампанеллы о Солнце и Метафизике — едва ли, пожалуй что и нет; главная же развёрнутая здесь авторами параллель со стихами Милицы предстаёт каким-то неожиданным недоразумением (498).

Неясное стихотворение «Земные стары сны...», видимо, как-то связано и с поэмой «Олег Трупов» (502). Приемлемый, в целом, стиль Примечаний вдруг взрывается инородным квазифилософским пафосом: «мировое, бесконечное Я поэта благословляет его земное, конечное Я, стремящееся к воссоединению с бесконечным», — рука об руку со странной смесью имён Хирама, Папюса, Писемского, Даля и библейского Иакова, в которой уж окончательно исчезает реальный смысл стихотворения «Ты же, чей разум стекал...», перед этим вроде бы донесённый до читателя ссылкой на А. Н. Андриевского (503—505). Попытки с непонятной настойчивостью всерьёз

³⁶ Попутно отмечу частности: не всегда указываются имена переводчиков (1, 520, 523); слово *буги* (523; ср. 2, 559) заслуживало бы более строгих разъяснений и ссылки на «Буги на небе» из сб. «Взял» (Пг., 1915); «Годы, люди и народы...» если и связаны с Державиным, то скорее полемически, а цитаты из Мережковского (собственно, Ямвлиха) и «Физиолога», по-моему, просто уводят от существа и роли этого классического стихотворения (523—524). Чтобы не возвращаться далее к проблемам «азбуки ума» Хл, добавлю, что, с одной стороны, представляются чрезмерно подробными иллюстрации к стихотворениям «Ласок...» и «Пою...», с другой — полезнее было здесь же (524) хотя бы кратко сказать об этапах, которые прошла у Хл его «воображаемая филология». Рискованное же соположение экспериментального «праведного парня, пылкого Перуна» со «строгую боярыней Бориса Годунова» на соседних страницах СС (1, 382—383) — ещё один сильный аргумент в пользу отбора текстов для раздела «Опыты», о роли которого (к сожалению, не реализованной в СС) уже было сказано выше.

повенчать ratio Хл с эзотерикой говорят об известном *нечувствии* авторов к такой тонкой характерной черте поэтического идиостиля Будетлянина, как рано возникший у него прочный сплав автоиронии с мягким остранением некоторых парадигм восприятия самой существенной для поэзии топики, а прежде всего — модных мифологем начала века.

В юношеском «Кургане Святогора» еще не грех мимоходом отметить нечто от эзотерики (506) — к 1917 г. Хл уже предельно далёк от неё; для 1921 г. слова в Примечаниях о Хл-«халдеянине» — без оговорок, но с «параллелью» между ним и «астрологом и оккультистом А. В. Трояновским» в связи с образом *Водолея*, — как хотите, заставляют думать, что со своим «цифровым толкованием истории» (?) Хл недалеко ушёл и от сегодняшних предсказателей-шарлатанов (546)³⁷.

Еще больше поверхностных и просто мнимых «конкретных связей» в СС 2 определяется совпадением отдельных слов или естественных словосочетаний, или «мотивов»: *венчать* у Пушкина (500), *колосья ржи* и «навий мотив» (506; непонятно и то, как связать это с «известием о расстреле» Николая II), *продажа* у Асеева (509), *море* и *буревестник* у Горького (511, 564; здесь усматривается прямая аллюзия)³⁸, *девушки* у Державина (514), *лунный свет* у Маринетти, Д. Бурлюка, Розанова (515; почему только у них и о чём эта информация говорит?). И далее: *яровчатый* и *Великие озёра* у Клюева (524—525), *голубой* и «Голубиная книга» (526), *скука* у Герцена (527)³⁹, *заря*, «Вечная

³⁷ Ср. как бы бесстрастные ссылки на «идеографию» Водолея (568); «оккультизм» в связи с *Эль* (521); якобы «эзотерическую» (557), на самом деле вполне реалистическую дату «110 день Кальпы», связанную с декабрём 1915 г. и О. Бриком (см. СП, 5, 333); разъяснение *Пта* через всенепременную Блаватскую (а не «Мифы народов мира»): «божественный дух египтян» (581); кстати, этот «дух» мгновенно материализуется, если усмотреть в нём аббревиатуру из «Пяти гор» (или Петрограда?), телеграфа и агентства... Ср. ещё связь *Козерог – Гор* (567).

³⁸ В другом месте пресловутое «Ср.» чуть убедительнее связывает имена Хл и Горького (581). В третьем – параллель с образом Данко (см. 2, 284), видимо, не сочтена правдоподобной.

³⁹ Куда более значимая для Хл параллель – образ *гадюки* в «Веке» Мандельштама («И в траве гадюка дышит / Мерой века золотой») – обойдена (529), связь *мыслящей печи* с классическим *мыслящим тростником* – тоже (ср. 2, 94, 209, 251, 485 и 522, 556, 561, 583). Попутно: стоило уделить строчку слову *тейлоризация*, обратив на него внимание читателя как на редкий у Хл «варваризм»; для *Habeas corpus* напрашивалась ссылка на рукопись Хл с его идеей *Habeas animat act* (534); парадоксом выглядит определение жанра «Воззвания...» как поэмы (557); «Гроза в месяц Ау» далековата от «языка богов», толкование «личного языка» у Хл через Кручёных опрометчиво, а *хорона* как «контаминации» с *Ховуном*, очевидно, ошибочно (561); не скрыт ли непосредственный импульс для стихотворения «На стенку вскочила цыганка...» (573) в данных о кинопрокате 1921 г.? Уж очень динамична рисуемая Хл картина.

память» и *пуговица* у Маяковского (538, 556, но ср. 237 и 560; 575)⁴⁰, *братья* у Платона (548), *снеговая щека* у Ахматовой (559), *два конца* у Лермонтова (560), *носовой платок* у Розанова (561)⁴¹, *руда* у Даля (565)⁴², *мати* в молитвословии (566), *варяг* у Коневского (569)⁴³, *хата* в «скифо-сарматской культуре» (Khata), она же — «образ одомашненного, упорядоченного хаоса» у Хл (? 570), *сапоги* у Пелагеи в «Мёртвых душах» Гоголя и *то* в «Демоне» Лермонтова (572), *север* у Пушкина (576), *сосна* у Хл же в 1916 г. (577)⁴⁴, *крыса* у

⁴⁰ В то же время *море мора* почему-то не напомнило о «Левом марше» (564; во «Втором языке» у Хл, следуя ссылке авторов, точно такого словосочетания я не нашёл).

⁴¹ «Связь» *девушки с бородой* с «бородатыми Венерами» и «культом кровавого Молоха» у Розанова (584) фантастична. Авторы примечания непростительно забыли о «Ночном обыске», где эта «девушка» – важнейший alter ego Спаса, Числобога и самого Хл!

⁴² Специального обсуждения заслуживает догадка авторов в этом месте Примечаний о том, что «Молот» предназначался для свержновения «П<рометей> Р<аскованный>». Других следов этого замысла Хл (если он был), кроме ряда позднейших аббревиатур *П. Р.* в «Гросбухе», как будто нет. Кажется, А. Е. Парнис когда-то предлагал читать их так: *П<печатать> Р<азрешается>*. С начала 80-х годов мне ближе мысль, что Хл сам указал путь к расшифровке строчками «И брось кольцо, где надпись есть “эр. нэ.” – / Иль: Раб Пространства, пространства раб» (СП, 5, 105; ср.: «Будетлянин», с. 160). Если так, то *П. Р.* – это другое имя свержения «Зангези», следы планов её трудного «собрания».

⁴³ Обидно не за себя, впервые предложившего для «Творений» 1986 г. новую редакцию конца у стихотворения «Я вышел юношей один...», а за «варяга» Нансена, имя которого составители из текста удалили (заодно с концовкой!). Как говорится, нас рассудит будущее. Пока же решаюсь на «Мне отмщение»: вместо естественной конъюнктуры *баты<и>*, нам предлагается сюрприз – мнимая форма сравнительной степени «батые»(!), якобы вдохновлённая примером Асеева (ненавязчивый подтекст: и Хл легко заимствовал – чего ж позднее он обижался на товарищей из-за «линь, лань, лун...» etc.; см. 2, 589; кстати: у кого это образ «железного Феликса» напоминает о рифмах Хл: *Лобачевского – на мече с кого и оков с кого – Чайковского?* – 2, 292, 312); при этом пунктуация в стихотворении «Народ отчаялся...» представлена так, что «холмам святым», всегда-то, видимо, похожим на Батыя, теперь, в глазах голодных детей, придётся «вставать» много «батые»? (см. 2, 283, 569); в пандан: *бичевая* (1, 498) – опечатка?

⁴⁴ На фоне этого перечня особенно заметен пропуск связи у слова *промеры* в стихотворении «Мои походы» (577) с «Досками судьбы», а возможно, и со «Стихами о неизвестном солдате» Мандельштама. Для *веры* и *Веры* кажется правдоподобным предположение о том, что имеется в виду «вера», о которой Хл мечтал в «Единой книге» и теперь мог бы назвать «зангезийством». В примечаниях к «Саяну» (578) бесполезной была бы ссылка на одинокую Хая-Ужу (о нём как памятнике Е-24 см. в кн. *Васильев Д. Д.* Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л., 1983. С.23, 63, 97—100). Почему-то «песни мести и печали» в тексте «Бурлюка» (332) не вызвали некрасовских ассоциаций в примечаниях (580), «ливень ржи сквозь облака» (388) – ссылки на «Ладомир» (588), «Русские десять лет...» (590) – на «Ещё раз...», вне связи остались «Гонимый – кем...» и «Ночной бал» (1, 271, 494; 2, 120, 529), «Моряк и поец» и «Зангези» (2, 178, 548). – Недоказуема другая параллель уже в моих поисках ответа на вопрос Хл: «Кто юноша, чей в черепахе не сросся шов, – <...>?» – может ли быть, что это Канегиссер?

Н. Бурлюка (585)⁴⁵. И напомню, что подобных «интертекстов» в СС больше, чем я перечислил⁴⁶.

Маяковский. По мере приближения к концу Примечаний в СС 2 нарастает моё несогласие с представлением авторами образа Хл в связи с их усилиями во что бы то ни стало «обелить» или оправдать Маяковского в тяжёлой истории с рукописями Хл, от которых Будетлянин был отлучён в Москве 1922 г. его же давними «дорогими друзьями» с таким «окамененным нечувствием»⁴⁷. Почти все недоработки, слабости, просчёты etc., присущие, по моему разумению, СС, отступают, если не в совокупности, то поодиночке, на второй план перед явно и подчёркнуто предвзятой оценкой итоговых расхождений между двумя поэтами.

Хл, надеюсь, независимо от сознательной воли составителей, выступает при этом в качестве (или виде, роли, статусе) обвиняемого, лишаемого свидетелей защиты. Имя Маяковского (далее: М) вводится краткой справкой о «Пощёчине общественному вкусу» (1, 495), оно естественно упомянуто, например, в связи с текстом «Сегодня снова я пойду...» или выходом в свет сб. «Взял» (503, 518). Указана (без комментария) и такая параллель между Хл и М: «нож <...> вытря о косы венки» — «шашки <...> вытрем в бульварах Вены!» (503)⁴⁸.

⁴⁵ Здесь случайно пропущена ссылка на вообще-то учтённую в СС 2 работу Vгоop 1989. Чуть ниже, слова о «пародирующей ориентации» Хл на «Пачку ордеров» А. Гастева нуждаются в «обратной» ссылке на статью Хл «О современной поэзии» (2, 585 > 2, 566). Слова о частичном совпадении у этих поэтов «нумерологических символов» двусмысленны: за «совпадениями» скрыты огромные отличия роли таких «символов» у Хл, а у «нумерологии» в словарных определениях сема «вера» подавляет сему «знание».

⁴⁶ Ещё попутно: видимо, надуманна версия о контаминации в метафоре «для бурь паука» двух выражений — «буря в стакане воды» и «пауки в банке» (586). Не мешало бы всё же разъяснить слово *баладеи* [385, 588; даже у Василия Буя в книге «Русская заветная идиоматика» (М., 1995) оно не учтено], как ранее (1, 129, 136, 319, 468, 469, 505) — слова *рыбалки* (в значении «чайки» оно было известно и Чехову) и *повольница* (см. «Творения» 1986 г.). Формула «Ещё раз» (2, 590) свойственна не столько «духовному фольклору» (чтобы Хл нуждался здесь в его поддержке), сколько общелитературной и разговорной речи (поэтому-то она так пришлась по вкусу многим из «говорящих голов» на сегодняшнем ТВ).

⁴⁷ В 1997 г. я прочитал доклад «Маяковский в “зеркале судьбы” Хлебникова» (публикация задержалась до 1999 г.; её текст см. и в кн. «Будетлянин», с.550—559; с этой темой связаны и другие места книги). «Наши разногласия» с позицией, представленной в СС, слишком велики, чтобы стоило «дипломатично» смягчать их, в надежде на компромисс («победу по очкам» etc.).

⁴⁸ По особому поводу СС ссылаются на интересный вариант текста Хл в кн.: Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970 (506; жаль, вариант не воспроизведён). Менее существенные случаи введения в СС имени М (507 и др.) далее позволю себе обходить.

Недоумения и проблемы впервые возникают при обращении к ключевому стихотворению Хл «Моих друзей летели сонмы...» (363, 518—519). *Дух облака, одетый в кожных* и *Где весь язык лишь «дам» и «дашь»* — это, по мнению авторов, прямой намёк на образ «Облака в штанах» и один контекст оттуда, завершающийся просьбой «Мария — дай!». Если, сделав усилие, согласиться с авторами, неизбежным станет вывод о существенной полемике Хл с М. Но подобного вывода не делается, зато читатель как бы «своим умом» приходит к мысли о некоем значительном, «отмеченном» влиянии М на Хл⁴⁹.

Конечно же, такое влияние было, была и личная близость. Их поддерживала неиссякаемая надежда Хл на взаимопонимание и человеческую чуткость. Были и чуткость, и желание помочь напечататься, подкормить и приодеть — *веру* Хл в глубину этих качеств у М и подлинность *меры* дружеских отношений с ним на протяжении ряда лет понемногу подрывало разочарование в способности М, да и многих других «соратников», понять Хл — мыслителя и учёного. Единого Хл они с лёгкостью разрывали на кусочки. *Стихи*, вместе с «осадой *слова*», готовы были превозносить и после кончины Хл., не так уж вдумываясь в глубинные планы его *мысли*. Но другие, важнейшие для него «осады», «дума писателя» и её торжество, в его глазах, в конце 1920 г. в Баку, по существу, нисколько не волновали их, оставив равнодушными даже зимой и весной 1922 г.

⁴⁹ «Мысль» эта многие десятилетия была «спасительной» для велимироведов, их оправданием перед гонителями Хл. Её инерция в какой-то мере ощутима и сегодня, когда многое «смешалось в доме» кубофутуризма из-за нахрапистых гонений уже на М и весь «тоталитарный авангард», новой моды на Кручёных и «заумь» (его, а не Хл) etc. Составители разумно не поддались соблазну немедленно развернуть перед читателем Примечаний весь веер высоких оценок Будетлянином творчества М — еще недавно педалирование подобного рода было бы почти обязательным. Цель моих возражений СС в том, чтобы, во-первых, указать на натяжки в истолковании многомерной «связки Хл — М», во-вторых и в главных — подчеркнуть: марка (кубо)футуризма и броская этикетка «будетляне» сегодня уже нивелируют существенные и достаточно ранние *идейные* расхождения между Хл и его «спутниками». Многочисленные сходства на поверхности их идиостилей не должны скрывать те оппозиции *идеостилей*, которые в конечном счёте закономерно привели к «разводу судеб» их носителей. Гениального *поэта* и *мыслителя* Хл — к его «Единой книге», здоровой полемике «красного будетлянина» с Лениным и советской властью, к «зангезийству» и «Доскам судьбы», спокойной уверенности в себе как творянине, предвидящем бездумные посмертные поношения и побивания, но и торжество шаг за шагом наступающего «прибоя всеобщего единства». А бесспорно талантливейшего *поэта* М — к идеям ЛЕФа, безоглядно-неистовым воспеваниям мнимого «социализма», трагическому кризису, двусмысленным посмертным «насаждениям», а теперь — и к взрыву посрамлений.

Равнодушие сказалось и на отношении друзей, по-разному, но оброставших тяжёлыми кавычками, вопреки ожиданиям Хл, к судьбе оставленных им у тех же друзей в 1919 г. в Москве рукописей *стихов* для намеченного тогда, но так и не состоявшегося издания. Доступ к ним автору теперь оказался закрыт. Ни М, ни кто-либо другой из тех, кому поэт их доверил, элементарно не позаботились о возвращении ему его собственных *стихов*. Как неделя за неделей иссякала надежда Хл, видно по его последним текстам. «Друзья» спохватились, но (по Кедрину) «немножко опоздали»: Хл уже лежал в своей «зелёной могиле» (на этот раз — по Мандельштаму). Поиски ими самооправданий и уверенность в том, что «вопрос закрыт» (по Катаняну), не оценены по достоинству до сих пор.

И в свете всего только что сказанного примечание, которое я кратко разобрал выше, могло бы, вообще говоря, оказаться частной промашкой — с кем из нас не бывает! Дальнейшее, однако, покажет не вышедшую на открытую поверхность полемичность составителей — оппонентов изложенной мною позиции. «Связку Хл — М» они, очевидно, трактуют иначе. Примечания к СС — едва ли то место, в котором следует опровергать взгляды инакомыслящих. Но презумпция правоты В. А. Катаняна не должна препятствовать упоминанию других точек зрения.

В стихотворении «Той» (364, 519; та самая страница) снова «обыгрываются некоторые мотивы» той же поэмы М, «в особенности её финала». Мотивы при этом не раскрываются — заглянем же хотя бы в конец поэмы. Там та же Мария, абсолютно не похожая на любовь Хл — Веру Будберг, и никакого образного или мотивного сходства. Изысканному богохульству М опять же скорее оппонирует стремление «звездочёта»-Хл «звёздный постичь уголок, / Чьё облако [ага, вот оно!] вроде платочка». Но и «облако» вроде бы не то, и платочек всё же не штаны. Видно, я плохо искал, а у составителей были аргументы и повесомее⁵⁰.

В следующем обращении к «связке» аргумент в пользу «интертекстуальной приоритетности» М, «красивого двадцатидвухлетнего» в 1915 г., находится, и он безукоризнен, хотя идея «милого государства 22-летних» (521) как этапа на пути Хл к «государству времени» и «Земного шара председателей» сама по себе ничем не обязана «Облаку в штанах». Следует уместная ссылка на

⁵⁰ Вероятнее иное – невероятные трудности при подготовке многомерных «Примечаний к Хл»: наивно ожидать, что в них уже сегодня все начала будут сведены со своими концами. Жаль, что последовав совету «Ср.» (2, 562 > 1, 338, 511-513) и затем вернувшись к «Одинокому лицедею», читатель сможет подумать, что в нём совмещены образы «небоглазых» Будберг и Ахматовой. Едва ли таково убеждение авторов примечаний. Но ответа на вопрос о конечности / бесконечности и дискретности / непрерывности у влюблённостей или привязанностей Хл никто из велимироведов пока не представил. Так что эту «марашку» в СС стоит приветствовать в духе размышлений самого поэта об опечатках (ср. грубую опечатку: тебе, вместо тебя, – 1, 284).

доклад М «Пришедший сам», каламбурное название и суть которого противопоставлены «Грядущему хаму» у Мережковского (523). Это — в связи со стихотворением «Табун шагов, чугуны слонов!..»; в нём Хл еще выступает от имени «мы», т. е. «граждан одного возраста», условных *будетлян* (ср. 2, 342, 582: ранней весной 1922 г. изо всех «мы» близким и рядом окажется один М, и почти заклинанием предстаёт призыв к нему: «Будем двое стоять у дерева молчания»...⁵¹).

Присмотримся теперь к М в Примечаниях из СС 2. Странное, на мой взгляд, допущение, что *два угламига* у Хл — это «описание шестиконечного креста», сопровождается (вне прямой связи с «крестом», но как будто из-за рифмы с именем великого Минковского) упреждающей ссылкой на стихотворение Хл «Восток, он встал с глазами Маяковского...» (502; оно написано три года спустя). И вот примечания к нему (замечу, тоже забегаая вперёд) правомерно содержат, правда, без разъяснений, цитату из «Ка» Хл, где упоминается друг повествователя, явный М, обладатель «чёрных радостно-жестоких глаз» (532). Не зацкливаясь на одних только *глазах*, составители, вероятно, должны были подумать и прямо сказать, к кому же обращено стихотворение «Как ты красив, с лицом злодея...» (391, 589): конечно, тех самых *глаз* М в нём вроде бы нет, но концовка: «Мечом, не взором, чьё-то око / Зажглося умно и жестоко / Мне прямо в грудь», — на мой взгляд, вполне заслуживала аккуратной догадки типа «Не исключено, что здесь имеется в виду такой-то» и ссылки (по контрасту) на недавние не «жестокое», а «весёлые глаза» М в стихотворении «Кто?» (340; ср. «очеса» у плачущих тюленей — 327)⁵².

Несомненная переключка Хл в «Смерти коня» с М в «Хорошем отношении к лошадям» не раскрывается (509). Между тем и здесь был повод к тому, чтобы без углубления в детали дать ответ на вопрос «Чем и кем был Хл для М?» (и не только на таком уровне поэтики, как, например, в

⁵¹ Еще в феврале находим у Хл и множеств. число: «мои друзья» (2, 372). С Дальнего Востока возвращался Асеев, можно думать, разрывавшийся в апреле-мае между М и Хл. Кручёных уже давно, видимо, не внушал Хл никаких надежд, но оставался «другом по инерции». Слово *друг* исчезает у Хл, уступая место горько-ироническому *товарищи*. — Но весну оживляли Вхутемас, Мандельштам, Митурич, «Вестники», Куфтин, Татлин, важные для Хл публикации в «Нашем журнале» (под эгидой грубоватого давнего и верного друга Каменского) и «Маковце», не говоря уж о напряжённой работе над «Зангези» и «Досками судьбы» и перспективе их издания.

⁵² Стоило бы упомянуть и «глаза старого знакомого» в стихотворении «Старый, жёлтый...» (194), раз уж в примечаниях к нему обратная ссылка приводится (553; ср. также обратную ссылку на с. 534 — прямая, на с. 531, отсутствует). По-видимому, имело бы смысл вообще (не только для СС) принять как текстологически-издательский принцип *системную* связь между обратными и прямыми (ретро- и проспективными) ссылками. Он заставлял бы связывать Другой параллелью к «жестоким глазам» у М мог бы послужить «страх» Хл в 1915 г. (по В. Каменскому) перед «жестокими зубами» Осипа Брика и Виктора Шкловского.

широком смысле паронимия). Пока же всё больше укрепляешься в убеждении, что для СС куда важнее вопрос о том, что Хл взял или мог взять у М⁵³. Ключевой у Хл *образ коня* низводится до нейтральной «темы коня». Упущена богатая возможность (и необходимость) связать ссылкой «Смерть коня» с красноречивейшим поздним текстом «Пускай же крепко помнят те, кто...» (394, 590), который тоже не комментируется.

Мимоходом составители отмечают (509), что весной 1919 г. две рукописи своих стихотворений Хл передал Якобсону. Эти сведения, не спроецированные на конфликт 1922 г., крайне минимизируют общее количество рукописей Хл, оставленных им в Москве для так и не осуществлённого издания, и способны вызвать у читателя ложное представление: мол, М вообще не имел каких-либо обязательств в 1919 г. по отношению к рукописям Хл, так что в последовавшем конфликте был не его потенциальным бессознательным застрельщиком, а затем безответственно-нечутким, безучастным участником, Пилатом, а вызывающей наше сочувствие жертвой подозрительности Хл и его подстрекателей. Если мы доверяем мнению Якобсона (в СС 2 оно проигнорировано, хотя есть ссылка на кн. Янгфельдта — 579), то эта «идиотская», с его точки зрения, история сейчас заставляет нас говорить аргументированно и без обиняков о том, кому же она в конечном счёте обязана своим, этическим прежде всего, «идиотизмом»⁵⁴.

На соседних страницах (510—511) не совсем понятно, почему у Хл появляется потребность в «своеобразном ответе» на «Наш марш» М и в чём, собственно, ответ состоял («связь» с «экспромтами» М затмила спор о «небе»?). Сочтём это мелочью, но и она — вклад в идею «связки Хл — М» как системы постоянных, почти исключительно однонаправленных влияний или воздействий; косвенно и от этого в Примечаниях пострадали глубокие связи Хл с музыкой, химией и логикой, категориями времени, социальной проблематикой etc.⁵⁵

⁵³ И у Кручёных тоже. Ср. ссылку на его «Декларацию...» 1913 г. (2, 561; см. здесь сн. 38 статьи) или ссылку на образ Д. Бурлюка у раннего М (2, 579). Хл, конечно, «использовал поэтику агитстиха» М (2, 538) и, допустим, даже его раннюю «интонационно-речевую стилистику» (568). Но что-то привнёс в них от себя? Разве подобные ссылки не рисуют старшего поэта в «связке» каким-то «вечным учеником» младшего? И разве не задача комментария, если влияния имели место, дать представление о специфике их творческого преобразования?

⁵⁴ Предпочитаю, не прибегая к возможным оговоркам и указаниям на стечение обстоятельств, отчасти смягчающих прямую вину М в отступничестве от друга и в последовавшем конфликте, сосредоточиться на его сути, «сухом остатке» (которого, по абсолютному «обелению» М у того же Катаняна, просто нет; см., в этой связи: «Будетлянин», с. 554, 555, 598). Предвзятость уводит здесь авторов от реальной личности Хл — затрудняет решение задачи, важнейшей для СС.

⁵⁵ Наверное, лучше было просто сказать о загадочности стихотворения «Москва — старинный череп...», чем подвёрстывать его образы под «связь» с «эпатажно-знаменитой» строкой М об умирающих детях (511; признать бы: «печально знаменитой»). И с чем в «Войне и мире» М надо «Ср.» собрание богов в отрывке Хл «Туда, туда...»? Не с «порохом» же Маринетти? Видимо, с играющими в шашки Христом и Каином? Но разномасштабность картин у М и Хл очевидна, при том еще, что Хл ведёт планомерную «осаду времени», а М отдаёт дань «новой риторике». — Но высоко оценим здесь (512—513), и всюду в СС, свежие разъяснения отдельных строк, а также имён. Последних так много у Хл, а мы так еще слабо в них разобрались.

В СС 3, уверен, будет отмечено, что беспардонный в Харькове 1920 г. Есенин в 1921 г. издал поэму Хл «Ночь в окопе». В СС 2 этот факт не указан (522—523). Он мог бы пробудить у читателя сомнение: всё ли сделал М для того, чтобы за три года скитаний Хл издать хоть что-то из текстов друга, бывших у него под рукой? «Недруг»-то Есенин смог же... Подчеркну: никто не вправе упрекнуть составителей СС в злонамеренном сокрытии чего бы там ни было. Всё дело, видимо, в том, что предвзятость, инерция и односторонность в истолковании «связки Хл — М» дают о себе знать и на подсознательном уровне.

Любопытно, что даже такое заглавие у Хл, как «Кто?», возводится (по форме, конечно, всего лишь сопоставляется через многозначительное «Ср.») к такому же заглавию у текста М для Окон РОСТА (1920, № 173). Между текстами нет буквально ничего общего; в тексте Хл составителей не насторожил ни один из его образов; предполагается, что уж это-то «окно» Хл знал лучше, чем, скажем, «Очерки бурсы»... И здесь видны те же следствия общего подхода к проблемам интертекстуальности, которые в изобилии были продемонстрированы выше, а в особенности — частный результат того же инерционного взгляда на «связь» двух поэтов (2, 340, 581; см. к этому также: «Будетлянин», с. 573 и др.).

Очень сомневаюсь, что в следующем стихотворении «Трижды Вэ, трижды Эм...» мы вправе понимать его «заглавную строку» как сферу действия «двух отрицательных «троек»» (582). См. выше, в сн.28, о комментарии к строке «Три Жэ. Два Эн». И там, и тут интерпретация «тройки» и «двойки» имела бы смысл, если бы Хл, скажем, хотел *противопоставить* эпохи М и 1789 г. и/или их самих друг другу по существу или/и считал, что М еще хуже Дантона, или/и намекал, что слова «Гроба плотник — ложится в него» из первого стихотворения теперь применимы и к М. И т. д. Составители явно не это держали в уме. Но на этот раз всё та же инерция, кажется, принесла успех поискам у Хл «чего-то от М»: редкий у Хл *цуг* через образы возницы, народов, бича и слова возводится в СС 2 к «зрелищу величайшего театра» из части III поэмы «Война и мир». Известно, что новая образность ряда ранних поэм М восхищала Хл — поэтому естественна контекстуальная вспышка его памяти и теперь, в 1922 г. Короче, я не вижу мотивов, по которым можно было бы отвергнуть эту версию авторов.

Частный успех, однако, не станем переоценивать: сама инерция не лишается своей «пресловутости» и немедленно «подбрасывает» читателю мысль о том, что в 1922 г. Хл разделяет тезис М 1913 г. — «Слово — самоцель поэзии» etc. (582). Такой «перебор» не просто контрфактичен,

за ним как будто скрывается (или отчасти раскрывается) нечто большее. Ясно же, сам-то М давно преодолел былую размашистую «самовитость слова», а вот Хл... Не остался ли он всё еще некоторой жертвой своего чрезмерного увлечения «словом как таковым»?⁵⁶ И вполне правомерное указание на то, что в «Оривой речи» представлен образ М (582), подсказывает читателю мысль не об известном, умеренно ироничном остранении этого образа, а о бесстрастно-академическом, но красноречивом «иницировании» комментируемого текста вниманием Хл к «150 000 000»...

В то же время, разъясняя *железку* как «карточную игру» (583), СС молчит о том, что как-то «иницировать» этот образ у Хл в самом деле могли бы и азарт М, его страсть к картам. Будетлянин-то предпочитал иную, иносказательную Игру — «со ставкою большою»⁵⁷, «игру мировую» (2, 358). С начала 1922 г. «железо», как до этого «глаза», часто становится знаком и подспудного присутствия в тексте образа М. Примечания оставили в стороне немаловажные сходства и различия в образах нэповской России у Хл и М (583—584), отношении к голоду и холоду, революциям и войнам, к недостатку и избытку, к властям. Последние стихи Хл, да и ряд его стихов других лет порой выглядят в СС всё-таки несколько оторванными от всего массива текстов Будетлянина и сложных переплетений в развитии нетривиальных идей), несмотря на уже отмечавшиеся и результативные усилия составителей привлекать отдельные высказывания из писем, заметок и иной прозы поэта.

Мы подходим к нескольким тягостным местам в СС. Сперва настораживает, когда при первом знакомстве пробегаешь глазами комментарии (но не более чем удивляет), что нам не дали понять, как

⁵⁶ Стихотворение «Признание» (342), о котором здесь речь, заслуживало бы, на мой взгляд, и текстологических объяснений комментаторов: решение о подзаголовке я поддерживаю, но ведь он рифмуется (*слог* – *рок*), и об этой особенности поэтики по крайней мере стоило сказать; ещё более важны споры вокруг порядка следования двух последних двуступиций; пунктуация в строке с *Мережковским* сомнительна. *Корявый слог* – также хороший повод для комментатора хотя бы кратко сказать о существе взаимодействия в идиостиле Хл неологии, высокого и просторечия. Заодно отмечу опечатки (надо было): *золотухарей*, *всадник<и>* и *вспоминал* (355, 361, 575), – а также не разъясняемые нам (необъяснимые?) отбивки внутри вариантного текста (489).

⁵⁷ См. статью БОЛЬШОЙ в Словаре из сн. 30. – Сам же отрывок «С Богом в железку» (350) вызывает у меня такие соображения: 1) печатается он *не* «впервые»; 2) публикация его в 1998 г. (см.: «Будетлянин», с. 561) слову *деньга* предпочла слово *червонцы*, паронимически связанное у Хл с *червовой девою* (или тем более с *червонной*, как в СС); 3) отрывок слишком важен, чтобы оставить его по существу без комментария. – От текста «– На чём сидишь, русалочка?..» (351, 583) тоже были бы нужны отсылки (как минимум к СП 4, 305—307), от «Дело ваше, боги...» (396, 590) – к СП 5, 66.

это Хл сумел «просочиться» на страницы официозных «Известий» (586): почему-то не оговорены ни важная в этом деле инициатива-помощь М, ни почётное для «молодчиков-купчиков» Хл соседство в газете с «Прозаседавшимися». Только потом замечаешь: пропуск-то (очевидно, подсознательно) «сбалансирован» с непростительным пропуском в предыдущем комментарии — к одному из самых показательных текстов Хл, безусловно ключевому и для понимания заключительного этапа в реальной эволюции «связки Хл — М», — стихотворению «Ну, тащися сивка...» (370—371, 585—586). Оно датировано поэтом 2 февраля 1922 г. — надежда на М еще была.

Этот комментарий начинается с информации: чуть позже Хл добавил к тексту две строки. О том, что три строки в конце, а именно — обращение к *Вове*, в автографе были зачёркнуты, что в «Досках судьбы» текст тоже изменён, в частности из него удалены слова *друг* и *благородное*, комментарий молчит. В 2001 г., по-моему, это — чепэ (и не «рука» былых «гигантов мысли и ювелиров формы» в ИМЛИ или *полит*Бюро ОЛЯ РАН, как лет 15 назад. Нельзя же о данном *черноречивом* молчании СС сказать: *cum tacent, clamant*)⁵⁸. По иронии судьбы квазиретушированный в 20-е годы, но со времён «Детей Выдры» неизменно «храбрый Хлебников» вдруг на сломе тысячелетий уступает место «подретушированному Маяковскому»⁵⁹. Здесь «ретушь» пока как бы только текстологическая. Обойду «легенду» о вечере 17 февраля 1922 г. (587), хотя именно в связи с ним авторы впервые объявляют о «якобы пропавших рукописях» Хл (разрядка моя. — В. Г.), при этом так формулируют *свою* позицию, что она, невзначай или нарочито, растворяется в мыслях (и не прямой речи) сразу двух противостоявших друг другу сторон — Митурича и кого-то из «окружения» М. «Раствор», впрочем, не смягчает жёсткого и несправедливого «якобы»⁶⁰: различие

⁵⁸ Условия, в которых шла работа над «Творениями» 1986 г., были достаточно тяжелы, но М. Я. Поляков и руководство «Совписа», насколько помню, не препятствовали обнародованию этих фактов (хотя, скажем, стихотворение «Русские десять лет...» в то издание не смогло войти). Если гиперполиткорректность в отношении М — позиция самих авторов, значит, тем хуже для СС. Значит, кому-то, если не упомянутым высоким академическим инстанциям, Хл-мыслитель и Хл-человек по-прежнему и «где-то» всё еще «до лампочки». В итоге — знакомая картина: «гиганты» и «ювелиры» приходят и уходят, СС остаётся, но навсегда отмеченное следом родимых пятен «сю-сю-реализма» (в пересчёте на былую «защиту» М от Хл).

⁵⁹ К тому же вспомним, что Н. И. Харджиев закрыл для нас свой архив, по-своему, как будто непроизвольно и всё-таки тоже на время «заретушировав» что-то в облике Хл для всего мира.

⁶⁰ Даже если «куривший на лестничной площадке Политехнического музея» Хл и вызывающе *противоречил видам правительства*, не думаю, что есть основание для полной параллели в СС между стихотворением «Отказ» и «соборным людоедством» *досоветского* государства (587). Ср. менее избыточную параллель между «— Святче божий!..» и «Книгой Пророка Ионы» (591) в последнем из примечаний СС 2, а перед тем — заманчивую, но лишь как предположение связь глагола «хлебать» с фамилией *Хлебников*; не соотносится ли слово *Евский* скорее с «Евами»?

между «пропавшими» и «*не* возвращёнными» рукописями, не сознательно «сокрытыми», но о которых М почему-то не говорит (не может или не хочет сказать?) *другу*, где же они сейчас, этически нерелевантно.

Можно только догадываться, острают ли авторы важную цитату из статьи Л. Аренса (589), но перед этим посмертный сб. «Стихи» дискриминируется как одностороннее (конечно, пристрастное, *но и только?*) отражение «немедленно разгоревшейся групповой борьбы за имя, творческие идеи и литературное наследие Хлебникова». О конфликте в связи с *не* возвращёнными рукописями не упомянуто. За какие такие «*творческие идеи*» Хл боролась (с Андриевским? Митуричем? Кем-то ещё?) не называемая прямо «группа М»? Что же, это ей больше всех других, например, Н. Н. Пунина, были дороги «Единая книга», гипотезы «Досок судьбы», «зангезийство» Хл, не завершённый им синтез трёх «осад»? «Боролся» ли ЛЕФ с другими «наследниками» за идеи «Ладомира»?⁶¹

Кульминационный, в плане толкования «связки Хл — М», отвлечённый, от всего её контекста, и холодно лаконичный комментарий к беспрецедентно трагическому у Хл стихотворению «Всем» по-новому окрашивает весь корпус примечаний в СС, заставляя перечитать многие из них и помогая понять общие причины их недостаточности в ряде так или иначе упомянутых выше случаев⁶². Прочитую целиком, настаиваю, совершенно несправедливый абзац (589):

⁶¹ «Ладомир», кстати, здесь тоже не упомянут. «Ничевоков» (как «борцов за литературное наследие» Хл) если стоило упомянуть, то лишь для полноты; тогда пришлось бы тянуть нити к Туфанову, Терентьеву, «обэриутам», даже к «авангардистикам» от постмодернизма. Но уже Кручёных в ряд таких борцов поставить трудно; спасибо ему и за «Записную книжку», другие несовершенные публикации, которые знакомили общество с чем-то из наследия Хл, за то, что открывал доступ к его рукописям и Степанову, и Харджиеву. — О чём-то вроде евразийского «союза» у Хл см. 2, 570; *вера* Хл (577) — это вера в «зангезийство», т. е. будущее единое торжество занимавших его «осад»; см. сб.: Евразийское пространство: Звук и слово [Тезисы и материалы Междунар. конф.]. М., 2000. С. 140—142.

⁶² Ср. примечания к «Одинокому лицедею»; чего там только нет — и всё более или менее «по делу»: расстрел Гумилёва, «Цех поэтов», реальная Ахматова и виртуальная (?) Будберг, Пушкин и Минотавр, цитата из «KaI»... Нет важнейшего: 1) объяснения сути «ужаса», сообщения о том, чего же именно в *Я* Хл не видит «никто»; 2) ссылки на известное письмо Хл к Н. В. Николаевой от 11.10.1914 (!) и цитаты оттуда, многое в будущем делающей понятным: «теперь я твёрдо знаю, что рядом со мной нет ни одного человека, могущего понять меня». Пунин, Митурич, Аренс по крайней мере *пытались* и в 1922 г. охватить личность Хл как целое, «понять его» — М же, если когда-то и пытался, то быстро счёл своё понимание завершённым, удовлетворившись знаком равенства между футуризмом и будетлянством, а если не квасом, то ЛЕФом.

«Психологическая подоплёка стихотворения — мучительные подозрения Хлебникова близких друзей (прежде всего Маяковского)⁶³ в преднамеренном уничтожении (или сокрытии) его рукописей: ср. заключительную XXI пло-скость свехповести «Зангези» (1922). **Подозрения изначально не имели никакой реальной основы**». (выделено мной. — В. Г.)

Умысла не было; уничтожения (если никак не связывать с ним пропажи ряда рукописей Хл 1914—1918 гг.) — тоже; *преднамеренного* сокрытия — тоже. Это так. Но что же было, если и «мальчика»-то не было, ничего, кроме почему-то таких «мучительных подозрений»? Они не имели под собой никакой почвы? Болезнь? Предосудительная подозрительность? Бредовая идея? Мании величия и/или преследования? Инфантилизм? Чересчур лёгкая внушаемость? Иммунодефицит в ситуации дурных влияний со стороны недостойных лиц? Все подобные версии в хлебниковиане давно опробованы, но, выскажемся прямо, каждая по-своему и все вместе, они унижают Будетлянина, продолжая запутывать читателя, когда он задаётся «детским» вопросом: «Почему всё-таки рукописи не вернулись к Хл до его отъезда в Санталово?» — и заодно также «взрослым»: «Кто виноват?».

Я хочу помочь поискам ответов. С рукописями соприкасался Якобсон (но лишь *после* того, как Хл вручил их «другу Вове») — Якобсона никто в этом не винил. Соприкасался и сейф Московского лингвистического кружка, в котором, как позже выяснилось, рукописи провалялись несколько лет! — Сейф, а также куда-то засунутый ключ от него, возможно, и виноваты в бессердечии, но они честно выполняли свои функции. Раньше всех, естественно, соприкасался Хл. И предоставил их Року в лице друга, а сам уехал на Юг. Надо было, товарищ, не спускать с них глаз. Стало, Витька и тать... Любимый Вова может спать...

Неудачным считаю также решение оставить без комментария два следующих стихотворения: о «Пускай...» выше уже было помянуто, а «Торгаш, торгаш...» (395, 590) — ведь это последнее обращение к М. И здесь преувеличен характер его вины, как и во «Всем». Но в принципе оба говорят о невероятно горьком чувстве почти гадливого ужаса, которое испытал Хл, порывая с *Владимиром Облачным*⁶⁴. Лёжа на ковре в комнате Евг. Спасского, он как будто вспоминает о блаженной «Ночи в Персии». Там-то и тогда-то поэт легко понял ласково «заскрипевший» *жук*, Москва была далеко, но в ней друзья. Здесь же и теперь, в Москве мая 1922 г., лишь «воробей подслушивает мысли» Будетлянина. Кто со всем вниманием отнесётся к ним в будущем? С *Евским* «хорошо вдвоём», но сейчас этот художник, приютивший поэта, один безмятежно «дышит лазурью» — у Хл же в ушах,

⁶³ Редкостный для стиля Примечаний к СС сбой; но «показательно мстящий» за Хл?

⁶⁴ Заметил ли сам Хл, что у него проскользнуло «западное» слово *поэмы*? — О желательности связи между комментариями к «рынку» (1, 503) и этому «торгашу» подумать еще не поздно.

видимо, неотступный, неумолчный, «волчий вой / Пустой, косой, / Такой безбрежный»... (2,403)⁶⁵.

После смерти Хл М назвал его «Колумбом новых поэтических материков, ныне заселённых и возделываемых нами», читай, мною и другими «учениками» Будетлянина — лэфовцами. Здесь *материки* — это вдвойне неосторожное слово. Примем метафору М — и нас сразу же остановит его самоуверенность: Хл нечто открыл, но сам это нечто как бы и не возделывал, а даже в рамках одних только «поэтических материков» все ли из них «вы» действительно «заселили»? Если «огромнейшие фантастико-исторические работы» Хл — это, по М, в основе своей «поэзия», то где же хоть слабые отпечатки «ваших» следов на этом «материке»? И этого мало. Думая о *материках*, М не вспомнил о старой строчке Хл, обращённой к другим, более широким «вам»: «Вы не взошли на мой материк!» (1, 341, 513) — нет ли вины М и в том, что в течение десятилетий на самый важный, для Хл, изо всех его «материков» так и не ступала «нога исследователя»? Получи Асеев и Г. Винокур возможность осуществить замысел конкурентного по отношению к СП издания сочинений Хл, боюсь, даже по проблемам самовитого слова и словотворчества их «общий язык» невозможно представить: Винокур «сдавал» Хл уже в 1924 г., верному Асееву достаточно нашей благодарности и за его незаурядные стихи о Будетлянине.

На этом можно завершить (пока?) полемику с СС по поводу «связки Хл — М», подчеркнув, что известных достоинств *поэзии* М она, полемика, не затрагивает. Что же касается корпуса примечаний к СС 1 и, особенно, СС 2, то сожаления, о которых пришлось сказать, относятся лишь к части предлагаемой в них богатой и нередко уникальной информации. Не исключаю, что и они вызовут полемику.

Едва ли имеет смысл «подводить баланс» плюсов и минусов СС. Тот же М, на его искреннем пути, по бывшему лэфовцу Пастернаку, и много позднее был занят иным «нашим балансом». Тот же Пастернак в конце жизни догадывался о том, что «недооценивал» Хл. М, Каменский, Асеев, Кручёных и Брик, каждый по-своему, всё же «оценили» Хл (при всей разномерности и тоже частичной ограниченности этих оценок). Сегодня *поэт* Хл вроде бы как-никак оценён. «Баланс» оценкам Хл-мыслителя, «ещё раз подчеркну» (хотя мы и не на ТВ), подводить, уверен, теперь уже, скоро, придётся, но пока явно рано. Вот если бы Александр Гордон на НТВ проникся такими

⁶⁵ Не с тем, чтобы умножать количество «интертекстов», всё же скажу, что концовка этого стихотворения заставляет, «надрывая сердце мне», вспомнить о пушкинских «Бесах». Не могу отделаться и от «параллели» между строчкой «Умри бесстыдно» в «Торгаше...» и еще одним пушкинским образом — Самозванца: «Он именем царевича, как ризой / Украденной, бесстыдно облачился». — Никому, конечно, не навязывая эти ассоциации, полагаю их возможными у Хл.

проблемами, как «Принципы XX века», «Уроки Хл», «Нильс Бор и Хл», «Свобода воли и «Доски судьбы»» etc., — так мечталось еще недавно. Он-то, может, и проникся, а дальше что?

Возможно, какие-то из сторон СС я недооценил, в отношении других, несомненно превосходных, был поспешен, не задержавшись на них подробнее, третьим вообще не уделил должного внимания, в чём-то как-то ошибся. Положа руку на сердце, говорю: в СС есть много такого, что нужно и можно было бы исправить⁶⁶; но и в его настоящем состоянии я с благодарностью принимаю рассмотренные тома как незаурядный вклад в хлебниковиану. Весомая чаша с плюсами, отчётливо вижу, не позволит уравновесить себя противоборствующим минусам. Представим, насколько легче и ответственной теперь смогут работать велимироведы, а думать — и все желающие. То ли еще будет после выхода в свет шестого тома СС⁶⁷.

⁶⁶ Все те из письменных и устных замечаний, которые соберут тома СС (1, 2...) и с которыми Е. Р. Арензону как учёному и составителю невозможно будет не согласиться, я бы настойчиво рекомендовал издателям помещать (может быть, даже вместе с комментариями к спорным, но серьёзным замечаниям) в дополнительных особых разделах последующих томов. Это открывало бы новую, очень важную традицию, зовущую других к подражанию и совершенствованию.

⁶⁷ Акад. Л. В. Щерба, говорят, говаривал: «Думать человеку затруднительно и по природе не свойственно». Я верю («кроме шуток» и позволяя себе под занавес чуточку пафоса), что издание СС, так полнокровно и своевременно демонстрирующее обществу огромные богатства творческого наследия Хл, может и должно благотворно сказаться и на человеческой природе.

Семантические классы предикатов и развитие вида в восточнославянском
(По поводу книги: N. Bermel. Context and the lexicon in the development of Russian aspect //
University of California publications in linguistics. 1997. V. 129)

1. На фоне обширной научной литературы, посвященной одному из самых спорных вопросов в истории русского языка — развитию категории глагольного вида, — недавно вышедшая книга Н. Бермеля выделяется масштабностью и смелостью поставленной задачи: автор предпринял попытку проследить историю формирования глагольного вида на значительном отрезке существования древнерусского языка — от Нестора Летописца до Курбского. Анализируются пять текстов: Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку (конец XI — начало XII в.; далее — ПВЛ)¹, Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку (начало XIV в.)², «Хождение за три моря» Афанасия Никитина³ и «Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году» Нестора Искандера⁴ (оба памятника — второй пол. XV в.), а также «История о великом князе московском» А. Курбского (конец XVI в.)⁵.

Основу книги составляет разбор примеров из указанных текстов. Примеры снабжены переводом (представляющим интерес не только для англоязычного читателя, но нередко и для «native speakers»), в конце каждого раздела и главы кратко излагаются выводы. Каждый из анализируемых текстов рассматривается как своего рода языковой «синхронный срез», позволяющий диагностировать состояние видовой системы. Сравнивая более поздний текст с более ранним, автор отмечает изменения и устойчивые черты с тем, чтобы, определив основное направление развития

¹ Указывается предполагаемое время создания памятников, а не содержащих их списков. Повесть временных лет цит. по: ПСРЛ, т. I.

² См. там же.

³ Цит. по: Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV в. М., 1982.

⁴ См. там же.

⁵ Цит. по: Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XVI в. М., 1986.

системы, провести прямую линию между различными «срезами» и представить — насколько возможно — логичную картину формирования вида в русском языке. Книга содержит подробную историю вопроса, причем серьезное внимание уделено не только собственно диахронической проблематике, но и некоторым современным аспектологическим теориям. В заключительной главе авторская концепция развития вида в древнерусском рассматривается в свете новейших теорий грамматикализации.

2. Дискуссии о формировании глагольного вида в славянских языках концентрируются вокруг двух основных вопросов: 1) начиная с какого времени можно говорить о существовании грамматической видовой оппозиции; 2) какие факторы сыграли ключевую роль в ее формировании.

По поводу первого вопроса существуют, в частности, две противоположные точки зрения. Так, по мнению Ю.С. Маслова [Маслов 1961], грамматическое противопоставление видов в основном сформировалось уже к концу общеславянского периода (хотя и включало далеко не всю глагольную лексику). Эта гипотеза привлекательна постольку, поскольку она позволяет объяснить тот факт, что категория вида присутствует во всех без исключения славянских языках, причем повсюду реализуется — в основных своих чертах — похожим образом (ср., в частности, важное с типологической точки зрения совмещение в одном показателе — форме НСВ — значений многократности и длительности, свойственное всем славянским языкам, и — в связи с этим — семантическую маркированность совершенного вида).

Согласно же другой гипотезе, видовая система русского языка — относительно недавнее явление. Так полагает и Н. Бермель, по мнению которого даже в конце XVI в. можно говорить лишь о «протовидовой» оппозиции, принципиально отличной от современного видового противопоставления.

Что касается второй проблемы, то, хотя очевидно, что интересующий нас процесс затронул различные уровни языковой системы, исследователи, в разное время изучавшие этот вопрос, склонны были придавать первостепенное значение отдельным факторам. Например, предлагалось рассматривать в качестве основополагающей категорию «определенности-неопределенности» (ср. глаголы *нести* — *носить*). Позже основное внимание исследователей сосредоточилось на роли морфологических факторов — префиксации, суффиксации, вторичной имперфективации. Так, в настоящее время практически общепринятой является точка зрения, согласно которой основой для формирования вида послужили приставочные глаголы и их суффиксальные дериваты, в то время как бесприставочные глаголы (симплексы) долго оставались неохарактеризованными по виду.

В монографии Н. Бермеля формирование глагольного вида рассматривается прежде всего через призму *лексической семантики*. Согласно его гипотезе, развитие видовых характеристик происходило не равномерно у всех глагольных предикатов: вовлеченность или невовлеченность того

или иного из них в видовое противопоставление (и степень этой вовлеченности) зависела от его принадлежности к одному из лексико-семантических классов. Некоторые классы обнаруживают признаки видовой дифференциации уже в древнейших восточнославянских памятниках, другие же, напротив, долго сохраняют неразличение видов. Морфологические факторы играют хотя и существенную, но вторичную роль в этой концепции.

Н. Бермель предлагает оригинальную классификацию глагольных предикатов. Среди них различаются *telic* и *atelic predicates* (т. е. предельные (или целенаправленные) и непредельные (нецеленаправленные)), а также *punctual* и *nonpunctual predicates* («мгновенные» и «немгновенные»). Эти классы пересекаются, поэтому возможны четыре комбинации: *punctual telic* (например, *судити, просити, достигати, стрѣляти*), *punctual atelic* (*видѣти, дивити ся*), *nonpunctual telic* (*ставити, писати, воевати, искати, умирати*), *nonpunctual atelic* (*стояти, блюсти*). Признаки «telicity» и «punctuality» образуют своеобразную систему координат, в которую может быть помещен любой рассматриваемый предикат (с. 55).

Как полагает исследователь, в ранних текстах (в ПВЛ) видовое противопоставление реализовалось лишь среди *nonpunctual telic predicates*, остальные предикаты (обозначающие *punctual and/or atelic acts*) функционировали как неохарактеризованные по виду, и процесс их постепенного притягивания к аспектуальному «ядру» был сложным и длительным. Постепенно видовая оппозиция распространяется почти на всю глагольную лексику за исключением группы глаголов, обозначающих *punctual atelic acts* (которые и по сей день частично сохранили древнее неразличение видов, ср. [Lehmann 1989]).

Как уже говорилось, морфологические факторы в данной концепции отходят на второй план, поскольку больший «удельный вес», по мнению Н. Бермеля, имеют семантические характеристики глагольного предиката. Так, если предикат относится к разряду обозначающих *punctual and/or atelic acts*, то он останется вне видовой дифференциации независимо от наличия или отсутствия у него приставки или суффикса; напротив, «симплекс», обозначающий *nonpunctual telic act*, вполне может относиться к одному из «протовидов» уже в древнейшую эпоху.

Наряду с лексической семантикой исследователь уделяет пристальное внимание контексту, в котором употребляются глагольные формы. Именно контекст позволяет интерпретировать действие как относящееся к настоящему или будущему времени, многократное или единичное, законченное или незаконченное и т. д.; действия, передающиеся несколькими предикатами, могут в зависимости от контекста интерпретироваться как последовательные или одновременные. Развитие вида как грамматической категории в русском языке, по мнению Бермеля, сопровождалось постепенным ослаблением роли лексики и контекста и, соответственно, «возрастанием количества информации, которую способна передавать видовая форма» (с. 108).

3. Вышеизложенное, разумеется, дает лишь весьма общее представление о концепции автора. Однако, прежде чем вдаваться в дальнейшие детали, следует остановиться на используемой автором семантической классификации предикатов.

В рассматриваемой работе самим принципам классификации и их обоснованию уделено довольно мало места, а между тем здесь кроется множество проблем. Дело в том, что Н. Бермель заимствует эти принципы из работ по современному русскому языку. Но в последних, как правило, классификация производится с учетом существующей видовой системы (скорее даже — исходя из нее), иными словами, зачисление глагола в определенный класс зависит от его видовых характеристик. В исследовании, где наличие или отсутствие охарактеризованности по виду у предиката как раз и следует доказать, применение данного критерия грозит возникновением порочного круга. По мере чтения труда Н. Бермеля создается впечатление, что автор не всегда помнит об этом.

3.1. Начнем с первого (основного) признака — «telicity» (целенаправленность, предельность). Традиционно в аспектологии «предельными» называются предикатные лексемы, обозначающие такие ситуации, которые в случае нормального их развития неминуемо придут к «логическому» завершению (например, *строить* — *построить*; см., в частности: [Dahl 1981; Булыгина 1982]). При этом подобные ситуации непременно должны включать в себя процесс продвижения к цели, в противном случае они попадут уже в другой класс. Если воспользоваться известной классификацией З. Вендлера ([Vendler 1967]), то предельные предикаты относятся к «accomplishments» (предикатам «постепенного осуществления», по терминологии Т. В. Булыгиной [1983]), но не к «achievements» (предикаты «происшествия» и «достижения» [Там же]), которые в отличие от предельных не могут обозначать процесс в его развитии, т. е. употребляться в актуально-длительном значении (см. [Vendler 1967; Comrie 1976: 44-48; Апресян 1988]). В русском языке формы НСВ таких предикатов обозначают лишь многократное повторение ситуации, обозначенной парной формой СВ. Так, *находить* значит (в тривиальном случае) «много раз найти», а не «стремиться найти»; то же можно сказать и о паре *достичь* — *достигать*.

Таким образом, лексемы класса achievements не являются, собственно, «целенаправленными»: они обозначают не процесс продвижения к цели, а лишь «момент» ее достижения. Напротив, Н. Бермель относит achievements (наряду с accomplishments) к разряду «целенаправленных» глаголов (telics). Поскольку такая терминология принципиально расходится с традиционной, она, как минимум, требует специального объяснения.

3.2. Еще сложнее — с различием *punctual / nonpunctual acts*. В данном случае Н. Бермель ссылается на работу [Маслов 1948], где выделены глаголы «непосредственного эффекта». Это глаголы, обозначающие такие действия, которые, «даже будучи взяты в сколь угодно краткий момент своего протекания, не могут мыслиться как оставшиеся «неэффективными»,

безуспешными» [Маслов 1984: 62]. Ю. С. Маслов относил к этому классу такие пары, как *видеть* — *увидеть*, *смотреть* — *посмотреть*, *чувствовать* — *почувствовать*, *говорить* — *сказать*, *обещать* — *пообещать* и др. Диагностическим контекстом для них является невозможность употребления в конструкции *делал, но не сделал*: нельзя сказать **видел, но не увидел*; **обещал, но не пообещал* и т. д. Н. Бермель, беря на вооружение этот фрагмент классификации Маслова, предлагает «уточнить» определение класса. И тут возникает некоторая путаница, поскольку, как представляется, автор игнорирует тот факт, что Ю. С. Маслов использует понятие видовой пары в качестве исходной точки для семантической классификации. Так, комментируя определение Маслова, Н. Бермель пишет: «The issue here is not a single continuity of telicity, since calling acts like *videt* 'see' telic is a far stretch for the definition of telicity. Furthermore, the idea that all of them reach telos instantly is not consistent with fact; one could hardly argue that *prosit* actually contains a request before the request is finished. If we accept Maslov's formulation, why not also say that stative verbs like *stiat* 'stand' have reached their «telos» of «being in a standing position» as soon as the act commences?» (с. 53). На этот вопрос легко ответить: *стоять* относится к *imperfectiva tantum*, а глаголами «непосредственного эффекта», по Маслову, могут быть только парные. Классификация Маслова — не строго семантическая (и не претендует таковой быть): она объясняет двустороннюю связь между лексикой и видовой системой, исходя из устройства последней⁶.

Отвергая исходный критерий видовой парности, Н. Бермель вынужден предложить другой. Вместо мгновенного достижения цели (по Маслову) в качестве такового представляется возможность «моментализации» действия: глагол обозначает «моментальное» действие, если для его осуществления достаточен предельно короткий момент времени. В результате, помимо выделенных Ю. С. Масловым лексических групп (глаголов чувственного восприятия, говорения, психических состояний), Н. Бермель причисляет к *punctuals* те же *achievements* («моментальные» предикаты), например, *достигати*. Но не все: многие из *achievements* характеризуются как *nonpunctual telics*. Критерии здесь не вполне ясны.

⁶ Что касается упомянутых Н. Бермелем глаголов *видеть* и *просить*, то, как бы это ни казалось странным, они *концептуализируются* языком как мгновенные. Анна А. Зализняк и А. Д. Шмелев [2000] пишут, что для глаголов, обозначающих семиотические акты, «характерна специфическая асимметрия между физическим и семиотическим аспектом действия. При том, что физическое действие, посредством которого осуществляется семиотический акт, может занимать определенное время, сам этот семиотический акт мыслится языком как мгновенный. Так, можно долго *просить*, *сообщать* необходимую информацию, *звонить* в дверь и т. д., но соответствующий семиотический акт может считаться произведенным в тот момент, как только он будет идентифицирован. С этим связана отмечаемая у глаголов речи и других *семиотических* глаголов нечеткая семантическая дифференциация между сов. и несом. видом» (с. 60—61).

Проблема, разумеется, не в том, что классификация Н. Бермеля не совпадает с широко применяемой в аспектологии классификацией Вендлера (выделенный Вендлером класс *achievements* оказывается «расщепленным» надвое, на *punctual telics* и *nonpunctual telics*), а в том, что один и тот же семантический критерий («моментальное» значение) фактически используется для разграничения как *telic/atelic predicates*, так и *punctual/nonpunctual predicates*.

Помимо ряда «моментальных» глаголов, к этому же классу причислены «семельфактивы» типа *стрѣляти*. Для коммуникативных глаголов типа *говорить — сказать* предлагается особое объяснение (см. с. 53—54). Кроме того, оппозицию *punctual / nonpunctual* исследователь сближает с оппозицией «абстрактное» / «конкретное», но не использует последнюю в качестве основного критерия, поскольку ««abstract» and «concrete» are not lexical aspectual distinctions» (с. 11).

Таким образом, класс *punctuals* оказывается очень пестрым и «абстрактным», и трудно понять, почему «мгновенными» считаются такие предикаты, как *достигати, лѣчити, мьстити, вередити, забывати, спасати, увѣщати/увѣщевати, стретити, сохранити, помочи, искупити*, а «немгновенными» — *прийти, пустити, одолѣти, разбитися, падати, умирати*? Почему *погубити, призвати* — «*punctual*», а *убити, послати* (за кем-то) — «*nonpunctual*»?

Отсутствие понятных критериев, как обычно, грозит возникновением порочного круга. Дело в том, что, как утверждает Н. Бермель, «мгновенные» предикаты, так же как и «нецеленаправленные», долго оставались вне видовой оппозиции. В книге не раз подчеркнута, что «*punctual telic predicates*» функционируют так же, как «*atelic predicates*», ср.: «*Atelicity and punctuality favor anaspectuality; telicity and nonpunctuality favor aspectuality*», с. 221. Отсюда возникает опасение, что в некоторых случаях «целенаправленному» предикату присваивается ярлык «*punctual*», когда он почему-либо ведет себя как неохарактеризованный по виду. В результате получается весьма условная картина.

4. Что касается теоретической базы исследования в целом, то здесь обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Исследуя письменные памятники разных периодов, автор неизменно сравнивает их данные с тем, что представлено в видовой системе современного русского языка. Формулируя основные выводы, Н. Бермель также главным образом указывает на расхождения между тем, что мы находим в древнерусском языке, и современной видовой системой. Между тем некоторые представления об устройстве последней, которые исследователь считает общепринятыми или «традиционными» для русской аспектологии и из которых он исходит в своих рассуждениях, в настоящее время устарели или, по крайней мере, разделяются далеко не всеми.

Так, Н. Бермель пишет: «When I classify verbal acts by lexical type, I am not classifying whole verbs but only their predicates, since a single verb may have multiple lexical assignments. In doing so, I

reject for Old Russian *a fundamental principle of the Modern Russian aspectual system proposed by the grammatical aspect school*: that aspect is assigned on the level of the verb. Instead, in Old Russian, degrees of aspectuality depend on the lexical classes of verbal predicates; they are a feature of the lexical submeanings expressed in each predicate, and to the extent that the complements of a verb help define the lexical class of a predicate, aspect is a feature of the context of the sentence as well» (с. 240; курсив мой). Такого «основного принципа» нет (или, по крайней мере, не все с ним согласны): в современной аспектологии речь идет не о глаголах (как они представлены в обычных толковых словарях), а исключительно о глагольных *лексемах*. То, что исследователь говорит здесь о древнерусском, полностью приложимо к современному русскому языку. Так, например, фраза *Вода заполняет бассейн* в одном значении обозначает предельный процесс, а в другом — статическое состояние (пример из [Падучева 1996: 16]); синтаксический контекст также важен: *ловить бабочку* — предельный процесс, *Он ловит на озере рыбу* — непредельный [Там же].

Видовую пару в современном русском Н. Бермель определяет так: «two verbs with identical lexical meaning and complementary distribution and usage of forms» (с. 475). Не совсем ясно, что автор имеет в виду под «complementary distribution and usage» (ср. различные случаи конкуренции видов), что же касается «identical lexical meaning» — такая точка зрения, действительно, существует, она является одним из основных аргументов сторонников словоизменительной трактовки вида, но ее также разделяют далеко не все. Исследования в области глагольной семантики показали, что парным глагольным лексемам СВ и НСВ не может быть дано единое толкование. Как пишет М. Я. Гловинская, «лексическое значение глагольной основы слито с видовым»; по ее мнению, «нельзя представить значение глагольной словоформы как лексическое значение глагольной основы, очищенное от значения вида, плюс значение видового показателя» [Гловинская 1982: 48]; эту точку зрения поддержал, в частности, и Ю. Д. Апресян [1988].

По-видимому, указанные недоразумения (а также другие, о которых речь пойдет ниже) связаны с тем, что в исследовании Н. Бермеля оказались неучтенными работы А. Вежбицкой, Т. В. Булыгиной, М. Я. Гловинской, Е. В. Падучевой, Ю. Д. Апресяна, без которых совершенно невозможно представить себе современную аспектологию⁷. В этих работах при описании семантики видовых противопоставлений был использован метод толкований, что привело к пересмотру некоторых положений традиционной аспектологии и, в частности, позволило глубже изучить взаимодействие между грамматической и лексической аспектуальностью.

⁷ Прежде всего имеются в виду работы: [Wierzbicka 1967; Булыгина 1982; Гловинская 1982; Падучева 1986; Апресян 1988].

Так, основной вывод автор формулирует следующим образом: «the history of Russian aspect is the retreat of a lexically based aspectual system in favor of a more grammatically and contextually based one» (с. 476). Как представляется, автор сильно преувеличивает степень расхождения между древнерусским и современным русским в данном отношении. На самом деле, любая аспектуальная система построена на сложном взаимодействии грамматической семантики аспектуальных показателей и лексической семантики глагола⁸. Когда Н. Бермель указывает, что в ранних восточнославянских письменных памятниках видовое противопоставление реализовывалось только у *telic predicates*, то это означает лишь, что в раннем восточнославянском имела место та же ситуация, что и в современном русском языке, где также «чистые» видовые пары образуются только среди предельных глагольных лексем. Правда, исследователь говорит о *nonpunctual telic predicates*, но, как отмечалось выше, противопоставление *punctual/nonpunctual predicates* оставляет слишком много вопросов.

Таким образом, если, как обнаруживает Н. Бермель, некоторые представления об устройстве современной видовой системы русского языка (как правило, отсылающие к традиционной аспектологии) оказываются неприменимы к глагольной системе исследуемых им древнерусских текстов, то это говорит скорее о неадекватности данных представлений, чем о кардинальных различиях в семантическом устройстве современной и древнерусской видовой систем или (тем более) об отсутствии категории вида в рассматриваемый период.

5. В целом развитие вида в изложении Н. Бермеля выглядит как весьма сложный, запутанный и даже хаотичный процесс, напоминающий, по определению самого исследователя, «броуновское движение» (с. 468). Так, исследователь подчеркивает, что даже среди *nonpunctual telic predicates* (наиболее «расположенных» к видовой парности) префиксальные и суффиксальные производные, как правило, не образовывали с исходными формами «чистых» видовых пар, а имели отличное от них лексическое значение. Исходная форма могла иметь несколько дериватов, каждый из которых претендовал на то, чтобы считаться ее видовой парой, но ни один не имел на это законного права. Кроме того, автор приводит множество примеров, где, по его мнению, «морфологические»

⁸ Ср.: «Аспект принадлежит к числу тех грамматических категорий, которые наиболее тесным образом связаны с семантикой исходной (глагольной) лексемы. Действительно, не всякая ситуация может быть, так сказать, повернута под произвольным углом зрения: это зависит от ее внутреннего устройства. Если ситуация по самой своей природе не обладает длительностью, ее нельзя представить как длящуюся; если ситуация по самой своей природе не имеет результата, то в ней невозможно выделить результативную фазу, и т. п. Тем самым, аспектуальные противопоставления естественным образом участвуют в классификации глагольной лексики – просто в силу того, что к одним лексическим классам могут быть применены одни противопоставления, а к другим — другие» [Плунгян 2000: 293—294].

протоимперфективы выступают в качестве протоперфективов и наоборот. Так оказывается, что древнерусские глаголы — это как бы свободные атомы, которые лишь после длительных «блужданий» находят друг друга и кристаллизуются в видовые пары (образуют «молекулы»).

Несомненно, древнерусская (как, впрочем, и современная) глагольная система была устроена очень сложно, в подтверждение чему Н. Бермель приводит множество убедительных примеров. Однако в ряде случаев исследователь излишне усложняет картину, давая ошибочные интерпретации. Так, по его мнению, в примере из Лаврентьевской летописи глагол *наказати* дважды употреблен в разных значениях — ‘учить, наставлять’ и ‘наказывать’:

и Д(а)в(и)дъ пр(о)рокъ гл(аголе)тъ. наказая накази мя Г(о)с(под)и. но см(е)рти не предаждь мене (137 об.).

В переводе Н. Бермеля: «in instructing me, chastise me» («наставляя, накажи»), с. 193. Этот перевод неверен. Конструкция *наказая накази* является своеобразной калькой регулярной древнееврейской конструкции, где первый член — «абсолютный инфинитив», а второй — личная форма того же глагола (реже личная форма стоит на первом месте); таким образом, абсолютный инфинитив дублирует личную форму, создавая эффект усиления, эмфазы (ср. [Ламбдин 1998: 253]). Фраза, которую приводит Н. Бермель, — несколько измененный стих псалма (Пс. 117:18), который в славянской Синодальной Библии звучит так: **НаказѸа наказѸа мѧ гдѣ, смерти же не предаде мѧ** (древнееврейская конструкция — по масоретскому тексту, этот псалом имеет номер 118, — $\text{וְיִלְלֵךְ יְיָ אֱלֹהֵינוּ}$), в русском же Синодальном переводе находим: *Строго наказал меня Господь; но смерти не предал меня*. В церковнославянском подобные конструкции (попавшие в него посредством греческих переводов) встречаются довольно часто⁹.

⁹ Ср. в славянской Синодальной Библии, например: **вкѸшал вкѸснхъ малъ медѸ <...>, и се, азъ оумираю** (1 Царств. 14:43); **оумножал оумножѸ печали толъ** (Быт. 3:16); аналогичные примеры см.: Быт. 37:8; Быт. 43:7; 1 Цар. 20:6. Абсолютному инфинитиву в Синодальной Библии может соответствовать не только причастие несов. вида, но и существительное в твор. падеже (как правило, однокоренное с личной формой глагола), например: **ИИ рече змій женѸ: не смертїю оумрете** (Быт. 3:4); **желанїемъ во возжелалъ еси ѿити въ домъ отца твоегѸ** (31:30); аналогично см.: Быт. 2:17; Быт. 43:2; Суд. 15:13 (на ряд примеров мне любезно указал Е. М. Верещагин). Последние примеры отчасти напоминают русские сочетания с «творительным тавтологическим» (или «творительным усиления») типа *криком кричит, стоном стонет* (см. [Пешковский 1956: 303]). Видимо, это не случайно: действительно, по смыслу (и отчасти даже формально, поскольку абсолютный инфинитив представляет собой глагольное *имя*) рассматриваемая древнееврейская конструкция похожа на отмеченные Пешковским тавтологические усилительные сочетания, но если последние идиоматичны и, как указывает Пешковский, «крайне редки», то библейская конструкция, напротив, очень продуктивна, являясь грамматическим средством эмфатического подчеркивания.

В подтверждение того, что предикаты «with very high telicity may take on functions associated in Modern Russian with the perfective category, despite their apparent morphological associations with imperfectivity» (с. 155), Н. Бермель приводит, в частности, следующий пример из ПВЛ:

*И повелъ **ѣ** Олегъ воемъ своимъ. колеса издъ **ѣ**лати. и **воставляти** на колеса корабля (л. 15 Р.).*

Исследователь отмечает, что в русском переводе сказано «поставить», и фактически предлагает считать *воставляти* «протоперфективом» (с. 151). Как кажется, это не вполне справедливо. Формы *воставити* и *воставляти* в данном контексте синонимичны, а глагол *повелъ **ѣ**ти* может управлять как перфективом, так и имперфективом. Но в тексте, написанном на современном русском литературном языке, стилистически нежелательно, чтобы в данном контексте стояли формы разных видов; нужно сказать либо: *велел делать и ставить*, либо: *велел сделать и поставить*. В летописном тексте таких ограничений нет или они не столь строги¹⁰.

Здесь возникает еще одна проблема — адекватности использования переводов в рамках анализа: различия между оригинальным текстом и переводом могут быть обусловлены разными причинами, и не всегда ссылки на перевод релевантны.

Наряду с употреблением типа ‘протоимперфектив > протоперфектив’ возможно, по мнению исследователя, и обратное соотношение: «морфологический» протоперфектив может употребляться в качестве протоимперфектива. В частности, автор не исключает подобной интерпретации для следующих двух примеров из «Повести о взятии Царьграда» (с. 330):

*Турки же по вся места бяхуся без опочиванья день и ноц, пременяющеся, не дающее нимала **опочити** градским, но да ся утрудят, понеже уготовляхуся къ приступу; и тако творяху отбои до 13 ден.*

*И даша ему мало брашна и питие, и тако **опочи** той ноци.*

Н. Бермель переводит здесь *опочити* как ‘rest’ и отмечает: «In both sentences the verb describes a holistic view of the action that is probably best labelled protoperfective, although protoimperfectivity cannot be ruled out». Однако, на наш взгляд, последнее предположение совершенно излишне: смысл обеих фраз остается вполне ясным и непротиворечивым, если принять, что *опочити* — глагол совершенного вида.

¹⁰ Кроме того, исследователь не отметил, что данный пример взят не из Лаврентьевского списка ПВЛ (где в соответствующем месте пропуск), а из Радзивиловского, в Ипатьевском же списке (более древнем по сравнению с Радзивиловским) употреблена форма *въставити*

6. По мнению Н. Бермеля, во всех рассматриваемых текстах — от самых ранних до поздних (конца XVI в.) — в тех случаях, когда можно говорить о видовых противопоставлениях, мы имеем дело не с полноценными («современными») видовыми парами, а с парами «протоаспектуальными» («протоперфектив» / «протоимперфектив»), поскольку они по ряду важных признаков отличаются от видовых пар современного русского языка. Речь идет о способах передачи основных аспектуальных значений и о дискурсивных свойствах совершенного и несовершенного видов. Как полагает исследователь, и с тем, и с другим в древнерусском дело обстояло совершенно иначе, нежели в современном литературном русском языке.

Так, во всех славянских языках для форм НСВ характерно совмещение значений многократности и длительности. Тем не менее, Н. Бермель утверждает, что в древнерусском прослеживалась скорее противоположная тенденция — передавать эти значения с помощью разных показателей.

По мнению исследователя, древнерусские «протоимперфективы», как правило, не употреблялись в итеративных контекстах. Его схема примерно такова: в актуально-длительных (процессных) и узуальных контекстах выступают протоимперфективы, а в итеративных и дуративных (см. [Timberlake 1985]) — протоперфективы (с. 475). Точнее, по мнению Н. Бермеля, употребление в итеративном контексте того или иного прототида зависит от характеристик действия и его оценки говорящим (ср.: «the lexical features of the act and the requirements of the context determine which form will be used», с. 244), но «тенденция» именно такова, ср.: «In Old Russian, iterativity is not a context that automatically conditions the use of either aspect; the connection between iterativity and aspect is a later development. Instead, acts that are regularly repeated appear routinely with protoperfective verbs» (с. 241)¹¹.

Действительно, исследователь приводит убедительные примеры, демонстрирующие, что в древнерусском перфективные формы могли употребляться в многократном контексте. Но отсюда не следует, что в тех же контекстах не могут употребляться имперфективы¹². Доказать обратное непросто. Так, по мнению Н. Бермеля, в следующем примере (с. 173) глагол *умираху* имеет процессное значение:

в си же времена мнози ч(е)л(о)в(ѣ)ци оумираху различными недугы (Лавр., 215; англ. перевод: *were dying*).

Вопреки интерпретации Н. Бермеля, форму *умираху* здесь нельзя понимать как «находились при смерти». Этот контекст — не процессуальный, а дистрибутивный.

¹¹ Подход Н. Бермеля отличается от подхода Ю. С. Маслова, который говорит об имперфектах *совершенного вида*, которые выступают в определенных контекстах, когда повторяется вся цепочка действий (см. [Маслов 1954]).

¹² Ср. показательный пример из Новгородской Первой летописи по Синодальному списку, где представлена практически минимальная пара: «Нъ Богъ избави (Якуна Мирославича), прибрьде къ бѣрегу, и боле его не биша, нъ *възяша* у него 1000 гривень, а у брата его 100 гривень, тако же и у инѣхъ *имаша*» (НПЛ, с. 26).

В отличие от итеративного, он обозначает повторение ситуации не с одним и тем же субъектом, а с несколькими, но, так же как итеративный (и в отличие от процессуального), он обязательно порождает значение достижения предела у предельных глаголов НСВ (ср. [Падучева 1996: 40—41]).

Но особенно сложной задача во что бы то ни стало приписать имперфективным формам «процессное» значение оказывается тогда, когда речь заходит о предикатах, не способных к процессуализации в силу своей лексической семантики (см. об этом выше), ср. пример на с. 261:

*а о сихъ оже то **приходятъ** Чернии Болгаре. (и) воюють въ странѣ Корсунстѣи* (Лавр., 51).

В современном русском *приходить* составляет «тривиальную» видовую пару с *прийти* (обозначает только многократное повторение ситуации, выраженной глаголом СВ, и не имеет актуально-длительного значения), и хотя теоретически нельзя исключить, что древнерусский глагол *приходити* имел несколько иную семантику, данный пример совершенно не подталкивает нас к подобным предположениям (ср. перевод: «если придут черные болгары»). Ср. ниже еще один пример:

*(и) побѣгоша наши пред иноплемьники. (и) **падаху** язвени предъ врагы нашими. и мнози погыбоша (и быша) мертви паче неже у Трьполя* (Лавр., 221; с. 167).

Здесь исследователь видит «a mixture of iterativity and either durativity or progressivity» (с. 168); точнее было бы назвать этот контекст дистрибутивным. На наш взгляд, предположение о том, что здесь присутствует процессуальное значение, выглядит довольно парадоксально.

6. Гипотезу о преимущественном функционировании древнерусских имперфективов в процессуальных контекстах Н. Бермель подкрепляет еще одним наблюдением: «The first noticeable tendency with suffixed forms is that the contexts they are found in depend on their lexical group: with punctual telic acts, suffixed forms are found mostly in iterative contexts, whereas with nonpunctual telic acts, they are mainly found in progressive contexts» (с. 475). Это высказывание вызывает недоумение: суффиксальные формы, передающие punctual telic acts, естественно, употребляются только в итеративных контекстах. Как может быть иначе, если эти формы обозначают «моментальные» действия и в принципе не могут иметь актуально-длительного значения? Это суждение неинформативно, «кругообразно». Еще большее недоумение вызывает утверждение о том, что глагольные лексемы, обозначающие nonpunctual telic acts, встречаются главным образом в процессуальных контекстах. Как это можно понять? Надо ли понимать это таким образом, что действия данного типа (например, *убивати, открывати, подымати, побѣждати* и т. п.) не могли повторяться? А если могли, то каким образом им удавалось избегать многократных (или

потенциально кратных) контекстов в древнерусских памятниках письменности? Здесь следует учесть и то, что, как отмечалось выше, критерии разграничения *punctual* и *nonpunctual telic predicates* не вполне ясны. Неудивительно, что для обоснования этой точки зрения приходится изобретать неправдоподобные интерпретации типа приведенных выше.

7. Тезис о том, что древнерусское «протовидовое» противопоставление имело принципиально иной характер, чем видовое противопоставление в современном русском языке, Н. Бермель обосновывает не только тем, что в них совершенно по-разному распределялись аспектуальные значения, но и тем, что древнерусские «протоперфективы» и «протоимперфективы» не имели важных дискурсивных функций, свойственных современным формам СВ и НСВ, ср.: «In Old Russian, discourse features do not have a measurable impact on aspect, whereas in Modern Russian they condition the appearance of one aspect or the other» (с. 457).

Так, одним из основных признаков СВ является результативность, хотя результативное значение могут передавать и формы НСВ (ср. общефактическое результативное значение НСВ), откуда — «конкуренция» между СВ и НСВ. В древнерусском же, по мнению Н. Бермеля, признак «результативность» (и, следовательно, «конативность» — недостижение результата) был нерелевантен для семантики «протовидов»: протоимперфективы могли иметь результативное значение так же свободно, как протоперфективы — нерезультативное. В доказательство исследователь приводит переводы рассматриваемых древнерусских текстов на современный русский, где во многих случаях «протоимперфектив» переводится формой СВ, а «протоперфектив» — формой НСВ. Эти случаи Н. Бермель объясняет не конкуренцией видов. По мнению исследователя, мы имеем дело как бы с формами-«оборотнями»: «морфологические» имперфективы выступают в роли перфективов и наоборот.

Эта гипотеза, пожалуй, самая загадочная в книге. Дело в том, что Н. Бермель ошибочно считает «результативность» и «конативность» признаками, по которым в современном русском противопоставлены СВ и НСВ. Что касается результативности (ср.: «the Old Russian protoperfective was not necessarily opposed to the protoimperfective by a discourse feature of resultativity, *as it is in Modern Russian*», с. 444; курсив мой), то, как говорилось выше, это значение может передаваться формами НСВ общефактического.

О «конативном» значении НСВ Н. Бермель утверждает следующее: «In Modern Russian the use of an imperfective form often includes the implication that an effort was made to perform an act, but the attempt failed; this function is evidently absent from the Old Russian protoimperfective, even as recently as the sixteenth century» (с. 476); ср. также: «The distinction between perfective and imperfective in Modern Russian is one of reaching a specific goal vs. failing to reach that goal, not simply of effecting a change of

state» (с. 142) и: «Conativity is a regular feature of Modern Russian aspect» (с. 476).

Эту точку зрения (некогда принятую в традиционной аспектологии) отнюдь нельзя назвать общепризнанной в настоящее время. Конативное значение не является основой видового противопоставления, для форм НСВ оно вторично. Конативная интерпретация является прямым следствием лексической семантики глагола и контекста его употребления¹³. Поскольку Н. Бермель пытается отделить «конативное» значение от лексического, возникают странные интерпретации. Ср. комментарий к примеру из «Истории» Курбского:

*Сице, мню, блаженный малую присовокупляет благокознению, еюже великое зло **целити** умыслил.*

В переводе: «задумал исцелить». Н. Бермель пишет: «A Modern Russian imperfective *исцелять* ‘treat, cure’... would have two functions: it would describe the process of curing someone, but in this context, *it could also indicate a failure to cure someone during a course of treatment. Old Russian lacks this second meaning*, and thus it retains a simplex to describe the process, while Modern Russian opts for a prefixed form, to avoid confusion» (с. 446; курсив мой). Как это можно понять? Неужели в древности на Руси любая деятельность, обозначаемая глаголом *цѣлити*, автоматически приводила к успеху? Если же нет, то, как представляется, эту форму можно интерпретировать двояко: либо как неохарактеризованную по виду, либо как омонимичную (двувидовую)¹⁴. В любом случае, объяснение Н. Бермеля представляется неприемлемым.

Другой пример из того же текста:

*Подобно **ленился еси** прочести златыми усты вещающего о семъ во словѣ о духу святом...*

В переводе: *поленился*. Комментарий Н. Бермеля: «An imperfective in the Modern Russian leaves open the option that at some later point the tsar’s stalling abated, and he did in fact get around to reading Chrisostom», поэтому переводчик «avoids a conative reading by using the perfective form» (с. 447—448). Здесь путаются признаки «результативность» и «перфектность» (сохранение результата в момент

¹³ Так, Анна А. Зализняк и А. Д. Шмелев [2000: 22] пишут, что в случае употреблений типа *уговаривал, но не уговорил* «мы имеем дело не с каким-то особым значением вида, а с актуализацией – в контексте противопоставления – некоторого компонента значения глагола», а именно значения попытки, также называемого иногда конативным, в другом контексте та же форма *уговаривал* может иметь результативное значение, см. об этом также: [Падучева 1996: 23; Плулунян 2001: 60—63].

¹⁴ Третья возможность, а именно, что *цѣлити* представляет собой перфектив (и только), по-видимому, исключается, так как имперфективные употребления этого глагола хорошо засвидетельствованы в письменных памятниках, ср. [Срезневский III: 1449].

речи). Употребляя форму СВ, переводчик, действительно, подчеркивает, что «результат» сохранился до момента речи, но в оригинале этот оттенок мог и отсутствовать. Что же касается собственно состояния, передаваемого глаголом *лени́ться*, трудно представить, чтобы оно было «неуспешным».

7.1. Сходным образом Н. Бермель объясняет и употребление в переводах форм СВ, соответствующих формам имперфекта, ср. примеры из «Повести о взятии Царьграда»:

Грѣки же, вышед из града, побивааху во рвѣх туркы, кои еще живи бяху, и, собравше их въ многие кучи, съжигаахут их вкупѣ со оставшими турами (в переводе соответственно: перебили и сожгли; с. 384-385).

Стратигом же всѣм, сънѣшимся за Зустунѣм, нападаху (перевод: *напали*) *на турки сурово и взратиша ихъ до стѣны* (с. 385).

И яко въздоша паки гражане на стѣну и видѣша во рвѣ множество туркъ, абие зажигааху (перевод: *зажгли*) *бочкы съ смолою и пуцааху на них, и погорѣша вси* (с. 387).

По мнению исследователя, если бы переводчик употребил формы НСВ, то действия воспринимались бы как незавершенные. Действительно, у переводчиков подобные конструкции обычно вызывают затруднение, но причина здесь в другом: нормы современного русского языка не допускают, чтобы в связном повествовании в прошедшем времени формы НСВ употреблялись непосредственно после форм СВ. Иными словами, НСВ не свойственно ингрессивное употребление [Падучева 1996: 362—364], в отличие от имперфекта в древнерусских памятниках письменности, который, напротив, в таком же контексте может иметь ингрессивное значение. Следовательно, использование СВ в переводе обусловлено различиями между правилами сочетаемости видов в связном тексте в современном русском языке и правилами употребления аориста и имперфекта (а также других предикативных форм) в древнерусских памятниках письменности (подробнее см. [Петрухин 2001])¹⁵. Подобное (консекутивное) употребление имперфекта возможно только в определенном типе контекстов; кроме того, по-видимому, в столь позднем тексте, как «Повесть о взятии Царьграда турками», оно уже характеризует не разговорный узус (если брать видовую основу), а письменную традицию¹⁶.

¹⁵ Н. Бермель обратил внимание на эту проблему, ср.: «All the problems seen in this section involve contextual problems or, on an even larger level, textual issues of temporal, causal, and narrative connections between events» (с. 387), – но, к сожалению, оставил ее «за скобками».

¹⁶ Фактор письменной традиции не учитывается в работе Н. Бермеля, хотя, как представляется, он играет не последнюю роль в употреблении видов. Как показала Е. В. Падучева (опираясь на введенное Э. Бенвенистом разграничение двух планов употребления языка – *plan de discours* и *plan de récit*), видо-временные формы по-разному функционируют в зависимости от типа коммуникативной ситуации (см. [Benveniste 1966; Падучева 1996]). В частности, этим объясняется обнаруженное В. М. Живовым увеличение пропорции форм НСВ в поздних фрагментах Мазуринского летописца конца XVII в. [ПСРЛ XXXI] по сравнению с более ранними его фрагментами (см. [Живов 1995; Петрухин 1996]). Таким образом, употребление видов существенно зависит от избранной пишущим нарративной стратегии.

7.2. Сюда же примыкает и еще одно наблюдение Н. Бермеля, касающееся употребления видов в конструкциях с отрицанием. В лексической семантике по отношению к отрицанию принято выделять пресуппозицию и ассерцию в толкованиях лексических единиц: информация, составляющая пресуппозицию, остается неизменной при отрицании, а утверждение (ассерция) отрицается (см. об этом, в частности: [Апресян 1980]). Данная закономерность имеет непосредственную связь с употреблением видов.

Однако, по мнению Н. Бермеля, функционирование «протовидов» в древнерусском подчинялось другой закономерности: «The Old Russian protoperfective under negation... occurs in durative contexts, while the protoimperfective under negation appears in progressive contexts» (с. 451). Дуративными автор книги называет контексты, обозначающие ситуацию, имеющую ограниченную с двух сторон длительность; такие контексты также называют лимитативными. Исследователь приводит, в частности, следующий любопытный пример из «Истории» Курбского:

И абие в той день обступихом мѣсто и град бусурманский полки христианскими и отняхом ото всѣхъ странъ пути и проѣзды ко граду: не возмогли они никакоже ни из града, ни во град преходити.

Перевод: «не могли передвигаться». По мнению Н. Бермеля, «Kurbiskij uses a protoperfective perfect to show a temporal limitation on the soldiers' abilities to get in or out of the city» (с. 449—450). Но, по-видимому, отмеченное различие в употреблении видов в оригинальном тексте и в переводе объясняется иначе. Дело в том, что в современном литературном русском языке глаголы устойчивого состояния не сочетаются с показателями начинательности; как пишет Е. В. Падучева, «у этих глаголов невозможен ни приставочный инцептив, ни даже аналитическое выражение идеи начинательности, ср. *зазнять, *залюбить, *зануждаться» ([Падучева 1996: 147]). Между тем, в современных говорах Архангельской области (как мне приходилось слышать) подобного рода формы вполне допустимы, но только в контексте отрицания, ср.: *незамогчи*¹⁷ ('заболеть'), *незавидеть* (ср.: *Незавидели глаза*, т. е. 'перестали видеть, ослепли'), *незалюбить*. Для понимания семантики этих форм полезно предложенное Е. В. Падучевой ([Там же, с. 148]) разграничение двух видов

¹⁷ Легко видеть, что этот глагол совпадает с *не возмогчи* из рассматриваемого примера с точностью до начинательных приставок – русской в первом случае и церковнославянской во втором; слитное или раздельное написание (то есть признание *не* отрицательной частицей или приставкой) зависит от степени идиоматичности соответствующих форм, но этот вопрос требует специального рассмотрения.

начинательного значения: инцептива («наступление начальной фазы процесса (деятельности)» или «события, не расчлененного на фазы») и ингрессива («начало и продолжение»). Так, *незалюбить* значит не просто ‘разлюбить’, а именно ‘начать не любить’ (ингрессив): этот глагол обозначает одновременно переход из одного состояния в другое (противоположное первому, отрицающее его) и продолжение этого нового состояния, характеризуемого, так сказать, «от противного». Некоторые формы подобного рода лексикализировались и, несмотря на оттенок архаичности, сохранились в современном литературном русском языке, например: *занемочь*, *невзлюбить*, *незаладиться*, *возненавидеть*¹⁸.

Вероятно, форма «не возмogli» в примере из Курбского имеет похожую семантику: наречие «никакоже» акцентирует продолжительность ситуации, при которой жители Казани не могли ни выйти из крепости, ни попасть в нее (и, возможно, намекает на то, что такие попытки предпринимались). Эта особенность употребления видов, безусловно, интересна, но она может характеризовать лишь ограниченный лексико-семантический класс глагольных предикатов и, очевидно, не имеет отношения к разграничению лимитативных и процессуальных контекстов.

Таким образом, вывод Н. Бермеля о том, что у древнерусских «протовидов» вплоть до (по крайней мере) конца XVI в. отсутствовали прагматические и дискурсивные свойства, характеризующие СВ и НСВ в современном русском языке, представляется не вполне убедительным и требующим дальнейшего обсуждения.

Литература

Апресян 1980 — Ю. Д. Апресян. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ⇔ Текст». Sonderband 1. Wien: Wiener slavistischer Almanach., 1980 (страницы указаны по изд.: Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. 2. М., 1995).

Апресян 1988 — Ю. Д. Апресян. Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Русистика сегодня. Язык: система и функционирование. М., 1988. С. 57—78.

Булыгина 1982 — Т. В. Булыгина. К построению типологии предикатов в русском языке // О. Н. Селивестрова (ред.). Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 7—85; (перепечатано в кн.: [Булыгина, Шмелев 1997: 45—112]).

¹⁸ Как пишет М. Фасмер, *ненавидеть* «образовано с отрицанием от *навидѣти* «охотно смотреть, навещать»; ср. *навидѣться* «видаться, посещать», укр. *навидити ся* «с радостью смотреть друг на друга», польск. *nawidzieć* «охотно, с радостью смотреть»» ([Фасмер III: 63]).

Булыгина 1983 — Т. В. Булыгина. Классы предикатов и аспектуальная характеристика высказывания // Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983. С. 20—39; (перепечатано в сокращенном виде в кн.: [Булыгина, Шмелев 1997: 129—149]).

Булыгина, Шмелев 1997 — Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Гловинская 1982 — М. Я. Гловинская. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Живов 1995 — В. М. Живов. Usus scribendi: Простые претериты у летописца-самоучки // Russian Linguistics. 1995. Vol. 19. No. 1. P. 45—75.

Зализняк, Шмелев 2000 — Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.

Ламбдин 1998 — Томас О. Ламбдин. Учебник древнееврейского языка / Перев. с англ. Я. Д. Эйделькинда. М., 1998.

Маслов 1948 — Ю. С. Маслов. Вид и лексическое значение глагола в современном русском языке // ИАН СЛЯ. 1948. Т. 7. Вып. 4. С. 303—316.

Маслов 1954 — Ю. С. Маслов. Имперфект глаголов совершенного вида в славянских языках // Вопросы славянского языкознания. Вып. 1. М., 1954. С. 68—138.

Маслов 1961 — Ю. С. Маслов. Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961. С. 165—195.

Маслов 1984 — Ю. С. Маслов. Очерки по аспектологии. Л., 1984.

НПЛ — Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А. Н. Насонова. М.; Л., 1950; (2—е изд.: М.: Языки русской культуры, 2000).

Падучева 1986 — Е. В. Падучева. Семантика вида и точка отсчета // ИАН СЛЯ. 1986. Т. 45. № 5. С. 413—424; (перепечатано в кн.: [Падучева 1996: 9—23]).

Падучева 1996 — Е. В. Падучева. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Петрухин 1996 — П. В. Петрухин. Нарративная стратегия и употребление глагольных времен в русской летописи XVII века // ВЯ. 1996. № 4. С. 62—84.

Петрухин 2001 — П. В. Петрухин. Syntaxis verbi: Консекутивный имперфект в ранних восточнославянских летописях // РЯ. 2001. № 1. С. 219—238.

Пешковский 1956 — А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956; (8-е изд.: М.: Языки славянской культуры, 2001).

ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси / Сост. и общ. ред. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева. М., 1978—1992.

Плунгян 2000 — В. А. Плунгян. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000.

Плунгян 2001 — В. А. Плунгян. Антирезультатив: до и после результата // В. А. Плунгян (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 1: Глагольные категории. М., 2001. С. 50—88.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею. Т. I—XXXIX. СПб.; М., 1841—1994.

Срезневский — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по

письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1903.

Фасмер — М. Ф а с м е р. Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1986—1987.

Benveniste 1966 — É. Benveniste. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966; (рус. пер.: Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974).

Bermel 1997 — N. Bermel. Context and the lexicon in the development of Russian aspect // University of California publications in linguistics. 1997. Vol. 129.

Comrie 1976 — B. Comrie. Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge, 1976.

Dahl 1981 — Ö. Dahl. On the definition of the telic—atelic (bounded—unbounded) distinction // Ph. J. Tedeschi, A. Zaenen (eds.). Tense and aspect. New York, 1981. P. 79—90.

Lehmann 1989 — F. Lehmann. Besonderheiten der Verwendung von *videt'* «sehen», *slysat'* «hören» im Russischen und die Konservierung alter Sprachzustände // Slavistische Linguistik 1988. München, 1989.

Timberlake 1985 — A. Timberlake. The temporal schemata of Russian predicates // Issues in Russian morphosyntax / Ed. by M. S. Flier, R. D. Brecht. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, 1985. P. 35—57.

Vendler 1967 — Z. Vendler. Verbs and times // Z. Vendler. Linguistics in Philosophy. New York, 1967. P. 97—121.

Wierzbicka 1967 — A. Wierzbicka. On the semantics of the verbal aspect in Polish // To Honor Roman Jakobson. The Hague; Paris, 1967. P. 2231—2249.

ПУБЛИКАЦИИ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ: ПИСЬМО НЕМЕЦКОМУ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЮ О ПОЛЬЗЕ БУКВЫ Ъ

Вступительная заметка и подготовка текста Н. В. Перцова

Прекрасный нашъ языкъ, подъ перомъ писателей
неученыхъ и неискусныхъ, быстро клонится къ паденію.
Слова искажаются, Грамматика колеблется.
ОрѠографія, сія Геральдика языка, измѣняется по
произволу всѣхъ и каждаго.

[А. С. Пушкинъ.] Россійская Академія (Современникъ,
1836, томъ 2, стр. 9)

Вниманию читателей предлагается любопытный материал, отдаленный от наших дней изрядной толщей времени. Относится он к 1830 году, который был насыщен историческими событиями: революция во Франции, восстание в Польше, холерная эпидемия в России... Быть может, это был самый славный год в русской литературе — благодаря Болдинской осени. Он был ознаменован еще и началом выхода в Петербурге знаменитой «Литературной газеты» Дельвига — Пушкина — Сомова, в издании которой принимали участие или в которой активно сотрудничали практически все литераторы пушкинского круга. Именно в «Литературной газете» было опубликовано то письмо, которое теперь неожиданно приобретает новое звучание — в связи с неоднозначной реакцией, вызываемой готовящимися изменениями в русском правописании.

16 апреля 1830 г. в «Литературной газете» появилась странная публикация под названием «Новая тяжба о букве Ъ», занявшая более четырех газетных страниц¹. Эта публикация состояла из трех частей: сначала — анонимное предуведомление, затем — письмо, обращенное к немецкому естествоиспытателю барону Александру фон Гумбольдту от имени буквы *ер*, представленное в двух видах: в верхней части газетной полосы — перевод на русский язык, а в нижней — французский

¹ Литературная газета, 1830, т. I, № 22 (16 апреля), с. 172—177. Пагинация в газете была сплошная — из номера в номер в пределах каждого тома, соответствовавшего полугодью.

оригинал (см. снимки страниц «Литературной газеты»); завершает публикацию ответ Гумбольдта в переводе на русский язык (оригинал был написан тоже по-французски).

Как случилось, что знаменитый немецкий ученый стал адресатом столь странного письма?

В год, предшествовавший упомянутой публикации, Александр Гумбольдт совершил длительное научное путешествие по России; он приехал в Петербург в апреле, а покинул нашу страну в декабре 1829 г. Его путешествие, во время которого он посетил Средний Урал и Западную Сибирь, продолжалось более пяти месяцев. На возвратном пути в октябре Гумбольдт неделю провел в Москве, а в Петербурге прожил весь ноябрь. Пребывание Гумбольдта в России широко освещалось в печати; путешествие было финансировано русским правительством; Гумбольдта принимали с размахом и почестями не только в столицах, но и во всех крупных городах, куда ему довелось заезжать. В Петербурге в его честь Академия устроила заседание. Разумеется, не было недостатка в официальных и частных приемах, на одном из которых с Гумбольдтом встретился Пушкин. Это случилось 29 ноября (см. [Хроника 2001: 180]), а за два дня до этого в другой петербургской гостиной состоялась беседа, давшая повод для мистификации, каковой явилось шутивное послание немецкому ученому от имени буквы русского алфавита.

Неизвестно, в чьем доме Гумбольдт критически отозвался о статусе буквы ъ, однако авторы предупреждения к письму и самого послания известны [Фомин 1914: 16; Блинова 1966: 162]. На экземпляре «Литературной газеты», предназначенном для отправления за границу А. И. Тургеневу, П. А. Вяземский в апреле 1830 г. рядом с публикацией «Новая тяжба о букве Ъ» сделал карандашную запись (в числе 28 пометок, раскрывающих авторство некоторых публикаций в первых 23-х номерах газеты): «Моя, а письмо Перовского». Итак, предупреждение написано Вяземским, а письмо Гумбольдту — А. А. Перовским, известным писателем пушкинского времени, который выступал в печати под псевдонимом Антоний Погорельский. Можно достаточно уверенно предположить, что перевод обоих писем на русский язык также был сделан Перовским².

² Перовский входил в круг авторов «Литературной газеты»: он опубликовал в четырех номерах в январе и марте 1830 г. отрывки из романов «Магнетизер» и «Монастырка» (см. указатель в [Блинова 1966]). О склонности Перовского к мистификации и розыгрышу в стихотворном послании к нему писал Вяземский (называя его «милым проказником»). Не вполне ясно, почему Перовский выбрал французский язык для обращения к Гумбольдту, — ведь он свободно владел и немецким (для защиты ученой степени доктора философии и словесных наук в 1807 г. двадцатилетний студент Перовский прочел три пробные лекции на русском, немецком и французском языках, посвященные вопросам ботаники, которой он специально занимался в университете). Может быть, сочиняя письмо, он уже имел в виду его опубликовать, а для петербургского света французский язык подходил гораздо более. Стоит добавить, что в 1829 г. (12 января) Перовский был избран в члены Российской академии [Кирпичников 1903: 109].

Эта публикация из «Литературной газеты» в XIX веке была перепечатана трижды: полностью в смирдинском издании сочинений Погорельского [Погорельский 1853: 319—345], в журнале «Русский Архив» (1865, № 9, стб. 1128—1138) и во втором томе полного собрания сочинений Вяземского [Вяземский 1879: 112—120]. В двух последних изданиях отсутствует французский оригинал письма Перовского. При первой и третьей перепечатках авторам книг были приписаны чужие тексты: Перовскому — предуведомление, а Вяземскому — письмо Гумбольдту. Что касается второго из трех переизданий, то в следующем после него выпуске «Русского Архива» (1865, № 10 и 11, стб. 1403), в короткой заметке, подписанной инициалами «П. Б.» (то есть редактор «Русского Архива» П. И. Бартенев), были правильно указаны (со слов Вяземского) не только авторы предуведомления и письма Гумбольдту, но и адресат письма Гумбольдта, подозреваемый последним в сочинительстве «челобитной от буквы ъ», — Д. Н. Блудов, бывший тогда товарищем министра просвещения, а ранее — одним из учредителей литературного общества «Арзамас». Кроме того, П. И. Бартенев раскрыл инициал Т.* в замечании Гумбольдта о букве ъ: «Она немного сутуловата и доказываетъ, что не могла пользоваться благодеяніями Госпожи Т*» — это была А. А. Турчанинова, петербургская поэтесса и магнетизерка, к которой «возили больныхъ, между прочимъ и скорченныхъ» (из заметки П. И. Бартенева) и которая «бралась лечить от всевозможныхъ болезней и исправлять физические недостатки вроде косоглазия и даже горба, подвизаясь исключительно в богатой среде» (цит. по [Черейский 1956: 255])³.

Письмо от имени буквы ъ, отстаивающей свои «права на жительство» в русской орфографии, отличается эмоциональной насыщенностью и глубиной. Думается, читатели согласятся с оценкой, которую дал этому письму П. И. Бартенев в упомянутой заметке из «Русского Архива»: «<...> остроумное и замечательное какъ по обильному для того времени запасу филологическаго знанія, такъ и по ясному изложенію <...>». Письмо Перовского красноречиво свидетельствует, что споры о нужности этой буквы в русском алфавите возобновлялись и после провала попыток ее изгнания на рубеже XVIII и XIX веков.

О ненужности конечного ера говорил еще Ломоносов; противниками такого его употребления были А. А. Барсов, А. Х. Востоков, И. И. Срезневский, В. Г. Белинский; в XVIII веке и в первые десятилетия XIX-го предлагались проекты усовершенствования русского письма, в частности предусматривавшие уничтожение «лишних букв»; «отдельные книги и журналы без ъ выходили уже в конце XVIII — начале XIX в.» [Еськова 1966: 62 сл., 73] (обзор предложений по изъятию конечного

³ Принадлежность данного инициала подтверждает и воспроизводимое здесь факсимиле письма Гумбольдта, в самом конце третьей фразы которого (в 19—20-й строках) можно прочесть: «Madame Tourtschaninoff».

ера с XVIII в. по 1918 г. см. в [ОП: 53, 65—67]).

К началу 1780-х годов относится история, ярко демонстрирующая «мытарства» ера в русском правописании. Тогдашний директор Академии наук С. Г. Домашнев выступил публично против конечного ера [ОП: 65, 472]. С этим связаны интереснейшие рукописные документы: пародийная служба «На бывшаго въ Академіи Наукъ директоромъ господина Домашнева», высмеивающая «злоупотребленія Сергея Герасимовича Домашнева по управленію Академіею Наукъ» [Брайловский 1894: 29] и называющая его «попрателем и истребителем ера», и ответная «Челобитная отъ ера», обращенная к «всепрезнаменитейшей, всезнающей и достопочтеннейшей Академіи Наукъ» (с выразительной подписью — *Елисей Еролюбовъ*)⁴. Тем самым, выражение «челобитная отъ буквы ъ» в предуведомлении Вяземского следует, как кажется, мысленно окружить кавычками: это скрытая цитата. В статье [Брайловский 1894: 27—29] сообщается о рукописном сборнике первой половины XIX века, принадлежавшем «новгородсеверскому обывателю титулярному советнику Александру Матвеевичу Яснопольскому» (начало записей — 1809 г.); в этом сборнике содержались списки этих «образчиков старинного острословия», которые в нем приписывались перу Д. И. Фонвизина. Известно, что именно в 1830 г. Вяземский занимался биографией Фонвизина; отрывки из своего труда о Фонвизине он тогда публиковал как раз в «Литературной газете». Правда, в книге Вяземского о Фонвизине (Вяземский 1848) нет ни слова о «Службе» и «Челобитной», однако это еще не означает, что Вяземский исключал авторство Фонвизина: списки были для тогдашней печати не вполне удобны, и даже на упоминание о них Вяземский мог не решиться. Во всяком случае, трудно себе представить, что он не знал этих ярких произведений рукописной сатирической литературы XVIII века и не подозревал, что они приписывались Фонвизину (если это было известно даже провинциальному обывателю).

Отступление. В связи с вопросом об авторстве Фонвизина предлагается сравнить концовки двух челобитных, обнаруживающих выразительное сходство (относительно второй авторство Фонвизина установлено):

«Челобитная отъ ера»: «Того ради всезнающую Академію нижайше и препокорнейше прошу сіе мое челобитье принять и ему вышереченному господину Домашневу впредь истреблять меня изъ Россійской азбуки запретить, дабы ежели учинень ему будетъ поводъ, то бѣ онъ и прочую мою братью не истребилъ и чрезъ то не лишилъ бы всехъ Русскихъ людей ихъ грамоты. Къ поданію надлежитъ въ типографію Академическую. Челобитную писалъ оной же типографіи <перѣб>орщикъ⁵ <?> Елисей Еролюбовъ» [Ефремов 1872: стб. 2036].

⁴ Эти документы опубликованы в [Ефремов 1872]; расхождения с другим списком и комментарии даны в [Брайловский 1894: 26—29], где обосновывается авторство Д. И. Фонвизина (см. также [Шапир 2000: 210]).

⁵ В оригинале: тередорщикъ.

«Челобитная Россійской Минервѣ отъ Россійскихъ писателей»: «И дабы *ВАШЕГО БОЖЕСТВЕННАГО ВЕЛИЧЕСТВА* указомъ повелѣно было сіе наше прошеніе принять, и таковое беззаконіе и вѣкъ нашъ ругающее опредѣленіе отмѣнить; насъ же, яко грамотныхъ людей, повелѣтъ по способностямъ къ дѣламъ употреблять, дабы мы именованные служа Россійскимъ музамъ на досугѣ, могли главное жизни нашей время посвятить на дѣло для службы *ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА*. / *ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ* ! Просимъ *ВАШЕ БОЖЕСТВЕННОЕ ВЕЛИЧЕСТВО* о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить. Къ поданію надлежитъ въ Собесѣдникъ любителей Россійскаго слова. Прошеніе писалъ Россійскихъ музъ слугитель Иванъ Нельстецовъ» (цит. по кн.: «Собесѣдникъ любителей Россійскаго слова, Содержащій разныя сочиненія въ стихахъ и въ прозѣ нѣкоторыхъ Россійскихъ писателей». Часть четвертая. Въ Санктпетербургѣ, иждивеніемъ Императорской Академіи Наукъ 1783 года. Стр. 10; см. также [Фонвизин 1959, 2: 3-4]).

«Челобитная» Фонвизина была впервые опубликована в «Собесѣднике любителей русского слова»⁶ в 1783 г., т. е. вскоре после «антиерового» выступления С. Г. Домашнева и предполагаемого создания пародийных «антидомашневских» документов. К сожалению, в статьях и комментариях Г. П. Макогоненко в двухтомнике [Фонвизин 1959] (самом полном послереволюционном собрании сочинений Фонвизина) о них нет упоминания (если комментатор знал о них и не был согласен с авторством Фонвизина, все равно следовало бы коснуться этого вопроса: ложная атрибуция тоже формирует историко-литературный образ писателя).

Между «челобитной от ера» и письмом Перовского тоже усматриваются параллели:

Челобитная отъ ера	Письмо къ Барону Гумбольдту
<p>Я вышепоименованный <ерь> родился въ Россіи въ давнихъ еще лѣтахъ, а какъ именно давно, того не упомню, и около уже тысячи летъ, какъ внесень въ Россійскую азбуку, гдѣ съ прочими буквами служилъ къ начертанію заключительныхъ словъ весьма кудряво.</p> <p><...> а наипаче въ Разрядномъ Архивѣ доказана моя старость и безпорочная служба <...>.</p>	<p>Около десяти вѣковъ протекло со дня моего рожденія, и никто не осмѣливался отвергать дѣйствительность мою и оспаривать тѣ заслуги, кои оказала я <буква ъ> и донинѣ оказываю Россійскому языку.</p> <p><...> я, не подвергаясь упреку въ излишнемъ самолюбіи, могу удерживать за собою право гражданства въ томъ языкѣ, въ которомъ я жила искони, и могу опереться въ томъ на тысячелѣтнюю давность.</p>
<p>И хотя не имѣется мнѣ выше именованному большаго страха <...>.</p>	<p><...> никогда, ни на мигъ не поселили они <мои ненавистники> во мнѣ страха о моемъ существованіи.</p>

⁶ В этом журнале Фонвизин напечатал в общей сложности «шесть сатирических прозаических произведений – и все анонимно» [Фонвизин 1959, 2: 624].

Ясно, что и Вяземский, и Перовский были отлично осведомлены о «Челобитной» XVIII века.

Думается, столь же хорошо знал всё это и Пушкин, которого, пожалуй, можно отнести к числу если не противников, то уж и не поклонников ера: известно, как неблагоприятно отзывался он по поводу ера в одной из литературно-критических заметок Болдинской осени (печатаемых в составе «Опровержений на критики»): «Шпионы подобны букве ъ. Они нужны в некоторых только случаях, но и тут можно без них обойтись, а они привыкли всюду соваться». Не было ли это отголоском апрельской публикации в «Литературной газете»? Как видим, Пушкина она не убедила⁷.

В конце письма Гумбольдту, написанного на другой день после встречи Перовского с немецким ученым, говорится о том, что мнение последнего уже подхвачено некоторыми противниками ера. Возможно, в светской гостиной между участниками приема разгорелся нешуточный «орфографический» спор, который мог быть продолжен на следующий день в другом месте уже без Гумбольдта⁸.

Следует сказать, что аргументы Перовского в письме к Гумбольдту весьма напоминают аргументы, высказывавшиеся в начале XX столетия, когда обсуждались вопросы, связанные с готовившейся реформой русского письма. Тогда защитники «лишних букв» в алфавите тоже апеллировали к культурной традиции, к тому, что сегодня принято называть «памятью культуры»: существовавшее письмо хранило память далекой истории языка. Иными словами, традиционному принципу орфографии придавался особый статус: подчеркивалось, что он обеспечивает культурную преемственность поколений и стимулирует этимологическое чувство у носителей языка.

⁷ Письмо Перовского было написано через два года после выхода грамматики Н. И. Греча, в которой читаем: «Нѣкоторые Писатели хотѣли изгнать изъ Русскаго языка твердую полугласную букву ъ, или замѣнить оную, въ потребныхъ случаяхъ, другими знаками (и писать, напримѣръ: *час'*, *об'являю*). Намъ кажется сіе неосновательнымъ и излишнимъ: неосновательнымъ потому, что нашъ ъ, как Еврейская шва <...>, необходимо нуженъ для означенія давленія воздуха, потребнаго для произнесенія окончательной согласной буквы, или, для отделенія оной от послѣдующей гласной; излишнимъ же по той причинѣ, что на основаніи сего правила можно бѣ было замѣнить любую букву другимъ условнымъ знакомъ» [Греч 1827б: 59—60, примеч. 25]. Любопытно, что председателем «комитета для рассмотрения учебных пособий», который «от октября 1826 г. до февраля 1827 г. <...> решал судьбу грамматики Греча и спор последнего с академией», был не кто иной, как А. А. Перовский [Кирпичников 1903: 106].

⁸ Спорить с Гумбольдтом было непросто; по свидетельству его современника, Гумбольдт «был ужаснейший говорун во всей поднебесной: не только возражать ему, но даже запятой всунуть в его речь математически невозможно: в разговоре с ним надобно довольствоваться одною пантомимой... Гумбольдт, быстротою своего слога, любого стенографа доведет до отчаяния» («Библиотека для чтения», 1840, т. 42, отд. VII, с. 5; цит. по [Черейский 1956: 253, сн. 10]). Известна острота Пушкина, сказанная им одной даме и распространившаяся в петербургском свете: «Не правда ли, что Гумбольдт похож на тех мраморных львов, что бывают на фонтанах? Увлечательные речи так и бьют у него изо рта» [Черейский 1956: 252]. Неудивительно, что в устном споре с таким оппонентом Перовскому было тяжело, – пришлось перенести прения на бумагу.

К счастью, буква ъ не исчезла навсегда из русского алфавита — сузился лишь круг контекстов ее употребления (впрочем, в 1920-х годах был период, когда ъ не употреблялся во всех позициях, включая внутрисловные; иногда он заменялся апострофом). Разумеется, настоящая републикация текстов из далекого прошлого не призывает вернуться к старому алфавиту и к прежней, дореволюционной орфографии. Однако представляется уместным (в свете оживившейся в последнее время дискуссии по вопросам правописания) напомнить о том, как важно учитывать, среди прочих принципов орфографии⁹, традиционный. Думается, его удельный вес не должен быть столь мал, каким он предстает в публикациях и высказываниях некоторых отечественных лингвистов¹⁰. Будь сейчас у нас на дворе начало минувшего века, автор этих строк ратовал бы за большую умеренность и осторожность в проведении реформы письма, например, за оставление ятя во флексиях (скажем, местоименная словоформа мн. числа *всѣ* только в старом графическом облике может быть с уверенностью отличена от словоформы среднего рода *всѣ*¹¹). По прошествии 80 с лишним лет после второй реформы русского письма говорить всерьез о возврате к «лишней букве» российского алфавита было бы, разумеется, нелепо, однако указать нынешним поборникам коренных орфографических преобразований на некоторые следствия таковых, может быть, окажется нелишним.

Автор этих строк никоим образом не выступает против всех орфографических нововведений, представленных в проекте нового свода правил русского правописания — [Свод] (далее иногда именуемого без квадратных скобок — просто Свод), будучи безоговорочно согласным с 9-ю из 23-х пунктов раздела нововведений [Свод: 377—393] (в частности, с предложением расширить сферу

⁹ Разные исследователи выделяют разные наборы принципов орфографии и по-разному их интерпретируют; наиболее часто фигурируют принципы фонематический, фонетический, морфологический и традиционный [ОП: 20—21; Иванова 1977: гл. II; Кузьмина 1981: 246—254; РЯЭ: 303—305]. В последнем случае в словарной статье ОРФОГРАФИЯ упоминается 13 (!) принципов разной степени важности.

¹⁰ Например, весьма серьезным гонениям подвергся традиционный компонент в русской орфографии в популярной, но весьма влиятельной книге [Панов 1964: 100, 128, 134; гл. 5].

¹¹ Поэтому, скажем, пушкинские строки «Все те же ль вы? Другія ль девы, / Сменивъ<,> не заменили васъ?» («Евгеній Онегинъ», СПб., 1837, глава первая, строфа XIX, стр. 12) при написании первой словоформы как *все* большинством читателей воспроизводятся с искажением: «Всѣ те же ль вы? ...», см. [Шапир 2001: 52—53] (со ссылкой на текстологическое наблюдение М. Л. Гаспарова). А в шестом («онегинском») томе Большого академического собрания сочинений Пушкина это искажение эксплицировано: просто напечатано «Всѣ...»!

употреблений эра, распространив его на сложносокращенные слова типа *инъяз, обляюст* и т. п.)¹². Одна из установок авторов Свода состоит в унификации классов орфограмм и сокращении числа исключений. Разумеется, полностью избавиться от них не удастся, и в новом проекте в самых разных правилах исключений остается достаточно много. Отнюдь не во всех случаях орфографических новшеств лингвистические соображения в их пользу выглядят убедительно; иногда предлагаемая унификация в значительной степени отвечает лишь орфографическому вкусу авторов Свода, а о вкусах трудно спорить. В подобных случаях аргумент «от традиции» приобретает особый вес. Да и в статье [Лопатин 2001: 139] мы находим совершенно справедливые слова: «Не следует стремиться к «дистиллированной» орфографии, принципиально изгоняя из нее все исключения и сложности. Позволительно даже утверждать, что орфография естественного языка не может быть абсолютно чистой, непротиворечивой, «причесанной», поскольку она <...> является в значительной степени результатом длительного историко-культурного саморазвития».

Среди орфографических новаций Свода, вызывающих неприятие у автора этих строк, находится весьма принципиальная: уравнивание в правописании страдательных причастий прошедшего времени от перфективных глаголов и соответствующих прилагательных. Нам предлагается писать одинаково адъективные словоформы в словосочетаниях типа *жаренная на масле картошка* и *жареная картошка* — и то и другое с одним *н* [Свод: 136—137] (данное предложение восходит еще к орфографическому проекту 1964 г. и его обсуждению — [ОП: 172—181]). При этом логика здесь остается неясной: почему выбор сделан в пользу прилагательного (одно *н*), а не в пользу причастия (двойное *н*), как в [ОП: 174, II]? Ведь в последнем случае графический облик этих адъективов подравнивался бы под облик причастий от глаголов совершенного вида типа *купленный*; разница морфолого-синтаксического статуса адъективов в сочетаниях *купленная книга* ~ *жареная курица* не

¹² Хотелось бы возразить тем, кто называет предлагаемый в Своде набор изменений в русском правописании «реформой правописания» — см., например, [Кронгауз 2001: 129] (а иногда говорят даже о «реформе русского языка»). М. А. Кронгауз отмечает, что «никакого строгого определения реформы не существует», а на его «профессиональный взгляд это именно реформа правописания». Здесь могут быть два возражения: во-первых, слово *реформа* в русском языке предполагает весьма значительный удельный вес преобразований, вносимых в объект (в самом деле, не назовем же мы «реформой» введение буквы *ѣ* в русское правописание в XVIII в.), а этого мы не видим в случае перечня изменений в Своде, относящихся по преимуществу к маргинальным «локусам» правописания (об этом говорится в статье руководителя авторского коллектива Свода, председателя Орфографической комиссии РАН В. В. Лопатина [Лопатин 2001: 137] — «кардинальных орфографических изменений в новом тексте правил не предусмотрено»; это признает и сам М. А. Кронгауз [2001: 131—132]); во-вторых, в истории русского письма за последние триста лет было только две реформы — реформа Петра I 1708—1710 гг. и реформа 1917—1918 гг. [Еськова 1966: 58, 90; РЯЭ: 412—413], с которыми никак не может быть сопоставлен набор нововведений, предлагаемых в Своде.

вполне ясна (а как писать словосочетание *куплен(н)ый политик?*). Впрочем, унификация в пользу причастия здесь тоже не выглядит безусловной (против этого тоже есть возражения: скажем, написания типа *варенный картофель* будут плохо соответствовать произношению). В Своде целесообразность унификации написания соответствующих причастий и прилагательных обосновывается следующим образом: при нынешней орфографической норме нам приходится выходить за пределы словоформы и исследовать синтаксический контекст слова для выбора правильного написания (есть при нем зависимые словб или нет) [Свод: 380—382]. Однако это не единственный случай, когда приходится обращаться к контексту словоформы; ср. (среди прочего) такие типы орфограмм, как прописная / строчная буква или слитное / раздельное написание *не* с прилагательными и причастиями (да и с существительными иногда тоже: *Неспециалист с этим не справится ~ Он не специалист, а дилетант*). Разграничение страдательных причастий прош. времени и отпричастных прилагательных в значительной степени опирается на давнюю традицию; ср., например, в главе «Объ употребленіи буквѣ» (Часть 4 — «Орѳографія, или Правопісаніе») в книге Н. И. Греча [Греч 1827а: 534] такое правило: «Согласныя буквы, въ Русскомъ языкѣ, иногда усугубляются, т. е. поставляются по двѣ сряду <...> въ причастіяхъ страдательныхъ, кончащихся на *ан-ный, ян-ный, ен-ный* (напримѣръ: *дѣлан-ный, осіян-ный, несен-ный, совершен-ный*). Отъ сихъ причастій должно отличать произведенныя отъ нихъ прилагательныя, какъ-то: *ученый* <...>». Авторы Свода в плане содержания, как кажется, эту традицию нарушать не собираются, однако предлагают графически уравнивать соответствующие единицы. Обоснованность такого решения крайне сомнительна. Все-таки двойное *н* в страдательных причастиях — яркая их примета... Пожалуй, данное решение Свода, будь оно реализовано, приведет к еще большему отдалению графического вида русских текстов от литературно-письменной традиции. И, изгоняя сложность, несколько «дистиллирует» русскую орфографию.

Думается, нам стоит обращаться к старинным ученым спорам для выверенных решений в области правописания. Русская культура в минувшем столетии понесла тяжелый урон. Не хотелось бы его усугублять даже в малом.

* * *

Предлагаемые читателю тексты аутентичны первопечатной публикации в «Литературной газете». Решено было отступить лишь от соположения русского перевода письма к Гумбольдту и его французского оригинала на одной странице. В настоящей републикации второй следует за первым после разделительной черты, тогда как в «Литературной газете» русский и французский тексты расположены на тех же страницах — первый над вторым. Исправления опечаток, принадлежащие републикатору, отмечаются посредством угловых скобок (таковые оказались только во французском

На стр. 272-273 даны факсимиле первых двух страниц
публикации из «Литературной газеты», 1830,
том I, № 22, 16 апреля

На стр. 272-273 даны факсимиле первых двух страниц
публикации из «Литературной газеты», 1830,
том I, № 22, 16 апреля

На стр. 274 приводится литографический
список письма А. Гумбольта,
приложенный к 23-му номеру
Литературной Газеты (1830, 21 апреля)

тексте); те же восемь исправлений, которые были даны в самой «Литературной газете» (№ 23, с. 186), введены непосредственно в текст. Пунктуация первопечатной публикации оставлена в неприкосновенности.

После текста ответа Гумбольдта (с. 177) «Литературная газета» пообещала приложить к следующему 23-му номеру факсимиле французского оригинала; в конце 23-го номера (с. 186) редакция это подтвердила («При семь No прилагается снимокъ собственноручнаго письма Барона А. Гумбольдта»); более того, в конце приложения к I тому «Литературной газеты» (№№ 1-36), содержащего объявление о подписке на второе полугодие 1830 г. и подробное рубрицированное оглавление тома, сообщается: «Къ сей части присовокупляются: *Литографическій снимокъ подлиннаго письма Барона А. Гумбольдта, и Музыка Финской пльсни, положенной съ голоса на ноты М. И. Глинкой*» (с. 297). Благодаря любезности и усилиям сотрудников Государственного музея А. С. Пушкина в Москве републикатор получил доступ к упомянутым литографическим снимкам, один из которых — факсимиле письма Гумбольдта — воспроизводится в данной републикации¹³. Здесь же приводятся результаты дешифровки оригинала письма Гумбольдта (как и в случае письма Перовского — после русского перевода). Из него становится ясно, что Гумбольдт написал письмо стремительно: его мелкий «летающий» почерк делает полную дешифровку письма затруднительной. Тем не менее удалось распознать почти всё, за исключением шестой фразы, для которой нет соответствия в русском переводе — при том, что эта фраза весьма интересна и исполнена иронии: в ней говорится о письме, которое автор получил 27 ноября (Гумбольдт ошибся в дате на один день), о старшем брате автора, знаменитом лингвисте Вильгельме фон Гумбольдте, который «хвалится дружбой» адресата письма, т. е. Д. Н. Блудова (а несколькими строками выше было сказано, что буква ер «съ прямымъ чистосердечіемъ, хвалится преклонными летами своими»), о будущей высокой оценке литературных достоинств письма от буквы ер со стороны старшего Гумбольдта.

Небезынтересны графологические и орфографические особенности французского оригинала ответа Гумбольдта: он преимущественно опускает диакритические знаки, за исключением accent aigu над *é* в исходе словоформ (у адъективов и субстантивов «*beauté*» и «*amitié*») и accent grave над предлогом *à* (один раз поставлен, один раз пропущен); передает открытый [ε] в глагольных флексиях и в корневых морфах с помощью псевдодифтонга *oi*: «*voudrois*», «*reconnois*», «*reconnoissance*»

¹³ П. И. Бартенев по поводу факсимиле письма Гумбольдта сделал в «Русском Архиве» (1865, № 9, стб. 1138) следующее примечание: «Въ нашемъ экземпляре Литературной газеты этого снимка не оказалось. П. Б.» Нет его и в экземплярах «Литературной газеты», хранящихся ныне в основных московских и петербургских книгохранилищах (за справку о петербургских библиотеках автор благодарен Н. А. Зубковой). Объяснить это можно легко: снимки прилагались в виде отдельных листов к номерам газеты, с которыми не были скреплены.

(написание, принятое во французской академической орфографии того времени; см. [François 1932, part. 2, fasc. 1: 961—964]) — при одном случае *ai* («faiblesse») и сомнительном «faible»; «сглатывает» одно *p* на стыке «этимологического» префикса *ap-* (< AD-) и корня, начинающегося на *p-*: «apartenir» (вместо *appartenir*), «aprecier» (вместо *apprecier*).

Стоит отметить, что в русском переводе допущены некоторые упрощения по сравнению с французским оригиналом Гумбольдта. Как было сказано, одна существенная фраза в переводе просто опущена, равно как и прямое признание Гумбольдта своей неправоты по отношению к еру («je reconnois les torts que j'ai eus»); еще в трех случаях в переводе усматриваются упрощающие отклонения от исходного текста: «Elle marche un peu courbée» — «Она немного сутуловата»; «grace aux conseils que Vous lui avez prodigués» — «благодаря добрымъ совѣтамъ вашимъ»; «de calomnier d'après le caractère de la physionomie individuelle» — «по нимъ злословить о свойствѣ физиогномии личной». Вообще нужно сказать, что оригинал выглядит значительно тоньше и содержательнее перевода (может быть, редакция «Литературной газеты» была вынуждена, экономя место, сокращать и упрощать перевод).

Теперь обратим внимание на некоторые особенности правописания в предлагаемых русских текстах, не отвечающего теперешним нормам, причем не только с точки зрения состава алфавита.

В орфографии обращают внимание следующие особенности: (а) написание «этнических» прилагательных *Рускій, Французскій, Немецкій* с прописной буквы (соответствующее нормам того времени); (б) выделение прописными буквами названий лиц в положительном контексте: «вниманіе ученаго Путешественника», «снизводительное разрѣшеніе обоихъ Писателей», «нападенія ихъ были заглушены окрикомъ нашихъ отличнѣйшихъ и ученѣйшихъ Литераторовъ» (это было обычным графическим приемом придания важности обозначаемым лицам); (в) написание словоформ *Рускій, Рускаго* и т. п. с одним *с* (что скорее нарушало норму, хотя и встречалось); (г) сохранение конечного *з* приставки перед «глухой» буквой: «мненіе о бесполезности», «снизводительность», «разкаетесь», «исключить», «разплодить» (в этих орфограммах существовал разнобой).

Пунктуация данных текстов также необычна для современного читателя: (а) в некоторых случаях выглядит странно наличие запятой между группами подлежащего и сказуемого: «Храненіе словопроизводныхъ памятниковъ языка, всегда почиталось предметомъ весьма важнымъ»; (б) иногда выделяются запятыми приглагольные или присубстантивные предложные обороты, с нашей точки зрения — неоправданно: «написаль къ нему на другой день челобитную отъ буквы ъ, на Французскомъ языкѣ»; «въ тяжелой моей горести, мнѣ остается одно только утѣшеніе»; «для большого удобства и ясности, прошу позволенія говорить о себе въ третьемъ лицѣ»; «Произношеніе, в какомъ-либо языкѣ, не подвергается ли со временемъ еще большимъ и страннѣйшимъ измѣненіямъ?»

(эту пунктограмму не следует считать ошибочной: запятая отмечала паузацию в соответствующем месте); (в) иногда обнаруживаются расхождения с нашей современностью в семантике точки с запятой и двоеточия: «если Французы, Нѣмцы и другіе народы почли за нужное не замѣнять буквѣ рh одною буквою f, въ словахъ: philosophie, phase, и т. п., если они по прежнему пишутъ: athée вместо atée; то для чего же хотѣтъ, чтобы Рускіе отступили отъ сего правила, уничтоживъ свое ъ?»; «Языкѣ, сіе живое знаменіе бытія народа, языкѣ нашъ, столь незнакомый чужестранцамъ, столь мало знакомый намъ самимъ, долженъ былъ обратить на себя вниманіе ученаго Путешественника, слышавшаго на вѣку своемъ звуки языковъ большей части міра извѣстнаго: въ краткое пребываніе свое у насъ онъ учился ему. Особенности его подвергались изслѣдованіямъ его: буква ъ имѣла эту участь».

Иногда приходится читать в ученых трудах, что в правописании русской старины царили разнობой и непоследовательность, что отсутствовала в нем какая-либо кодификация, все определялось узусом и что поэтому по отношению к старому русскому правописанию нельзя говорить ни о какой системе, из чего делается вывод, что и изучать старое правописание — занятие бесплодное. Представляется, что в данном случае мы имеем дело с явным преувеличением. Отдельные разделы, посвященные правописанию в его обеих ипостасях (хотя и небольшие по объему), мы встречаем в российских грамматиках уже начиная с XVIII века, — например, с такого раздела, названного в обоих случаях «О правописаніи», начинаются академические грамматики [Соколов 1792: 2—33] и [РГРА 1802: 2—37]; завершается частью под названием «Орфографія, или Правописаніе» грамматика [Греч 1827а, ч. 5: 505—578]. Знаменателен выход в свет в Петербурге в 1816 г. пособия по правописанию [Деминский 1816] (с орфографическими и пунктуационными сведениями). Верно, что правописание не было строго кодифицировано и что его узус был весьма непоследователен (на что часто сетовали литераторы и журналисты в XIX веке), однако он не был полностью и абсолютно свободным и хаотичным, были отдельные «подузусы», подчиненные особым системам. Именно поэтому для научных целей необходимо издавать классические тексты в аутентичном графическом облике и правописании (см. об этом в [Шапир 2001]).

Что касается правописания французского оригинала письма от буквы ер, следует указать на одну его особенность: вместо концовки словоформ мн. числа *-nts* мы видим в большинстве случаев *ns*: *savans*, *changemens*, *monumens*, *sentimens*, но при этом — *importants*; в одном случае вместо *temps* написано *tems*. Здесь мы имеем дело с колебанием в тогдашнем французском правописании. Написание *-ns* (вместо *-nts*) было исключено из академической орфографии только в 1835 г. (см. [Beaulieux 1927: 360; François 1932, part. 2, fasc. 1: 959]). В орфографической практике конца XVIII—первой трети XIX в. были равно употребительны написания с *-t-* и без *-t-* (то же касается написания слова *tem[p]*s и его производных: с неизменяемым этимологическим

p и без него; ср. [Пильщиков 1995: 220—221, 245—246]). Во французском тексте встречаются также некоторые написания, не соответствующие современной, но допустимые в тогдашней орфографии: «troupre», «très-difficile» (с дефисом), «apperçu» [a(p)p- < AD + P-], «rû».

Наконец, отметим некоторые непоследовательности и ошибки в том месте письма, где рассматриваются примеры слов со срединным ером и демонстрируется — через «наивную транскрипцию» с помощью готических букв — искажение произношения этих слов при удалении ера. Непонятно, почему А. А. Перовский выбрал именно готические буквы: латинские для этой цели сошлись бы ничуть не хуже (в перепечатках в «Русском Архиве» и в [Вяземский 1879] здесь была использована именно латиница). Дефисы (накренные готические — в переводе, обычные в оригинале) разделяют слоги, однако в записях оригинала «fred-ы-du-щій» (здесь готический дефис — лишний) и «ff-иже-ні-је», передающих звучание слов «предъидущій» и «сѹженіе», первый дефис, по видимому, передает легкий «шваобразный» призвук, — чему, впрочем, мы не обязаны безоговорочно верить. В самом деле, нельзя исключить, что здесь имело место у автора письма гиперкорректирующее подравнивание йота в случаях типа «обѣдать» и нормального (как в современной орфоэпии) слитно-слогового произношения в словах «предъидущій» и «сѹженіе» подчеркнутого здесь фрагмента; в русском же варианте послания «сѹженіе» с ером и без ера «транскрибируется» одинаково — *Si-же-ні-је* (и похоже, это правильно: в таких случаях ер, по видимому, не давал рефлексов в произношении). В этом месте письма, хотя и «техническом», но вместе с тем наиболее важном с точки зрения аргументации, есть и другие непоследовательности и расхождения между оригиналом и переводом: в оригинале слово «въ ѣздѣ» правильно транскрибировано *Wjeƿd*, а в переводе почему-то с дефисом — *W-jeƿd*; в оригинале слово «изъявленіе» транскрибировано без нужного дефиса после первого слога — *if'я-wle-ні-је* (в переводе такой дефис есть); слово «сѹженіе» (с ером и без ера) в оригинале транскрибировано со строчной готической буквы, а в переводе — с прописной; звуки, передаваемые буквой «н», в концовке прилагательного «ный» передаются через русское «н», а в прочих случаях (в концовке существительного «ніе») — через готическое *n* (последовательно было бы здесь использовать готическую букву во всех случаях); в транскрипции последний гласный в слове «предъидущій» передается не через готическое *i* (как было бы последовательно), а через *i* десятиричное.

Как ни странно, все эти недочеты в общем не препятствуют пониманию того, что хотел автор письма донести до немецкого ученого; можно предполагать, что Гумбольдт, прочитав письмо, осознал, что уж срединный ер в русской орфографии совершенно необходим*.

* И.А. Пильщиков и М.И. Шапир сделали много ценных замечаний по тексту настоящего предисловия, способствовавших его совершенствованию. Сотрудники Государственного музея А.С. Пушкина в Москве Ю.Ю. Гречихова, Н.И. Михайлова и Е.А. Пономарева очень помогли автору в поисках факсимиле письма Гумбольта и сделали возможным его воспроизведение. Н.А. Зубкова сообщила автору о своих поисках снимка письма Гумбольта в петербургских библиотеках и архивах. Фотографирование атериалов из «Литературной газеты» мастерски выполнил И.А. Долгопольский. И.А. Пильщиков самоотверженно трудился вместе с републикатором над дешифровкой письма немецкого ученого. Очень существенный вклад в его дешифровку внесла В.А. Мильчина, исправившая ряд наших ошибок и предложившая убедительные конъектуры в самой трудночитаеьмой фразе. Всех названных коллег автор просит принять свою свою признательность.

Литература

- Блинова 1966 — Е. М. Блинова. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830—1831. Указатель содержания. М., 1966.
- Брайловский 1894 — С. Брайлоскій. О старинномъ остроловїи: [I. Кто былъ авторомъ «службы на бывшаго в Академіи наукъ директоромъ господина Домашнева» и «Челобитной отъ ера»?; II. Еще образчикъ стариннаго остроловїя] // Библиограф. 1894. Вып. 1. С. 26—31.
- Вяземский 1848 — П. А. Вяземскій. Фонъ-Визинъ. СПб., 1848.
- Вяземский 1879 — Полн. собр. соч. князя П. А. Вяземскаго. Т. 2. СПб., 1879.
- Греч 1827а — Н. И. Гречъ. Практическая русская грамматика, изданная Николаемъ Гречемъ. СПб., 1827.
- Греч 1827б — Н. И. Гречъ. Пространная русская грамматика, изданная Николаемъ Гречемъ. Т. 1. СПб., 1827.
- Деминский 1816 — Я. Деминскій. Россійское правописаніе, для обученія юношества. СПб., 1816.
- Еськова 1966 — Н. А. Еськова. Коснемся истории // Орфография и русский язык. М., 1966. С. 57—96.
- Ефремов 1872 — П. А. Ефремовъ. Образики стариннаго остроловїя: [I. На бывшаго в Академіи Наукъ директоромъ господина Домашнева; II. Челобитная отъ ера] // Русский Архив. 1872. № X. Стб. 2032—2036.
- Иванова 1977 — В. Ф. Иванова. Принципы русской орфографии. Л., 1977.
- Кирпичников 1903 — А. И. Кирпичниковъ. Очерки по истории новой русской литературы. Т. I. 2-е изд., доп. М., 1903.
- Кронгауз 2001 — М. А. Кронгауз. Жить «по правилам», или Право на старописание // Новый мир. 2001. № 8. С. 128—132.
- Кузьмина 1981 — С. М. Кузьмина. Теория русской орфографии: Орфография в ее отношении к фонетике и фонологии. М., 1981.
- Лопатин 2001 — В. В. Лопатин. Русская орфография: задачи корректировки // Новый мир. 2001. № 5. С. 136—146.
- ОП — Обзор предложений по усовершенствованію русской орфографии (XVIII—XX вв.). М., 1965.
- Панов 1964 — М. В. Панов. И все—таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках. М., 1964.
- Пильщиков 1995 — И. А. Пильщиков. Литературные цитаты и аллюзии в письмах Батюшкова: (Комментарий к академическому комментарию. 3—4) // Philologica. 1995. Т. 2. № 3/4. С. 219—258.

Погорельский 1853 — Сочиненія Антонія Погорельскаго. Т. 2. СПб., 1853.

РГРА 1802 — Россійская грамматика<,> сочиненная Императорскою Россійскою Академіею. СПб., 1802.

РЯЭ — Русский язык: Энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997.

Соколов 1792 — [П. И. Соколовъ.] Начальныя основанія Россійской грамматики. 2-е изд. СПб., 1792.

Свод — Свод правил русского правописанія. Орфография и пунктуация. Проект. М., 2000.

Фомин 1914 — А. [А.] Фоминъ. К вопросу об авторахъ неподписанныхъ статей в «Литературной Газетѣ?» 1830 года и статья Ал. С. Пушкина объ Ив. В. Киреевскомъ по поводу его обзора русской литературы. СПб., 1914.

Фонвизин 1959 — Д. И. Фонвизин. Собр. соч. В 2 т. М., 1959.

Хроника 2001 — Хроника жизни и творчества Пушкина. В 3 т. 1826—1837. Т. 1. Кн. 2. 1829—1830. М., 2001.

Черейский 1956 — Л. А. Черейский. Пушкин и Александр Гумбольдт // Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. М.; Л., 1956. С. 249—256.

Шапир 2000 — М. И. Шапир. «Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков». Кн. 1. М., 2000.

Шапир 2001 — М. И. Шапир. Об орфографическом режиме в академических изданиях Пушкина // Московский пушкинист — IX: Ежегодный сб. М., 2001. С. 45—48.

Beaulieux 1927 — С. Beaulieux. Histoire de l'orthographe française. Т. 1. Paris, 1927.

François 1932 — А. François. Histoire de la langue française: Des origines à 1900. Т. 6. Paris, 1932.

НОВАЯ ТЯЖБА О БУКВѢ Ъ.

Пребываніе Барона Гумбольдта в Россіи есть важная эпоха въ воспоминаніяхъ нашего просвѣщенія. Мы видѣли въ немъ высокій примѣръ истинно ученаго и образованнаго человѣка, который, посвятя жизнь и всѣ способности свои на изученіе и развитіе одной изъ отраслей человѣческихъ познаній, не чуждается всѣхъ другихъ отраслей и любопытнымъ взглядомъ окидываетъ всѣ запросы, любопытные для ума человѣческаго вообще, и для ума народнаго частно. Всеобъемность размышленій и разговоровъ его изумительна. Вѣроятно, никто лучше его не знаетъ науки, избранной имъ цѣлью постоянныхъ усилій своихъ, и никто короче его не знаетъ Вселенны. Въ этомъ выраженіи нѣтъ увеличенія.

Съ равною свободою, съ равнымъ свѣдѣніемъ будетъ онъ вамъ говорить о таинствахъ подземнаго міра, объ обширныхъ подробностяхъ пустыни Новаго Свѣта и о мѣлкихъ, но блестящихъ частностяхъ гостинныхъ Парижскихъ, въ которыхъ жизнь стѣсняется в ограниченный, но не менѣе того любопытный кругъ; о духѣ младенствующаго челоуѣчества и о распрѣ классицизма съ романтизмомъ между Бауръ-Лорміаномъ* и Викторомъ Гюго. Въ Россіи, столь еще богатой для наблюденій разнородныхъ, столь еще свѣжей для изысканій, открылось обширное поле предъ испытательнымъ умомъ его. Языкъ, сіе живое знаменіе бытія народа, языкъ нашъ, столь незнакомый чужестранцамъ, столь мало знакомый намъ самимъ, долженъ былъ обратить на себя вниманіе ученаго Путешественника, слышавшаго на вѣку своемъ звуки языковъ большей части міра извѣстнаго: въ краткое пребываніе свое у насъ онъ учился ему. Особенности его подвергались изслѣдованіямъ его: буква ъ имѣла эту участь. Однажды въ Петербургѣ, въ одномъ домѣ, изъявилъ онъ мнѣніе свое о бесполезности существованія ея въ нашей азбукѣ. Одинъ изъ присутствовавшихъ написалъ къ нему на другой день челобитную отъ буквы ъ, на Французскомъ языкѣ, но самъ скрылъ свое имя, такъ, что Баронъ Гумбольдтъ и не узналъ его, но по своимъ соображеніямъ отвѣчалъ на полученную грамоту къ другому лицу, которое почиталъ Авторомъ ея. Надѣясь на снисходительное разрѣшеніе обоихъ Писателей, предлагаемъ читателямъ нашимъ сію маленькую тяжбу, которая тѣмъ занимательнѣе, что возникла между свѣтскими учеными в Петербургской гостиной, на сценѣ, въ которой мало заботятся у насъ о буквѣ ъ и ѵ и вообще о Рускихъ письменахъ.

ПИСЬМО КЪ БАРОНУ ГУМБОЛЬДТУ.

Милостивый Государь!

Слава, которую глубокия и разнообразныя познанія и важныя творенія ваши доставили вамъ, была не чужда намъ задолго до вашего прибытія въ Россію; и удивленіе, встрѣтившее васъ на всемъ пространствѣ сей Имперіи, было только однимъ изъ старинныхъ завоеваній обширнаго вашего ума. Сіе чувствованіе, казалось, уже достигло высшей степени; но совсѣмъ тѣмъ, личныя ваши достоинства еще болѣе усилили оное: ваша снисходительность, ваша обязательная вѣжливость, ваше свободное и блестящее краснорѣчіе, родили во всѣхъ, имѣвшихъ честь узнать васъ, искреннее уваженіе и привязанность, кои, можетъ быть, лестнѣе самаго удивленія.

Для чего, Милостивый Государь, изъ среды сихъ единомушннихъ кликовъ восхищенія столь заслуженнаго, долженъ возвыситься голосъ, обвиняющій васъ въ несправедливости, голосъ существа, коего преклонныя лѣта должны бѣ были задобрить ваше снисхожденіе и коего старинныя заслуги

* Пьер-Мари-Франсуа-Луи Баур-Лормиан (Baour Lormian, 1770-1854), поэт и переводчик, член Французской академии с 1815 г., переводчик Макферсоновых «Стихотворений Оссиана» (1801) и «Освобожденного Иерусалива» Т. Тассо (1795, 1819). В 1825 г. Баур-Лормиан выпустил сатирический диалог «Классик и романтик», о котором Вяземский писал во 2-м «Письме из Парижа» (Московский телеграф. 1826. Ч XII, отд. 2. С. 51-66).

приобрели право на уваженіе общееѣ Увы, Милостивый Государь! это существо... я! — Считаю себя въ правѣ жаловаться на васъ, и въ тяжелой моей горести, мнѣ остается одно только утѣшеніе: надежда, что узнавъ меня покороче, вы разкаетесь въ нанесенной мнѣ обидѣ, и что великодушнымъ покровительствомъ вашимъ замѣните ту непріязнь, которую повидимому ко мнѣ питаете. Удостоите выслушать мое оправданіе, и да не помѣшаетъ вамъ моя мнимая незначительность внимательно склонить ко мнѣ слухъ вашъ.

Я буква ъ, и занимаю довольно важное мѣсто въ Руской азбукѣ. Около десяти вѣковъ протекло со дня моего рожденія, и никто не осмѣливался отвергать дѣйствительность мою и оспаривать тѣ заслуги, кои оказала я и доннынѣ оказываю Россійскому языку. Только въ исходѣ минувшаго столѣтія нѣкоторые безвѣстные вводители новизны, искавшіе славы Эростратовъ, замышляли лишить меня правъ моихъ; но общее мнѣніе скоро произрело имъ правый судъ, и нападенія ихъ были заглушены окрикомъ нашихъ отличнѣйшихъ и ученѣйшихъ Литераторовъ. Что до меня касается, то я съ жалостію смотрѣла на моихъ ненавистниковъ, и никогда, ни на мигъ не поселили они во мнѣ страха о моемъ существованіи. Скоро даже я вовсе о нихъ позабыла; Россія также.

Но каково было мое удивленіе, когда я узнала недавно, что вы, Баронъ, раздѣляете несправедливое мнѣніе этихъ Господь! Я тотчасъ поняла, что кто-либо оклеветалъ меня передъ вами, и что, по всей вѣроятности, скрыли отъ васъ мои заслуги. Я сильно была опечалена; но не попуская унынію овладѣть мною, рѣшилась изложить вамъ мое дѣло съ довѣренностію и прямодушіемъ. Такъ, Милостивый Государь, осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вашему здравомыслію, и это уже меня успокоиваетъ! Преждевременное торжество враговъ моихъ будетъ не надолго; вы узнаете грубое сплетеніе ихъ клеветы: я приобрету въ васъ покровителя и тогда останусь благонадежна въ моей безопасности на предбудущее время. Приступаю къ дѣлу.

Почти всѣ согласныя буквы въ Рускомъ языкѣ имѣютъ два явные звука: одинъ твердый, а другой мягкій. Я, ъ, имѣю честь быть представительницей перваго, а двойчатка-сестра моя ѣ, втораго.

Съ перваго взгляда можно бы подумать, что легко было бѣ исключить одну изъ насъ: тогда оставшаяся выражала бы звукъ, ей свойственный, а ея отсутствіе соотвѣтствовало бы знаку исключенному. То же думаютъ и мои гонители, кои однако же не осмѣлились посягать на существованіе сестры моей, которой необходимая польза казалась имъ ощутительнѣе моей. По сему-то я буду говорить собственно о себѣ; а для большаго удобства и ясности, прошу позволенія говорить о себѣ въ третьемъ лицѣ.

Ъ, кромѣ обязанности своей придавать твердый выговоръ согласнымъ буквамъ, послѣ которыхъ находится, служить еще къ познанію словопроизводства. Люди, вникавшіе хотя нѣсколько въ языкъ Рускій, основательно думаютъ, что ъ есть не что иное, как сокращеніе буквы о. Весьма даже вѣроятно, что в древнемъ Славянскомъ языкѣ ъ произносилось, как о короткое.

Доказательство, что *ъ* и *о* въ собственномъ смыслѣ суть одна и та же буква, встрѣчаются поминутно въ Рускомъ языкѣ, равно какъ и въ другихъ Славянскихъ нарѣчійхъ. Славянскія реченія: *како, тако*, пишутся и выговариваются по-Руски: *какъ, такъ*. Тамъ и тамо, однакъ и однако, суть совершенно слова однозначія и безъ различія употребляются въ языкѣ Рускомъ. Предлоги: *въ, съ, предъ, изъ*, и пр. и пр. часто перемѣняются въ: *со, во, предо, изо*, и пр. Малороссійское слово *якъ*, есть явнымъ образомъ Славянское: *яко*. Первое лице множ. числа настоящ. времени изъяв. наклоненія всѣхъ Рускихъ глаголовъ, кончится всегда на *ъ*, а Малороссійскихъ на *о*. На пр. *мы дѣлаемъ*, — *мы дѣлаемо*. То же и въ будущемъ времени: *мы сдѣлаемъ*, — *мы сдѣлаемо*. Легко можно бѣ было разплодить сіи примѣры до безконечности. Въ древнихъ Славянскихъ рукописяхъ находимъ даже, что многія слова, какъ то: *полкъ, волкъ, востокъ, борзый*, писались неотступно: *пѣлкъ, вѣлкъ, вѣстокъ, бѣрзый* и т. д. Это въ особенности придаетъ великую вѣроятность вышеприведенному предположенію, что въ прежнія времена *ъ* выговаривалось всегда как *о* короткое, хотя и то возможное дѣло, что въ концѣ словъ буква сія заключала въ себѣ звукъ неопредѣленный, почти такой же, какъ Французское безгласное *e*, когда имъ оканчивается какое-либо слово; на пр. *tente, bande, chance*. Если мы не примемъ за правило, что *ъ* есть не что иное, как *о*, то какъ же мы объяснимъ его употребленіе въ срединѣ нѣкоторыхъ словъ, каковы: *пѣлкъ, вѣлкъ* и т. пѣ А словъ сихъ очень много. Само начертаніе буквы *ъ* можетъ въ нѣкоторомъ смыслѣ послужить доказательствомъ ея тожества съ буквой *о*; ибо весьма вѣроятно, что она писывалась первобытно такимъ образомъ: *о*, для означенія, что это *о* краткое, подобно какъ *й* донинѣ означаетъ краткое *и*.

Правда, что для слуха нашего показалось бы очень страннымъ, когда бѣ мы вздумали теперъ замѣнить буквой *о* всѣ *ъ*, коими кончатся у насъ слова; но этимъ ничего не доказывается противъ тожества обѣихъ сихъ буквъ. Произношеніе, в какомъ-либо языкѣ, не подвергается ли со временемъ еще большимъ и страннѣйшимъ измѣненіямъ Правда и то, что многія слова, кончащіяся нынѣ въ Рускомъ и новомъ Славянскомъ языкахъ на *ъ*, въ древнемъ Славянскомъ оканчивались на *ь*. Таковая перемѣна послѣдовала, на примѣръ, со всѣми вообще глаголами. Третье лице настоящаго времени изъяв. наклоненія въ обоихъ числахъ неизмѣнно оканчивается на *ть*, тогда какъ въ древнемъ Славянскомъ языкѣ его окончаніе было на *ть*. Но сіи новѣйшія исключенія, измѣнившія старинное употребленіе буквы *ъ*, не могутъ уничтожить многочисленныхъ доказательствъ тожества ея съ буквою *о*. По сему буква *ъ* останется навсегда драгоцѣннымъ памятникомъ древняго произношенія Славянскаго языка, и въ семъ видѣ, будетъ всегда по праву имѣть мѣсто въ азбукѣ Руской. Храненіе словопроизводныхъ памятниковъ языка, всегда почиталось предметомъ весьма важнымъ; и если Французы, Нѣмцы и другіе народы почли за нужное не замѣнять буквъ *ph* одною буквой *f*, въ словахъ: *philosophie, phase*, и т. п., если они по прежнему пишутъ: *athée* вмѣсто *atée*; то для чего же

хотѣтъ, чтобы Рускіе отступили отъ сего правила, уничтоживъ свое ъ? Но кромѣ этимологической важности сей буквы, есть и другія немаловажныя причины, по какимъ сохраненіе оной становится необходимымъ.

Буква ъ, какъ представительница твердаго выговора согласныхъ буквъ въ Рускомъ языкѣ, ставится не только в концѣ словъ, но и въ срединѣ оныхъ, и здѣсь-то всего болѣе необходимость оной кажется ясною даже и для тѣхъ, кои не имѣютъ никакого свѣдѣнія въ словопроизводствѣ Рускаго языка. Почти всѣ слова, въ составъ коихъ входятъ предлоги: *безъ, взъ, возъ, въ, изъ, объ, отъ, подъ, предъ, разъ, съ*, и т. п., не могутъ обойтись безъ буквы ъ, когда предлоги сіи стоятъ предъ гласною буквой. Языкъ Рускій имѣетъ множество таковыхъ словъ, и если бы въ нихъ исключили ъ, тогда бы они совершенно измѣнились въ произношеніи, даже иногда и въ значеніи своемъ. Приведу нѣсколько примѣровъ, и постараюсь выразить произношеніе словъ Нѣмецкими буквами, болѣе для сего способными, нежели Французскія. Удержу при томъ Рускія буквы: *ж, ц, ы, я, ѣ*, коихъ звукъ весьма трудно изобразить письменно на другихъ языкахъ. Возьмемъ слова:

Въѣздъ (*die Einfahrt*), подъемный мостъ (*die Zugbrücke*), изъявленіе (*die Bezeugung*), предъидушій (*der Vorgehende*), объѣдать (*abtreffen, schmarotzen*), сѣуженіе (*die Verengung*).

Когда ъ в нихъ находится (как и должно сему быть), тогда слова сіи выговариваются такимъ образомъ:

Wʒeʒ'd, роѣжетный, іʒ'я-wle-nі-je, предъыдишій, объе-dat, Сѣже-ні-je.

Исключивъ же букву ъ, должно бы было произносить:

Wʒeʒ'd, ро-ѣет-ный, іʒ'я-wle-nі-je, пре-ѣдишій, о-ѣе-dat, Сѣже-ні-je.

Разность в произношеніи, отъ того производящая, ощутительна всякому, но для Рускаго она разительна. Въ нашемъ языкѣ есть звуки, которые если не вовсе невозможно, то по крайней мѣрѣ очень трудно выразить буквами другаго языка. Таково, между прочими, *я*, когда передъ нимъ стоитъ согласная буква, не отдѣленная отъ него буквою ъ. Когда же, напротивъ того, *я* стоитъ само по себѣ, или отдѣлено буквою ъ отъ предшествовавшей согласной, тогда буквы **ja** выражаютъ его совершенно. Въ словѣ *изъявленіе*, слогъ *зья* можетъ весьма хорошо выразиться буквами **s'ja**; но отнявъ ъ, мы получили бы слогъ *зя*, который выговаривается совсѣмъ отлично, и коего звукъ не можетъ даже быть переданъ Нѣмецкими буквами. По сему никакъ не возможно обойтись безъ ъ въ словѣ: *изъявленіе*.

Слово *предъидушій*, также представляетъ собою особенность, о которой я должна упомянуть. Когда въ сложныхъ словахъ, ъ стоитъ предъ *и*, тогда сія послѣдняя буква выговаривается какъ *ы*; ибо *ы* есть не иное что, какъ обыкновенное *і*, сдѣлавшееся твердымъ чрезъ прибавку ъ. Это доказывается всѣми древними Славянскими рукописями, въ коихъ *ы* почти всегда изображалось такимъ образомъ: *ьі*. Изъ сего явствуетъ, что выбросивъ ъ изъ слова: *предъидушій*, мы бы совершенно измѣнили произношеніе сего слова.

Слова: *объѣдать* и *обѣдать*, не только различно произносятся, но имѣютъ и совершенно разное знаменованіе. *Объѣдат*, значить: *abfressen*, тогда какъ *обѣдать* значить: *zu Mittag essen*.

Вотъ, Милостивый Государь, краткое изложеніе причинъ, кои всегда будутъ препятствіемъ къ изключенію буквы ъ изъ Рускаго букваря. Смѣю надѣяться, что сего краткаго изложенія достаточно будетъ къ оправданію меня въ глазахъ вашихъ и къ доказательству, что я, не подвергаясь упреку въ излишнемъ самолюбіи, могу удерживать за собою право гражданства въ томъ языкѣ, въ которомъ я жила искони, и могу опереться въ томъ на тысячелѣтнюю давность. Примите вмѣстѣ съ симъ увѣренія мои, что я нисколько не досадую на васъ за то, что вы неосновательно знали права мои: я легко понимаю, что вы могли быть введены въ заблужденіе. Но что нѣкоторые изъ Рускихъ не признають сихъ правъ, что они не вѣдаютъ того, что изгнаніемъ меня измѣнился бы совершенно духъ языка ихъ, — сего, по совѣсти, не могу я постигнуть! Признаюсь вамъ откровенно, Баронъ, что кромѣ весьма естественнаго желанія оправдаться передъ вами, у меня была еще другая причина написать къ вамъ сіе письмо. Я боялась, чтобы опираясь на мнѣніе ваше, нѣкоторые изъ сихъ Господь не вздумали снова поднять войну, обратившуюся нѣкогда ко вреду ихъ предшественниковъ. Недоумки, желая возвыситься надъ толпою, охотно цѣпляются даже за самыя заблужденія мужа знаменитаго. Иные изъ нихъ, оставлявшіе меня доселѣ въ покоѣ, и теперь уже пристають къ вашему мнѣнію, чтобъ очернить меня. Я увѣрена, что они не успѣютъ мнѣ повредить; но въ качествѣ соотечественницы, я желала бы даже избавить ихъ отъ стыда, наносимаго неудачею. Удостоивъ меня вашимъ покровительствомъ, вы наложите на нихъ молчаніе, а меня навсегда оградите отъ всякаго новаго нападенія.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и вѣчною преданностію имѣю честь быть

Милостивый Государь!

Покорнѣйшею вашею служницею

уква Ъ.

С. Петербургъ,

28 Ноября 1829.

Monsieur le Baron!

La haute célébrité, que vos connaissances aussi profondes que variées et vos ouvrages importants vous ont acquise, avait depuis longtemps devancé votre arrivée en Russie et l'admiration que vous avez rencontrée dans toute l'étendue de cet Empire, n'était qu'une des anciennes conquêtes de votre vaste génie. Croissant en même temps que votre gloire, ce sentiment paraissait parvenu à son comble, et cependant vos qualités personnelles l'ont rendu plus vif encore: votre aménité, votre prévenante urbanité, votre éloquence

facile et brillante ont fait naître en tous ceux qui vous ont approché, cette estime et cet attachement sincère, plus flatteurs peut-être que l'admiration même.

Pourquoi faut-il, Monsieur le Baron, qu'au milieu de ce concert unanime d'acclamations si méritées, il s'élève une voix, qui ait à se plaindre de votre injustice? Pourquoi faut-il, que se soit celle d'un être, dont l'âge avancé aurait dû vous inspirer de l'indulgence et dont les vieux services avaient droit à des égards? Cet être, Monsieur, hélas, c'est moi! j'ai à me plaindre de vous et dans ma profonde douleur il ne me reste qu'une consolation: c'est l'espoir qu'en me connaissant.

plus particulièrement vous vous repentirez de vos torts envers moi et qu'une généreuse protection remplacera cette inimitié que vous paraissez m'avoir vouée. Daignez entendre ma justification et que mon apparente insignifiance ne vous empêche point de m'écouter avec attention.

Je suis la lettre *ѣ* et j'occupe une place assez marquante dans l'alphabet russe. Une dizaine de siècles s'étaient écoulés depuis ma naissance sans qu'on eût osé contester mon utilité et me disputer les services que j'ai rendus et que je rends encore à la langue russe. Ce n'est que vers la fin du siècle passé que quelques innovateurs obscurs, recherchant la gloire des Erostrate, conçurent l'idée de me frustrer de mes droits; mais l'opinion publique en fit bientôt justice et leurs clameurs furent étouffées sous les huées de nos littérateurs les plus distingués et les plus savans. Quant à moi, je regardais ces Messieurs avec pitié et jamais ils ne m'ont fait craindre un seul instant pour mon existence. Je ne tardai même pas à les oublier entièrement et toute la Russie en fit autant.

Quel fut donc mon étonnement, lorsque j'appris depuis peu, que vous, Monsieur le Baron, vous partagiez l'opinion injuste de ces Messieurs à mon égard. Je compris aussitôt qu'on devait m'avoir calomniée auprès de vous et qu'on avait probablement réussi à cacher entièrement à vos yeux tous mes services. Ma douleur en fut profonde, mais loin de m'en laisser abattre, je résolus de vous exposer ma cause avec confiance et candeur. Oui, Monsieur le Baron, j'ose en appeler à votre sagacité et déjà cet appel me tranquillise! Le triomphe prématuré de mes ennemis ne durera pas longtemps, vous saurez reconnaître le tissu grossier de leur calomnies; je gagnerai en vous un protecteur et dès-lors mon avenir sera assuré à jamais. J'entre en matière:

Presque toutes les consonnes de la langue russe ont deux sons distincts: l'un est dur, l'autre mou. Moi *ѣ* je suis le représentant du premier et ma sœur jumelle *ѣ* l'est du second.

Au premier coup-d'œil, l'on pourrait être tenté de croire qu'il serait facile de supprimer l'une de nous deux; — alors celle qui resterait indiquerait le son qui lui est propre et son absence équivaldrait au signe supprimé. Voilà ce que croient aussi mes détracteurs, qui cependant n'ont point osé attenter à l'existence de ma sœur, dont l'utilité indispensable leur a paru plus évidente que la mienne. C'est donc de moi particulièrement que je vais parler, et pour plus de facilité et de clarté je demande la permission de le faire à la troisième personne.

Le *ѣ*, outre sa fonction de rendre dures les consonnes après lesquelles il se trouve, sert encore à

l'étymologie. Ceux qui ont un peu approfondi la langue russe, pensent avec raison que le ъ n'est autre chose qu'une abréviation de l' o. Il est même probable que dans l'ancien slavon le ъ se prononçait comme un o bref. Les preuves que le ъ et le o ne sont proprement que la même lettre, se rencontrent à chaque instant dans la langue russe de même que dans les autres dialectes slavons. Les mots slavons: како (comment) <,> тако (ainsi) s'écrivent et se prononcent en russe: какъ, такъ. Тамъ et тамо (là) <,> однакъ et однако (cependant) sont entièrement synonymes <sic!> et s'emploient indifféremment en russe. Les prépositions въ, съ, предъ, изъ, etc. etc. (en, avec, devant, de etc.) se transforment fréquemment en со, во, предо, изо, etc. Le mot ukrainien якъ (comme) est évidemment le яко slavon. La première personne du pluriel, du présent de l'indicatif de tous les verbes russes se termine toujours par un ъ et en ukrainien toujours par o. Par exemple: мы дѣлаемъ (nous faisons) <-> мы дѣлаемо. Il en est de même du futur: мы сдѣлаемъ (nous ferons) <-> мы сдѣлаемо. Il serait facile de multiplier ces exemples à l'infini. Dans les anciens manuscrits slavons on trouve même que beaucoup de mots tels que полкъ (le régiment, la troupe), волкъ (le loup), востокъ (l'orient), борзый (vif, alerte), s'écrivaient constamment пѣлкъ, вѣлкъ, вѣстокъ, бѣрзый, etc. Ceci surtout rend extrêmement vraisemblable la supposition ci-dessus mentionnée, que jadis le ъ se prononçait toujours comme un o bref, quoiqu'il soit possible qu'à la fin des mots il produisit un son vague, à peu près comme l'e muet français, lorsqu'il termine un mot, par exemple: tente, bande, chance. Si nous n'admettons pas que le ъ n'est autre chose qu'un o, comment en expliquerons nous l'emploi dans des mots, tels que: пѣлкъ, вѣлкъ etc? Et ces mots se trouvent en grand nombre. La figure même de la lettre ъ pourrait en quelque façon servir de preuve de son identité avec le o; car il est assez probable qu'on l'ait exprimé primitivement ainsi: o, pour indiquer que c'est un o bref, comme le ũ indique encore actuellement un u bref.

Il est vrai que notre oreille serait étrangement choquée, si aujourd'hui nous voulions remplacer par un o tous les ъ qui terminent nos mots; mais cela ne prouverait rien contre l'identité de ces deux lettres. La prononciation d'une langue ne subit-elle pas, avec le temps, de changements bien plus étranges encore? Il est vrai aussi que plusieurs mots qui en russe et en slavon moderne se terminent par un ъ, dans l'ancien slavon finissaient par un ъ. C'est par exemple le cas avec les verbes en général: la troisième personne du présent de l'indicatif se termine dans les deux nombres constamment par un тѣ, tandis que dans l'ancien slavon, elle avait pour terminaison тѣ. Mais ces exceptions modernes qui ont fait dévier la lettre ъ de son antique emploi, ne peuvent pas détruire les preuves nombreuses de son identité avec le o. Le ъ restera donc toujours un monument précieux de l'ancienne prononciation de la langue slavonne, et comme tel aura toujours des droits à une place dans l'alphabet russe. La conservation des monuments étymologiques d'une langue a toujours été considérée comme un objet des plus importants; et si les Français, les Allemands et d'autres nations ont cru ne pas devoir remplacer le *ph* par un *f* dans les mots *philosophie*, *phase*, etc., s'ils continuent d'écrire *Athée* au lieu d'*Atée*: pourquoi voudrait-on que les Russes s'écartassent de ce principe, en supprimant leur ъ?

Mais outre l'importance étymologique de cette lettre, il existe encore des motifs majeurs qui en rendent la conservation indispensable.

Le *ъ*, comme représentant du son dur des consonnes russes, s'emploie non seulement à la fin des mots, mais aussi au milieu, et c'est là surtout que son indispensabilité absolue devient évidente pour ceux même qui n'ont aucune notion de l'étymologie de la langue russe. Tous les mots, dans la composition desquels entrent les prépositions: *безъ, взъ, возъ, въ, изъ, объ, отъ, подъ, предъ, разъ, съ*, et d'autres, ne peuvent point se passer de la lettre *ъ* lorsque ces prépositions précèdent une voyelle. La langue russe possède quantité de mots semblables et si l'on y supprimait le *ъ*, tous changeraient totalement de prononciation et quelquefois même de signification. Je vais présenter quelques exemples, en tachant d'exprimer la prononciation des mots par des lettres allemandes, plus propres à cet usage que les françaises. Je conserverai en même temps les lettres russes: *ж, ш, ы, я, ѣ*, si difficiles à rendre dans les autres langues. Prenons les mots:

Въѣздъ (die Einfahrt)<,> *подъемный мостъ* (die Zugbrücke)<,> *изъявление* (die Bezeugung)<,> *предъидущій* (der Vorgehende)<,> *объѣдать* (Abfressen, Schmarotzen)<,> *сѣужение* (die Verengung).

Lorsque le *ъ* s'y trouve (comme cela doit-être) ces mots se prononcent ainsi:

Wjeʃd, pod-ʒem-nый, iʃja-wle-ni-je, pred-ы-du-щій, ob-je-dat, ʃu-ʒe-ni-je.

En supprimant le *ъ*, il faudrait prononcer:

Wjeʃd, po-dem-nый, i-ʃja-wle-ni-je, pre-di-du-щій, o-be-dat, ʃu-ʒe-ni-je.

La différence de prononciation qui en résulte est sensible pour tout le monde; mais pour un Russe elle est frappante. Il y a dans notre langue des sons, qu'il est sinon impossible, au moins très-difficile de figurer par les lettres d'une autre langue. Tel est, entre autres, le *я*, lorsqu'il est précédé d'une consonne sans l'interposition d'un *ъ*. Lorsqu'au contraire il est isolé ou que le *ъ* le sépare de la consonne qui le précède, les lettres *ja* l'expriment parfaitement. Dans le mot *изъявление* par exemple «*зья*» peut très-bien s'exprimer par *ʃja*; mais en ôtant le *ъ*, l'on obtiendrait la syllabe «*зя*», qui se prononce tout différemment et dont le son ne peut même pas être figuré par des lettres allemandes. Il est donc de toute impossibilité de ne pas le conserver dans le mot: *изъявление*.

Le mot *предъидущій* présente aussi une particularité, dont je dois faire mention. Toutes les fois que, dans un mot composé, le *ъ* précède un *и*, celui-ci se prononce comme *ы*; car le *ы* n'est autre chose qu'un *i* ordinaire, rendu dur par le *ъ*. Cela est prouvé par tous les anciens manuscrits slavons, où le *ы* se trouve presque constamment figuré ainsi: *ыi*. Il est donc évident qu'en retranchant le *ъ* du mot *предъидущій*, l'on en dénaturerait totalement la prononciation.

Les mots *объѣдать* et *обѣдать*, non seulement se prononcent différemment; mais ont en outre une signification tout à fait différente l'une de l'autre. *Объѣдат* signifie: *abfressen*, tandis que *обѣдат* veut dire: *zu Mittag essen*.

Voilà, Monsieur le Baron, un aperçu des raisons que s'opposeront toujours au retranchement de la lettre *ъ* de l'alphabet russe. Cet exposé succinct suffira, j'ose l'espérer, pour me justifier à vos yeux et pour

vous prouver que sans mériter d'être taxé d'un amour propre <e>xagéré je puis prétendre à conserver mon droit de bourgeoisie dans une langue, au milieu de laquelle j'ai vécu pendant le long espace de mille ans. Veuillez en même tems être bien assuré, que je ne vous en veux nullement de n'avoir pas bien connu mes droits: je conçois aisément que vous ayez pû être induit en erreur. Mais que des Russes puissent les méconnaître, qu'ils puissent ignorer que mon expulsion changerait entièrement le génie de leur langue: voilà ce que je ne comprends pas! Je vous avoue franchement, Monsieur le Baron, qu'outre le d<é>sir si naturel de me justifier à vos yeux, j'ai eu encore un autre motif en vous adressant cette lettre. J'ai craint qu'encouragés par votre opinion, quelques-uns de ces Messieurs ne fussent tentés de renouveler une guerre qui avait si mal tourné pour leurs prédécesseurs. Les esprits vulgaires, pour se mettre au-dessus de la foule, se cramponnent volontiers même aux erreurs d'un homme illustre. Déjà certains individus, qui jusqu'à présent m'avaient laissée en paix, s'étaient de votre opinion pour me chercher noise. Ils ne parviendront surement <sic!> pas à me faire du tort; mais en qualité de compatriote je voudrais même leur épargner la honte d'une défaite. En m'accordant votre protection vous leur fermeriez la bouche et me garantiriez pour toujours de toute nouvelle agression.

C'est avec les sentimens du plus profond respect, que j'ai l'honneur d'être.

Monsieur le Baron

de votre Excellence

la très-humble et très-obéissant<e> servante

la lettre њ.

St.-Pétersbourg

le 28 Novembre 1829.

ОТВѢТЪ БАРОНА ГУМБОЛЬДТА.

Милостивый Государь!

Особа, весьма остроумная, которую вы часто встрѣчаете въ свѣтѣ и удостоиваете своею благосклонностью, написала ко мнѣ письмо, исполненное наблюдений замысловатыхъ и глубокихъ объ *удареніи* и философіи Грамматики. Убѣдительно прошу Ваше Превосходительство изъяснить мою живѣйшую благодарность этой почтенной особѣ, коей польъ показался мнѣ сомнительнымъ, но между тѣмъ вѣроятно не принадлежащей къ тому, который мы именуемъ прекраснымъ, ибо она съ прямымъ чистосердечіемъ, хвалится преклонными лѣтами своими. Она немного сутуловата и доказываетъ, что не могла пользоваться благодѣянiями Госпожи Т*. Вы скажете, Мил. Госуд., что не имѣя болѣе права

(благодаря добрымъ совѣтамъ вашимъ) нападать на нравственность ея, я малодушно нападаю на наружный ея видъ. Нѣтъ, М. Г., миръ заключенъ между нами навсегда! Если осмѣливаюсь говорить о наружности существа, покровительствуемаго вами, и о сходствѣ его слишкомъ великомъ съ родственникомъ, который слабѣе и щедушнѣе его, то это по худой привычкѣ Натуралиста, который пріучился разсматривать формы и по нимъ злословить о свойствахъ физіогноміи личной.

Примите увѣрerie въ высокомъ почтеніи, съ коимъ имѣю честь быть

Милостивый Государь!

Вашего Превосходительства

покорнѣйшій слуга

Гумбольтъ.

С. Петербургъ

29 Ноября

1829.

11 Декабря

Въ оригиналѣ подпись имени изображена по-Руски и буквы ъ и ѣ подчеркнуты. Снимокъ подлиннаго письма Барона Гумбольдта приложенъ будетъ къ слѣдующему No Лит. Газеты.

Списокъ собственноручнаго письма Барона А. Гумбольдта.

къ № 23 Литер. Газеты

Monsieur,

Une personne très spirituelle que Vous rencontrez souvent dans le monde, Monsieur, et qui jouit de Votre protection particulière, m'a adressée une lettre remplie d'observations ingénieuses et profondes sur l'intonation et la Philosophie de la Grammaire. Je voudrais non seulement supplier Votre Excellence de vouloir bien exprimer ma vive reconnaissance à cette personne respectable dont le sexe m'a paru incertain, mais que je ne puis croire appartenir à celui que nous désignons par la beauté, parce que tout franchement elle se vante d'un age très avancé. Elle marche un peu courbée<,> ce qui prouve qu'elle n'a pu jouir des bienfaits de Madame Tourtschaninoff. Vous direz, Monsieur<,> que ne me trouvant (grace aux conseils que Vous lui avez prodigués) plus en droit d'attaquer son moral, j'ai la faiblesse d'attaquer son physique. Non, Monsieur, la paix est faite pour toujours, je reconnois les torts que j'ai eus. La lettre que j'ai reçue en date du 27 Novembre me laisse <?> insurmontable <?> dans une famille, dont le Chef, mon frère aîné qui se vante

de Votre amitié, Monsieur, <I нрзб> a<p>precier les mérites littéraires. Si j'ose parler de l'extérieur de Votre protégée et d'un peu trop de ressemblance qu'elle a avec son parent plus faible et plus chétif, c'est qu'en naturaliste j'ai la mauvaise habitude d'examiner les formes et de calomnier d'après le caractère de la physionomie individuelle.

Ayez, je Vous supplie, l'hommage de ma haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

De Votre Excellence,

St Pétersbourg

Le 11 Dec.

1829.

le très humble et

très obéissant serviteur

Гумбольдт.

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

Международная конференция

«Языкознание *sub specie* русистики: итоги и перспективы»

С 15.06.2001 по 18.06.2001 в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН прошла международная конференция «*Языкознание sub specie русистики: итоги и перспективы*».

Конференция была посвящена фундаментальным проблемам языкознания, касающимся современного статуса этой науки и путей ее дальнейшего развития. Замысел конференции состоял в том, чтобы, собрав вместе выдающихся ученых, которые специализируются в разных областях языкознания, выявить общие тенденции в развитии этой науки. С докладами на конференции выступили 25 крупнейших лингвистов из России, США, Канады, Австралии, Германии, Польши, Швейцарии. Большинство докладов вызвали оживленное и содержательное обсуждение. В дискуссии приняли участие более 100 человек.

В силу широты самой темы конференции проблематика докладов была весьма разнообразной. Затрагивались вопросы из разных областей русистики, от самых общих до весьма частных и прикладных, как в синхронном, так и в диахроническом ключе, в типологическом ракурсе, а также в прикладной плоскости.

В некоторых докладах рассматривались самые общие вопросы лингвистической теории. Например, *А. Богуславский* (Польша) в своем докладе «К вопросу об универсальной семантической системе» затронул ряд методологических проблем лингвистики. Доклад состоял из трех комментариев. В первом автор напоминал о необходимости правильно, т. е. по принципу пропорции, выделять объекты смысловых отношений. Во втором комментарии автор высказался в пользу существования универсальной семантической системы, отметив, однако, что представление какого бы то ни было ее полного изображения немыслимо. В третьем комментарии автор выделил 4 раздела науки, вытекающие из свойств предиката «знать, что...». Исследование семантических отношений принадлежит к двум разделам, занимающимся отношениями противоречия и непротиворечивости.

Менее глобальные, но также достаточно общие вопросы ставились в докладах *А. В. Бондарко* (Россия) и *Г. А. Золотовой* (Россия), в которых авторы обобщали результаты своих многолетних исследований и излагали принципиальные подходы к описанию языка. В докладе *А. В. Бондарко* «Теория поля в грамматике: итоги и перспективы» были рассмотрены понятия «функционально-семантическое поле» и «категориальная ситуация», лежащие в основе модели функциональной грамматики, ориентированной на описание системы семантических категорий в их языковом выражении. Анализ функционально-семантических полей (таких, как аспектуальность, таксис, локативность и т. п.) и соответствующих категориальных ситуаций связывается с теорией стратификации семантики — разграничении ее уровней и аспектов (ср. понятия «значение», «смысл», «смысловая основа языковых значений», «интерпретационный компонент»).

В докладе *Г. А. Золотовой* «О возможностях функционального исследования языка» был

поставлен вопрос о том, почему функциональные направления в лингвистике дали значительно меньше ожидаемого. Одно из объяснений докладчик находит в том, что определение «функциональный» в данном случае не было мотивировано словом «функция». Каждый элемент языка характеризуется не только формой и значением, но и функцией — способом участия в построении коммуниката. Выявление элементарной синтаксической единицы — синтаксемы — позволило предложить решение ряда дискуссионных вопросов грамматики.

А. Д. Кошелев (Россия) также коснулся чрезвычайно общей проблемы — содержания широко используемого в лингвистической семантике понятия предметности. В докладе «Значение простого предложения как композиция категориальных значений имени и глагола» дано эксплицитное описание предметного компонента значения предметного существительного. Оно опирается на новое понятие — протяженный во времени образ-инвариант референтов существительного. Это понятие позволяет описать значение простого предложения как композицию предметного значения существительного и категориального значения глагола.

Высокий уровень обобщения был присущ и большинству остальных докладов, однако в них общие вопросы рассматривались на материале анализа конкретных языковых явлений. В докладе *Е. В. Падучевой* (Россия) «О структуре семантического поля: глаголы восприятия» речь шла о тематическом классе глаголов восприятия в связи с задачей выявления системной организации в лексике. Рассматривались глобальные семантические параметры лексического значения — таксономическая категория, тематический класс и диатеза — и соответствующие им семантические деривации: категориальный, тематический и диатетический сдвиги; одно из отличительных свойств глаголов восприятия — диатетический сдвиг, в результате которого Эксперимент выходит «за кадр» и становится Наблюдателем. В докладе предлагалось описывать семантику тематического и диатетического сдвига как смещение фокуса внимания, т.е. как переход участников и соответствующих им компонентов толкования из центра на периферию и за кадр.

В докладе *Р. Лясковского* (Швеция) «Семантика русского *идти*» проблемы многозначности были рассмотрены на материале одного слова. Глагол *идти*, как и близкие ему по значению глаголы направленного перемещения в других языках, отличается весьма богатой полисемией, охватывающей как динамические, так и статические отношения, начиная с основного значения (перемещение агенса с помощью собственных ног) и других типов движения объекта в физическом пространстве, через значения временные и значения, описывающие абстрактные отношения, до отображения статических конфигураций объектов. Эти значения образуют сложную семантическую сеть, которую и анализировал докладчик.

Во многих докладах анализ групп лексики приводил к выводам об устройстве тех или иных фрагментов языковой картины мира. В докладе *Н. Д. Арутюновой* (Россия) «Особенности русского ментального мира» рассматривались две специфические черты русских ментальных предикатов, отличающие его от большинства европейских: выражение пропозиционального и опытного знания одним глаголом (*знать*) и использование разных глаголов для выражения веры и полагания (мнения) — *полагать, думать и верить, веровать*).

Особое внимание было уделено взаимодействию опытного и информационного знания в познании человека, а также переходам от веры к знанию и от знания к вере.

В докладе *С. М. Толстой* (Россия) «Мотивационные семантические модели и наивная картина мира» рассматривалось культурное содержание семантической мотивации — связь языковых мотивационных моделей с особенностями восприятия мира человеком. Изучение мотивационных характеристик целых классов слов смыкается со сферой неязыковой семантики (ментальные образы, мифологические представления, ритуальная практика и т. д.), что выводит мотивационные модели в область культуры.

Изучение языковой картины мира помещает язык в контекст культуры. Это популярное в современной лингвистике направление исследований было, пожалуй, в наибольшей степени представлено в докладах. *А. Вейсбицка* (Австралия), классик этого направления, сделала доклад «Русские культурные скрипты и их отражение в языке». Культурные скрипты — это наивная аксиология, которая отражается в языке. В разработанной автором теории эти скрипты формулируются на языке универсальных понятий, установленных путем эмпирических исследований. Для русского языка в докладе были предложены, в частности, «скрипт правды» и «скрипт общения». В докладе были представлены также толкования некоторых ключевых русских концептов: правды, истины, искренности и др. Обсуждалась связь между семантикой этих слов и соответствующими культурными скриптами.

В докладе *А. Д. Шмелева* (Россия) «Универсальное и лингвоспецифичное в семантике русского языка: парадоксы конвенционализации» на русском материале рассматривались проблемы отграничения лингвоспецифичных семантических явлений (подлежащих фиксации в описании конкретного языка) как от прагматических эффектов, возникающих в результате действия универсальных законов языкового общения, так и от закономерностей использования языка, обусловленных не его лингвистической спецификой, а особенностями обслуживаемой им культуры. Проблема универсальной семантической системы — одна из наиболее актуальных в современной семантике. Она широко обсуждалась на конференции (ср. также выше доклад *А. Богуславского*).

Другая важная тенденция современной лингвистики, которая в полной мере проявилась в сделанных на конференции докладах, — это стремление изучать языковые единицы не изолированно, а во взаимодействии и в том числе обращать особое внимание на взаимодействие лексики и грамматики. В докладе *И. М. Богуславского* (Россия) «О способах сложения значений слов» рассматривались проблемы, возникающие при объединении значений отдельных слов в совокупное значение предложения. В основе такого объединения лежит механизм заполнения семантических валентностей. Этот механизм хорошо разработан для таких валентных слов, как глаголы и существительные, но совершенно недостаточно исследован для наречий, прилагательных, союзов, предлогов и частиц. Спектр возможных способов заполнения семантических валентностей для этих классов слов оказывается принципиально более разнообразным, чем для глаголов и существительных. Были продемонстрированы некоторые из этих способов. Особое внимание было уделено новым антецедентным возможностям, появляющимся у анафорических местоимений в сфере действия наречий.

В докладе *И. Мельчука* (Канада) «Актанты в семантике и в синтаксисе» было предложено различать три типа актантов: семантические, глубинно-синтаксические и поверхностно-синтаксические. Рассматривались преимущественно первые. Под СемА понимаются обязательные

партиципанты ситуации. Сами СемА могут быть как обязательными, так и факультативными. Обязательный СемА — это смысл, соответствующий обязательному партиципанту и выразимый во фразе. Факультативные СемА порождаются идиоматичной сочетаемостью. В докладе обсуждалась также проблема разграничения актантов и сирконстантов.

В докладе *Ю. Д. Апресяна* (Россия) «Взаимодействие лексики и грамматики: лексикографический аспект» рассматривался вопрос о распределении грамматической информации между грамматикой и словарем в рамках интегрального описания языка. Включению в словарь подлежат любые правила с узкой областью действия (одна или несколько лексем), а также любые типы ограничений на использование лексем в тех или иных грамматических формах и конструкциях, если они не могут быть сформулированы в виде правил.

Надо отметить, что на конференции рассматривались также и традиционные проблемы русистики, такие, например, как выбор между генитивом и номинативом в русском отрицательном предложении (*Б. Х. Парти* (США), *В. Б. Борцев* (Россия). ««Мороза не чувствовалось». Генитив субъекта при отрицании и «слабые глаголы»»). Почему иногда возможен только генитив, иногда только номинатив, а иногда обе конструкции (с одним и тем же глаголом)? В чем их отличие в последнем случае? Какие глаголы могут употребляться в генитивной конструкции? Меняется ли значение глагола при переходе от номинатива к генитиву? Почему один и тот же глагол может употребляться в генитивной конструкции с одним субъектом и не может с другим? Докладчики считают, что выбор генитивной (или номинативной) конструкции определяется тем, как мы структурируем ситуацию бытия. Они назвали это выбором перспективы, точки зрения, с которой мы эту ситуацию рассматриваем.

Х.-Р. Мелиг (Германия) в докладе «Некоторые дискуссионные вопросы описания категории вида в русском языке» рассматривает также классическую для русистики проблему выбора между совершенным и несовершенным видом. Глагольные предикации, так же как и именные группы, могут относиться, с одной стороны, к уже актуализованным в тексте ситуациям (tokens), а с другой — к актуализованным в тексте ситуациям (types). Это различие имеет основополагающее значение для русского вида: глагольные предикации, которые относятся к «type», не допускают перфективацию.

В докладе *В. А. Плунгяна* (Россия) «Геометрия русской морфологии: о традиционных и нетрадиционных таблицах склонения» обсуждались возможности применения «геометрических» моделей к описанию словоизменения и — шире — грамматической семантики. Было показано, как инструмент в виде обычной таблицы склонения позволяет поставить и решить ряд известных проблем описания русского склонения: иерархия падежей, набор типов склонения, «второй родительный» и «второй предложный» и др. Обсуждались также диахронические тенденции развития русской падежной системы и их возможные источники.

Некоторые авторы предлагали совершенно нетрадиционный взгляд на известные явления. Например, *Б. Гаспаров* (США) в докладе «О природе грамматического значения (наблюдения над употреблением перфекта в древнецерковнославянском языке)» по-новому взглянул на значение прошедших времен. Выбор между перфектом и другими формами прошедших времен (прежде всего аористом) в древнецерковнославянском тексте (конец X — первая половина XI в.), по мнению автора, трудно объяснить, исходя из обычно приписываемых перфекту значений.

Как показывают наблюдения автора, во многих случаях появление перфекта в тексте диктуется стремлением выразить трансцендентный смысл — Божественную волю и Божественный порядок, в противопоставлении миру феноменов, в которых эта воля находит воплощение на земле. По мнению автора, это дает повод для размышлений о природе грамматической категории вообще и возможных путях ее описания.

В ряде докладов явления русской грамматики рассматривались в сопоставительном аспекте. При этом ставились как типологические проблемы, так и вопросы о происхождении. *В. С. Храковский* (Россия) в докладе «Русская грамматика в типологическом ракурсе» поставил вопрос о значимости грамматических систем различных языков для формирования типологической теории. Было показано, что во фрагменте русской императивной парадигмы (1 л.) появляются инновационные формы дуалиса. Обсуждается дилемма, идет ли речь о частичном возвращении старой системы дуалиса или о реализации одной из возможностей, предусмотренных исчислением императивных форм. Автору ближе вторая точка зрения.

Д. Вайс (Швейцария) в докладе «Русские двойные глаголы и их финноугорские соответствия» описал весьма специфическую конструкцию из двух одноформенных глаголов. Доклад состоял из двух частей. В первой описывались инварианты и подтипы русских двойных глаголов и делалось заключение, что здесь представлена начальная фаза процесса глагольной сериализации. Во второй, сопоставительной части рассматривались возможные параллели в других европейских языках, что позволило исключить общеславянское (и тем более индоевропейское) и тюркское происхождение данной конструкции, зато было обнаружено много аргументов в пользу гипотезы о ее финноугорских корнях.

Вопросы собственно этимологии анализировались в докладе *Е. А. Хелимского* (Германия) «Трансевразийские аспекты русской этимологии». Рассматривались процессы распространения культурной лексики в северноевразийском ареале с учетом роли русского языка и его диалектов как посредника между отдельными частями этого гигантского ареала. Результаты этимологических исследований последних лет позволили существенно уточнить типичные пути распространения заимствований в русский язык и из русского языка. Одновременно был выявлен не всегда достаточный учет контактных явлений с участием русских диалектов Сибири как в славянской, так в уральской и алтайской этимологии.

Большое внимание на конференции было уделено также истории письменности. В докладе *В. М. Живова* (Россия) «Изменения в письменном языке» обсуждалась специфика истории письменного языка. Зависимость навыков письменного языка от опыта чтения определяет относительную автономность письменного узуса. У письменного и у устного языка разный набор характерных коммуникативных заданий, а в силу этого и разное грамматическое устройство. Это различие в особенности проявляется на синтаксическом уровне. В эпоху до возникновения полифункционального языкового стандарта письменный язык не обладает единой нормой, но распадается на ряд регистров, связанных с разными коммуникативными заданиями. Изменения в письменном языке не являются непосредственным отражением изменений в устном языке и не имеют глобального характера. Они обладают той же «естественностью» или «системностью», что и изменения в устном языке, и их динамика обусловлена тем же механизмом преемственности, что и

динамика изменений в устном языке. Преемственность реализуется в рамках отдельных регистров.

А. А. Зализняк (Россия) сделал доклад «Новгородский кодекс, найденный в 2000 году, — древнейшая книга России». 13 июля 2000 г. на археологических раскопках в Новгороде впервые за историю археологии славянских стран был найден (в слое 1-й четверти XI века) кодекс — так наз. триптих — из трех навощенных дощечек с сохранившимся текстом на воске. Кодекс содержит псалмы 75 и 76. Язык — старославянский, но с некоторым числом случаев смешения букв для носовых и неносовых гласных, что однозначно указывает на русское (точнее, восточнославянское) происхождение писавшего. Графическая система — одноеровая (вместо двух букв: Ъ и Ь — пишется одна: Ъ). Новгородский кодекс — древнейшая славянская книга с относительно узкой датировкой: он на несколько десятилетий старше Остромирова евангелия 1056—1057 г., древнейшей славянской книги с датой в тексте. Помимо хорошо видимого текста на воске, Новгородский кодекс содержит также отпечатки — к сожалению, крайне слабые — прежних записей. Работа по их расшифровке предельно сложна и находится в настоящее время в своей начальной фазе.

В ряде докладов анализировались итоги и задачи целых областей русистики. *Л. Л. Касаткин* (Россия) в докладе «Новые достижения и задачи русской диалектологии» говорил о новых открытиях в русской диалектологии, о необходимости формирования фондов магнитофонных записей диалектной речи при каждом научном центре и их научного анализа, о создании областных звучащих хрестоматий. Эту работу нельзя откладывать в связи с быстрой деградацией диалектов.

В докладе *Т. М. Николаевой* (Россия) «Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения» говорилось о том, что затрудненность отображения интонационной системы во многом определяется изначальной установкой на графический способ представления языковой системы. Секуляризацию интонологии как особой области языкознания *Т. М. Николаева* связывает с тем, что в лингвистике 30-х годов поуровневый способ описания языковой системы одержал победу над описанием с установкой на высказывание (Карцевский, марристы, Щерба). Докладчиком были кратко обрисованы основные достижения русской интонологии и метатеоретические сложности.

Наконец, доклад *С. А. Старостина* (Россия) «Русская морфология в Интернете» носил прикладной характер. Речь шла о том, что достижения теоретической лингвистики, по мнению автора, пока совершенно недостаточно используются для решения задач автоматической обработки текста. Выход автор видит в накоплении в сети как лексикографического корпуса, так и корпуса текстов с произведенной грамматической разметкой. Автор призвал лингвистов активно включиться в работу по обеспечению сети эффективными орудиями морфологического анализа.

Таким образом, основное внимание на конференции было уделено (преимущественно на русском материале) новым идеям в области общей теории языка, теории семантики и грамматики, соотношению синхронии и диахронии в языке, теории языковых изменений, механизмам функционирования языка (когнитивным, социолингвистическим, психолингвистическим и другим), проблемам лингвистической типологии.

И. Б. Левонтина

ОТЧЕТ

о диалектологических экспедициях 2001 года

В 2001 году в отделе диалектологии и лингвогеографии и отделе фонетики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН была продолжена экспедиционная работа по сбору диалектного материала. Всего состоялось 10 экспедиций.

Л. Л. Касаткин и Р. Ф. Касаткина продолжили свои исследования **говоров старообрядцев, живущих в США в штате Орегон**. Их третья поездка в эти места проходила с 20 сентября по 9 октября 2001 г., и основной ее результат — магнитофонные записи рассказов старообрядцев (главным образом выходцев из Турции, предки которых покинули Россию в XVIII в.) на 45 часов звучания и духовных песнопений старообрядцев и молокан на 10 часов звучания.

Во время первой поездки к орегонским старообрядцам в 1996 г. Л. Л. Касаткин и Р. Ф. Касаткина обнаружили в диалекте «турчан» черту, отсутствующую в современных русских говорах России, — наличие лишь одного ряда свистящих согласных на месте двух рядов — свистящих и шипящих (в Сибири такая черта изредка встречается у аборигенов, перешедших на русский язык). Позднее этими исследователями было высказано предположение, что эта черта была вынесена далекими предками «турчан» из Псковщины. В экспедиции 2001 г. были обнаружены и другие доказательства этого предположения. Это, например, лексикализованные случаи произношения [’а] в соответствии с этимологическим *e* — *дядушко, навстрячу, зявочки* (растение ‘львиный зев’), наличие перфекта с формами деепричастия — *он был приехавши, она ушотцы*. В лексической системе говора «турчан» отмечены многие слова, зафиксированные диалектными словарями только как псковские, например: *балахон* ‘женская распашная одежда на проймах’; *влезть* ‘войти’; *ввечери* ‘вечером’; *выпряжь* ‘упряжь’, *гадко* ‘противно, физически отвратительно’; *гадиться* ‘брезговать’; *деревина* ‘дерево’, ‘куст’; *доба* ‘время’, ‘возраст’; *домонь* ‘домой’; *досада* ‘горе’; *жечься* ‘отапливаться’; *захлянуть* ‘утонуть’; *крякать* ‘квакать’ и др.

Л. Л. Касаткин и Т. Б. Юмсунова с 30 июня по 13 июля 2001 г. исследовали речь **забайкальских старообрядцев-«семейских» в с. Десятниково Тарбагатайского района и в селах Бичура, Мотня и Билютай Бичурского района Бурятии**. Одной из главных целей экспедиции была магнитофонная запись рассказов местных жителей старшего поколения. Произведено таких записей на 37 часов звучания.

Предки «семейских» были переселены при Екатерине II в Забайкалье с запада России. И до сих пор «семейские» сохраняют многие диалектные особенности Юго-Западной диалектной зоны. Некоторые из этих черт были обнаружены или подтверждены во время экспедиции 2001 г.

В Забайкалье на говоры «семейских» оказали влияние русские старожильческие говоры, в основе своей северно- и среднерусские, а также язык бурят, с которыми «семейские» находились в постоянных контактах. Необходимо глубокое изучение говоров «семейских», которое вскрыло бы во всей полноте их черты, принесенные из материнских говоров, результаты междиалектных и межъязыковых контактов и современные процессы, идущие по внутренним законам развития этих говоров и под мощным влиянием литературного языка. В результате многолетнего изучения этих

говоров уже был создан под редакцией Т. Б. Юмсуновой и при ее активном личном участии «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» (Новосибирск, 1999). В дальнейшем предполагается создание фонда магнитофонных записей диалектной речи из всех мест проживания «семейских». На основе этих записей планируется работа над «Звучащей хрестоматией» говоров «семейских». Должна начаться работа и над диалектологическим атласом этих говоров. В этой работе должны принять участие помимо диалектологов Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН также и диалектологи Улан-Удэ и Новосибирска.

В августе-сентябре 2001 г. группа в составе О. Г. Ровновой, А. В. Тер-Аванесовой и Д. М. Савинова работала в течение двух недель в **Харовском районе Вологодской области**. Экспедиция была направлена в этот район по инициативе руководителя отдела диалектологии и лингвогеографии Л. Л. Касаткина с целью установить современное состояние деревень, входящих в Слободской сельсовет, и степень сохранности говора. В отделе диалектологии и лингвогеографии было принято решение о монографическом описании некоторых русских говоров. Эта идея возникла еще в 70-е годы, когда в секторе диалектологии Института русского языка АН была организована группа, которой руководил Л. Л. Касаткин и которая должна была начать работу по монографическому описанию одного севернорусского говора. Однако эта идея не была тогда осуществлена по внематематическим причинам. Архаичные харовские говоры привлекли внимание диалектологов еще в 60-е годы. В ходе нынешней экспедиции было установлено, что несколько деревень стали нежилыми и их жители переехали в с. Арзубиха, что харовский говор сохраняет архаичные черты и вполне подходит для монографического описания. Был составлен список информантов, сделаны магнитофонные записи диалектной речи на 30 часов звучания.

С 26 июля по 5 августа 2001 г. экспедиция под руководством А. В. Тер-Аванесовой в составе А. А. Плетневой, Е. В. Урысон, А. В. Урысон, С. А. Крылова работала в **д. Лавела Пинежского района Архангельской области**. В ходе экспедиции было установлено единство говора деревень Верхней Пинеги на отрезке от Летопалы до Городецка и причины, обусловившие это единство (в частности, заключение браков, обычай гостить друг у друга по престольным праздникам). А. А. Плетнева также установила в пределах этих деревень единство состава рукописных молитвенников, содержащих тексты различного содержания (молитвы, заговоры и т. д.). Наблюдения показали, что пинежские говоры имеют смешанный характер: при наличии несомненных «новгородизмов» в морфологии (окончание *-ы/-и* в род., дат., местн. падежах ед. числа существительных *а*-склонения: *нет жены́, к жены́, на жены́*; распределение показателей 3 лица настоящего времени *-т/-Ø* по типам спряжения и числу) в этих говорах отсутствуют специфическая «новгородская» лексика и фонетические архаизмы. Акцентологические особенности, прежде всего акцентуация существительных муж. рода, оказались тождественными в говорах Верхней Пинеги и Выи, а также ниже Карпогор в пинежской деревне Шотова Гора, говор которой незначительно отличается от лавельского. Предварительное изучение пинежской акцентуации указывает на ее «восточный», а не новгородский характер, что подтверждает мнение П. С. Кузнецова о существовании колонизационного потока с юга, вниз по Пинеге, из Ростово-Суздальской земли. А. А. Плетнева, А. В. Урысон и Е. В. Урысон изучали народную православную традицию и сделали

записи диалектной речи также в **д. Хотеново Каргопольского района Архангельской области** и в **г. Сольвычегодске**. Во всех населенных пунктах экспедиция занималась и изучением традиционной народной культуры, используя программы сбора материалов по этнолингвистике. Всего в ходе экспедиции было записано на магнитофонные кассеты около 50 часов звучащей диалектной речи.

В июле-августе 2001 г. в **Холмогорском районе Архангельской области** под руководством А. В. Копыловой работала совместная экспедиция диалектологов Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В течение 30 дней экспедиция вела работу в **д. Сия**. Выбор пункта в Холмогорском районе был обусловлен недостаточной изученностью говоров по среднему течению Северной Двины. Кроме того, известный интерес представляло исследование состояния диалекта в непосредственной близости от Архангельска. Помимо д. Сия, была обследована расположенная в 9 километрах от нее **д. Хоробрица**. Всего за время экспедиции записано на магнитофон около 80 часов звучащей речи; велись также записи в полевые тетради (14 тетрадей). Говор д. Сия характеризуется полным оканьем; отмечено произношение [о] на месте этимологического *a*: *остольны́е, скоза́ла, Тома́ры, Голи́ны, зоробо́тать* и др., [о] вместо [у]: *полошубок, коку́шка, сондуко́ф, продокто́вый, боты́лка, корку́ль, пожа́лой, пожа́лосто* и др. В говоре утрачивается мягкое цоканье; аффриката *ц* может реализовываться в звуках [ц], [ц'], [ц''], аффриката *ч* — в звуках [ч'], реже [ц'], [ц''], отмечено также произношение *знаи́т, пра́зьниш́ных* и др. В консонантной системе говора зафиксированы такие явления, как мена глухих/звонких согласных: *тушы́ли* (душили), *затуша́ли нало́гами, про́почки* (электрические пробки), *бу́точька, круи́эчьки, телеи́эчька, стаи́у* (стажу), *га́сом, к исто́гу* (к истоку); утрата *t* в сочетании *ст, сть* — на конце слова: *мос, надоёс, во́лось, грусь, мо́лодось, ста́рось*, не на конце слова: *воросва́, в усья́нах*; утрата *k* в сочетании согласных: *Е́мец* (Емецк), *инфа́рт, метпунт о́тпус*; утрата сонорных на конце слова: *мет* (метр), *мотоцы́к, Пёт* (Пётр), *цент* (центр).

В августе 2001 г. состоялась экспедиция за Полярный круг — на **Терский берег Белого моря**. Поморские говоры не были ранее предметом исследования диалектологов Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, и в его фонотеке нет записей из этих мест. В экспедиции принимали участие как российские лингвисты: О. Е. Кармакова (старший научный сотрудник отдела диалектологии и лингвогеографии), С. Г. Саркисян (бывший сотрудник этого же отдела, ныне ведущий редактор издательства «Русский язык»), С. М. Трошина (научный сотрудник Мурманского университета), так и коллеги из Норвегии: доктор филологических наук Т. Лённгрен, докторанты и аспиранты Университета г. Тромсё.

Поморские говоры были обследованы в 60—70 гг. XX в. известным диалектологом И. С. Меркурьевым. Результатом его работы явилось фонетическое описание говоров старинных русских поселений на Кольском полуострове и краткий словарь «Живая речь кольских поморов».

Цель экспедиции — выяснить языковую ситуацию в Южном Заполярье, узнать, сохранились ли поморские села, поморские говоры, записать как можно полнее речь диалектоносителей. Говоры Терского берега интересны еще и потому, что эти места, от села Кандалакша до мыса Святой Нос, по свидетельствам историков, осваивались новгородцами с XII в.

Опорным пунктом было выбрано **с. Варзуга**, известное с 1216 г. Это самое большое в настоящее время село на Терском берегу — в нем живет около 600 человек. Местное население обладает большим чувством собственного достоинства («гордые — потому и называют фараонами»). В Варзуге чтимы традиции: их знают все от мала до велика. В школе для учеников 7 и 8 классов обязательно посещение факультатива «Лексика поморского говора». В конце учебного года устраивается праздник, воссоздающий тот или иной обычай поморов, например «Проводы поморов на путину», «Свадьба в Варзуге», «Посиделки». На уроках труда школьники делают традиционные поморские игрушки: оленя из щепы, деревянную куклу, козулю из теста, мальчики узнают, как шить кáрбас (лодку), а девочки овладевают искусством украшать полотенца, как принято варзужанками (вышитые красными и черными нитками оленя или птицы), вяжут носки и варежки, используя местную технику, при которой связанные изделия варят.

Экспедицией были сделаны магнитофонные записи диалектной речи (около 30 часов звучания). Говор с. Варзуга, как многие архангельские, имеет пятифонемный состав вокализма; наблюдается разрушение цоканья, чаще всего на месте *ц* и *ч* произносят [ц’], на месте литературного [ш’ш’] — [шш]: *ишу́ка, ишшот, ишшоб’*; отмечается стяжение гласных в окончаниях глаголов и прилагательных: *де́лат, бе́ла доска́, большы́ прáздники*; в конечных сочетаниях *ст, сть* происходит выпадение *т*: *мос, хвос, гвось, жысь*. В области морфологии отмечается совпадение у существительных *а*-склонения род., дат. и местн. падежей: *от рабо́ты, у ма́мки, к ры́бы, по доскí, на землí* — черта, свойственная новгородским говорам; у существительных муж. рода во мн. числе продуктивно окончание *-а* (ударное и безударное): *карбаса́, праздника́, кваса́, невода́, гроба́, варзужа́на*; прилагательные муж. и ср. р. в род. п. ед. числа спорадически сохраняют /г/ в окончании *-ого*: *северног/о моря*; инфинитивы глаголов на *г/к* имеют в речи старшего поколения форму на *-чи*: *берегчи́, пекчи́*. Очень продуктивно образование глаголов с приставкой *за-*, имеющей начинательное значение: *запóтходи́ли, заостава́лись, завздыма́ть, запóгиба́ть*. В лексической системе говора встречаются слова, распространенные в Западной диалектной зоне: *упря́жка* ‘период работы’; слово *хоро́мы* имеет значения ‘сруб’ и ‘сенник, помещение между потолком и крышей хлева’; *пахáть* означает ‘подметать пол’. Естественно, что большая часть лексики говора тесно связана с условиями жизни и деятельности населения — рыболовством, охотой. Русские поселенцы заимствовали у коренного населения Кольского полуострова — саамов и лопарей — методы ведения хозяйства и, естественно, терминологию: *ва́женка* ‘самка северного оленя на четвертом году жизни и старше’; *ло́панка* ‘оленья самка в возрасте от 3-х месяцев до года’; *кирья́к* ‘невысокого качества семга, идущая в реки перед осенью’; *ка́лга* ‘широкие лыжи, подбитые шкурой зверя’; *ка́ньга* ‘ меховые сапоги, сшитые из шкуры, снятой с ног оленя’ и т. д.

В июле 2001 года совместная экспедиция Рурского университета (Германия) и Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН побывала на полуострове **Камчатка**. Цель экспедиции, в состав которой входили профессор Рурского университета К. Саппок и старший научный сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН А. М. Красовицкий, заключалась в создании аудиоархива,

представляющего речь русских старожилов Камчатки. Это уже третья экспедиция, проведенная в рамках совместного проекта Лингвистической лаборатории Рурского университета и отдела фонетики ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, посвященного языку изолированных русскоязычных сообществ в Сибири и на Дальнем Востоке. Материалы предыдущих экспедиций — в поселки Русское Устье (1997 год) и Походск (2000 год) на северо-востоке Якутии — показал, что в языке старожилов имеется большое количество негенетических изменений, вызванных контактами с соседними сибирскими языками. Обнаруженная интерференция имеет структурный характер и затрагивает преимущественно фонетико-фонологический ярус. О том, что подобные изменения имеются и в языке старожилов Камчатки, известно уже давно. Впервые они были системно описаны К. Д. Браславцем в работе «Диалектологический очерк Камчатки», изданной в 1968 году. Браславец отмечает, в частности, что различия между вариантами языка, на котором говорили в то время русские, живущие в разных частях полуострова, во многом связано с различиями между диалектами ительменского языка, существенно влиявших на язык старожилов. В задачу экспедиции входило зафиксировать современное состояние языка русского старожильческого населения Камчатки. Работа велась в двух поселках, где сохранилось старожильческое население, — **Мильково** в центре полуострова и **Тигиль** на северо-западе, недалеко от побережья Охотского моря. Начиная с XVIII века здесь были русские острожки, в которых со временем сложились многочисленные сообщества, включавшие в себя казаков, переселенных из Восточной Сибири или Европейского Севера крестьян, а также местное ительменское население. Тесные контакты между русскими и ительменами, и прежде всего смешанные браки, освоение ительменами русского языка, в который они неизбежно привносили черты родного языка, приводили к значительной структурной интерференции. Результаты этой интерференции можно обнаружить и в современной речи старожилов. Следует отметить, что существуют различия между речью старожилов Милькова и Тигиля.

В октябре 2001 г. О. Г. Ровнова и Д. М. Савинов работали в **Милославском районе Рязанской области**. В течение шести рабочих дней были сделаны магнитофонные записи спонтанной диалектной речи (20 часов звучания). Экспедиционная группа выезжала в **села Липяги, Боршевое**, а также **д. Бугровка**. Было отмечено, что многие диалектные особенности сохраняются в исследованных говорах до наших дней: диссимилятивное аканье, ассимилятивно-диссимилятивное яканье новоселковского типа, в говорах сохраняются рефлексy семифонемного вокализма, причем наиболее последовательно сохраняется [o]-открытое, противопоставленное [o]-закрытому и [o]. Отмечается прогрессивное смягчение после мягких согласных, в том числе после [й] и [ч']: *ва́н'к'а*, *чайк'у́*, *до́ч'к'а*, упрощение групп согласных *абал'и́лс'ь* (обвалился) и т. д. Было отмечено сохранение этнографических реалий: старинной женской одежды (*понёва*, *зана́веска*, *блю́за*, *стану́шка*, *чу́ни* и т. д.) и предметов быта. Из трех обследованных населенных пунктов наиболее архаичным в лингвистическом и этнографическом отношении является с. Боршевое.

Н. Л. Голубева продолжила начатый в прошлом полевом сезоне сбор материала в говоре **с. Владимирского Воскресенского района Нижегородской области**. В ноябре 2001 г. состоялась ее вторая экспедиция в это село. За десять дней сделано 30 часов магнитофонных записей диалектной

речи от 18 жителей села в возрасте от 40 до 90 лет. Это рассказы о культуре, истории, обычаях с. Владимирского и окрестных деревень, о трудных судьбах военного поколения. Значительная часть жителей с. Владимирского переехала сюда из близлежащих деревень, поэтому одной из задач экспедиции было определение однородности говора. Для изучения диалектного синтаксиса особую ценность представляют сделанные Н. Л. Голубевой магнитофонные записи диалогической речи между носителями говора.

С 5 по 14 декабря 2001 г. А. В. Тер-Аванесова и А. И. Рыко работали в **Заонежье**, в **Медвежьегорском районе Республики Карелия**. Основным местом работы экспедиции был **поселок Великая Губа**, где была записана речь уроженцев ближайших к Великой Губе деревень, прекративших свое существование в 50—70-е годы (Бережские, Сибово, Вигово, Вёгорукса), и кижских деревень (Оятьевщина, Косельга). Магнитофонные записи сделаны также в д. **Космозеро**, где местный диалект в целом сохранился лучше, чем в Великой Губе. За время работы экспедиции записано в общей сложности около 30 часов звучащей диалектной речи. Почти все информанты являются носителями юго-западного «якающего» заонежского диалекта, и лишь одна жительница Космозера, переехавшая туда из д. Поля, — северо-восточного «ёкающего» диалекта. Привлекавшее внимание диалектологов с конца XIX века заонежское ляпанье (перенос ударения с конца фонетического слова на его начальный слог и сопряженные с ним явления вокализма) у сегодняшних 70-80-летних носителей диалектов сохраняется гораздо хуже, чем у людей того же возраста пятнадцать лет назад. Яркие «новгородизмы», присущие заонежским диалектам (отсутствие рефлексов второй палатализации задненебных в ряде корней, [a] из **ě* в отдельных словах, сохранение окончания им. падежа ед. числа *-e* у основ, оканчивающихся суффиксом *-ьк-*, и ряд других), хорошо сохранились и сейчас. Наметилась тенденция к утрате некоторых особенностей морфологии: окончания *-амы* у существительных в форме тв. падежа мн. числа, окончания *-ть* у глаголов I спряжения в форме 3 л. ед. числа и ряда других. В Великой Губе многие семидесятилетние информанты пользуются полудиалектом, хотя пассивно владеют диалектом очень хорошо, вплоть до знания отдельных малочастотных в речи, архаических его особенностей.

Обзор подготовлен *О. Г. Ровновой*.

«Белорусский и другие славянские языки: семантика и прагматика»

Под таким названием 28—29 сентября 2001 года на филологическом факультете Белорусского государственного университета (г. Минск) состоялась II Международная научная конференция, посвященная памяти Адама Евгеньевича Супруна. Организатором конференции была созданная профессором Супруном кафедра теоретического и славянского языкознания, бессменным руководителем которой он оставался до своей смерти.

Первая конференция памяти учителя и ученого под названием «Количественность и градуальность в естественном языке» была проведена в сентябре 2000 года. Ее темой явились число и числительное, исследованию которых были посвящены труды Адама Евгеньевича — теория и история славянского числительного, в первую очередь, создана именно им. В этой конференции принимали участие слависты из Белоруссии, России, Польши, Германии, Швейцарии.

Прочитанный на пленарном заседании конференции 2000 года доклад Е. М. Верещагина (Москва) «*Носиши, хѣ, адамьскѣ образѣ*. Первозданный Адам и новый Адам в славяно-русской гимнографии» был посвящен памяти Адама Евгеньевича Супруна.

Категория числа рассматривалась в разных аспектах своего проявления. В докладе Х. Яхнова (Бохум) «Количественность как основная когнитивная и семантическая категория» говорилось о роли данной категории в познании мира и в процессе преобразования полученных знаний в сознании говорящего. Рассмотрению категории числа как компонента мифопоэтического образа мира был посвящен доклад С. М. Толстой (Москва) «Семантизация числа в языке народной культуры».

Б. А. Плотников (Минск) в докладе «Квантитативная градуальность в естественных языках» высказывал мнение о том, что данный тип градуальности передается единицами всех уровней языка и всеми его явлениями. С. Сятковский (Варшава) рассмотрел категорию градуальности как систему оценочно-количественного сравнения на шкале градуируемых свойств («Градуальность в языке и речи: русский грамматический элатив и его польские эквиваленты»). Идея градации как способа перехода от лексического к грамматическому значению глагола была представлена в докладе Е. Н. Руденко (Минск) «Градационность семантики глагола: от лексического значения к грамматическому».

А. Богуславский (Варшава) предложил к обсуждению проблему именования единичного объекта в русском и немецком языках («*Ein и один*»). Один из способов референции неточного числа затрагивался в докладе Сабине Дённигхауз (Базель) «*Море людей и пропасть цветов*. Метафоры неопределенного количества».

О возможном возрождении форм дуалиса в императиве говорилось в докладе В. С. Храковского (Санкт-Петербург) «Дуалис в императиве (архаика и инновации)». Проблемы взаимодействия грамматических категорий числа и лица в предложении рассматривались в докладе Б. Ю. Нормана (Минск) «Субстантивное подлежащее при глаголах в 1-м лице множественного числа в болгарском языке (*двама студенти търсим работа*)».

А. М. Калюта и А. И. Титова (Минск) в докладе «Речевые механизмы реализации категории количества» остановились на рече-мыслительных стратегиях реализации данной категории.

На конференции также были затронуты проблемы, связанные с функционированием числа в художественном тексте, в частности, в докладе Н. Б. Мечковской (Минск) «*И пространство торчит преискурантом*» (число и слово в поэтике Иосифа Бродского)». Об интересных случаях количественной параметризации в текстах с запрограммированным юмористическим эффектом рассказал А. К. Киклевич (Минск, доклад «Количество и юмор»). Textoобразующая роль категории числа в оригинале и переводе древнего текста рассматривалась в докладе А. А. Кожиневой (Минск) «Категория числа в древнебелорусском переводе «Песни песней»».

Материалы конференции составили сборник „Количественность и градуальность в естественном языке. *Quantität und Graduierung in der natürlichen Sprache*» [München: Verlag Otto Sagner, 2001].

Проведение второй конференции предваряло издание «Исследований по лингвистике текста» — сборника статей Адама Евгеньевича Супруна [Минск: БГУ, 2001], посвященных исследованию лексической структуры текста, которые были написаны за последние десять лет. Он создал свою собственную, оригинальную методику анализа единиц высшего уровня языковой системы, которая

заклучалась в представлении семантики текста через его синтагматику, парадигматику, ассоциативные, фоносемантические, деривационные связи. Но этим не исчерпывается научный и человеческий смысл изданной книги. Как сказала в своем докладе «Анализ лексической структуры поэтического текста. О последней книге А. Е. Супруна» Л. И. Соболева (Минск): «Последняя книга профессора Супруна — это ещё и его размышления о жизни и смерти, о любви и о доброте, о возрасте и о времени».

Круг интересов Супруна-ученого и Супруна-педагога был чрезвычайно широк. По-видимому, не существует области языкознания, которая осталась бы за границами внимания ученого. Поэтому организаторы конференции, состоявшейся в этом году, приняли решение не ограничивать присылаемые заявки жесткими тематическими рамками. В результате были очерчены несколько направлений, каждое из которых прекрасно укладывалось на карте научных интересов Адама Евгеньевича.

Основным объектом приложения научных интересов профессора Супруна являлось слово, которое рассматривалось в различных ракурсах, в том числе и по отношению к носителю языка. Особенное внимание уделялось ученым реальным психолингвистическим механизмам, включающимся в сознании говорящего в процессе порождения речи. Последней книгой профессора Супруна стали «Лекции по теории речевой деятельности» (Минск, 1996). Именно этой проблематике был посвящен доклад И. И. Токаревой (Минск) «Теория речевой деятельности в трактовке А. Е. Супруна и задачи этнографии общения». В нем обращалось внимание на то, что традиционная лингвистика фокусируется на этапе вербализации, где сходятся воедино все социокультурные и психологические императивы и собственно языковая семантика и прагматика вербальных единиц. Однако в случае межкультурной коммуникации мы смотрим на вербализованное содержание через призму собственного языкового сознания, не учитывая, что, как отмечает А. Е. Супрун в своей книге, «текст не отражает непосредственно действительность, а является сообщением о том, как эта действительность отразилась в сознании говорящего» [Указ соч.: 307]. Значит, исследователь должен фокусировать свое внимание на изучении как доречевых этапов речепорождения (этических, социальных и пр.), так и собственно языковых предпочтений (т. е. на закреплённой за языковыми знаками семантике и прагматике, которая не является межъязыковой универсалией).

Исключительно интересная проблема, связанная со взаимоотношениями речепорождения как процесса и текста как продукта этого процесса, также нашла отражение на конференции. Так, в докладе Б. Ю. Нормана (Минск) «Хиазм в славянских языках: предпосылки, условия, следствия» заглавная категория, обычно рассматриваемая в качестве риторической фигуры, связанной с симметрией / асимметрией, наблюдаемой в структуре поэтического текста, представляется на уровне глубинных механизмов речевой деятельности. Предпосылки образования хиазма усматриваются в несогласованной работе языковой системы в процессе порождения и восприятия текста, как поэтического, так и разговорного.

Сложности, возникающие в точке пересечения двух стихий — устной, разговорной и письменной, литературной, — были рассмотрены в докладе А. И. Багмут (Киев) «К. Чапек — мастер литературного разговорного стиля («Novou s T. G. Masarykem»)». Развивая положение, высказанное

А. Е. Супруном о том, что речь героев в литературных жанрах, — не запись, а художественная модель реальной речи, докладчица приводит способы представления живой разговорной речи в художественном литературном произведении.

Казалось бы, древние славянские тексты не имеют непосредственного отношения к разработке теории речевой деятельности, к определению интенций партнеров в коммуникативном акте, к построению некоторой общей картины мира, обязательно лежащей в основе коммуникации. Тем не менее, Е. М. Верещагин (Москва) в докладе «Прагмалингвистическое исчисление речеповеденческих тактик IX-й песни Канона Димитрию Солунскому по древнейшему списку» обращает внимание на то, что данная песнь канона, в отличие от других песней, написана от лица не всех христиан, а конкретной референтной группы — граждан Солуни, удалившихся от родного града и находящихся в странствии. Это дает возможность рассматривать ее как подлинное самосвидетельство славянских первоучителей, позволяющее увидеть фрагмент их истинной истории.

Одним из основных предметов рассмотрения на конференции явилась проблема взаимоотношения белорусского языка с другими славянскими языками. О том, что белорусская лингвистика имеет давние традиции подобных исследований, говорилось в докладе Г. А. Цыхуна (Минск) «З гісторыі беларускай славістыкі: Леў Цвяткоў і яго беларуска-іншаславянскія штудыі»

Развитию белорусской славистики была посвящена вся научная деятельность Адама Евгеньевича Супруна. Белорусский язык был и языком, и материалом его исследований. В первую очередь это была работа на уровне белорусской лексикографии, а также историко-этимологические исследования белорусского языка, лингвистический анализ текстов белорусских писателей, изучение проблем контактов белорусского языка с другими славянскими и неславянскими языками.

Проблемы изучения белорусского языка всегда находились в центре внимания ученых кафедры теоретического и славянского языкознания, которую создал А. Е. Супрун. Так, исследованию белорусского словообразования были посвящены труды одного из его сподвижников, профессора Николая Андреевича Павленко. Вклад профессора Павленко в белорусскую лингвистику был рассмотрен в докладе Н. Г. Пригодича (Минск) «Праблема гістарычнага словаўтварэння беларускай мовы на сучасным этапе».

В белорусском языкознании, как и во многих других областях современной науки, остается много вопросов, ждущих своего исследования. К ним, в частности, относятся проблемы, возникающие в процессе лексикографической практики. Именно они составили основной предмет рассмотрения в докладе Б. А. Плотникова (Минск) «Тлумачальныя слоўнікі беларускай мовы». Белорусская лексикография, начавшись с толкований к отдельным лексемам, сделанных при помощи русского метаязыка, привела к созданию в конце XX века 5-томного «Тлумачальнага слоўніка сучаснай беларускай мовы» (105 506 слов, 1977—1984) и однотомного «Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» (65000 слов, 1996). Каждый из словарей демонстрирует не только попытки его создателей наиболее полно представить лексику живого белорусского языка, но и отражает их усилия по созданию метаязыка, дающего возможность наиболее точного описания этой системы.

Свойства и функции языка как системы проявляются в конкретном национально-культурном контексте. Политическая жизнь страны, не затрагивая глубинных уровней языковой системы, влияет,

тем не менее, на существование и функционирование тех или иных ее элементов, как это представила в своем докладе «Мовы і абліччы палітычных і сацыяльных перамен» Э. Смулкова (Варшава).

Особенно чувствительным к переменам оказывается, безусловно, лексический уровень языка. Возникающая новая номинация становится знаком общественной, культурной или политической позиции. Как отмечала в своем докладе «Активные процессы в современной белорусской и русской ономастике: национально-семиотические различия» Н. Б. Мечковская (Минск), ономастические вариации в русском и белорусском языках имеют разную социолингвистическую подоплеку. Если в первом случае инновации ориентированы на установление более равноправных и уважительных отношений между русским народом и другими народами России, а также между Россией и другими государствами СНГ, то во втором они связаны с суверенизацией самой Беларуси.

Особое место на конференции занимали доклады по лексической семантике. Именно это направление исследований всегда было приоритетным для Адама Евгеньевича Супруна. Слово было для него центральным элементом языковой системы и любимым предметом изучения. В его работах по этимологии, например, рассматривались слова со стершейся мотивировкой, и в то же время в лексемах с абсолютно прозрачной внутренней формой открывались новые аспекты происхождения и развития смысла.

Проблемам и перспективам этимологических исследований был посвящен доклад Ж. Ж. Варбот (Москва) «Семантические уроки этимологии». В нем говорилось о том, что уже традиционными стали признания семантической реконструкции самой слабой стороной этимологического анализа. В то же время и для семантики, и для самой этимологии полезно постоянно обобщать накопленный последней (с трудом и ошибками) опыт семантического анализа, точнее — сведения о закономерностях изменений значений лексем.

Диапазон подходов к рассмотрению единиц семантики на конференции был достаточно широк. Так, В. В. Мартынов (Минск) в докладе «Семантические примитивы: реконструкция и преобразование» уделил внимание элементарным единицам — семантическим примитивам. По его мнению, одной из задач семантики является построение полной семантической системы на основе формального преобразования примитивов. Для этого необходимо построить алгоритм, позволяющий заменить представление примитивов их исчислением с разграничением языковых и метаязыковых элементов.

Темой доклада А. Е. Михневича (Минск), наоборот, явились сложные единицы лексического уровня — устойчивые выражения, значение которых не выводимо из значения их составляющих (доклад «Идиоматика»).

На конференции рассматривались также актуальные процессы в грамматической семантике — доклад А. Кречмер (Бохум-Белефельд) «Семантика лица в славянских языках». В нем особое внимание обращалось на необходимость комплексного, синтезирующего подхода к семантике традиционных единиц и категорий языка. По мнению докладчицы, именно комплексный и методологически гомогенный анализ на многоязычном корпусе поможет выявить инвариантность и диапазон вариативности славянской категории лица / персональности, т. е. создать ее рабочую типологическую модель. А такая модель, в свою очередь, может служить базой для дальнейшего изучения этой важной и увлекательной области человеческого языка и сознания.

Практически все докладчики в качестве материала своих исследований избрали славянские языки — по сути дела это было предопределено самой тематикой конференции. Однако профессор Супрун искал материал для своих исследований в различных языках — различных как в генеалогическом, так и в типологическом планах, славянских и неславянских. В докладе Г. И. Шевченко (Минск) «О девственном числе «семь» и фразеологизмах с ним» рассмотрены устойчивые сочетания слов в классических языках.

Выше уже говорилось об интересе, который проявлял Адам Евгеньевич к текстлингвистическим исследованиям. Особое внимание он уделял наиболее сложному объекту исследования — поэтическому тексту. Он изучал не только лексическую структуру поэтического текста, но также корреляцию лексической и грамматической структур с формальной стороной текстовой организации. В духе исследований профессора Супруна был сделан доклад А. М. Калюты (Минск) «Черный и белый цвет: знаки зла и траура в поэзии Арсения Тарковского», где он обращает внимание на то, что поэтическая картина мира Арсения Тарковского во многом строится из фрагментов зрительных впечатлений, важной частью которых являются цветовые характеристики образов. Динамичность языка поэзии Арсения Тарковского во многом зависит от активности прилагательного, хотя ее «цветовая составляющая» представлена также существительными и глаголами.

Вопросы, связанные с системой цветообозначений в славянских языках, рассматривались в докладе А. И. Титовой (Минск) «Онтогенез ассоциативных структур лексики цветообозначений в славянских языках».

В последних работах Адама Евгеньевича Супруна предполагается перенесение исследований в когнитивную плоскость. Высказывается новая, пионерская мысль о том, что исследования текста играют важную, а иногда и определяющую роль в построении когнитивной парадигмы. Принципам и методам подобного анализа был посвящен доклад Е. Н. Руденко (Минск) «Метод концептуальных карт применительно к анализу текста». В нем говорится о том, что применение подобного метода к художественному тексту должно проводиться не автоматически, а «вручную» в связи со спецификой языка художественной литературы. Фактически любой исследователь текста занимается моделированием виртуальной картины мира того или иного произведения или автора, проводя при этом концептуальное структурирование и гипертекстовый поиск, но представляя результат линейно, в то время как существует возможность представить его наглядно в виде концептуальной карты.

Не только литературные произведения последних лет были подвергнуты рассмотрению с целью установления их текстовой структуры. В докладе К. Иванова (Минск) «Прагматика и семантика болгарских проклятий» текстлингвистический анализ применялся по отношению к болгарским фольклорным текстам.

Произведения совершенно иного характера, а именно славянские библейские переводы XVI века послужили материалом для доклада А. А. Кожиневой «К вопросу об оригинале и переводах текста Екклесиаста». Приведенные в докладе примеры явились еще одной иллюстрацией положения о том, что во многих случаях появление того или иного слова в тексте перевода обусловлено тем типом культуры, в котором перевод создавался, а, с другой стороны, новый перевод, подчиняя себе сознание субъектов культуры, в свою очередь влияет на целый культурный контекст.

Мы не смогли пригласить на наши конференции всех, с кем Адам Евгеньевич Супрун сотрудничал и дружил на протяжении долгой и плодотворной научной жизни, всех, кто его помнит и любит. Но мы надеемся, что в будущем нам также удастся организовывать конференции, посвященные памяти ученого и учителя, и собирать на них его друзей, коллег, учеников, единомышленников.

А. А. Кожина

Обзор новых учебных пособий по церковнославянскому языку (1995-2000 гг.)

В последнее время начато преподавание церковнославянского языка во многих вновь созданных церковноприходских воскресных школах, православных гимназиях, богословских высших учебных заведениях. Сделаны первые шаги для восстановления церковнославянской грамотности в среде благочестивых мирян. Наряду с репринтами дореволюционных учебников и словарей появились новые пособия для школьников, студентов и тех, кто хочет изучить церковнославянский язык самостоятельно. Четкой границы здесь нет: поскольку в лоно Церкви одновременно пришли люди разных поколений, взрослым могут быть весьма полезны и детские книги, которых они были лишены в юные годы.

Цель настоящего обзора – систематизировать новые учебные издания и помочь учащим и учащимся в их выборе. В адрес авторов и издателей мы ограничиваемся в основном общими замечаниями в конце статьи ввиду ее ограниченного объема.

Начнем с элементарных пособий для детей. Первым опытом здесь явилась, очевидно, **«Азбука церковнославянского языка» П.Г. Арефьева и В.В. Кузнецова** (М.: Интерпракс, 1995. 148 л., тираж 2000 экз.). Основную часть книги составляет азбука в картинках. Каждая буква представлена в разных начертаниях, после чего дается несложный графический сюжет из реалий на заданную букву с надписями кириллицей. Иллюстрации – изображения предметов церковной и бытовой утвари, деталей ландшафта и т.д. – могут быть раскрашены учениками. Далее следуют сведения о названии буквы, ее происхождении и судьбе в современном русском языке, материалы для чтения и (нерегулярно) упражнения на вставку букв. Остальная часть книги посвящена правилам чтения, орфографии, церковнославянскому счету. Есть задания занимательного характера и даже упражнение на исправление орфографических ошибок, заведомо допущенных авторами в «Символе веры».

Более удобна для начального чтения **«Церковнославянская азбука»**, созданная под руководством протоиерея **Александра Салтыкова**; художник и составитель **Т.Д. Зубова** (М.: Паломник; Общество ревнителей православной культуры, 2000. 64 с. Тираж 20 000 экз.). Основным материалом служит красочно иллюстрированная церковная терминология, данная параллельно кириллицей и в русской транслитерации. Включены, в частности, слова под титлами и цифровые значения букв. Как подчеркнул в предисловии о. Александр Салтыков, создатели книги «старались подыскать на все буквы самые нужные и главные, самые святые и лучшие слова, которые помогут (...) юным читателям приблизиться к церковной жизни. В соединении с тщательно выполненными

изображениями слова в нашей азбуке оживают и несут читателю познание всех основных священнодействий и важных сторон жизни Церкви, ее красоту и благодатность». Приходится посетовать, однако, на наличие транслитерированных на церковнославянский алфавит русизмов типа *Вербное воскресенье* (с.10), *крестный отец*, *крестная мать*, *колокол* (с.24), на систематическое ошибочное написание окончания грецизмов -*ia* и т.д. и надеяться на переиздание этой полезной книги в исправленном виде.

На творческую работу в классе и дома ориентированы «**Прописи по церковно-славянскому языку**» **Е.В. Макаровой** (24 с.; выходные данные не указаны), решенные в привычной для нынешнего поколения учащихся форме рабочей тетради. Цель этого пособия – научиться красиво писать на церковнославянском, изучить азбуку и особенности ее графики. В качестве образца предлагается почерк без утолщения линий, достижимый современными орудиями письма. Уделено внимание также нарядным инициалам. Предполагается подбор материала на изученные буквы по Псалтири, Часослову, усвоение словарных слов, христианских имен; есть упражнения на расстановку надстрочных знаков, вставку пропущенных букв, правила употребления которых даются здесь же. К сожалению, понятие о знаке придыхания, титлах, каморе водится только на последних страницах, а примеры на гласную, начиная со с. 7, весьма часто лишены спиритуса. Заканчиваются прописи заданием написать по-церковнославянски имена всех учеников класса. Следующим шагом должна быть душеполезная практическая работа по составлению на церковнославянском языке синодиков, родословных древ. Именно в этой сфере применимы в наши дни навыки кириллического письма, тем более что в новейших молитвословах церковной печати отведены для заполнения особые страницы 'w *здравіи*; 'w *оупкоєніи* и положено начало изданию кириллицей книжечек-помянников.

Интересен труд Н.П. Саблиной «**Буквица славянская: Поэтическая история азбуки с азами церковнославянской грамоты**» (СПб., 2000. 188 с., тираж 1000 экз.), предназначенный для светских и приходских школ и для семейного чтения. Книга состоит из размещенных в алфавитном порядке очерков о каждой букве, она изящно оформлена древними инициалами. На каждом развороте помещена табличка «Чтение церковнославянских букв». Автор учит любви к родной букве и возвращает в наш лексический фонд ее старинное название «буквица». Эмоциональность изложения сочетается с четкой структурой очерков; помимо стандартных сведений, на каждую букву представлены поговорки, пословицы, шутки (*Аз нью квас. Прописным азóm ноги растопырил*), экскурсии в историю слов и реалий, в частности личных имен; отвечающие теме очерка образцы русской поэзии. Позволим себе дополнить поэтическую часть книги стихотворением **Виктора Афанасьева**:

Церковнославянский язык

Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной Псалтири
И святоотеческих книг;
Он царственное украшеньє
Церковного богослуженья,
Живой благодати родник,
Господнее нам утешеньє –
Церковнославянский язык.

Следующую группу изданий составляют пособия для начального чтения связных текстов. Сюда относится прежде всего «**Толковый молитвослов на русском и церковнославянском языках**» (М., Сретенский монастырь; Новая книга; Ковчег, 1998. 432 с., тираж 30 000 экз.), изданный

по Патриаршему благословлению. Молитвы утренние и на сон грядущим (с. 5-156) набраны кириллицей, затем повторяются гражданским шрифтом и переводятся на русский язык. Имеются также объяснения отдельных слов и выражений, общие комментарии к молитвам. К сожалению, в прочих разделах молитвослова текстов церковной печати нет.

Особо удобны для начинающих небольшие по объему издания, рекомендованные Отделом религиозного образования и духовного просвещения Санкт-Петербургской епархии, **«Десять заповедей Закона Божия со словарем и объяснениями»** (СПб., 1999. 16 с., тираж 1 000 экз.) с оригинальным и транслитерированным текстом и комментариями; сборник тропарей праздникам с пояснением малопонятных слов. **«Пойте богу нашему, пойте»** (СПб., 1999. 48 с., тираж 1 000 экз.; составление пояснений **Н.П. Саблиной**). В последней книге даны, помимо комментированных текстов, подробные списки слов под титлами, цифирный свод, прописи икон Воскресения Христова, двенадцатых и великих праздников. Как и в «Буквице славянской», на разворотах помещена табличка «Чтение церковнославянских букв». Взрослым учащимся можно рекомендовать также отдельно изданные листы из серии «Церковнославянский язык»: **«Азбука, правила чтения»**, **«Буквенная цифирь»** (СПб.: Акация-Ижица, 1998) и др.

Весьма удачно издание **«Стихиры Пасхи»** с надзаголовком **«Православная детская библиотека»** (М.: Изд-во Владимирской епархии, 2001. 10 с.; автор проекта Л.В. Сурова). На красочном фоне дается церковнославянский текст с пояснениями и параллельной транслитерацией той же гарнитурой, причем оригинал, напечатанный по краям страниц, может быть отрезан и склеен в отдельную нарядную книжечку карманного формата, удобную для юных певчих.

Полезны также учебные издания Псалтири с оригинальным текстом и русским переводом в разворот: **«Псалмы избранные для детей»** (Синтагма, 1998. 48 с., тираж 15 000 экз.; псалмы 1, 33, 50, 90, 102, 103, 150) и **«Псалтирь учебная»** (М.: Правило веры, 2000. 798 с., тираж 6 000 экз.). В первом случае использован нелегкий перевод **П. Юнгера**, даются таблицы церковнославянской азбуки и цифири. В «Псалтири учебной» публикуется новый русский литературный перевод (1975-1985 гг.) **Е.Н. и И.Н. Бируковых**, выполненный непосредственно с церковнославянского языка; в помощь начинающим прилагается краткая азбука с правилами чтения и орфографии (с 788-796).

Третью группу учебных пособий составляют систематические подробные курсы церковнославянского языка. Ведущим является труд **А.А. Плетневой и А.Г. Кравецкого «Церковнославянский язык»** (1-е изд.: Церковно-славянский язык. М.: Просвещение; Учебная литература, 1996. 192 с., тираж 15 000 экз.; 2-е доп. и перераб. Издание: М.: Древо добра, 2001. 287 с., тираж 5 000 экз.), рекомендованный Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви для воскресных (приходских) школ, православных гимназий и лицеев. Важными достоинствами 2-го издания по сравнению с 1-м стало наличие разделов, посвященных лексическим и поэтическим особенностям богослужебных текстов (с 157-180), включение в хрестоматию текстов, созданных в XX веке (с. 238-245), и использование гарнитуры «Киприан», разработанной Г.И. Ивановым в 1995 году для издания богослужебных текстов и письменных памятников. Внесены также некоторые изменения в расположение грамматического материала, в

упражнения и вопросы для самопроверки. Благодаря поурочному расположению материала наиболее важные темы рассматриваются в первую очередь, что позволяет достаточно быстро приступить к чтению текстов из хрестоматии. В соответствии с задачей обучения чтению и пониманию оригинальных текстов преобладают упражнения на перевод на русский язык и грамматический анализ извлечений из Священного Писания. Тексты в хрестоматии – фрагменты из четиных и богослужебных книг – удачно отобраны и снабжены интересными комментариями. Имеется также грамматический справочник, систематизирующий всю информацию, распределенную поурочно, и словарь. Книга иллюстрирована гравюрами из изданий церковной печати.

Для начального этапа обучения может показаться более приемлемым пособие **Т.Л. Мироновой «Церковнославянский язык»** (М., 1997. 176 с., тираж не указан), рекомендованное для слушателей Православного Института. Последовательность изложения материала вполне традиционна, в упражнения на чтение и грамматический анализ включены небольшие по объему тексты молитв, тропарей, величаний, уделяется внимание сопоставлению церковнославянский и русских грамматических фактов. Нет, однако, ни словаря, ни лексических комментариев, столь необходимых для правильного понимания текстов.

Интересен цикл лекций **«Церковнославянский язык» протоиерея Бориса Пивоварова** для заочного обучения и самообразования, опубликованный в газете «Воскресная школа» в 1997-1999 гг. Курс (25 лекций, включая вводную) построен таким образом, чтобы знакомство с церковнославянским языком, необходимое для понимания богослужения, было по возможности ускорено. Уроки грамматики посвящены категориям, формам и синтаксическим конструкциям, утраченным в современном русском языке. В рамках заключительной темы «Язык церковнославянской Псалтири» даются своды слов, вызывающих трудности при переводе. Имеются упражнения на чтение, перевод с церковнославянского, грамматический анализ; некоторые задания предполагают работу учащихся с текстами Священного Писания. Однако для удобства использования этого безусловно удачного пособия необходимо его компактное переиздание.

Своеобразный курс представлен в **«Учебнике церковнославянского языка» В.И. Супруна** (Волгоград: Книга, 1998. 300 с., тираж 10 000 экз.) для 5-11 классов общеобразовательных школ. Среди упражнений много письменных работ вплоть до диктантов: «Чем больше старания, души вы будете вкладывать в написание церковнославянских букв, тем красивее будут написанные вами слова и тексты, тем радостнее вам будет изучать языка нашей Православной Церкви» (с. 8). Памятуя, что умения свободно писать на церковнославянском могут достичь лишь немногие, будем все же надеяться, что в поколении нынешних школьников со временем появятся абсолютно грамотные носители языка Церкви...

Достоин внимания также пособие **М.Л. Ремневой, В.С. Савельева, И.И. Филичева «Церковнославянский язык: Грамматика с текстами и словарем»** (М.: Изд-во МГУ, 1999. 231 с., тираж 5 000 экз.). Это труд преимущественно теоретический и лексикографический, без упражнений, со скромным по объему материалом для чтения (с. 108-125). Словарные материалы (с. 126-228), составленные В.С. Савельевым и И.И. Филичевым, выходят далеко за пределы хрестоматии. Всего насчитывается около 3 000 статей, в основе которых лексика Псалтири и Четвероевангелия, а также

ряд обозначений церковных реалий. Особо ценно, что наряду с лексическим толкованием дается грамматическая характеристика слов.

Весьма примечательны учебные очерки «**Церковнославянская грамота**», составители Д.Г. Демидов, Н.Н. Невзорова, Н.Н. Шумских (СПб., 1998. 588 с., тираж не указан). Книга внушительного объема содержит подробнейшее описание азбуки, графики, чередований церковнославянского языка с экскурсами в историю языка, в русскую литературную книжность и разговорный язык; завершают ее грамматика и словарные материалы, в числе которых, столь необходимое «Сословие имен по алфавиту» (с. 580-583) – перечень имен святых. Необычно, в частности, использование гражданского шрифта со старым правописанием в примерах из художественной литературы (соответственно орфографии времени создания произведения). Пособие адресовано широкому кругу читателей, но его последовательное чтение и усвоение по силам не всем.

Завершим обзор замечаниями общего характера. В новых учебных пособиях, к сожалению, сказывается децентрализация преподавания церковнославянского языка и издательской деятельности. Пока что нет единства в написании названия языка (*церковнославянский* и *церковно-славянский*), в составе алфавита (от 40 до 44 букв), в записи гласных (со спиритусом и без), в алфавитном порядке, в названиях букв. По революционной традиции в учебниках часто практикуется раскрытие титл для облегчения и без того нетрудного чтения. Не совпадают рекомендации относительно произношения г и т.д. Опечатки и неточности нередко вынуждают преподавателя-практика брать на себя труд корректора и редактора (на общем фоне вполне аккуратны петербургские издания). Нужен, безусловно, элементарный поурочный курс для детей школьного возраста, основного контингента детских воскресных школ, со снабженными грамматическими комментариями текстами молитв, Божественной литургии, Евангелия, святцев, а также учебный Часослов. Всем без исключения грамматическим описаниям и словарям недостает акцентологического раздела с информацией об ударении в словоизменительных парадигмах. Но это, по-видимому, дело весьма далекого будущего: *сперва аз да буки, а там и науки...*

И.А. Корнилова

Речь москвичей как феномен языка и культуры

(О книге: М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М.: Русские словари, 1999. 396 с.)

Ряд изданий по проблемам устной русской речи пополнился монографическим описанием, посвященным речевому облику Москвы.

На первый взгляд новая книга М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой, сотрудников ИРЯ РАН, специалистов в области русской разговорной речи, является продолжением исследований в русле их основной проблематики. Однако более пристальное знакомство с монографией дает основание считать ее качественно новым этапом их работы, что связано, как представляется, в первую очередь со все более полным продвижением объекта изучения в новую научную парадигму.

Это видится и в стремлении авторов расширить контекст исследования до масштабов национальной культуры, вводя в анализ все большее число экстралингвистических данных, и в интеграционном подходе, объединяющем разные ипостаси и аспекты речевой действительности, и в «укрупнении» задач самого исследования, представляющего собой по сути дела первый в нашей лингвистике опыт таксономического описания речевых жанров устной некодифицированной речи.

Тот, кто возьмет в руки эту книгу ориентируясь на ее название и с желанием узнать что-то об особенностях московской речи, возможно, будет разочарован. Дотошный читатель, конечно, сможет «вычитать» в ней что-то о фонетических чертах московского народного говора. Но все же не тому, почему «о московской речи издавна писали так: прекраснейшая... выразительная... певучая... гармоническая... даже повседневная, без художественных функций, она вызывала эстетические оценки» [Панов 1990: 175], — посвящена эта работа. Расставляя логические ударения, надо предупредить, что главным, сквозным героем этого произведения является все же не Москва, а речь, точнее речевой жанр.

Поворот к проблеме жанра, который происходит в последние десятилетия в исследованиях по устной коммуникации, не случаен¹. Для того, чтобы удовлетворить возросший интерес лингвистов к языковой личности в процессе ее речевой деятельности и речевому континууму как продукту этой деятельности, системно-структурного подхода оказалось не достаточно. Все чаще закономерности речевого общения рассматриваются сквозь призму речевого жанра. Но для этого нужно хорошо знать данный феномен, особенности его структуры и функционирования, его разновидности, представлять его «номенклатуру», возможности применения в разных сферах речи, его потенциал для интерпретации явлений, выходящих за рамки лингвистики и имеющих социальную или культурную природу. Весь этот сложный комплекс вопросов и рассматривается в рецензируемой книге. Видимо, речь москвичей оказалась для авторов наиболее удобным и хорошо знакомым «опытным полем».

Монография состоит из трех частей, первая из которых (часть I, с. 13—39) представляет концепцию жанровой стратификации устной речи, а две других содержат предваряемые теоретическим введением переведенные в письменную форму магнитофонные записи устной речи: монологические рассказы-воспоминания о Москве и москвичах (часть II, с. 40—250) и разножанровые тексты, отражающие языковое существование московской семьи в типовых коммуникативных ситуациях (часть III, с. 251—385).

В том, что значительную часть объема составляет щедро представленный богатейший фактический материал, своего рода хрестоматия, отражающая функциональные разновидности и многообразную жанровую специфику устной речи москвичей, — одно из важных достоинств книги. Трудно переоценить проделанный авторами труд по сбору, фиксации и кропотливой обработке этого уникального собрания текстов, интересных как в лингвистическом, так и в культурологическом отношении.

В фонотеку вошли записи речи москвичей разного возраста и происхождения, представителей разных профессиональных групп. Среди них есть как носители литературного языка, так и

¹ Важную роль понятия «жанр речи» для построения общей теории общения со ссылками на работы М. М. Бахтина, А. Вежбицкой, М. В. Панова и др. отметила Е. А. Земская [Земская 1988: 39—43].

просторечия. Помимо речи наших современников удалось запечатлеть на магнитофонной ленте речь коренных москвичей старшего поколения, представляющую собой культурный памятник прошлого. Разнообразна и индивидуальна манера речи говорящих. Часть информантов представлена не только текстом, но и паспортом, включающим биографические данные, релевантные для понимания некоторых особенностей речевой манеры (с. 49—50), и кратким описанием этих особенностей (с. 50—53). Принимая во внимание значение, которое придается в теории жанров фактору адресата, невозможно не отдать должное высокому профессионализму собирателей, ограничивавшихся ролью слушателя и минимально вербально представленных в текстах, но сумевших при этом создать атмосферу, способствующую раскрепощенности и особой доверительности говорящих. Группы текстов перемежаются подробным лингвистическим комментарием в виде вводных замечаний, направляющих внимание читателя на выявленные закономерности в кажущемся хаотичным полифоническом многоголосии Москвы.

Таким образом, рецензируемая книга вводит в научный оборот ценный систематизированный фактический материал, бесспорно расширяющий наши представления о характере и особенностях устного повседневного общения. Этот материал еще не раз сможет послужить серьезным источником для дальнейшего проведения историко-филологических, культурологических, лингвистических, методических и др. исследований.

Еще одно достоинство книги видится в том, что для обоснования авторской позиции в ней используется обширная междисциплинарная литература по разным проблемам взаимодействия языка и культуры. Основательное знание этой литературы и особенности ее привлечения — для данных авторов вообще типичны жанр попутного замечания, исполненного петитом, обильные сноски, цитация — создает высокую научную информативность теоретической части работы, делая ее своеобразной компактной энциклопедией по многим вопросам, смежным с исследованиями городской коммуникации.

Заглавие основной теоретической части монографии — «Проблемы изучения повседневного устного общения в коммуникативно-культурологическом аспекте». Рассматривая здесь направления в изучении устной речи города и разные черты московского речевого «ландшафта», авторы подводят нас к основному камню преткновения современных исследований неcodифицированных сфер общения — отсутствию типологии жанров устной речи, построенной на базе иерархически организованного набора коммуникативных параметров. В то же время убедительно обосновывается возможность обратиться к решению актуальных проблем изучения речевых жанров, преемственно используя положения теории устной речи, разработанные в свое время научным коллективом Отдела современного русского языка ИРЯ АН СССР, в частности модель описания разговорной коммуникации [Земская, Китайгородская, Ширяев 1981] и список компонентов коммуникативного акта, влияющих на функциональную дифференциацию устной речи [Земская 1988].

В этой части работы содержится попытка ответить на ряд острых и все еще нерешенных вопросов теории речевых жанров: какова основная коммуникативная единица членения речевого потока, в каких отношениях состоят бахтинский речевой жанр и речевой акт, каков жанровый статус диалогической формы, что представляет собой жанр по отношению к тексту, какие коммуникативные

параметры и в какой иерархии формируют речевой жанр и др.

Отталкиваясь в своем изучении «жанра сквозь призму коммуникативной ситуации» от М. М. Бахтина, авторы отбирают среди существующей к настоящему моменту многообразной литературы вопроса прежде всего те точки зрения на проблему, которые помогают прояснить их позицию. Наибольшее возражение авторов вызывают кроющиеся в некоторых подходах отождествление или изоморфизм в понимании жанра, речевого акта и диалогической реплики (например, [Вежбицка 1997], [Шмелева 1997]). В то же время стремясь отстоять факт существования диалогических жанров, для доказательства взаимообусловленности реплик диалога они удачно используют именно речеактовый подход к анализу минимальных диалогических единств и продуктивное с их точки зрения понятие «иллокутивного вынуждения» [Баранов, Крейдлин 1992].

Для разрабатываемой концепции принципиально важным является замечание авторов о необходимости различать процесс коммуникации (речевое действие ПК resp. РА) и ее продукт, или текстовое воплощение. В соответствии с этим в монографии последовательно разграничиваются, с одной стороны, *жанрообразующие* (собственно текстовые) признаки: содержательно-тематическая структура, композиционная упорядоченность, набор и характер использования языковых средств, а с другой — *жанровыделяющие* параметры коммуникативного акта: пространство, время, партнеры коммуникации, тема.

К наиболее значительным результатам теоретических изысканий в монографии М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой можно отнести предложенные ими принципы жанровой стратификации устной речи и конкретный алгоритм описания речевых жанров на основе определенного набора «шагов» перехода от уровня коммуникативной ситуации к типу текста.

Как показывает дальнейший анализ фактического материала, предложенный алгоритм обладает универсальностью и достаточной идентифицирующей способностью. Это доказывается и тем, что выделение в качестве примера основных жанровых блоков устной речи, содержащих около полусотни отдельных жанров, таких, как *сообщение, похвала, поздравление, инструкция* и т. п. (с. 36), достигается путем использования ограниченной системы последовательных шагов, включающей всего 4 операции по установлению 1) сферы коммуникации (дом / вне дома), 2) коммуникативных намерений партнеров коммуникации (фатика / не-фатика), 3) коммуникативной активности партнеров (монолог / диалог), 4) целей коммуникации (с ориентацией на языковую функцию: информативного, собственно фатического, аппеллятивного / прескриптивного, поэтического или метатекстового характера).

Как представляется, создание алгоритма, а также вывод о необходимости при членении речевого континуума на жанры учитывать степень иллокутивной зависимости / независимости реплик партнеров коммуникации дает в руки исследователей устной коммуникации ценный и эффективный инструмент анализа жанров. Это, с одной стороны, дает основания расценивать сделанное как очередной шаг к системному описанию жанровой стратификации устной речи, а с другой стороны, позволяет ставить ряд новых исследовательских задач. К ним авторы справедливо относят описание типа жанра (как инвариантной модели) в соотношении с ее возможными реализациями, установление наряду с прямыми способами воплощения жанра не прямых форм его

реализации, выявление не только парадигмы речевого жанра, но и его синтагматических характеристик (с. 38—39).

Интересные наблюдения над коммуникативной стороной жанра содержатся и в теоретических разделах следующих частей книги. Изложение здесь также строится как некая классификационная сеть, основанная на исчислении возможных проявлений жанра и их интерпретации.

Так, среди фатических монологов, которыми являются рассказы-воспоминания о Москве и москвичах (часть II), авторы предлагают различать собственно рассказ, рассказ-повествование, рассказ-пересказ и рассказ-пластинку. Сопоставление этих жанровых разновидностей монологов выявляет функции таких прагматических переменных общения, как, например, степень ограничения общения по времени, существование текста-образца, частота репродукции текста. Делается попытка и тематической типизации рассказов, в основу которой кладется оппозиция «свое» / «чужое» (с. 47—49).

Переходя к жанрам повседневного общения (часть III), авторы сосредоточивают внимание прежде всего на ситуативной стратификации домашней коммуникации.

Все ситуации повседневного общения предлагается рассматривать в фокусе ранее выделенных параметров: дом / вне дома, будни / праздники, фатика / не-фатика. Выделяются, с одной стороны, ситуации-стереотипы, связанные с распределением повседневной жизни по зонам-хронотопам (это такие темы-ситуации, как *пробуждение, еда, уход на работу* и т. п.), а с другой стороны — спонтанно возникающие ситуации с разнообразными тематическими доминантами. Следует заметить, что обращение именно к домашним шаблонам быта отличается новизной, так как анализ стереотипных ситуаций и соответствующих им клише проводился пока в основном на материале городской речи. Типичные для сферы неофициального общения жанры рассматриваются в контексте коммуникативных условий их реализации. Некоторые из рассмотренных в монографии жанров уже бывали предметом обсуждения в литературе, обнаружение других относится к числу заслуг авторов. Ценность этой части работы видится в том, что создана жанровая панорама нашего повседневного существования, показана сложная жанровая организация речевого континуума, предложены ориентиры для его структурирования. Среди текстов этой части читатель может опознать не только такие наиболее стереотипные приметы нашего бытия, как *пробуждение / отход ко сну* или *уход из дом / возвращение домой*, но и многие разнообразные ситуации, остроумно названные «мелким сором повседневной жизни», наподобие *разговоров во время приготовления обеда, примерки платья, разговора с животными, «общения» с неодушевленными предметами быта* и др.

Итак, речь москвичей с точки зрения коммуникативного аспекта предстает достаточно полно, хотя авторы, естественно, не ставили цели исчерпывающего освещения жанровой проблематики. В рецензируемой работе содержится потенциал дальнейшей разработки темы в разных направлениях. Одним из них является, например, вовлечение в анализ пока меньше представленной сферы внесемейного локуса, в частности жанрового членения речи городского пространства — московской улицы, транспорта, разнообразных сфер обслуживания, торговли и т. п.

Другое направление, пока практически обойденное специальным вниманием в работе, связано с далеко не второстепенным вопросом о роли и месте среди жанрообразующих признаков

характеристик звучания. Думается, что адекватная квалификация устного текста в жанровом отношении с необходимостью включает рассмотрение его интонационных качеств. Интонация как важнейшее прагматическое средство языка способна конкретизировать в выборе жанра субъективный фактор коммуникации — и коммуникативные установки, и намерения, и цели партнеров коммуникации. Доводилось отмечать, например, что в зависимости от качества интонации и ее соотношения со средствами других языковых уровней даже устойчивые формулы общения, фатическая функция которых отражена лексически (этикетные формы *приветствия, извинения, просьбы, благодарности*), могут переориентироваться на выражение субъективно-модальных отношений: *несогласия, упрека, иронии* [Труфанова 1998]. Установление аналогичных нестандартных форм жанровой реализации находится, видимо, в прямой связи с описанием регламентации интонационно-ритмических особенностей прямых способов воплощения жанров. Справедливости ради надо заметить, что накопленный исследователями звучащий материал и его представление в виде транскрипции создают хорошую основу для решения этих задач.

С первых же страниц монографии и даже еще раньше, с ее заглавия, ощущается намерение авторов подойти к исследованию речи москвичей не только с лингвистической, но и с культурологической точки зрения. И это, с одной стороны, соответствует духу современной лингвистики, стремящейся интегрировать знания из разных наук о человеке, а с другой — не в последнюю очередь обосновано большой культурологической значимостью собранного материала. Действительно, в этих устных текстах сосредоточены компоненты культуры самого разного рода: и социально-исторический опыт разных поколений москвичей, и динамика социокультурных стереотипов, и образ повседневной жизни; да и сами голоса, источники многообразной информации, можно рассматривать как феномен культуры.

Однако культурологическая сторона работы (особенно в сравнении с коммуникативной), возможно, в силу специфики и широты предмета, производит впечатление некоторой расплывчатости — как при постановке проблемы, так и в методах ее решения.

Проводя «рекогносцировку» теоретических предпосылок культурологического аспекта исследования, авторы, как поначалу кажется, пытаясь выработать его методологию, обращаются к таким разнородным направлениям, как культурная семиотика (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский), исследование символов разных культур (В. Н. Топоров), этнолингвистика (Н. И. Толстой). Однако ни на формулировке задач работы, которые сводятся к созданию корпуса устных текстов, связанных с Москвой, и фиксации фоновых знаний, хранящихся и передающихся в устной форме (с. 8), ни на самом анализе собранного материала эти предпосылки не сказываются.

Культурологический аспект исследования устных текстов непринужденного общения по большей части составляет описание, суммирующее большое число представленных в них фактов из области фоновой культурологической информации. Продуктивность такого описания тем выше, чем системнее представлены связи его компонентов, как это происходит, например, при выделении авторами в антропоцентрической по характеру тематике рассказов-воспоминаний своеобразных тематических «узлов»: я и моя семья, я и время, я и город, Москва и москвичи — с последующим анализом составляющих их «подтем».

Проведенный анализ тематической структуры устных текстов не поддается краткому пересказу, но, безусловно, культурологическую ценность имеет и сама интерпретация, в ходе которой фрагмент текста, мелкая подробность, деталь осмысливаются с позиций гуманитарной культуры в антропоцентрическом ее понимании.

Очевидно, что в своем исследовании авторы вплотную подошли к более высокой степени обобщения материала, где на пересечении культурологического и коммуникативного аспектов изучения устного текста возникает возможность ответить на многие вопросы соотношения языка и культуры, например, о связи жанрового репертуара и типа культуры, о зонах и условиях жанровой «нейтрализации» типа культуры в сфере непринужденного общения, о характере диахронических изменений «правил жанровой игры» в жизни социума и др. Кстати, отсутствие заключения в монографии можно, видимо, расценивать как знак возможного продолжения темы. Но и помимо этого надо заметить, что и тексты и комментарии к ним читаются с наслаждением как серия увлекательных произведений, демонстрирующих интересные проявления русской культуры и русского менталитета.

В целом же эта книга написана на высоком теоретическом уровне и одновременно отличается ясностью и простотой изложения, что делает ее полезной и доступной для студента-филолога, для преподавателя, для исследователя и просто для любопытного читателя, интересующегося проблемами языка и культуры.

Литература

Баранов, Крейдлин 1992 — А. Н. Баранов, Г. Е. Крейдлин. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // ВЯ. 1992. № 2. С. 84—99.

Вежбицка 1997 — А. Вежбицка. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 99—111.

Земская 1988 — Е. А. Земская. Городская устная речь и задачи ее изучения // Разновидности городской устной речи. М., 1988. С. 5—44.

Земская, Китайгородская, Ширяев 1981 — Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.

Китайгородская, Розанова 1996 — М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Современная городская коммуникация: тенденции развития // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996. С. 345—383.

Панов 1990 — М. В. Панов. История русского литературного произношения XVIII—XX вв. М., 1990.

Труфанова 1998 — В. Я. Труфанова. О роли интонации в формировании значения устойчивых формул общения // Московский лингвистический журнал. 1998. № 4. С. 183—203.

Шмелева 1997 — Т. В. Шмелева. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. С. 88—98.

В. Я. Труфанова